

ЕДПА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ В ВЕСТФАЛИИ

edita gelsen

СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ КЛУБОМ

ASTRA NOVA



ВЫПУСК 4(92) 2022

EDITA

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ В ВЕСТФАЛИИ

**ВЫПУСК 4(92)
2022**

Содержание

Георгий Кулишкин		Пауль Госсен	
СТРАХИ	3	ПЛЕСК МОРЯ, КРИК ПТИЦЫ	53
ШУЛЬЦ	4	ALENA875@MAIL.RU	54
Инна Кирьякова		Владимир Марышев	
ВОСПОМИНАНИЯ О МАЙСКОЙ НОЧИ	7	АЛАЯ ЗВЕЗДА	56
МОЖНО ЛИ ПОЙМАТЬ СОННИКОВА	8	КЛЮЧ	60
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ОСТРОВЕ	8		
Станислав Федотов		Леонид Ашкинази	
ЗАБЫТЬ ПОТЁМКИНА!	9	СОН_12 66	66
		ШОРОХ ЗА СПИНОЙ	68
Сергей Калабухин		Дмитрий Иванов	
ТЕМА ПОДВИГА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ		ДРЕБЕЗГИ-НЕДЕЛЬКА	75
А. И Б. СТРУГАЦКИХ,		СТИХИ	78
или ВЛАДИМИР ЮРКОВСКИЙ —			
ГЕРОЙ ИЛИ ПРЕСТУПНИК?	35	Олег Совин	
		ПОСОХ АДАМА	82

Литературная редакция: Сергей Булыга, Евгения Халь, Сергей Катюков, Александр Герасимов
Редактор по связям с общественностью – Кирилл Берендеев
Редактор-составитель – Анна Райнова
Технический редактор – Камелия Санрин
Корректор – Ирина Грановская

Фото на обложке – pexels-kristin-vogt-54200

Издатель и главный редактор Александр Барсуков

Что нового?

<http://www.editagelsen.de/>

<http://edita-b.livejournal.com/>

Импрессум

EDITA, Ausgabe 4(92), 2022

Verleger: Literaturverein „Edita Gelsen e.V.“

Postfach 100304, 45803 Gelsenkirchen

Verantwortlich i.S.d.P. A.Barsukov

E-Mail: logobo@gmx.de

Druck – hauseigener Betrieb

ISSN 1866-6310

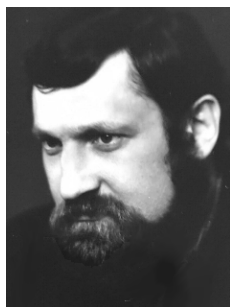
Выходит 4 раза в год / Erscheint vierteljährlich

Мнения редакции и авторов публикаций не обязательно совпадают

ПАМЯТЬ

Георгий Кулишкин

Харьков



СТРАХИ

1

По переходу, вскинутому над несколькими разной вышины железнодорожными насыпями, я передвигался на равном удалении от правого и левого перил, чтобы не глядеть вниз, и чувствовал, как у меня готовы подкашиваться коленки даже от мелькания высоты в просветах на разошедшемся настиле. Отца, лётчика, болезненно уязвлял этот страх во мне.

— А ещё солдат! — укоряет он меня и теснит к борту из арматурных прутиков и уголка, чтобы втолковать, что ничего страшного там нет.

Охваченный ужасом, я плюхаюсь на четвереньки, цепляясь за истоптанные доски.

— Такой ты трус?!

— Не трогай! Не трогай меня! — отбиваясь от его рук, кричу я истерически и падаю ничком, вжимаясь в настил и понимая, что не смогу уже подняться — то есть увеличить на свой рост высоту, которой так боюсь, и с ещё большим ужасом понимаю, что теперь мне нипочём уже не набраться мужества идти. Ни вперёд, ни назад.

— Что ещё за бабские истерики?! — негодует отец, поймав мои запястья и поднимая меня, чтобы поставить на ноги.

Я не помню, я не слышу себя, я захожусь в крике и поджимаю ноги, и вижу по его ненавидящему перекошенному лицу, что со мной творится что-то небывалое и для него омерзительное. И он вздёргивает меня вверх и вывешивает за перила.

В сознание меня приведёт вода, которой он плеснёт мне в лицо возле уличной колонки.

Обратной дорогой, пощадив меня и себя, отец отправится, минуя мост, по запретным тропкам, ведущим через пути. Усугублённый произошедшим страх сделает эти тропки моими навсегда.

2

Запретная зона с колючей проволокой, дотами на возвышениях, бетонированными окопами, ведущими от дота к доту, и с собаками на цепях, скользящих по проволокам, натянутым вдоль колючки, оберегала тройное пересечение путей, где над мостом, поднятым над нижней дорогой, возвышался ещё один, проводя третью железку выше двух, косым крестом лежащих под ней. Глухое пространство, прилегающее к запретке, — наша вотчина.

С правильно изогнутой рукотворной горы, подводящей путь к верхнему мосту, зимой слетаешь, как на крыльях, на коротких детских лыжах, приклёпанных к полозьям санок.

Летом влажная низина подножья таинственна. На болотце, заросшем камышом, гнездятся дикие утки,

обитают ужи, шерстистые водные крысы. Люди редко заглядывают сюда — поэтому здесь так привольно всякой живности и нам, детворе.

У трубы, которой прошит рукотворный холм, чтобы талые воды не скапливались на той стороне, а уходили на эту, в болотце, разрастается кустарник. Под его прикрытием в склоне откоса Федька решает выкопать пещеру.

Податливый насыпной грунт легко уступает прихваченной из дому сапёрной лопатке, дело продвигается споро. Вот в углублении уже может спрятаться он один. А вот ради пробы усаживаются трое. Федька, разохотившись, берёт шире и глубже. Искомая им скрытность, упрятанность залегает где-то там, подальше. И ещё, ещё подальше.

Наскучив его усердным обустройством норы, я заглядываю в трубу. Там сухо, дно припорошено наносной россыпью, вдалеке — так далеко, что отчего-то перехватывает дыхание — кругляшок цвета неба.

Вдруг труба издаёт что-то похожее на стариковское «кхе!» и чуть заметно вздрагивает. Я перевожу глаза в сторону, где возится Федька, и не вижу подкопа. В долю секунды гора заживила нанесённое ей повреждение, собственным телом восполнив изъятое из неё. И проглотила Федьку.

Кто-то бросается по-собачьи рыть руками. Тесня друг друга, рядом пристраиваются ещё трое или четверо. Но теперь стронутый с места разрыхленный склон стекает сразу же, не пропуская в себя.

Тут один из нас панически вскрикивает, и испуг одинаково прохватывает всех. И мы дружно даём дёру, оправдываясь, что бежим позвать взрослых.

На похороны конопатого непоседы Федьки меня не пустили — и без того я всё спрашивал: а как там ему было? что думал? мог ли шевельнуться, вдохнуть?..

Позже мне приснилось, что по той трубе я пробую проползти сквозь насыпь. И что где-то уже глубоко труба начинает сужаться, не пропуская меня. Подавшись назад, вдруг понимаю, что пятиться очень трудно, что у меня не хватит сил.

Я начинаю звать на помощь и слышу, что сзади кто-то ползёт ко мне и кто-то, заслонив свет впереди, карабкается и оттуда. И тут меня насквозь прожигает догадка, что это никакое не спасение, а приближаются ко мне оттуда и оттуда две закупорки, которым назначено меня замуровать.

Я ору, задыхаясь от крика, и отчаянно порываюсь ползти. Но труба уже сжимает руки и всё плотнее сдавливает дыхание. Конечно: я полностью обездвижен и безголос. Подобно Федьке, похоронен заживо.

Я вынырнул из сна, насквозь, как губка водой, пропитанный ужасом. Никак не мог досыта нахлебаться воздуха и вживе чувствовал сдавленные трубой локти. До самого утра было страшно закрыть глаза и снова оказаться в том же сне. Несколько ночей кряду я всё боялся, что приснится опять, но нет, дичайшая эта фантазия щадила меня.

Однако, когда я стал было успокаиваться, забывать, сон вдруг повторился с прежним убийственным правдоподобием. И нагнал на меня такой жути, что

больше я не укладывался на ночь в постель, не испытывая гнетущей трусости. Я отчаянно старался не думать о том, чего боюсь, чтобы не накликать. И, конечно же, только о том и думал.

К великому моему счастью, сон не повторялся. Что не избавляло от страхов его ожидания. Так длилось долго. Длительность множилась протяжностью детского времени. И всё-таки это ушло. Оставило меня.

Взрослый, я пошучивал над богатырём Жекой — другом, который с большой неохотой заходил в телефонную будку, а находясь внутри, никому не позволял закрыть в ней дверь. И который едва не лишился рассудка, будучи однажды запертым в милицейском обезьяннике.

Я жил себе и жил, не вспоминая о том детском кошмаре и ничуть не подозревая, что куда он не делся, что он живёхонек, что он во мне.

И вот однажды в связи с побаливанием поясницы я попадаю на компьютерную томографию. Минутная очередь, меня по-приятельски заводят обходными путями и, как Иванушку на лопату, укладывают на выдвижную лежанку и засовывают в трубу. Там вовсе не тесно, но лежать предписано смиренно, и ещё и потому, что нельзя шевелиться, мне всё явственнее кажется, что шевельнуться не могу, что зажат, что скован трубой.

Господи! Силою ужаса это не уступало детскому сну. Полное, полнейшее впечатление, что закатан, спелёнат железным тубом. Я не заорал и не выскочил прочь из этого узилища только потому, что приведён был по знакомству, что было неудобно и дико показать себя психопатом и осрамить людей, принявших во мне участие.

Пятнадцать минут просвечивания... Пятнадцать минут, заполненные ужасом замурованного заживо... О, это срок!..

Сердце дёргалось, как пойманная за лапу лягушка, воздуха оставалось меньше и меньше. Не без чёрного юморка, хотя и на полном серьёзе подумалось вдруг, что от прострелов в спине ещё никто не помер, а я, подавшийся поразузнать причину прострелов, вполне себе могу из этой трубы сыграть в ящик.

Конечно, всё когда-нибудь заканчивается. Прошли и эти пятнадцать минут. Но ей-же-ей, я не могу представить себе недуга, который бы заставил меня ещё раз сунуться в это премудрое устройство.

3

Умершего после тяжкой операции от истощения отца привезли домой. Ночь, как обязывал обычай, он провёл у себя в окружении близких. Там дежурили мама, бабушка, тётя Маня, а также сёстры отца и его брат, извещённые заранее и приехавшие из Сибири.

Ночью нас, детей, не пускали туда, ночью мы трепетали от одного знания, что он там. Но днём мы не могли не видеть. Он никогда не был похож, а вот стал — на дядю Петю, своего некрасивого старшего брата. А ещё в его облике была подлинная, словно нарочно данная в ознакомление нам, живущим, смерть. Нет, нет, не та почти забавная, которую рисуют на стол-

бах, подписывая: «Не влезай, убьёт!» А истинная, надменная, невыносимо страшная.

Её, этой смерти, глядевшей из изуродованного ею облика отца, я стану мучительно бояться. Один в комнате без света, прикрывая глаза, я сразу же видел её. Поэтому уснуть мог только рядом с кем-то или с горячей лампой.

Вначале сестрички отнеслись с пониманием, но прошёл год или что-то около того, и они, сами, к счастью, не задетые так сильно, начали пошучивать, стыдить меня. В ответ не оставалось ничего иного, как прятать от них моё малодушие. Я нарочно укладывался раньше, то есть один в комнате, и без света. Таращился в потолок, а когда они заглядывали или приходили, наивно притворялся спящим. Эта моя игра толкнула их на свой розыгрыш.

Они погасили свет там, в большой комнате, где занимались чем-то, но ко мне не пришли. Повисла тягостная тишина, в которую я вслушивался, и от которой мне всё явственнее делалось не по себе.

Жалкие крохи освещения, сквозь наше кухонное окно дошедшие из дома напротив и через коридор попавшие ко мне, косым, едва отличимым от нетронутых тёмных мест экраном размазались по стене. Беззвучно и очень медленно, крадучись, по этому экрану проплыла искажённая и увеличенная тень Аниной головы, которую нельзя было не узнать по копне кудрей. Тишина потяжелела, нависла, прижав моё дыхание. Тень Талы неслышным бестелесным призраком проследовала едва различимо по едва различимому экрану, и тишина сделалась вдвойне вязкой, окончательно лишив воздуха. Придушенный этой тишиной, я разделился надвое. Один снисходительно отметил: «Вижу вас! Я вас узнал!» Второй же, не имея и малейшей возможности что-либо соображать, умирал от страха.

Наконец, сквозь проём открытой двери сёстры запрыгнули в комнату и зажгли свет.

Первый я невозмутимо взирал на это и, пожалуй, сказал бы: «Ну и что? Я вас видел!» — если бы не второй, который... Второй орал во все свои ломкие отроческие связки. С голосом, передёрнутым вовнутрь, рвал в себя воздух и орал, орал... Ему не было никакого дела до первого, который в диком недоумении спрашивал: «Да что же это?! Я же их вижу! Это они, они!»

Он кричал, он был неуправляем, и ясно было, что я — это он, который кричит, а тот, что недоумевающая спрашивает — лишь ничего не могущая посторонняя частица меня.

ШУЛЬЦ

Война аукнулась и в дворовые оклики. Голиков — Гольц, Кальченко — Кальц. Неотмываемо прилипло прозвище к Шуйкову. И пустило корни. Шульцем вслед за детворой, назвавшей сына, взрослые окрестили отца, прибавляя — старший. А внук Шульца старшего уже с песочницы был Шульцем.

Так вот, Шульца первого, то есть нашего, о котором речь, дважды оставляли на второй год, и, как все вто-

рогодники, он имел обыкновение якшаться с теми, кто младше.

Корнями из лесной деревни, Шульц с денежной выгодой ловил птиц, удачливее кого бы то ни было удил рыбу, больше всех нас вместе взятых всегда находил грибов, собирал орехов, тёрна для наливки. Он был из породы охотников и собирателей, и в грабительских набегах на районные кагаты, на поля и сады ему виделось всегда нечто прибыльное, добычливое, лишь между прочим приправленное озорством.

Выпроваживая нас двоих самой ранней электричкой в осенний уже убранный колхозный сад, его матушка, режущее голосистая и, как и сын, круглолицая, кричала в форточку:

— Толя-й! Опять без чувала-й?! — и выбрасывала вещмешок, в котором, присев на корточки, уместился бы и сам Шульц.

На верхних ветках дремучих, как баобабы, яблонь оставался урожай, до которого не добрались сборщики. С беспечностью канатоходца Шульц бесстрашно погуливал по веткам раскидистой кроны, снимая только отборные, не тронутые ни червём, ни пороком, отменно вызревшие плоды. И бросал их сверху точно мне в руки, чтобы я, поймав, бережно укладывал их в свою спортивную, через плечо, сумку и в его чувал.

Он не ведал страха, и ещё и поэтому, даже свалившись, всегда оставался невредим. Я, невыразимо трусящий высоты, соскребал по сусекам последние остатки мужества, чтобы поднимать глаза, ловя яблоко, и всего-навсего видеть его. А он, не глядя под ноги, ступал себе и ступал, подбираясь к самой заманчивой добыче.

Вдруг, как подрубленная, ветка скользнула вниз, сгибаясь на сломе и переворачивая Шульца. Он падал, с треском проламываясь сквозь сучья, и вместе с ним катилось в пятки моё сердце. Наконец с утробным мягким «Уп!» он встрял головой в жирный недавно перепаханный чернозём междурядий. По плечи воткнулся в разрыхлённый гребень и секунды две стоял вверх тормашками, подогнув ноги и словно бы держа баланс разведёнными в стороны руками. Потом, потеряв равновесие, плавно завалился набок, вывернув, как репу из грядки, собственную голову из пашни, и рассмеялся, сверкая зубами и не в силах раскрыть залепленных грязью глаз.

В присутствии Шульца воровская трясучка никогда не брала надо мной власти. Рядом с ним никакая опасность не воспринималась всерьёз. Слово развлечение, он принимал побои от сторожей, ни разу не бросив при этом добычи. Ему ничего бы не стоило смыться, но, уводя погоню от младших, он петлял перед носом гонителей, получая палками по плечам, а то и по низко сидящей, круглой, как шар, крупной голове.

Как-то преследователи швырнули ему в спину молоток. Едва не сбив с ног, он угодил бойком прямо хонько в загривок. С неделю, веселя весь двор, Шульц демонстрировал менявшуюся день ото дня цвет гулю.

Никто, кроме Шульца, не отваживался прыгать в воду с верхней фермы железнодорожного моста.

— Лучше нет красоты, чем посрать с высоты! — уверял Шульц, взбираясь на самую макушку сварной опоры, необычайно высоко задиравшей провода ЛЭП, чтобы перевести их над гигантской железнодорожной насыпью. Оттуда, как бомбы, падали его полновесные катяхи, вдрызг разбиваясь о взлобок фундамента.

На этой насыпи, круто возводящей пути на мост над мостом в точке пересечения трех направлений, семафор останавливал составы, которые потом паровозу бывало трудно стронуть в гору. Он надрывался, сыпал из расплющенных книзу труб песок на полотно и бешено раскручивал маховые колеса. И часто, так и не тронувшись, начинал условными гудками звать подмогу — второй паровоз, который, подпихивая в хвост, выручал собрата.

В сезон торговли арбузами зов буксующего локомотива скликал нас, словно рев угодившего в западню мамонта — первобытных охотников. Поворотом путей состав сгибалось в дугу — мы подбирались к выпяченной стороне, невидимой для стрелка из замыкающего тамбура и для бригады машинистов.

В бурьянах под насыпью с дистанцией метров в пятнадцать один от другого, припрятанные Шульцем, дожидались мостовики. Тем из них, который оказывался ближе, Шульц вышибал реечную решетку на раскрытом ради проветривания окошке пульмана. Засим с проворством ящерицы он вскарабкался по борту к задранному под самую кровлю оконцу и, мелькнув подошвами, исчезал в нем.

Через секунду узкая, как амбразура, прорезь начинала обстреливать нас отборными, всласть раздобревшими на бахче полосатиками. Поймать удавалось лишь какой-нибудь третий или один из четырех, но и того что мы, подобно вратарям, ловили в объятья и бережно укладывали под ноги, довольно было за глаза.

Избыточное изобилие порождало варварство. Обьевшись, мы раскалывали «каун», ударив о рельс, и выгребали липкими лапами лишь сахарную серёдку, пренебрегая всем прочим.

Еще Шульц виртуозно стрелял из рогатки. Зарядить в кожаный казённый он любил чугунок — осколок разбитой сковородки. Бракованные эти сковороды мы во множестве выгребали из отвалов чугунолитейного. Но высшим шиком считались, разумеется, сантиметровые в диаметре шарики от подшипников. Их не расстреливали попусту, их берегли, чтобы хватать отменным боезапасом.

Растянутая резина вибрировала на ветру, когда он целился, взводя заряд далеко за висок на уровне левого глаза.

— Ща тому воробью башку снесу... — сквозь зубы похвалялся Шульц.

Провыв зазубренными краями, уносился чугунок, и обезглавленный воробей замертво падал с ветки.

Придёт время, и Шульца, которому ничего не стоило сигануть с любой высоты, призовут в десантники. Там меткостью он прославит и роту, и полк, за что его трижды поощряют отпуском, однако на побывку так и не отпустят — ступавшие за ним по пятам взыскания всякий раз опережали дату отъезда.

Но это случится ещё не скоро. А пока что мы на птичье. Продаём щеглов. Разбойного вида переростки, промышленяющие перекупом, предложили забрать задёшево, зато всех сразу. Шульц посмеялся над предложением, а те остались рядом, в приятельской беседе выведав, где это он отлавливает столь помногу бойких и голосистых красавцев. И вскоре на нашем пустыре у запретной зоны, когда, наладив крыло из сети и рассыпав приманку, мы со шнуром в руках прятались за кустом, у снастей вдруг объявилась знакомая по птичье троица. Не тратясь на слова, они перехватили ножами постромки, которыми сеть крепилась к колышкам, перерезали наш шнур и по-хозяйски стали сворачивать, прибирая к рукам собственно снасть.

— Э! — крикнул, выскакивая из засады, Шульц.

Двое с раскрытыми ножами поджидали нас, третий, самодовольно скалясь, напоказ неторопливо сворачивал сеть. Метрах в десяти Шульц остановился, достал рогатку.

— Детство в жопе играет! — сказал один из подждавших, кивнув другому на рогульку с резинками.

— Первому точно в лоб! — объявил Шульц, выходящая заряд.

Отметина обозначилась позже, а сразу о меткости попадания известил звук. Удар отозвался так звонко, будто шарик из подшипника врубился и отскочил от высушенного пустого черепа. В лице подстреленного ничто не изменилось, лишь из глаз вынесло вдруг куда-то всякое представление о том, где это он и что с ним.

— А тебе, сука, ща выблю левый глаз! — известил Шульц второго и прицелился, бружжа до предела растянутой резиной.

— Ты, притырок! — возопил второй, так зажмурив приговорённый глаз, что над ним слиплись щека с бровью. — Заканчивай, декарат! — Требовал с угрозой, но заслонялся руками и отмахивал локтем третьему, чтобы бросал сеть, будь она проклята.

И вот поздней осенью с Шульцем, огибая кладбище, мы идём к своему пустырю вдоль вспомогательного пути, по которому снуёт туда и обратно рабочая дрезина. На открытой платформе, похожей на телегу, она подвозит то рабочих, сидящих у откинутого низкого борта, а то шпалы, щебень, литые пластины с костылями. Укрывая от непогоды вожатых, над рычагами управления возвышается хлипкая кабина, всегда дребезжащая в ходу и остеклённая на все четыре стороны.

Шульца, который водится с нами, малышней, те, в кабине, посчитали, должно быть, за недоразвитого, за дурачка, и, подкатив сзади, обгоняя, выплеснули на него помой. Плеснувший, прощально помахивая порожним ведром, весь так и светился счастьем. Напарник, надавая газу, оглядывался и тоже ржал.

Шульц замер, беспомощно разведя руки и спиной прислушиваясь к тому, что затекло за шиворот. Потом, весь натопорщенный, снял, чтобы отряхнуть, перешедшую от бати восьмиклиночку и, выворачивая плечо, скопился себе на спину, облепленную картофельными очистками, текучими плевками и окурками.

Поднеся рукав, принялся. Воняло прокисшей мочой.

Мы спустились к дымившейся свалке, развели огонь. В болотце, по которому мы плавали на плотках, сколоченных скобами из шпал, и устраивали морские сражения, Шульц полоскал кепку и обмывал, черпая горстью, «москвичку» — укороченное пальтецо, ношенное-переношенное и тоже доставшееся от бати. Смеяться было за подлость, но смех разбирал неудержимо. Голый по пояс потерпевший, с укором и злобой зыркающий на нас, нет-нет а и сам взгогатывал, словно икотой, донимаемый смехом.

От высушенных на кольях подкоптившихся вещей отдавало гарью свалки, зато не мочой. Созревший за время просушки план мести поторапливал — Шульц одевался на ходу. Через кладбище, а там короткой улочкой — в бор, окраина которого прикрывает собой техническую базу авиаучилища, где на списанной технике, точь-в-точь как медики на трупах, практикуются технари. У самой ограды из натянутой на столбы «колючки», будто нарочно нам в подарок, свалены в кучу окончательно пришедшие в негодность механизмы и неисчислимо множество всякой диковинной всячины, составлявшей некогда собой вертолёт и истребители. Там, пролезая под проволокой, мы разживались медными трубками для самопалов, подшипниками под самокаты, шикарными зубчатыми колёсами, которые гоняют по улицам загнутой кочергой, и бесподобной, в широких и длинных лентах цветной авиационной резиной.

Теперь нужда была именно в ней, в резине. Добыв несколько внушительных свитков, совершили марш-бросок к сараю, где Шульц позаимствовал у бати бур, предназначенный для подлёдного лова, и неказистый топорик.

В ольхе, растущей по окоёмам пустыря, срубили правильную рогатину вышиною в человеческий рост и приторочили к ней две резиновые ленты, по ширине с мальчишескую пядь, а в длину развернувшиеся метра на три. Взамен кожного лоскута пошла подобранная на свалке насквозь промасленная машинистами шапка-ушанка.

Как бруствером, прикрываясь бугорком, от которого вниз сбегала тропа к свалке, Шульц, забуриваясь коловоротом и порция за порцией выдёргивая землю, проделал правильное, как труба, углубление, принявшее в себя весь по начало развилки ствол рогатины. Зарядили мостовиком — из тех, которыми вышибались решётки при воровстве арбузов. И засели за бруствером в засаде.

Уже стемнело, когда дрезина весело, как лошадка домой, накатывала в нашу сторону, поспешая по шабаше восвояси. Ярко осветив остеклённый куб, горела внутри пузатая голая лампа, такая же жизнерадостная, как и парочка вечно зубоскалящих вожатых.

По-бурлацки заваливаясь всем своим весом и прижимая к груди всунутый в шапку мостовик, Шульц взводил камнемётное орудие. Резиновые ленты гудели басом, дрезина, озарённая внутренним светом, задорно подвывая движком, стремительно приближа-

лась, а Шульц, упираясь каблуками, кряхтел, из последних сил отпячиваясь назад.

— По врагу... прямой наводкой... огонь! — скомандовал Шульц и выпустил ушанку. Он плюхнулся на задницу, но прежде чем он коснулся земли, дрезина, словно взорвавшись изнутри, оглушительно бабахнув, прыснула во все стороны стёклами и погасла. Перепуганные не на шутку, мы кинулись наутёк, и только Шульц, выдернув из приямка рогатину, пригибаясь, добежал до костра на свалке и, бросив её в огонь, привычно при отступлении держась позади нас, тоже дал дёру.

Как сильно пострадали те двое в дрезине, сказать не могу. Громких разбирательств не последовало, а значит, самого трагического с ними не случилось.

Несколько дней мы не решались появляться у свалки, но Шульц убедил, что прятаться — это почти что пойти и самим наступать на себя. И мы вернулись на свой пустырь и своё адмиралтейское болото с линкорами из шести шпал и двушпальными крейсерами.

Воскресла на подсобных путях и обновлённая дрезина. Кабину её обшили фанерой, оставив ветровые оконца. Те ли вожатые стояли за рычагами или кто-то другой, высмотреть не удалось. Никто больше не скалился, высовываясь из будки.



Инна Кирьякова

Москва

ВОСПОМИНАНИЯ О МАЙСКОЙ НОЧИ

Одно из детских воспоминаний, которое одновременно кажется мне совершенно невозможным и в той же мере помнится абсолютно реальным. Мне шесть лет. Конец мая, я с бабушкой и родителями на даче. Мы с местными девочками, которых не помню по прошлому году, играем на полянке около леса. Пенёчек под огромным кустом сирени, куклы и всякая мелочь: вертушки с цветочками из фольги, разноцветные прыгунчики на резиночках. Почему-то мы ссоримся. Почему? Не помню. Только помню мою обиду, и — "я с вами не пойду!", и вот я одна и раскладываю свои сокровища на пне ("обойдусь и без вас!").

Стемнело, потянуло сыростью ("лето будет холодным"). И вдруг из чьего-то дома — музыка, заставка программы "Время". Как же поздно! Я должна уже засыпать — хотя на самом деле, слушая эту мелодию в кровати, рассказываю себе сказки и интересные истории и пытаюсь услышать, о чем говорят взрослые на кухне-веранде.

Я похвatala свои игрушки, вскочила, задела ветку, и сиреневый куст кинул в меня первыми осыпавшимися цветками. Но... куда идти? Так темно!

— Девочка, ты что же на улице так поздно?

Такой добрый и заботливый голос.

— Я заблудилась!

Сказала и поняла, что так и есть — я даже не представляю в какую сторону бежать! А родители, конечно, уже волнуются и сердятся.

— Ну, пойдем, я тебя провожу.

Милая старушка в шерстяной кофте. У бабушки походя.

Я дала ей руку. Мы идём... Какие, оказывается, высокие деревья в посёлке. Я таких не замечала никогда. Окна почему-то нигде не горят, и тихо как. Неужели все спят?

— А вы знаете, где я живу?

— Конечно, деточка, я всё знаю...

И вот, наконец, за елками что-то засветилось. Домик, замшелая крыша, окошко за занавесками.

— Но мы не в таком доме живём...

— Сейчас, деточка. Вот возьму очки, а то вижу плохо. И пойдём искать твоих маму и папу.

Она держала меня за руку — очень цепко. Так и втянула на шаткое крыльцо, с тремя ступеньками и тонким половичком, и оставила на веранде.

Обстановка была обычная для дачи: старая мебель, клеенка на столе. Неосвещенная лесенка вела куда-то вверх. Там, наверно, лежат привезенные из города журналы, которые складывают в стопки и хранят годами...

Около стола были два деревянных стула и маленький диванчик. У стены застекленный шкафчик. На одной из полок посуда, а на другой — игрушки. Они стояли в ряд: куклы, клоуны, звери. И самое чудесное — сова. Очень маленькая, с круглыми милыми глазами.

— А почему мы не идём? (ох, скорее бы, знаю, что все уже волнуются, и мне хочется плакать).

— Сейчас, сейчас... Вот печку надо растопить, но-чи-то холодные... Дам тебе отварчик из трав (или отварчик из твар? Уже не помню...) и всё будет хорошо.

Нельзя брать чужое...

Было стыдно, но я так хотела сову!

Отодвинула стекло и схватила...

Старуха выглянула: как там гостья? Я поглядела на нее — какая же она оказалась страшная!

От стыда и ужаса я кинулась к двери, чуть не свалилась с крыльца. Деревья, цепкие сучья, сердце колотится от бега. И что-то бьется у меня в руках.

Я выронила сову, и та взлетела, вырастая и расправляя крылья, и хрипло кричала, и я бежала, бежала за ней, пока не услышала громкие, встревоженные голоса мамы и папы...

Родители и бабушка потом качали головами и угоривали меня:

— Тебе всё приснилось. Тебя папа оттуда на руках унёс, ты уже заснула, прямо на том же вашем пенёчке.

Заснула? А как же запах сырости, смешивающийся с запахом сирени, сыплющей на голову и за шиворот мелкие холодные цветочки? Хлопанье совиных крыльев, резкий крик, летящий в черное небо? Темнота выжидающего леса, треск веток под моими ногами, корни, хватающие за ремешки сандалий?..

Многие, полагаю, слышали, когда были маленькими, сказки о Сонникове — чудном маленьком человечке, который приходит к спящим детям. Приходит, становится в изголовье кровати, взмахивает руками — и над малышом появляется полупрозрачная (практически невидимая) лестница со сквозными дверками. Что за ними — не видно. Но, как нам всем рассказывали в детстве, за дверками — потаённые комнатки. В каждой что-то спрятано — страшное, смешное, непонятное... и везде — разное. А что именно — тут уж бывает всякое. История, предмет, существо. Или просто — Нечто.

Хороших деток приводят в светлые и уютные комнатки с добрыми сказками. А плохим достаются заброшенные помещения, тёмные, с гадким запахом и прячущимися под кроватями или в шкафу чудовищами. Радостной сон или тягостный кошмар — зависит от Сонникова...

Я боялась его в детстве. Когда же стала постарше, стала размышлять, прикидывать... Если он есть — его же можно увидеть, так?

Много раз я лежала ночью с закрытыми глазами, даже слегка похрапывала (нарочно, конечно). Никого! Он был хитрее меня и всё знал!

Хорошо же! Если его нельзя увидеть, то наверняка можно поймать? Вот только он устроится у меня за головой, а ловушка и захлопнется. Тут уж я не дам маху, решила я. Система веревочек, противовесов и пластмассового ведёрка с водой ждала Сонникова в эту ночь. Да, мне помогал папа, но основное я придумала сама! Получилось отлично.

Как назло всё никак не удавалось заснуть. Я представляла, как хитрый человечек попадает в западню, дёргает верёвочки, роняет ведро, пугается и окончательно запутывается! Представляла — и начинала улыбаться во весь рот. Нет-нет, я не желала зла Сонникову. Но мне хотелось его увидеть, поговорить с ним. Расспросить кое о чём. Он посылал мне странные сны, иногда — просто пугающие. У нас были общие темы для разговоров! И он заслужил свою западню.

И вот пришла дрёма, окутала тёплым покрывалом, затуманила мысли. Мне привиделась витая лесенка к луне, сквозные двери, тайны, которые я понимала сейчас, но не смогла бы рассказать — для них ещё не придумали слова. Видела хранилища снов, бесчисленное множество, полки, уходящие в темноту, целые ряды...

И тут мне показалось, что кто-то тронул одну из верёвочек... раздался тихий-тихий смех и потом — голосок, негромкий и весёлый:

— А Сонников умеет ходить по потолку...

И лёгкие шажки над головой. И — силуэт странного человечка на фоне огромной, как неразменная монета, полной луны.

Я крепко заснула, как будто опустилась куда-то глубоко-глубоко, где не было ни звуков, ни тревожащих мыслей и чувств. И до самого утра мне снился долгий-долгий, беспечальный и мирный сон, последний сон ушедшего в эту ночь детства...

Тихон (мой шестилетний сынок) и я сидели посреди речки — на островке, где был песок, дерево и немного травы. На десять шагов весь островок. Да и река мелкая, к дереву мы шли вброд, и было — мне чуть выше колена, Тишке по пузико — на самой большой глубине.

Сидели, болтали, пили прихваченную из дома воду, ели бутерброды, плескались. Из прибрежных склонов в воду стекали ледяные подземные ручейки, и река была холодной. А июньское солнце — жарким. Дерево давало кое-какую тень, и, таким образом, всё пребывало в некоей гармонии.

А мы — слово за слово... и вот разговор пошёл о пиратах, картах сокровищ, письмах в бутылках.

Я вспомнила, как в школе «старила» бумагу — чаем. Тишке, конечно, тоже захотелось. Написать письмо... Еще можно сделать самим чернила. А если с какой-нибудь бутылки снять этикетку, она легко сойдёт за старинную.

— А клад?

— Да, вот клад... Скверно выйдет, если люди откроют письмо, найдут нужное место, а сокровищ-то и нет.

Сын кивнул.

— Ну, давай выроем тут яму. Закопаем что-нибудь. У нас сокровищ тоже нет, подберём что-нибудь такое... чего не жаль. Но и не так чтобы совсем ерунду.

Так и сделали.

Была у нас игрушка... не очень он ее любил. Лисица из пластмассы, немного облезлая... не то чтобы совсем, но видно, что лучшая пора её жизни миновала. Вот её и решили закопать.

— Может быть в тишине ей даже лучше будет. Отдохнёт... — вздохнул сын.

Может быть и отдохнёт... От чего только?

Словом, так всё и сделали. И письма написали, несколько штук. И отправили их по реке. «Пусти свой хлеб по водам...»... Что бы это ни значило в нашем случае.

А потом всё как-то забылось. И похолодало — не до купаний. И ездили мы в этом году ещё только разок на речку, и на другое место. И в следующем тоже не попали на остров. Вспоминали время от времени... но и всё на этом.

А вот ещё через год...

— Ма, ну что? На остров, что ли? — солидно спрашивает Тихон (теперь уже третьеклассник).

— Давай!

— Ма... — вполголоса. — А лису будем раскапывать?

Я вздохнула: да надо бы...

Нашли его старую лопатку. Взяли попить, несколько бутербродов — и на речку.

...Получается, выловил кто-то наше послание. Нашёл точно указанное место. Наверное так — иначе как ещё объяснить-то?

В ямке, на оставленной нами подстилочке — уже не разберёшь из чего — возлежала лиса. Такая же потертая. Хотя, возможно, и несколько отдохнувшая.

А рядом с ней — три лисёнка. Ярко-рыжие, с изящно подвёрнутыми хвостами. Они как будто ждали, когда же к ним придёт солнце и их достанут, вынесут на ясный свет — играть, веселиться, жить...

ПЬЕСА

Станислав Федотов

г. Реутов, Московск. обл.

ЗАБЫТЬ ПОТЁМКИНА!
(Драматическая версия
в двух действиях)



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЕКАТЕРИНА
ПОТЁМКИН
ЗУБОВ
НАРЫШКИНА
САЛТЫКОВ
САЛТЫКОВА
ВАЛЕРИАН
БЕЗБОРОДКО
ХРАПОВИЦКИЙ
МАМОНОВ-ДМИТРИЕВ
СЕГЮР
ПОПОВ
ПАВЕЛ
ЗАХАР
ДОКТОР

Пролог

Спальня императрицы. В канделябре горит оплывшая свеча. Она слабо освещает мощную фигуру в длинной ночной рубашке у синеющего рассветом окна: это ПОТЁМКИН. Он смотрит в окно словно с высоты — вниз, на землю, смотрит уже давно...

На кровати — шевеление: просыпается ЕКАТЕРИНА.

ЕКАТЕРИНА (*говорит по-русски, старательно борясь с акцентом, иногда неправильно ставя ударения*). Гришенька, богатырь мой ласковый, сердце мое, где ты?

ПОТЁМКИН (*после паузы*). Здесь, матушка государыня...

ЕКАТЕРИНА. Опять задумался? Опять «матушка государыня»? Чай, не на людях — мог бы и поласкочить... Ну иди ко мне, обними крепче, шепни слово нежное, как ввечер шептал... Иди, миленькой...

ПОТЁМКИН *встряхнулся, словно сбросил груз, идет к раскрытым объятиям ЕКАТЕРИНЫ, страстно обнимает ее, целует... целует... Она отвечает.*

(*Задыхаясь.*) Так! Так! Еще крепче!.. О-о, как хорошо-о...

ПОТЁМКИН. Моя! Моя Като! Катенька!

ЕКАТЕРИНА. Твоя, сладкий мой! Вся твоя!

ПОТЁМКИН. Десять лет ждал тебя... Любил... Всегда любил...

ЕКАТЕРИНА. Свечу... свечу погаси...

ПОТЁМКИН. Пушай горит!..

ЕКАТЕРИНА. Стыдно, боязно... Увидишь при свете бабу голую, сорокалетнюю... Мужики глазами любят...

ПОТЁМКИН. У нас с тобой глаза разные...

ЕКАТЕРИНА. Все равно погаси...

ПОТЁМКИН. Да уж день начинается.

Стук в дверь. ПОТЁМКИНА словно подбрасывает.

Какого дьявола! Кто посмел?!

ЕКАТЕРИНА. Прости, Гришенька, это, должно быть, княгиня Салтыкова. Мы ввечер сговорились, что зайдет она до забот наших утрешних, погадает...

ПОТЁМКИН. Да нешто она гадалка? Слухи ползют: юродивая она, кликуша...

Стук повторяется.

Вот я ее сейчас... (*Направляется к двери.*)

ЕКАТЕРИНА. Гриша... (*Властно.*) Григорий Александрыч! Остынь!

ПОТЁМКИН *останавливается. Возвращается, надевает халат.*

Привык на турок в атаку бросаться... А здесь — двор императорский, у него свои законы...

ГОЛОС. Ваше величество, матушка-государыня...

ЕКАТЕРИНА. Ты будь приветлив и к тебе будут милы. Мне иногда выть хочется, а я улыбаюсь. Вот так вот, мой генерал... Приглашай княгиню, хватит ее под дверь держать, неловко...

ПОТЁМКИН. Как прикажешь, матушка. (*Впускает САЛТЫКОВУ. Екатерине.*) Вольно тебе шарлатанству потакать, а меня от ее гаданий избавь. (*Хочет выйти.*)

САЛТЫКОВА. Не гадалка я, Григорий Александрыч, и не шарлатанка. Мне Бог глаза открывает на дни грядущие, а верить или не верить — дело каждого. (*К Екатерине.*) Позволь, матушка, ручку поцеловать, здоровья пожелать благодетельнице. (*Целует руку.*)

ЕКАТЕРИНА. Готова ли, Наталья Владимировна?

САЛТЫКОВА. Я-то готова. А вот ты, государыня, в силах ли правду принять? Я ведь не ведаю, что мне отверзнется, а врати — Бог не велит. Зело грешно!

ПОТЁМКИН. Ну, коли врати не станешь, тогда и я послушаю. (*Возвращается к окну.*)

ЕКАТЕРИНА. Вот и славно! (*Салтыковой.*) Ты, княгиня, меня знаешь. Как бы я ни гневалась, а за правду, пусть даже горькую самую, никто при мне головы не лишился. Делай, что надобно, и говори без утайки. (*Встает с постели и подходит к Потёмкину, будто хочет что-то сказать, однако ничего не говорит и садится на банкетку перед зеркалом.*)

САЛТЫКОВА *готовится: откуда-то из-под кружев на платье извлекла флакон, несколько раз понюхала до слез, прошлась, проверяя ощущения, ощупывая руками пространство, кажется, нашла, что требуется — остановилась, закрыла глаза...*

ЕКАТЕРИНА *следит за ней с напряженным вниманием, ПОТЁМКИН — с усмешкой.*

ПОТЁМКИН. Знаешь, матушка, об чем я жалею? Что нет здесь Вольтера и Дидерота. Вот уж повеселились бы философы. Ты отпиши им про сие гадание.

ЕКАТЕРИНА отмахивается.

САЛТЫКОВА (*сомнамбулически*). Тьма... тьма египетская... зги не видно... Боже милостивый, не оставь рабу твою... дозвожь душе моей грешной узреть дни грядущие... не себя ради прошу... Есть! Есть, Господи!.. Ви-и-жу-у...

ПОТЁМКИН (*презрительно*). Кликуша, дьявольское отродье!

ЕКАТЕРИНА (*перебивает, просяще*). Гриша!..

САЛТЫКОВА приходит в себя, осматривается.

Друг мой, Наталья Владимировна, мы ждем.

САЛТЫКОВА (*целует ей руку*). Ваше величество, дозвольте с глазу на глаз...

ЕКАТЕРИНА (*взглянув на Потёмкина*). От князя у меня секретов нет.

САЛТЫКОВА. Боюсь прогневить ваше величество...

ПОТЁМКИН. Да наврет она, матушка государыня, а ты и поверишь...

САЛТЫКОВА. Врачи врут, ваша светлость, а мне ясновидение от Бога дадено...

ПОТЁМКИН. Врачи не врут, а верой лечат.

САЛТЫКОВА. Ну, не обессудьте... Видела я, матушка, славу твою растущую день ото дня, победы военные — над турками, шведами... Празднества великие... А рядом с тобой — красавцы молодые, статные... Один, потом другой... третий... И с каждым ты ласкова, приветлива, глазки твои так и сияют.

ЕКАТЕРИНА (*растерявшись*) А... князь? Он-то где?!

САЛТЫКОВА. Тут князь Григорий, тут, но... как бы сзади, за тобой...

ПОТЁМКИН захохотал, зло, обидно и пошел к выходу.

ЕКАТЕРИНА Григорий Александрыч... подожди, не уходи...

ПОТЁМКИН выходит, даже не оглянувшись.

(*Со слезами.*) Что же ты наговорила, княгиня?! Что ты наговорила!

САЛТЫКОВА. Никакого наговора, матушка — одна голимая правда!

ЕКАТЕРИНА. А я и уши развесила. Злобствуешь, княгиня, мстишь князю за неверие его!

САЛТЫКОВА. Неправедный гнев твой, государыня. Позволь мне удалиться?

ЕКАТЕРИНА (*вставая, гневно*). Да уж сделай такую милость. Гордыня твоя паче совести.

САЛТЫКОВА. Твоя воля судить, государыня, только бессовестной называть меня не к лицу...

ЕКАТЕРИНА. Ступай, княгиня, отдохни в имении своем. Пока не призову.

САЛТЫКОВА кланяется и уходит.

(*Мечется по спальне, бросается к шнуру звонка, дергает несколько раз так сильно, что обрывает шнур.*) Захар! Захар!

Входит камердинер ЗАХАР, кланяется.

ЗАХАР. Доброе утро, матушка.

ЕКАТЕРИНА. Где князь Григорий?

ЗАХАР. У себя должен быть. Он, как от тебя выскочил, так в свои апартаменты чуть ли не бегом. Я, бы-

ло, сунулся — он глазом своим как сверканет! Ожжег, ей-бо, ожжег...

ЕКАТЕРИНА. Зови! Айн момент ко мне!

ЗАХАР убегает.

(*Нервно ходит.*) Дура! Боже, какая дура! Мало тебя учили!.. (*Бросается ничком на постель, но тут же садится.*) Уедет! Возьмет сейчас и уедет куда-нибудь, а я останусь... (*Всхлипывает.*) Одна... Совсем одна... О майн гот! (*Плачет, привалясь к столбику балдахина.*)

Входит ПОТЁМКИН, видит плачущую ЕКАТЕРИНУ, бросается к ней.

Гришенька! (*Судорожно обнимает его, целует.*) Вернулся, радость моя! Говори, что ты хочешь, — все сделаю! Все! Только не оставляй! Кем ты хочешь быть? Фельдмаршалом? Герцогом? Скажи!..

ПОТЁМКИН. Я знаю, кем не хочу быть.

ЕКАТЕРИНА. Кем, кем ты не хочешь быть?

ПОТЁМКИН. Очередным. Пять у тебя кобелей было, или пятнадцать — разницы нет. Я не хочу быть очередным!

ЕКАТЕРИНА. Ты — мой последний!

ПОТЁМКИН. Ясновидица твоя другое сказывала...

ЕКАТЕРИНА. А ты и поверил! Я-то думала развлечь тебя, а вышло...

ПОТЁМКИН. Я не Орлов, не Васильчиков — развлечения не ищу. А надо будет — развлекусь, и тебе весело станет. Я не ради постели пришел, не за подачками из твоих рук — дела хочу по плечу, другом твоим хочу быть, опорой надежной. И от тебя жду того же. А ты меня Салтыковой потчуешь...

ЕКАТЕРИНА. Гриша, сласть моя, хочешь, обвенчаемся? Орлов сколь добивался мужем стать законным, императором наследным, а я не допустила. Тебя — сама зову. Хочешь?

ПОТЁМКИН. Императором — рылом не вышел. Завистники тут же голову оторвут, и тебе — заодно. А венчаться?.. (*Пауза.*) Хочу! Только — тайно. Тогда уж точно будет: перед Богом я у тебя — последний.

ЕКАТЕРИНА. Едем. Немедля!

ПОТЁМКИН. Куда?

ЕКАТЕРИНА. Прокатимся на санках. На Выборгскую сторону. Есть там церквушка... Я возьму Евграфа Черткова и Марью Савишну. Самые надежные... А ты?

ПОТЁМКИН. Сашка Самойлов, племяш мой, за дьячка сойдет?

ЕКАТЕРИНА (*счастливо смеется*). Сойдет! (*Зовет.*) Захар! Захар!..

Появляется ЗАХАР.

Вели закладывать лошадей: мы с князем покатаемся. Да пошли за Марьей Савишной, Чертковым и Самойловым. Они нас сопровождают.

ЗАХАР выходит.

(*Берет Потёмкина за руки, смотрит в глаза.*) Ну, здравствуй, мой последний! Единственный!

Целуются. Затемнение. Тихое церковное пение, на фоне которого голос священника: «Согласен ли ты, раб Божий Григорий, взять в жены рабу Божью Екатерину?» Голос Потёмкина: «Да.» «Согласна ли ты, раба Божья Екатерина, взять в мужа раба Божьего Григория?» Голос Екатерины: «Да!» Эхом отдается: да... да... да...

Действие первое

Уголок царскосельского сада. Лето. Раннее утро. Ротмистр ЗУБОВ, дежурный по дворцу, наблюдает из окна, как прогуливается ЕКАТЕРИНА. Она уже не та, что была в первой сцене, — огрузнела, поникла.

Сзади к ЗУБОВУ неслышно подходит сановный старик, выглядывает через плечо в окно, качает головой. Это — САЛТЫКОВ.

САЛТЫКОВ. Любуешься, Платоша? Хе-хе-хе...

ЗУБОВ (*отпрянул от неожиданности, схватился за саблю*). Кто тут?! (*Узнал, оправился.*) Виноват... Желаю здравствовать, ваше высокопревосходительство!

САЛТЫКОВ. Ну-ну, без церемоний. Али мы не свои?

ЗУБОВ. Я на дежурстве, ваша светлость, и субординацию знаю: кто есть генерал князь Салтыков и кто — ротмистр Zubov.

САЛТЫКОВ. Знаешь и — хорошо. Хе-хе... (*Оглядывает Зубова.*) Ротмистр, конногвардеец — там это любят... А титулы — дело у нас наживное, всё, брат, от тебя зависит. Но ты, гляжу, чтой-то нынче не в себе... пожеванный, что ли... Хе-хе-хе. Гляди, не истрепись до срока, не то и лекарства иноземные не помогут. Слышал, небось, про Сашку-то Ланского? Помер, сердешный, от переусердия. На службе государыне. Ха-ха-ха-кх-кх...

ЗУБОВ (*скромно потупясь*). Я, ваша светлость, не истреплюсь. Берегу себя, блюду. (*Смотрит в окно.*)

САЛТЫКОВ. Помирает от любви мальчик! Ишь, зардел даже, что твоя красна девица... Красней, красней, это тоже нравится. Хе-хе... Ладно, толкуй, дежурный, что нового, кого видел.

ЗУБОВ (*кивнув на окно*). Вот, нынче Господь счастье послал... Как на прогулку выходить изволила, случайно повстречаться довелось...

К ЕКАТЕРИНЕ подошла дама с букетом цветов. Они присели на скамейку, беседуют, перебирая цветы.

САЛТЫКОВ (*глядит в окно*). Случайно?! Хе-хе... Со мной, брат, не финти. Со мной начистоту надо... Был замечен?

ЗУБОВ. Господь помог, ваша светлость. Изволила головкой ласково кивнуть и далее проследовала... В большой задумчивости пребывает.

САЛТЫКОВ. Задумаешься тут! Мамонов-то-Дмитриев, граф свежепеченный, с фрейлиной Щербатовой махається.

ЗУБОВ. Неужто правда, ваша светлость?!

САЛТЫКОВ. Полгода уже, поди, матушке-государыне от него ни тепло, ни холодно. А он еще ревновать смеет ее, голубушку нашу бедную. Ей-ей, собака на сене. (*Усаживается в кресло.*) Совсем стыд потерял!

ЗУБОВ. Верно говорят: стыд глаза не выест.

САЛТЫКОВ (*смотрит на него, пауза*). А сваты уже зашевелились. Есть тут преображенец отставной, Казаринов, об нем хлопочут много, особливо «потёмкинцы»...

ЗУБОВ. Да что в нем хорошего, в отставном!

САЛТЫКОВ. Не скажи — отставники много чего могут... Милорадовича граф Безбородко сватает. Курляндец Менгден фертом ходит, да еще кой-кто имеется... Целый бой идет!

ЗУБОВ. Где же мне с ними тягаться, ваша светлость! Я человек маленькой...

САЛТЫКОВ. Маленькая пташка по зернышку клюет. А? Хе-хе-хе... (*Кивнув на окно.*) Даму эту, что возле государыни, знаешь?

ЗУБОВ. Как не знать! Наперсница ея величества, Анна Никитишна Нарышкина. Вчерась беседовать со мной изволила...

САЛТЫКОВ. Ишь, тихой, маленькой, а фортуна за хвост хватается. И об чем она с тобой беседу вела?

ЗУБОВ. Да о том же, ваша светлость, об чем вы... Не по нраву ей «потёмкинцы»... (*Глядя в окно.*) О, кажись, к вам направилась.

САЛТЫКОВ (*вскакивая*). Кто? Государыня?

ЗУБОВ. Никак нет, Анна Никитишна. Она за кусточком постояла, покуда матушка удалилась, и к подъезду вашему поспешила.

САЛТЫКОВ (*падая в кресло*). Ох-хо-хо, это она Наталье моей новостишку понесла... Недолго «Мамона» повластвовал, недолго. И то — слышал? — под благодетеля своего подкапываться стал, под самого светлейшего. Тоже мне — «потёмкинец»! Ха-ха-ха-кх-кх... За такие дела на гвоздик его повесить надобно... за одно место. Где ж это видано — благодетелей не помнить! Ты, поди-ка, тоже такой будешь, а?

ЗУБОВ (*чуть не плача от преданности*). Да ваша светлость!.. Да разве я посмею... Раб ваш по гроб жизни... Пусть Господь слышит! (*Ловит руку для поцелуя.*)

САЛТЫКОВ (*не отнимая руки*). Будет, будет, не заклинаясь. Забыл, как передо мной разливался, чтоб командование караульное заполучить? И семья-то у вас большая, беспоместная, и без чинов все, а тут выслуга появится... У-у, плут! Кх-кх-кх... Уже тогда иное чуюл, али позжег нахвталася? (*Притягивает Зубова за перевязь сабли.*) Признавайся! Начистоту!

ЗУБОВ не успевает ответить: входят САЛТЫКОВА и НАРЫШКИНА.

САЛТЫКОВА. Свет мой, Николай Иваныч, что ж ты, аки пес цепной Шешковский, такого мальчика на дыбу тянешь?

ЗУБОВ (*подлетая к ним*). Наталья Владимировна, Анна Никитишна, позвольте ручку... позвольте... (*Целует дамам руки.*) И никакая это не дыба! Николай Иваныч по-отцовски... уму-разуму научает...

САЛТЫКОВ здороваётся с НАРЫШКИНОЙ по-свои-ски. Дамы садятся на мягкую скамеечку. ЗУБОВ остаётся у окна, изредка поглядывая в сад.

САЛТЫКОВА. Ну, Николай Иваныч, кажись, мой день пришел! Светлейший в войне с турками завяз — не дотянется, государыня — в полном расстройстве из-за «Мамоны» своего, дурака чванливого...

НАРЫШКИНА. Потому и податлива, как никогда допрежь.

САЛТЫКОВА. Вот-вот. Момент самый подходящий своего человечка ей подставить. Другого может не быть.

НАРЫШКИНА. Платон Александрыч, белье-то пригостили, как я вам сказывала?

ЗУБОВ. Да неужто надежда есть? Сердце аж захопонуло...

САЛТЫКОВ. Никитишна, брат, на три аршина под землей видит, что нужд матушки нашей касаемо, особливо по сердечной части. Хе-хе-хе... *(Нарышкиной.)* Неужто решитесь нового друга не из рук светлейшего принимать? Вот ведь гусь! Сам и двух лет не побыл возле государыни, а такую власть над ней заимел. Всё ей предписывает: и на кого как смотреть, и с кем как разговаривать...

ЗУБОВ. Да как же она терпит этакого деспота?!

НАРЫШКИНА. Терпела, голубчик, терпела. Всё, бывало, говорила: «Полезь от Григория Александрыча больше, нежели урону». Но вот в приезд его прошлый конфузия вышла.

САЛТЫКОВ. Конфузия? А нам про то и не ведомо.

НАРЫШКИНА. Да я сама только-только узнала. Скрывала матушка, князя своего оберегала... Помнишь, Николай Иваныч, на большом приеме тогда посол австрийский матушке панегирики пел, мелким бесом рассыпался?

САЛТЫКОВ. Ну и что? Это дело обычное.

НАРЫШКИНА. А князь после приема возьми и выговори матушке: мол, допрежь она и тонкую лесть запрещала, а теперича грубой потакает, себя, мол, унижает. Матушка и возмутись: «Что ж, — говорит, — меня и похвалить не за что?»

САЛТЫКОВ. А что князь-то, что?

НАРЫШКИНА. А князь тут такое сказанул, такое... Голубушка наша, как вспомнила нынче, так и слезки из глаз — кап-кап-кап...

ЗУБОВ. Да я бы его за одно это...

САЛТЫКОВ. Не тьяни, Никитишна, досказывай анекдотец.

НАРЫШКИНА. «Хвала тебе, матушка, — это князь говорил, — хвала тебе, матушка, за то, что есть у тебя Румянцев Петр Александрыч, Орлов Алексей, Суворов, аз, грешный, и другие, коим ты трудиться не мешаешь во славу твою и российскую. А одна ты что бы сделала?»

САЛТЫКОВ. Нда-а...

НАРЫШКИНА. С той поры и потянулась ниточка. Письма всё реже пишут. Раньше-то он — ей, она тут же — ему. Курьеры — туда-сюда, туда-сюда...

Пока они разговаривали, САЛТЫКОВА пребывает в задумчивости. Она как будто и не слышит, о чем говорят. А тут — словно очнулась.

САЛТЫКОВА. Да, другого случая не будет. С графом государыня решила кончать, а новым будет Платоша. Мы уж расстараяемся. *(Нарышкиной)* А ведь всё сбывается, Анна Никитишна. И Петька Завадовский был, и Зорич, и Ланской... Я их тогда по именам не знала, а обличье запомнила. Платошенька последний появился. Последний!

ЗУБОВ, словно примеряя предстоящую роль, даже в лице изменяется.

НАРЫШКИНА. Наталья Владимировна, свет мой, так ведь только Римский-Корсаков на Брюсихе погорел, я к матушке кинулась: мол, вернуть надо княгиню Наталью из ссылки неправедной, виденье-то, мол, сбывается. Но она в такой дешперации была из-за измены Римского!.. Тогда и посыпались эти... подёнки... Страх, Архаров, Стахив...

САЛТЫКОВ. Ха-ха-ха... Вот уж точно — подёнки. Иных и в лицо не успевали узнать. Ха-ха-ха-кх-кх ... Ой, не могу! Подёнки!..

НАРЫШКИНА. А я всё говорила ей, всё говорила... а она всё отмахивалась, покуда с Ланским не успокоилась. Тогда и меня послушала.

САЛТЫКОВА. Хорошо, что напомнила, Анна Никитишна. На днях семь лет будет, как государыня простила меня, грешную, и ко двору допустила. У нас и сувенирчик тебе по такому случаю приготовлен.

НАРЫШКИНА. Что же это? Ну, скажи, скажи, голубушка Наталья Владимировна, я же ночей спать не буду. Страсть как люблю сувениры!

САЛТЫКОВА. Ладно, не только скажу, но и отдам сей же час. Только, Анна Никитишна, душа моя, дело с Платоном Александрычем доведи до конца. Сколь возможно быстро. *(Встает, чтобы уходить.)*

НАРЫШКИНА *(спеша следом, Зубову)*. Платон Александрыч, милый, ты ко мне загляни вечерком — чаем напою. *(Уходит за Салтыковой.)*

ЗУБОВ. Ох, просто не верится, ваша светлость. И во сне не снилось!

САЛТЫКОВ. Жаль, далече князь Таврический. А хотелось бы на рожу его одноглазую поглядеть, как сведает, что иными ты поставлен, не его милостью. Однако, ежели бы тут он был, вряд ли бы ты попал на место графа. Это тоже не забывай.

ЗУБОВ *(злбно)*. Дайте срок, посчитаюсь я с Потёмкиным за матушку-государыню. За все ее унижения!

САЛТЫКОВ. Ха-ха! Еще один Давид выискался! Кх-кх-кх... Ладно, умно поведешь себя, может, и свалишь Голиафа. С нашей помощью.

ЗУБОВ. На вас лишь и уповаю, ваша светлость!

САЛТЫКОВ. Бабы тебе дорожку выстелят, а опорой буду только я. Понял?

ЗУБОВ. Поучите, ради бога, как сына родного...

САЛТЫКОВ. Деньги береги! Поначалу наша матушка щедра будет, ох щедра! И золотом осыплет, и дома даст, и людишек не пожалеет. А ты лови на лету... да угождай... да своих не забывай, кому счастьем обязан... Меня с княгиней...

ЗУБОВ, Ваша светлость! *(Падает на колени, неожиданно плачет.)*

САЛТЫКОВ *(искренне удивлен)*. Встань, не бабься. Радость тебе предстоит, а не слезы. Никитишну не забудь. Вишь, как она супирчики-сувенирчики любит.

ЗУБОВ. Не забуду, ваша светлость. Как можно! *(Встает, вытирает слезы. Вздыхает глубоко под внимательным-изучающим взглядом Салтыкова.)* Я ей сказывал: ежели Бог удачу пошлет, последнее, мол, тому отдам, кто поможет... Много раз сказывал.

САЛТЫКОВ. Нда-а... Тебя, братец, и учить мало чему надобно... Однако вот скоро к Степановне, к Протасовой, на пробу попадешь — с той как быть, слышал ли?

ЗУБОВ. Толкуют много, да как бы промаха не сделать?

САЛТЫКОВ. Промаха?! Ха-ха-ха! Тут промахов не полагается. Наоборот! Она — баба бывалая, черта не испугается...

ЗУБОВ. Так, стало, робеть не надо?

САЛТЫКОВ. Помилуй бог! Не скиксуешь, поддержишь конногвардейскую славу — она тебя всяким обхождениям научит, какие дамам зрелого возраста приятны. Ох и бестия! Неспроста ее испытательницей кличут — смотри, не осрамись.

ЗУБОВ. Уж буду стараться. Так стараться!..

САЛТЫКОВ. Помни еще: матушка наша всякий раз надежду имеет — нового друга в деле государственном испытать. Может, потому Потёмкин столько лет и держится, что равного ему по делам не находится. Как его ни клянут, как ни шельмуют за выходки его, за капризы и грубость, а сколь он за пятнадцать лет наворочал — кому сие под силу? И генерал боевой — турок малым числом всегда побивал, и наместник отменный. Новую Россию закладывает на берегах черноморских. Князь Таврический!

ЗУБОВ *(со злой иронией)*. Да вы влюблены в него, ваше сиятельство. Как же супротив идете?

САЛТЫКОВ. Он останется в истории, а я... Хе-хе-хе... Ты вот возмечтал со светлейшим тягаться — дерзни. Вдруг да толк на сей раз выйдет? Пользу какую увидим из тебя — государству российскому... и нам, старикам... Хе-хе-хе...

ЗУБОВ. Слов нету — благодарность выразить! *(Припадает к руке.)*

САЛТЫКОВ. Вижу: весьма не терпится тебе на место заступить. *(Крестит его, вздыхает.)* Бог в помощь! *Затемнение.*

Будуар ЕКАТЕРИНЫ. Хозяйка перед зеркалом, занимается утренним туалетом. На докладе — граф БЕЗБОРОДКО,

ЕКАТЕРИНА. Александр Андреевич, будь такой добренький, подай лед из ведерка.

БЕЗБОРОДКО подает кусок льда. ЕКАТЕРИНА растирает щеки, лоб.

Говоришь: тридцать-сорок кораблей шведских идут к Петербургу?

БЕЗБОРОДКО. Да, ваше величество. Количество уточняется. Но не меньше тридцати.

ЕКАТЕРИНА *(неожиданно бьет льдом по столу)*. Нет, какова дерзость! Что он о себе возомнил, этот толстый Густав? Ежели мы поначалу терпим неудачи, так он думает теперь напугать нас флотилией своей? Дожили! Что ж генералы мои, Мусин-Пушкин, Михельсон? Позволить разбить себя! И кому? Шведам! Да еще малым числом! Так осрамить наше оружие! Не-ет, был бы здесь светлейший, он бы им показал, где кузькина мать зимует!

БЕЗБОРОДКО. Раки, государыня,

ЕКАТЕРИНА *(вскакивает)*. Что?!

БЕЗБОРОДКО *(невозмутимо)*. Где раки зимуют. Или — кузькину мать. Что-нибудь одно.

ЕКАТЕРИНА *(убежденно)*. Он бы им показал всё сразу! *(Энергично ходит по будуару.)* Двадцать семь лет я такого известия не получала. Два дни места себе не нахожу... Однако — пушай берегутся! На нападающего — сам Бог! Я им покажу! Войска собираются. Мы их с суши и с моря так подопрем... так подопрем, что им станет ни жарко, ни холодно!

БЕЗБОРОДКО. Жарко, государыня.

ЕКАТЕРИНА *(не заметив)*. Да. Я беру на себя ведение этой войны. Что не так — светлейший подсказет...

БЕЗБОРОДКО. Далековато светлейший, а шведы — рядом.

ЕКАТЕРИНА. Есть еще принц Нассау-Зигенский. Удачлив в сражениях...

БЕЗБОРОДКО. В Европе говорят: при Екатерине Великой Россия все войны ведет не русским умом.

ЕКАТЕРИНА. Глупости! Я горжусь, что я — русская императрица! Принц Нассау тоже заметно обрусел. И академик Эйлер... и другие... В России нельзя не стать русским. Если, конечно, любишь ее... как я люблю...

БЕЗБОРОДКО. Вы правы, ваше величество. Хотя есть и обратные примеры.

ЕКАТЕРИНА. Да, толкуют, что каждый из моих вельмож от иноземных дворов получает хорошие поминки, если не постоянные субсидии. Покуда не во вред делам российским — терплю. Тебя, граф, это не касается: Александр Андреич Безбородко, как жена Цезаря, вне подозрений. *(Смеется.)*

БЕЗБОРОДКО. Благодарствуйте, ваше величество.

ЕКАТЕРИНА. Скажи-ка мне лучше: тебя не удивила столь поспешная диверсия шведов? С чего это вдруг наступать начали?

БЕЗБОРОДКО. Они получили субсидии от французского короля.

ЕКАТЕРИНА *(пренебрежительно)*. Субсидии? Надолго ли им хватит? А мы без субсидий обойдемся. Мое маленькое хозяйство довольно богато, чтобы побеждать без чужих подачек... Да пусть вся Европа пойдет на нас — Россия всё выдержит, всё отразит! Кроме Господа, никого и ничего не опасаясь на свете, ибо всегда помню, что за мной стоит Россия!

БЕЗБОРОДКО. Аминь, государыня.

ЕКАТЕРИНА *(смеется)*. Аминь, Андреич, аминь... Каждый раз ты меня спускаешь на землю, спасибо. *(Пауза. Екатерина снова садится к зеркалу.)* А в Париж отпиши: их посол в Стамбуле противу нас интригует, я хотела бы знать — с одобрения версальского двора, али на свой страх. И Сегюр, так обласканный мною, сообщает неточные извлечения из депеш, получаемых им из Стамбула, от Шуазеля... Уверял в дружбе, в любви... Впрочем... *(Поникнув.)* Коли своим не стыдно, что ж с чужих взыскивать?! Бог с ним. Впредь буду осторожнее.

БЕЗБОРОДКО. Ваше величество, племянник мой приехал из Миргорода, Григорий Милорадович...

ЕКАТЕРИНА. Помню, помню... красивый паренек. А зачем пожаловал? *(Внимательно смотрит на графа.)* И ты, Брут? Ладно, поглядим. Ступай.

БЕЗБОРОДКО, поклонившись, уходит. ЕКАТЕРИНА вглядывается в свое изображение, на глазах превращаясь из бодрой подтянутой женщины во что-то старое, расплывчатое. Потом звонит.

ЗАХАР *(входит, сразу схватывает ее состояние)*. Нездоровится, матушка? Я лекаря кликну...

ЕКАТЕРИНА. Не надо, Захарушка... Колика подступила. Подай воды... *(Отпивает из поданного стакана.)* Вот и полегчало. Благодарствуй. Откажи там всем, ежели ждут...

ЗАХАР. В постельку вам надо...

ЕКАТЕРИНА. Позови Анну Никитишну... Мы сговаривались с ней, ждет, поди, у себя... Скажи: прошу ее... Ступай. И успокойся: видишь, легче мне... *(Заставляет себя приободриться.)*

ЗАХАР. Слушаю, матушка... Иду... *(Уходит, озабоченный.)*

ЕКАТЕРИНА снова вглядывается в зеркало.
Свет пригасает.

Походная ставка ПОТЁМКИНА. Часть шатра. За занавесью — кровать. С нашей стороны — стол, заваленный бумагами, возле него два простых стула и отдельно — вольтеровское кресло. В кресле, лицом к зрителям, сидит секретарь Потёмкина ПОПОВ с сафьяновым зеленым портфелем на коленях. Глаза прикрыты, кажется, он дремлет.

Где-то далеко кукарекнул петух, и сразу же тяжело заворочался, заскрипел кроватью невидимый нам ПОТЁМКИН.

Голос ПОТЁМКИНА. Попов... Василь Степаныч...

ПОПОВ *(не шевелясь)*. Здесь, ваша светлость. *(Достает из жилетного кармана часы и приоткрывает один глаз.)* Еще пять минут, Григорий Александрыч. *(Закрывает глаз и прячет часы.)*

ПОТЁМКИН. Сон приснился скверный. Будто зубы у меня загнили, сразу несколько...

ПОПОВ. С болью?

ПОТЁМКИН. Пока нет, но поднавывает. Будто клюквы переел. К чему это, знаешь?

ПОПОВ. Я в сны не верю.

ПОТЁМКИН. Чего ж про боль спрашивал?

ПОПОВ. Пожалеть хотел. Русский человек любит, когда его жалеют.

ПОТЁМКИН. Тогда жaley

ПОПОВ *(смотрит на часы)*. В другой раз, ваша светлость. Подъем! *(Встает, потягивается.)*

Сразу же начинает играть музыка: где-то неподалеку оркестр исполняет пьесу Моцарта.

ПОТЁМКИН *(садится, свесив босые ноги — они видны из-за занавеси, — громко зевает)*. Изверг ты, а не секретарь. Мы вчера до сколько работали? До часу пополночи. А сейчас сколько?

ПОПОВ. И вчера, и позавчера вы, ваша светлость, были не в духе, бездельничали, капризничали, вымещали на мне свою хандру великую. Об этом весь штаб знает.

ПОТЁМКИН *(смеется)*. Потому никто и не лез, не мешал — боялись! Зато мы с тобой столько всего успели... *(Зевает.)* А похандрить, да всамделишно, так охота, Степаныч, так охота — слов нет! Клюковки бы сюда морозной, кинуть в рот горстку малую и катать по языку, катать до полного его онемения... Нешто послать за ней?

ПОПОВ. Какая же клюква в июне? Да еще морозная!.. Принимать нынче будете?

ПОТЁМКИН. Не-а. Еще не всё срочное изделали. Похандрю чуток... Что ж это значит — с зубами-то? Вот морока! *(Встает, выходит, запахивая халат.)* Письма, реляции есть?

ПОПОВ *(достает из папки пакет)*. Письмо из Петербурга.

ПОТЁМКИН *встрепенулся радостно, потянулся к пакету*.

Не от государыни.

ПОТЁМКИН *(угаснув)*. Тогда сам читай.

ПОПОВ *(читает на пакете)*. «В собственные светлейшего князя Потёмкина-Таврического руки». А от кого — не сказано.

ПОТЁМКИН. Давай. *(Разрывает пакет, читает письмо, на глазах угрюмея. Затем — яростно.)* Ну, сукин сын! *(Швыряет письмо. Попов подхватывает на лету, заглядывает в текст.)*

ПОПОВ. Граф Дмитриев-Мамонов?

ПОТЁМКИН. Болван пустоголовый! Домахался с дурочкой Щербатовой — забрюхатела фрейлина! *(Ходит так, что разлетаются полы халата.)* Он же ворота государственные вора отворил — настезь! Заходи любовью прощелыга, бери что плохо лежит! А ведь я просил его в последний приезд, так просил... чуть не на коленях...

Фигура ПОПОВА уходит в тень. Появляется граф ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ.

Скажи-ка, разлюбезный граф, пошто матушка-государыня в меланхолии пребывает? Ты для чего к ней приставлен? Сердце ее, к любви открытое, красотой своей и ласкою ублажать...

МАМОНОВ. Если бы только сердце...

ПОТЁМКИН. А ты как думал?! *(Хватает его за расшитый камзол.)* Золото, деревни, крестьяне и вот это *(встряхивает его)* — за красивые глаза? Кем ты был, покуда я тебя матушке в утешение не представил? Тля! Гнида! А теперича — полюбуйтеесь! — граф Дмитриев-Мамонов!

МАМОНОВ *(пытаясь высвободиться)*. Наш род — дворянский... И я не позволю...

ПОТЁМКИН *(яростно)*. Молчать, когда я говорю! *(Замахнулся даже, но задержался и резко оттолкнул графа.)* Верно глаголишь: дворянский твой род и — заслуженный. Дак тем паче должен ты пещись о силе и славе Отечества нашего... Пойми, дурак, к какому великому делу мы с тобой приставлены... каждый на своем месте.

МАМОНОВ. Тяжко мне, ваша светлость... И — стыдно!..

ПОТЁМКИН. Стыдно — когда голый зад видно. А мне, думаешь, легко тащить на горбу этакую гору? всю Россию! Было б с кем поделиться ношей — поделился б, вот те крест! Да ведь не с кем! *(Ходит. Пауза.)* В делах военных — там полегше: хоть Румянцева и отставили — так Репнин есть, Суворов, Ушаков... И то — они все по частям, а целое-то — оно тоже на моей горбушке. Шею не повернуть!.. А тут еще ты со своими амбициями...

МАМОНОВ. Сие не амбиции, Григорий Александрович... *(Тихо.)* Полюбил я, и меня любят, так любят — плакать хочется!..

ПОТЁМКИН *(ошарашенно)*. Ты... посмел?! *(Хватает за голову.)* Без ножа зарезал... Сашка-а, окаянный ты человек! Ты ж не только свою — ты мою голову на плаху кладешь! О, Господи-и...

МАМОНОВ. Простите меня, ваша светлость... Замена найдется...

ПОТЁМКИН. Дурак: я ж завтра на войну уеду — когда мне замену искать. *(Хватает Мамонова за камзол, притягивает — лицом к лицу.)* Саша, милый, приказывать не могу — прошу тебя, слезно прошу: откажись! Откажись! Ну хочешь — на колени встану... как пред иконой... *(Хочет опуститься.)*

МАМОНОВ *(удерживая)*. Что вы, князь! С ума сошли!..

ПОТЁМКИН. Кто она? Скажи, кто она?!

МАМОНОВ. Зачем вам?

ПОТЁМКИН. Не бойся: я ей худа не сделаю. Ежели ты себя превыше всего ставишь — перед ней упаду...

МАМОНОВ *(твердо)*. Нет, ваша светлость. Ее втягивать я не позволю!

ПОТЁМКИН. И без тебя узнаю.

МАМОНОВ. Не успеете. До завтра времени мало.

ПОТЁМКИН. Э-эх, дурья твоя башка! Ты и представить не можешь, что сотворится, когда преступление твое откроется. Ладно еще, ежели матушка вразнос пойдет, как случилось опосля измены Корсакова. А вдруг да прохиндей какой без ума, без чести и совести сердце ее захватит? А? Он же порушит всё, такими трудами содеянное! *(Пауза.)* Неужто России тебе не жаль?

МАМОНОВ молчит.

(Устало.) Ступай, граф, махайся со своей любезной. Я тебе не потатчик — ты за меня не ответчик.

МАМОНОВ *(пошел, но остановился)*. Мне... Я одно обещаю, князь: держать всё в секрете, доколе возможно будет.

ПОТЁМКИН. И на том спасибо. Ступай. Ступай!

МАМОНОВ уходит.

Свет меняется. ПОТЁМКИН с ПОПОВЫМ. Снова звучит Моцарт, та же пьеса.

В Петербург скакать надобно. Чую: добром там не кончится.

ПОПОВ. Нельзя вам в столицу ехать, ваша светлость. Порушится весь план кампании противу турок. Да и другие дела, как гнилой кафтан, без вас расползутся.

ПОТЁМКИН *(с горечью)*. Неужто верфи, города, земли, освоенные в Новой России, — гнилой кафтан?

ПОПОВ. Ваша светлость! Не то я сказал, что думал! Я имел в виду: вы — единственный, кто всё скрепляет...

ПОТЁМКИН. Худо, Степаныч, ой как худо быть единственным. Я же не вечен... *(Садится к столу, перебирает бумаги, разворачивает один из свитков.)* План Севастополя... Стоянка флота Черноморского... *(Отбрасывает свиток.)* Ты, Попов, не пожалел меня, а вот графу Мамонову, тогда в Петербурге, было жаль светлейшего князя Таврического...

ПОПОВ. Это он вам сказал?

ПОТЁМКИН. Хотел сказать, да видать испугался. А глаза — выдали... Меня жалел, а от своей радости малой отказаться не пожелал. Честный, порядочный человек, а вот надо же...

ПОПОВ. Своя рубашка ближе к телу. Что ему нужды России!

ПОТЁМКИН. А будет ли тело-то без России?

ПОПОВ. Для них, ваша светлость, это — риторика. Для вас — жизнь, а для них... *(Машет рукой.)*

ПОТЁМКИН. Василь Степаныч, не в службу, а в дружбу: поди скажи Сарту, пушай чего-нибудь повеселее сыграют. Из того же Моцарта. Одна отрада — хорошая музыка.

ПОПОВ выходит. Вскоре звучит музыка из «Свадьбы Фигаро».

«Фигаро здесь... Фигаро там...» А Фигаро только здесь. Там — уже другой.

Затемнение.

Снова будуар Екатерины. Она — у зеркала. Входит НАРЫШКИНА.

ЕКАТЕРИНА. Ну, что узнала, Аннет? Говори прямо, не бойся: я сильная... и спокойная... Ничего не будет...

НАРЫШКИНА. Всё, что знаю, скажу, ма шер ами. Только не волнуйся так, это и меня заражает... Можно, я у твоих ног присяду? Помнишь, как сиживали в минувшие годы?.. Дай руку... Сейчас, сейчас... Ничего особенно важного нет, потому и не спешу... Знаешь, как на Москве говорят? Нет вестей — уже добрые вести. *(Смеется.)*

ЕКАТЕРИНА. Нет вестей? Как же это, помилуйте?.. Слышь, говорят...

НАРЫШКИНА. Что кур доят? Молока никто не пил. Так и тут.

ЕКАТЕРИНА. Не успокаивай. С ней он, с этой змеей подкольной стакнулся. Осмеяли меня! Это им даром не пройдет... А ты уверяешь — нет ничего...

НАРЫШКИНА. Дай срок — не сбей с ног. Послушай спервоначалу, опосля будешь грозой метать... Оно хоть идет к лицу тебе, как очи почернеют, да я не кавалер — и без того люблю тебя безмерно...

ЕКАТЕРИНА. Оставь... Вынести того не могу, когда не я первая абшид¹ даю. Пойдет говор повсюду: постарела, мол, прошло, мол, ее время. Да нет, быть того не должно!..

НАРЫШКИНА. И не будет! Ну, мало ль дури на свете? Смазливая рожица княжны приворожила. Надолго ль? Первого родит, сама рожном станет. Тебе ль она чета? Тем только и взяла, что первый он у нее. Мужичку это лестно... Подумаешь, диковина! Такая у каждой девки дворовой в тринадцать лет найдется... Ну да шут с ними, пусть лакомится на здоровье... Меня послушай, душенька. Ведь я сразу понять не могла, что тебе в нем полюбилося. Привыкла ты к нему, вот и все...

ЕКАТЕРИНА. Пустое несешь... И умен, и образован, собой сколь хорош... Всем взял... Надоел бы он мне, будь и во сто раз лучше, так и пустила бы плыть по воде... как другим привелось. А тут у нас и в Европе толки идут: больна, дескать, я, рак меня грызет, помираю совсем. Узнают, что самые близкие от меня бегут, поверят, кто и не верит, в мою болезнь... Одна я останусь... *(Плачет.)*

¹ От Abschied - здесь: отставка. - Ред.

НАРЫШКИНА (*всполошилась*). Да побойся Бога, Катюша! Тут же, под боком, красавцы молодые чуть не стреляются от страстей своих к тебе, а ты говоришь...

ЕКАТЕРИНА. Все твой вздор! (*Плачет.*)

НАРЫШКИНА. Я этим не торгую. Ежели и думаю, дак о твоей только радости. А ты обрати внимание.

ЕКАТЕРИНА. Ты опять о ротмистре? (*Вытирает слезы, успокаивается.*) Глаза у него красивые... и рот приятный... Даже чем-то похож на Сашу Ланского, на ангела моего...

НАРЫШКИНА (*горячо*). Да он лучше, лучше! Сила какая, ежели б ты знала... Большой шалун по сердечной части. Неутомимый ни в чем... А характер голубиный. Сын почтительный, с братьями нежен, а сестрам — заместо матери... Брильянт, а не мужчина!.. А тебя уж так любит, так любит. Даже на жизнь свою покушался, еле удержали...

ЕКАТЕРИНА. Не верю...

НАРЫШКИНА. А я бы поверила. Сама бы такого подыскала молодчика и зажила припеваючи. А «Мамончика» за дверь — пусть женится на ком хочет. От тебя ему абшид, не тебе от него...

ЕКАТЕРИНА. Женится! Наконец-то выговорила. Все уже знают!..

НАРЫШКИНА. Да что ты, что ты...

ЕКАТЕРИНА. Никогда прямо не скажешь, а еще другом себя считаешь моим... Не верю я и тебе! Вижу: всё выдумали про графа, чтобы мне другого подставить... Может, и нравится ему девчонка — не беда. Побалует с ней и бросит, а меня — нет! Я себя знаю... Ступай, оставь меня...

НАРЫШКИНА *оскорбленно отвешивает глубокий почтительный поклон и направляется к выходу. Грузная ЕКАТЕРИНА проворно кинулась за ней.*

Погоди, не сердись... Неужели не видишь, как я страдаю? (*Снова слезы.*) Не смейся надо мной... Сама не рада сердцу моему глупому. Не слушает оно ни лет, ни разума... Шестьдесят, давно пора угомониться, но только в нем и мука, и отрада моя... Всё разберу, со всем справлюсь, а с собой — не могу... Просто разум теряю... Ты добрая, не сердись, научи меня, помоги!.. (*Рыдает на груди у Нарышкиной.*)

НАРЫШКИНА. Одно осталось, Катюша, ма шер... Спроси его напрямки. Вот хоть нынче. Пора маску снять.

ЕКАТЕРИНА. Маску? Нынче?! Хватит ли духу, Анеточка? Сколь раз хотела... Хорошо, я возьму на себя решимость, спрошу... Сейчас вызову и спрошу... Только ты близко будь... А ежели правда? Не знаю, перенесу ли! (*Мечется по будуару.*) Боже, как тяжко! Кругом враги, на севере, на западе, на юге — война. Людей нету. Сама чуть не фураж для солдат искать должна. Царство шатается! Надо весь ум собрать, а сердце мое растерзано, думать мешает... Нельзя так! Нельзя! Держава мне десятков графов дороже. Надо кончать!.. Ты права, Аннет, лучше этого мальчика приблизить. Спокойней буду.

НАРЫШКИНА. Светлейший не станет противиться?

ЕКАТЕРИНА (*гневно*). У русской императрицы свой горшок каши на плечах.

НАРЫШКИНА. Своя голова...

ЕКАТЕРИНА. Что?!

НАРЫШКИНА. Прости, государыня, в народе говорят: своя голова на плечах. А еще — инако: голова — не горшок каши.

ЕКАТЕРИНА (*минуту смотрит на Нарышкину, склоняющуюся под ее тяжелым взглядом в реверансе ниже и ниже, потом вдруг громко смеется и зовет*). Захар!

Мгновенно появляется ЗАХАР.

Пригласи ко мне графа. Немедля!

ЗАХАР кланяется, исчезает.

Спасибо, душа моя. Сумела меня взбодрить. Ступай, побудь где-нибудь неподалеку.

НАРЫШКИНА целует ей руку, выходит. ЕКАТЕРИНА размашисто вдоль и поперек меряет будуар. Быстро, нервно входит ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ. ЕКАТЕРИНА спешит к нему.

С добрым утром, друг мой. Хорошо ли почивал? (*Целует его в лоб.*) Что ж молчишь? Давно вижу: перемена в тебе. Прежде сам раненько прибежал, теперича — не дозовешься... Ну, говори, что задумал.

МАМОНОВ молчит.

Али робеешь? Смешно...

МАМОНОВ. Чего бы это мне робеть? Я весьма чувствую свою правоту. Знаю справедливость моей государыни, ея открытый характер, великодушный острый ум...

ЕКАТЕРИНА. Та-та-та! Столько прибрал всего — видать, к чему-то большому готовишь. Выкладывай.

Решимость графа испарилась, он колеблется.

Ладно, успокойся. И слушай, что по чести по моей скажу. Ты знаешь, как я дорожу словом чести... Давай присядем, в ногах правды нет... (*Садятся.*) Не скрою, меня печалит отчуждение человека, коего я любила (*останавливает жестом рванувшегося Мамонова*), берегла и холила... всё время... столько лет...

МАМОНОВ. Матушка, я и сам не рад... Не вижу в себе веселья былого... Не вини...

ЕКАТЕРИНА. В том не виню... Ну, коли уж перебил, что далее?

МАМОНОВ. Тошно мне и на людей глядеть. Что говорят, что думают обо мне! По молодости — как-то было всё равно, а теперь... Война идет, уж два года, народ последнее отдает, а я в роскоши купаюсь по твоей милости. Завистники шипят: фаворит, куски рвет!..

ЕКАТЕРИНА. То — ложь! Ты никогда не просил. Я сама...

МАМОНОВ. Это мы с тобой знаем, больше никто. А покор гуляет — по нашему городу, по дворам европейским. Вот, посмотри, каков пашквиль... (*Подает сложенный листок бумаги.*)

ЕКАТЕРИНА берет не разворачивая, ищет очки на туалетном столике, попутно нюхает табак из золотой табакерки, наконец находит очки, нацепив их, разворачивает бумажку.

ЕКАТЕРИНА (*читает, быстро наливаясь гневом, но постепенно успокаиваясь*). «Орловым — семнадцать миллионов рублей, Высоцкому — триста тысяч, Васильчикову — миллион сто тысяч...» Какова точность подсчета! «Потёмкину — пятьдесят миллионов...»

Врет господин пашквильянт! Светлейший куда больше получил, да не в свой кошель сложил — на нужды государства, на Новую Россию!.. А где же ты, граф? Ага, вот... «Мамонову — шестьсот девяносто тысяч». Смотри-ка, тебе в три раза меньше, чем Завадовскому или Зоричу, чуть больше, чем Ермолову. А ты при мне намного дольше их был. Чего ж стыдиться? Вот Саша Ланской семь миллионов потратил и все — на себя!.. Знаю я, кто этот гнусный пашквиль составил, но не хочу мелкие счета сводить. Жду, когда попадутся на крупном, тогда и посчитаемся... Вишь, даже Потёмкина не пожалели. А он бы и внимания на это не обратил — посмеялся бы да выбросил. Потому что душа хорошая, дух высокой!.. Да и времени нет — пустяками заниматься...

МАМОНОВ. Какие ж это пустяки?! Позор!..

ЕКАТЕРИНА. Что слава, что позор — история сочтет. А ежели уж позор, то не тебе, а мне! Нам, женщинам, природой и небом иные законы писаны, нежели вам, мужчинам. А я их преступила и тридцать лет, почитай, правлю страной, народом сильным. И меня самое великим мужем в женском образе зовут... Верно, не за то лишь, что платить могу. *(Презрительно отшвыривает листок, он падает на пол.)* Я не стыжусь, что, может, на сотни лет путь новый указала женам на земле...

МАМОНОВ. Путь новый?!

ЕКАТЕРИНА. Да, да. Я не о троне говорю. И до меня были государыни и после будут. Я — о сердце. Волю дала я сердцу на высоте своей... Зачем же укрывать, лукавить, лицемерствовать?! Нет! Кто смеет — пусть смеет. И слабых надо учить смелее быть. Я не только государыней народа — водительницей жен русских во всей правде их душевной быть хочу. А ты рядом будь. Светлейший тебя любит, с его помощью, гляди, и ты бы след оставил для родины...

МАМОНОВ. Не по плечу мне...

ЕКАТЕРИНА *(с досадой)*. Ничего тебя не влечет... Или — так завлекло, что и глядишь — не видишь, слушаешь — и не слышишь...

МАМОНОВ. Матушка! Родная моя! Что же мне делать? Посоветуй!..

ЕКАТЕРИНА. Давно тебе советы мои не нужны. И правду сказать не хочешь...

МАМОНОВ. Хочу... очень хочу... Но...

ЕКАТЕРИНА. Как дитё малое. Она ж всё равно выплывет. А ты ведь знаешь: правда мне всего ближе, за нее многое простить могу...

МАМОНОВ. Язык не поворачивается... *(Решительно.)* Думается, негоден я тебе...

ЕКАТЕРИНА *(спокойно)*. Прибыли от тебя мало, однако и убыток невелик. *(Пауза.)* Могу предложить золотой мостик для почетного отступления. *(На непонимающий взгляд графа.)* Женитьбу на дочери графа Брюса. Ей, правда, только четырнадцать, но она совсем сформирована. Первейшая партия в империи: богата, родовита, собой хороша... Решайте, граф.

МАМОНОВ *(падает на колени)*. Не могу, матушка! Судите и милуйте! Больше году люблю без памяти фрейлину вашу, княжну Щербатову. Дал слово же-

ниться... *(Целует руки Екатерины.)* Несчастный я человек! Простите!..

ЕКАТЕРИНА на мгновение окаменела, потом сникла, будто из нее выпустили воздух. С жалостью смотрит на плачущего мужчину, даже сделала движение — погладить его по голове, но не коснувшись отдернула руку, снова напряглась.

ЕКАТЕРИНА. Ну что ты, Саша... Что ты!.. Разве любовь — несчастье? Чувство надо уважать... ежели оно и не единожды является... *(Через силу.)* Отпущу я тебя. И награжу достойно... Княжну — тоже... За службу вашу верную, за измену общую... И на свадьбе посаженной матерью буду. На той неделе свадьбу и сыграем...

МАМОНОВ *(по-прежнему на коленях)*. Век буду предан... до смерти...

ЕКАТЕРИНА. Поднимись. Приведи себя в порядок... Вот так... Чтоб никто вослед не посмеялся... Ступай, дружок. Бог тебе судья. *(Крестит его.)*

МАМОНОВ уходит в слезах. ЕКАТЕРИНА сидит прямо, неподвижно и вдруг падает без чувств, с банкетки на пол.

Входит ЗАХАР.

ЗАХАР *(бросаясь к Екатерине)*. Государыня-матушка, что с тобой?! *(Приподнимает ей голову. Екатерина шевелится.)* Потерпи, голубушка, я лекаря... сейчас...

ЕКАТЕРИНА *(отталкивает его, садится на полу)*. Доннер веттер! К черту лекаря! Оступилась я. Помогите же, наконец! *(Встает с помощью Захара.)* Экой ты неловкой!

ЗАХАР. Прости, матушка. *(Поднимает с полу «пашквиль».)*

ЕКАТЕРИНА *(вырывает листок)*. Дай сюда, думкопф! *(Открывает шкатулку, бросает туда листок, хлопывает крышку. Берет табакерку, но не открыв бросает на стол. Садится, вконец обессиленная.)*

Все это время ЗАХАР стоит, обиженно отвернувшись.

(Замечает его состояние.) Прости, Захарушка... Я не права.

ЗАХАР *(обрадованно)*. Да я ничего... Что надобно, матушка?

ЕКАТЕРИНА. Принеси мне, пожалуй, капли успокоительные и кликни Анну Никитишну.

ЗАХАР. Слушаюсь! Бегу... *(Скрывается.)*

ЕКАТЕРИНА *(зеркалу)*. Допрыгалась, старая? В обмороки валишься?.. Кому же верить?!

Входит НАРЫШКИНА.

Ах, Анечка! Всё кончено. Он любит княжну... женится... Понимаешь? Всё кончено! *(Разрыдалась.)*

ЗАХАР входит о рюмкой на подносике. НАРЫШКИНА выпроваживает его, сама ухаживает за ЕКАТЕРИНОЙ.

НАРЫШКИНА. Катюша, душа моя, прими капельки, успокойся... Не стоит он слез твоих... Со светлейшим расставалась, так не плакала.

ЕКАТЕРИНА. Гриша меня не покинул... От постели ушел — так сама я виновата... А тут — чем провинилась?! Всё для него, всё... *(Плачет.)*

НАРЫШКИНА. Вот и не надобно «всё». Собака на длинном поводке — и то запутывается. Короткий ну-

жен поводак: чуть что и — осади! (*Строго.*) Возьми себя в руки, государыня.

ЕКАТЕРИНА. Ты права, Аннет. Распускаться нельзя... Сегодня же вызову княжну и маменьку ее. На послезавтра назначу сговор.

НАРЫШКИНА. Вот это — другое дело! И глазки засветились. Умница, ма шер! И, знаешь, быстрехонько приблизь к себе ротмистра моего. Пушай на сговоре появится вместе с тобой. Лучше наказания не придумать для изменщика подлого.

ЕКАТЕРИНА (*засмеялась*). Ну и змея ты, Аннет!.. (*Растирает руками лицо, припудривается.*) Нынче я, может, загляну к тебе... вечерком... Зубова пригласи поболтать... (*Зеркалу.*) Попробуем еще раз. Последний раз...

Затемнение.

ПОТЁМКИН у себя в шатре, в халате, сидит за столом с бумагами. Тут же ПОПОВ занят перепиской.

ЕКАТЕРИНА в будуаре с НАРЫШКИНОЙ, которая что-то непрерывно говорит, но слышно ее временами, как при включении.

ЕКАТЕРИНА (*тянется душой к Потёмкину*). Что-то подельываешь, друг мой далекой? Небось Моцарта своего возлюбленного слушаешь, али скачешь куда по делам неотложным?.. А может, с девицей какой махаться? Доносили мне, их там у тебя целый рой — девиц и даже дам замужних, как на мед слетаются...

ПОТЁМКИН (*на первых же ее словах отрывается от бумаг, как будто прислушивается, затем разворачивает маленький свиток с печатью*). Читаю письмецо твое долгожданное, а оно — о неразорении крепостных укреплений Очакова. Всё умно, всё верно — Очаков нам еще послужит, — однако не того я ждал.. не того...

НАРЫШКИНА (*включилась*). ...княгинюшка Наталья много чего высмотреть может... Ты бы, душенька, сказала ей свое желанное...

ЕКАТЕРИНА (*по-прежнему*). А разве ты мне желанное пишешь? Все планы твои, рассуждения, отчеты подробные хороши, да только ни дочитать, ни дослушать за единый раз не могу, отдых требуется. А любезного сердцу ни словечка... даже промежду строк — нету!..

НАРЫШКИНА. Не слушаешь ты меня, матушка...

ЕКАТЕРИНА (*очнувшись*). Прости, Аннет, задумалась. О чём ты?

НАРЫШКИНА. Салтыкову, говорю, пригласить надобно. Она так тебя любит, так любит...

ЕКАТЕРИНА. Хорошо, хорошо... Я ее не оставляю... (*Отключается. Нарышкина продолжает свой неслышимый монолог, а Екатерина — Потёмкину.*) А помнишь, какими записочками мы в те годы каждочасно перебрасывались? Нежные, ласковые были записочки, а какие бесстыдные-и... (*Потянулась в истоме.*) А-ахх...

ПОПОВ уже до того что-то говорил ПОТЁМКИНУ, а тот не слышал. Наконец ПОПОВ прорвался.

ПОПОВ. ...ваша светлость, пожалуйста реляцию Ушакова от пятого июня... (*На непонимающий взгляд Потёмкина.*) Для отчета требуется.

ПОТЁМКИН достает из резного сундучка пакет, отдает ПОПОВУ, потом роется глубже, извлекает пачку листов, перевязанную голубой лентой, развязывает, перебирает листки...

ПОТЁМКИН. Знаешь, Катенька... я ведь храню все твои писульки, даже самые маленькие и пустяшные... А вот это письмецо часто перечитываю... (*Разглаживает листок.*) Ты его после венчания мне писала... (*Читает.*) «Фуй, миленькой, как тебе не стыдно, какая тебе нужда сказать, что жив не останется тот, кто место твое займет...» Так и не научилась писать по-русски... (*Грустно смеется. Попов с недоумением смотрит на него и снова склоняется над бумагой. Потёмкин читает.*) «Вы не отдаёте себе должной справедливости, хотя вы явная сласть... чрезвычайно милы... равного тебе нету...» (*Внезапно лицо искажается мукой.*) А всего-то через год... Сам, конечно, виноват: не понял сразу-то, что ты по первости — баба, а уж опосля — императрица. Всё к делам тебя поворачивал... (*Медленно, листок за листком, складывает письма, перевязывает лентой, прячет в сундучок...*)

ЕКАТЕРИНА (*снова сладко потягиваясь*). Баба я... всё еще баба...

НАГЫШКИНА (*включается*). ...отдохнуть тебе надобно. Ишь, как маешься в ожидании...

ЕКАТЕРИНА (*тоже включаясь*). Отдохнуть? Да-да, ступай, Анеточка... Замучила я тебя... (*На возражения Нарышкиной.*) Не спорь, ступай...

НАРЫШКИНА уходит.

(Потягивается.) Ах, Гришенька, супруг мой... перед Богом последний... вот и одни мы, а ничего и нет...

ПОТЁМКИН. Вот, она, хандра-то всамделишная... Подступает, давит — спасу нет!.. Степаныч, придумай что-нибудь... Иди!..

ПОПОВ молча выходит.

Вот и одни мы, а ничего и нет... Эх, царица, царица... Что ж ты со мною сотворяешь?! От дел насущных отвлекаешь... Ишь ты — вирши получают... Давно я их не складывал...

ЕКАТЕРИНА. Гриша, прости меня, грешную... Знаю: супругу никогда не простишь, гордость твоя паче любви... Прости государыню!

ПОТЁМКИН. Послал я тебе просьбу свою с курьером — дозволю прибыть в столицу? Прежде-то звала, звала, а теперь — не пушаешь... Дозволь и... потерпи до меня, не выбери кого попало...

ЕКАТЕРИНА. Всё-таки хорошо, что нет тебя в Петербурге. А то б не знала, куда глаза прятать... Стыдно, сама понимаю, однако же... как Ванька Барков писал, охальник: «Ея пещера хоть вмещает одну зардевшу тела часть, но всех сердцами обладает и всех умы берёт во власть...» Только твое сердце, твой ум остались неподвластны, государь всея Екатерины... Так будь великодушен, аки государь... дай душе моей покой, а телу — усладу найти... Поздно уж меняться-то... И сам — развлекайся, только не приезжай. Не приезжай!..

ЗАХАР (входит). Посланник французский граф Сенгюр, государыня.

ЕКАТЕРИНА. Да-да... пусть войдет... Я малость приберусь...

ЗАХАР выходит.

Прощай, миленькой, свет души моей... *(Надевает пеньюар, наводит румянец.)*

ПОТЁМКИН молча смотрит на ее приготовления.

ПОПОВ *(входит)*. Ваша светлость, княгиня Долгорукова...

ПОТЁМКИН. Вот уж истинно — кстати!.. Чего ей понадобилось?

ПОПОВ. Говорит, вы ей обещали дворец подземный показать, для утех копаный...

ПОТЁМКИН. Всё бы им утхи, дурам этаким!.. Всё бы махаться по дворцам да по землянкам... Ладно, обещал — покажу. Где она?

ПОПОВ. В коляске дожидается.

ПОТЁМКИН. Едем! *(Идет.)*

ПОПОВ. Одеться бы надо, ваша светлость...

ПОТЁМКИН. Для землянки — сойдет... Прощай, ма-тушка!

Уходят. В шатре — затемнение.

В будуар входит СЕГЮР, церемонно кланяется, целует Екатерине руку.

СЕГЮР. Ваше величество, аудиенция в будуаре — знак высшего доверия. Благодарю!

ЕКАТЕРИНА. Я было сердилась на вас, шевалье. Но вечер принц Нассау передал мне по вашей просьбе расшифрованное послание из Стамбула, от Шуазеля, и я узнала истинное лицо Пруссии и Англии... На ваше доверие я не могла не ответить... Садитесь, милый граф, мне приятно вас видеть у себя. Прежде всего, примите мою благодарность за стамбульский сюрприз и давайте поговорим...

СЕПОР. Я весь внимание, ваше величество.

ЕКАТЕРИНА. Буду откровенна. Нам тяжело... во всем нехватка... начальники бездарны, а воровать горазды... Народ стонет, и на то есть основания: оброки тяжелы, денег мало...

СЕГЮР. Вы — пессимистка, государыня...

ЕКАТЕРИНА. Отнюдь. Теперь плохо, грозит быть еще горше. Но враги не знают моей земли, моего народа, его веры в свои силы, веры в меня, в каждого, кто займет мое место, кто по доброй совести, честно станет править свое ремесло... Никакие жертвы не страшны моему народу, пока он верит, что это для его блага, для блага земли.

СЕГЮР. Счастье для правителя — иметь такой народ...

ЕКАТЕРИНА. Да. И надо быть достойным его... *(Неожиданно смеется.)* Граф Безбородко сейчас меня обязательно спустил бы с котурнов... А у вас на родине, мой дорогой шевалье, там ведь тоже очень плохо. Предстоит буря, а у руля стоят люди не слишком решительные и смелые... Я бы не отказалась от помощи Франции, но вижу: в лето тысяча семьсот восемьдесят девятое вам не до военных авантюр.

СЕГЮР. К сожалению, вы правы, государыня.

ЕКАТЕРИНА. Францию охватывает безумие революции, а ведь средство для лечения такое простое... Оно действует даже в моей полудикой стране...

СЕГЮР. Поделитесь секретом, ваше величество.

ЕКАТЕРИНА *(смеется)*. Для иностранцев у нас секретов нет. Еще будучи великой княгиней, я увидела, что творится вокруг, и поняла главное: как не надо

управлять! Остальное — уже мелочи. Как жить, как вести свое маленькое хозяйство... Наметила себе план управления и поведения в делах и никогда — никогда! — от него не уклонялась. Что сказано — то сделано!

СЕГЮР. Но вдруг сказанное ошибочно?

ЕКАТЕРИНА. Есть русское правило: семь раз отмерь, один — отрежь. Я не спешу высказываться...

СЕГЮР. А если ваш министр оказывается совершенно непригоден?

ЕКАТЕРИНА. Когда я даю кому-либо место, он уверен, что сохранит его, ежели только не совершит преступления. Не способен министр — я опираюсь на способных его помощников. Это дает всему твердость и сохраняет меня от нареканий, что плохо выбираю слуг для России. Хвалю громко, при всех, а браню наедине, но — сильно. Ну, и, конечно, как учил Петр Великий, имею стремление дать дорогу таланту из любого сословия... Вот, должно быть, и весь секрет.

СЕГЮР. Исключая ваши ум, отвагу и постоянное счастье?..

ЕКАТЕРИНА. Когда умру, пусть люди и Бог помянут меня с ними вместе, граф... Но сейчас вернемся к предмету, с коего начали. Мы теперь очень слабы, а Пруссия ведет себя как пакостливая собачонка-забияка. Я могу проучить ее, но это потребует сил и времени. И я по-дружески прошу вас написать министру Монморену...

СЕГЮР. Чтобы оказать на Фридриха-Вильгельма дипломатическое давление?

ЕКАТЕРИНА. Я не сомневалась в вашем уме, граф.

СЕГЮР. Я это сделаю, ваше величество. Сегодня же.

ЕКАТЕРИНА. Благодарю. И надеюсь на еще один откровенный ответ... Что вынудило вас провести два дня в Гатчине, у моего сына? Вроде бы вы не дружны...

СЕГЮР. Вы же знаете, государыня, я скоро возвращаюсь на родину. Потому и счел необходимым нанести прощальный визит наследнику трона.

ЕКАТЕРИНА. Наследнику?! *(Спыхватывается.)* О, простите, продолжайте...

СЕГЮР. А в Гатчине сломалась моя коляска. Ее чинили больше суток, и великий князь Павел приютил меня.

ЕКАТЕРИНА. Вот оно что...

СЕГЮР. Да... Мы беседовали о...

ЕКАТЕРИНА. Я не хочу выпытывать...

СЕГЮР. Я должен сказать, государыня. Вы же меня одарили доверием... В наших беседах было кое-что важное... для вас...

ЕКАТЕРИНА. Ну, коли так...

СЕГЮР. Меня ужаснуло, что сын опасается матери. Он почему-то считает, что вы хотите завещать трон его сыну Александру. Я его уверял в вашем расположении к нему и приводил в доказательство то, что известно всем: у князя в распоряжении два боевых батальона, у вас в карауле всего лишь рота гвардии, но вы же не боитесь его!..

ЕКАТЕРИНА *(с усмешкой)*. Какая может быть боязнь!

СЕГЮР. У него главный вопрос: почему на Западе монархи наследуют трон без всяких смятений, а в России иначе...

ЕКАТЕРИНА. Что же вы ответили?

СЕГЮР. На Западе порядок наследования твердо определен: трон получают только старшие сыновья, не иначе. В этом — залог развития народа, страны. В других случаях всё неустойчиво, сомнительно, простор для заговоров, интриг, козней...

ЕКАТЕРИНА. Вы так сказали, Сегюр?

СЕГЮР. Я говорил правду, государыня.

ЕКАТЕРИНА. А что — князь?

СЕГЮР. Князь ответил: «Что делать! Здесь привыкли к заговорам, переворотам, фаворитам... Изменить обычай опасно... для того, кто за это возьмется...» Вот, пожалуй, и всё.

ЕКАТЕРИНА. Благодарю, граф, за разговор, за обещание написать министру... Ваша страна охвачена горячкой — я бы советовала вам остаться в России...

СЕГЮР. Ваше величество, если моя родина больна, я должен быть с ней.

Затемнение.

У Нарышкиной. Низенький широкий диванчик, кресло, столик.

Стук в дверь. Появляется НАРЫШКИНА в кружевном пеньюаре, впускает парадно одетого ЗУБОВА. ЗУБОВ щелкает каблуками, целует руку НАРЫШКИНОЙ, она подставляет для поцелуя щеку.

НАРЫШКИНА. Здравствуйте, здравствуйте, Платон Александрович. А я, видите, совсем по-домашнему, что-то нездоровится... Садитесь. *(Указывает Зубову на кресло, сама опускается на диван, полулежит.)* Чаю хотите? Нет? Тогда просто поболтаем... Что это вы на себя не похожи — бледный, томный...

ЗУБОВ. Я между жизнью и смертью... Не мучьте, говорите скорее: смею ли я надеяться?

НАРЫШКИНА *(растягивая удовольствие)*. Насколько мне известно, выбор уже сделан, но — увы... Стойте, что с вами?! Вы помертвели?.. Выпейте воды... Я пошутила... испытать хотела... Еще не решено... Какой смешной...

ЗУБОВ. Не смейтесь. Я живу этой мыслью... Анна Никитишна, умоляю... Я так вам буду благодарен... *(Пересаживается к ней, целует руки.)* Всё сделаю, что захотите... Только научите... я не забуду... *(Все горячей целует обнаженную до плеча руку, потом шею, переходит к груди.)*

НАРЫШКИНА млеет от его поцелуев, уже отвечает — обняла, прижала голову ЗУБОВА к своей груди, уже сползает ниже на подушки, но вдруг спохватывается...

НАРЫШКИНА *(отталкивая Зубова)*. Стойте! Опомнитесь, сумасшедший мальчик?.. Не теперь... я жду ее... *(Оправляется.)* Помните, что случилось, когда она застала Корсакова и графиню Брюсову? Ага, испугался!.. Ну и сидите пайнойкой. Вы эту прыть покажете с Протасовой... когда время придет. Как покажете, так и передано будет... по адресу... Пудру мою стряхните с мундира... Мы еще будем видаться, надеюсь... О, кажется, идет... Мы никого не ожидаем, болтаем, как добрые друзья... И помните: смелым Бог владеет.

Только смелость умной быть должна. *(Заметив входящую Екатерину.)* Скажите, Платон Александрович, как вам нравится эта Хюсс? По-моему, преплохая актриса. И не красива даже...

ЕКАТЕРИНА. Здравствуй, Аннет. Не ждала?

ЗУБОВ вскакивает, щелкает каблуками.

(Кивает ему.) Мне сказали: ты больна. Решила вот навестить...

НАРЫШКИНА. Я так счастлива, так благодарна, ваше величество. *(Встает с дивана.)* Мне чуть полегче. И вот, Платон Александрович оказал внимание...

ЕКАТЕРИНА. Судя по глазам, у вас доброе сердце, господин Зубов... *(Нарышкиной.)* Ты ложись, как лежала. Я — тут... *(Садится в кресло. Нарышкина снова опускается на диван.)* Садитесь, господин Зубов, если вам не скучно провести полчаса с такими пожилыми дамами.

ЗУБОВ *(сев было на диван, вскакивает)*. Ваше величество!..

ЕКАТЕРИНА. Не согласны со мной? Ваше дело! *(Жестом сажает его.)* Я не у себя, спорить не смею. Сойдем за молоденьких. *(Смеется.)* А сколько вам лет? Двадцать уже есть, а?

ЗУБОВ. Двадцать два минуло, ваше величество.

ЕКАТЕРИНА. Счастливый возраст... Когда-то и мне было столько. Давно... Правда, сердце смириться не хочет, но против зеркала не возражишь...

ЗУБОВ *(горячо)*. Зеркало слепо! Оно не видит ваших глаз, ваших губ, не слышит вашего голоса...

ЕКАТЕРИНА. Насчет голоса вы правы, господин Зубов: он многим внятен... А в остальном... Но бросим обо мне — поговорим о вас... Аннет, что ты стонешь? Опять мигрень?

НАРЫШКИНА. Простите, государыня... Я удалюсь, примочу виски...

ЕКАТЕРИНА. Мы тебя подождем. Видишь, я в хорошем обществе.

НАРЫШКИНА выходит.

Ну-с, говорите; велика ли у вас семья? Брата, пажа, я помню. Прелестный ребенок. Очень на вас похож...

ЗУБОВ. Нас четыре брата и три сестры. Младшая самая — девочка еще...

ЕКАТЕРИНА. Большая семья. А ваш отец, если не ошибаюсь, по гражданской службе идет?

ЗУБОВ. Так точно, ваше величество. Заботами князя Салтыкова Николая Ивановича. Князь к моему воспитанию руку приложил.

ЕКАТЕРИНА. Так вы с моим внуком Александром одного наставника имеете?

ЗУБОВ. Я счастлив, государыня!

ЕКАТЕРИНА. Женаты ли братья?

ЗУБОВ. Все еще холосты. У батюшки достатков нет, а сестрам замуж надо... Братья надеются сами что-нибудь заслужить, тогда и о семействах подумают.

ЕКАТЕРИНА. Весьма похвально. Теперь больше в брак вступить спешат, а что будет, о том и не мыслят... А вы что же, не махаетесь ни с кем? Что покраснели? В естественном стыда быть не должно. Красивый, здоровый молодой человек... Я не девица, со мной можно прямо говорить.

ЗУБОВ. Я... Мне не до этих пустяков... Я давно...

ЕКАТЕРИНА. Смутила я вас, надо же... Об ином по-толкуем. Службой довольны ли?

ЗУБОВ. Счастлив, государыня, что вам служу... перед кем преклоняются... чье имя благословляют...

ЕКАТЕРИНА. Да вы поэт. Чай, и стихи пишете?

ЗУБОВ. Не тем занят... Мечты не те....

ЕКАТЕРИНА. Значит, мы мечтать любим? Интересно. Давно с мечтателем не говорила. О чем же нынче грезят молодые военные люди? О сражениях, поди? О победах, о славе?

ЗУБОВ. Бывает и это... Но иное мне чаще снится...

ЕКАТЕРИНА. Даже снится? О, я охотница до чужих снов, ежели красивые они, необыкновенные... Расскажите.

ЗУБОВ. Есть один сон, неотвязный... Видится мне высокая скала... Стою на ней, и не человек я... так, пташка малая... Хочу взлететь и не могу: крылья слабы... А ветер порывистый веет. К дереву прижался и жду... А сердце из груди рвется — весь мир видеть хочет, людей всех обнять... что-нибудь сделать для них...

ЕКАТЕРИНА. Доброе намерение... А дальше?

ЗУБОВ. И вдруг... Потемнело небо, что-то зашумело... Гляжу: орлица над головой реет. Крылья широкие, грудь мощная, взгляд острый, а глаза — синие... Села рядом, а меня не видит. Перья чистит... Страх меня охватил, а глаз отвести не могу — любуюсь! И, уж не знаю, как смелости набрался, говорю: «Орлица гордая, царственная, возьми меня с собой туда, в высь небесную, дай на мир поглядеть, как ты глядишь... Позволь под крылом твоим тепло, уют найти...» Говорю, а сердце вот-вот разорвется... Жду, замер весь...

ЕКАТЕРИНА. Что же ответила она?

ЗУБОВ (*глядя на нее в упор*). Ничего. Только крылья распахнула... Я так и кинулся ей на широкую грудь, прильнул... не оторвать... И взмыла она, и понесла меня... Что стало со мною — не выразить словами... (*Вытирает пот со лба.*)

ЕКАТЕРИНА. Красиво... Вы совсем поэт. Это и державинским строфам не уступит... Сколько чувства!.. Слышишь, Аннет?

НАРЫШКИНА (*мгновенно появляясь*). Я не слыхала, государыня, но ежели вы хвалите... Благодарите же, Платон Александрович, за внимание...

ЗУБОВ. Я совсем придумывать не умею, ваше величество... Это словно Бог надоумил... будто исповедь говорил... Простите...

ЕКАТЕРИНА. Вижу, понимаю... Дай бог, господин Зубов, чтобы у всех окружающих меня были такие чувства... виделись подобные сны... Да вы побледнели, дрожите... Здоровы ли? Я прикажу Роджерсону, пусть поглядит вас. Вам беречься надо. А во мне вы всегда найдете защиту и друга. Душа ваша добрая видна в глазах, слышна в речах ваших... Я добрых людей ценю... Пока до свиданья. Поправляйся скорее, Аннет. Что, лучше тебе? Слава богу...

ЕКАТЕРИНА *идет*, НАРЫШКИНА *следом*. У выхода ЕКАТЕРИНА *кивнула и вышла*. ЗУБОВ *ждет, неподвижный*.

НАРЫШКИНА (*возвращаясь*). Ушла матушка, совсем ушла. (*Гладит на диван, раскинувшись.*) Ну, теперь можете целовать сколько угодно и... что угодно, хитрый мальчишка, сновидец этакий!

У ЗУБОВА *вырывается какой-то сиплый радостный вопль*. Он *бросается на НАРЫШКИНУ*.

Затемнение.

Будуар ЕКАТЕРИНЫ. Горит оплывшая свеча. На фоне зашторенного окна — темная мужская фигура. На кровати — шевеление.

ЕКАТЕРИНА (*поднимается, потягиваясь, и вдруг испуганно-радостно*). Гриша?! Бог мой, Гришенька!..

ЗАХАР. Я это, матушка-государыня, Захар... Жду, когда проснешься...

ЕКАТЕРИНА (*несколько раздраженно*). С чего это вдруг?

ЗАХАР. Так ить, проспать изволила, матушка. Пятнадцать годков ни разу не просыпала, а тут нате вам, будто молоденькая...

ЕКАТЕРИНА. Сколько времени?

ЗАХАР. Да уж осьмой час. Будить хотел, но больно сладко спала, матушка...

ЕКАТЕРИНА (*уныло потягивается*). Что уж, государыня и проспять не может? (*Встает.*)

ЗАХАР. Так ить, дела, дела... Ты вот вечер наказывала напомнить про тяжбу мою...

ЕКАТЕРИНА. Лёд готов?

ЗАХАР. В ведёрке дожидается...

ЕКАТЕРИНА (*садится за туалет, трет лицо куском льда*). Я слушаю...

ЗАХАР. Деревеньку хочу купить, а на нее другой зарится, с правом наследственным... А крестьяне многие меня хотят, даже пособие от себя предлагают, пятнадцать тыщ... ежели, значит, у меня своих не хватит... Но и конкурент не отступает, через суд хочет...

ЕКАТЕРИНА. Зачем тебе деревенька, Захар? Плохо, что ли, рядом со мной? А немощным станешь, пенсион получишь изрядный...

ЗАХАР. Так ить, матушка, мы не вечны... А у меня — жена, дети... Об них кто подумает?

ЕКАТЕРИНА. Ну, не дай бог, помрешь — пенсион семье останется.

ЗАХАР. А помрешь ты, и сынок твой от слуг твоих верных даже пыли не оставит. Какой уж там пенсион!..

ЕКАТЕРИНА. Я подумаю об этом... Но судиться тебе никак нельзя. Я запрещаю.

ЗАХАР. Да отчего ж, матушка?!

ЕКАТЕРИНА. Суд знает, что ты — мой камердинер, близкий человек, и в любом случае решит в твою пользу. А у конкурента, сам говоришь, наследственные права. Нельзя толкать суд на противозаконные деяния. Тень на меня падет — понимать должен.

ЗАХАР (*убито*). Понял, матушка-государыня, откажусь... Прости меня, темного...

ЕКАТЕРИНА (*смеется*). Какой же ты темный? Поседел уже на службе царской... Не горюй. Будет у тебя деревенька. Выбери какую из моих, душ на двести-триста, да напомни — подарю.

ЗАХАР (*хочет упасть на колени — не позволяет боль в ногах*). Спаси тебя Бог, матушка, а меня прости... (*Припадает к ее руке*.)

ЕКАТЕРИНА (*целует его в голову*). Ладно, ладно... Может, и вправду пора тебе на отдых?

ЗАХАР. Пройдет... В баньке попарюсь и — пройдет. Я еще послужу!..

ЕКАТЕРИНА. Ну, коли так — Храповицкого ко мне.

ЗАХАР *выходит в приемную, где ждет ХРАПОВИЦКИЙ. ЕКАТЕРИНА продолжает утренний туалет.*

ЗАХАР. А, ты здесь, Александр Васильевич. Уже спрашивала тебя. Пожалуй...

ХРАПОВИЦКИЙ. Здравствуй, Захарушка. Иду... (*Идет к двери, но, потоптавшись, возвращается.*) А скажи: как матушка? Шибко гневна? Что это она меня? А?

ЗАХАР (*важно*). Так ить, слыхал я, наемдни на польском приеме чтой-то приключилось...

ХРАПОВИЦКИЙ. Ой, было, Захарушка, ой, приключилось... Государыня вельми рассержена на политику пруссаков и англичан в отношении нас. Вот и стала послов ихних попрекать, да так гневливо!.. Я и скажи, как бы про себя: «Жаль, расходилась наша матушка...» Ну, дабы остановить ее, пока чего хуже не случилось — дела-то государственные...

ЗАХАР (*с интересом*). Остановил?

ХРАПОВИЦКИЙ (*со вздохом*). Остановил... Глянула на меня — будто в землю по плечи вбила... ей-богу!.. И потом за весь прием — ни полсловечка... А теперича, видать, на правеж зовет... Не знаешь?

ЗАХАР. Тут с вакансией голова кругом!.. Шло всё чередом да ладом: светлейший человека на место определяли, и занимал он свою позицию... пока следовало... Там нового брали по выбору князя... А нынче не разберешь!.. И про тебя ничего не знаю! Пожалуй, ждет...

ХРАПОВИЦКИЙ. Ну, извини, Захарушка... (*Входит в будуар, низко кланяется в спину Екатерины.*)

ЕКАТЕРИНА (*не оборачиваясь*). Наконец явились, государь мой... Срамить меня перед всем светом — тут как тут, а ответ держать — не дождешься!.. Вся Европа, поди, уже смеется: хороша, мол, императрица, самодержица, если какой-то секретаришка выговоры ей при всех делает, слова ее прерывает... Да сколь службу свою царскую несу, такого еще не бывало!..

ХРАПОВИЦКИЙ (*падает на колени, ползет к Екатерине*). Виноват, матушка, кругом виноват! И прощения просить не смею! (*Плачет, уткнувшись в ее подол.*)

ЕКАТЕРИНА. Какое прощение!.. Я так не оставлю!.. Встань! Хватит мне пеньюар мочить...

ХРАПОВИЦКИЙ (*рыдает*). Не встану... Виноват, зазмился, окаанный...

ЕКАТЕРИНА. Конечно, виноват. За вину и браню... Встань, я говорю!

ХРАПОВИЦКИЙ *встает, всхлипывая и утираясь.*

А за то, что, моей пользы ради, не побоялся себя под ответ подвести, благодарю и вот... возьми эту табакерку с моим портретом... (*Подает золотую табакерку.*)

ХРАПОВИЦКИЙ. М-м-мне?! Мне?! М-ма... матушка моя... (*Ловит руку Екатерины, целует.*)

ЕКАТЕРИНА. Ну, хватит... будет... Бери. Это на память. Я — женщина увлекающаяся. Как в другой раз забудусь, не говори ничего, а громко так понюхай табачку... Я и пойму. Договорились?

ХРАПОВИЦКИЙ. Раб твой, государыня... Прикажи умереть — не задумаюсь!

ЕКАТЕРИНА. Неужто я могу на такой каприз пойти? Плохо же ты узнал меня за семь лет службы. Живи, Александр Васильевич, сколько Бог даст... А мне сегодня дельце одно исполни. Знаешь, поди, что граф Мамонов женится? Подготовь указы... ты знаешь... Имение для графа, то, что на день рождения готовили... и сто тысяч, ему же... Еще получишь в кабинете десять тысяч особо, принесешь мне в бисерном кошельке... И опроси там два перстня. Один получше, с моим портретом, а другой — простой, рублей на тысячу... Ну, иди с богом...

Затемнение.

Второе действие

ЕКАТЕРИНА и НАРЫШКИНА на прогулке.

ПОТЁМКИН в рабочем камзоле за бумагами у себя в шатре.

ЕКАТЕРИНА. А знаешь, Анеточка, мне поистине жаль Сашу... Княжна неприятная, хоть и мила собой. Модница! Видела, какие хахры-махры распустила себе?.. А он, пожалуй, меньше виновен, чем все говорят... Я постараюсь так с ними проститься, чтобы не поминал меня лихом...

НАРЫШКИНА. Посмел бы!.. Столько благоденний от тебя...

ЕКАТЕРИНА. Это души не покупает...

Гуляют.

ПОТЁМКИН (*бросает карандаш*). Ну ничего в голову нейдет! Только и стучит в темечко, аки часы: что там, что там, что там в столице? Катя, матушка моя, ты же сама перво-наперво требовала: люби и говори правду... Что ж о главном-то молчишь? Ой, не по забывчивости... Ты завсегда всё помнишь, я-то тебя знаю... Не хочешь говорить... Неужто кончилась наша дружба супружеская? (*Достаёт заветную связочку писем, развязывает, перебирает.*)

В саду появляется ЗУБОВ. Здороваётся.

НАРЫШКИНА. Гуляете, Платон Александрович? Вот хорошо! Мне надо цветы собирать вечерние, а государыне одной скушно...

ЕКАТЕРИНА. Да, господин Зубов, составьте компанию... если вас не затруднит...

ЗУБОВ (*на крыльях*). Счастлив буду, ваше величество!

НАРЫШКИНА уходит. ЕКАТЕРИНА опирается на руку ЗУБОВА. Гуляют.

ПОТЁМКИН (*выбирает письмо, читает*). «Ну, господин богатырь... могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? Изволите видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих. Первого по неволе, да четвертого из дешперации...» А ты не чуешь, Като, в какой я дешперации, на зов мой просящий не откликаешься... (*Задумался.*)

ЕКАТЕРИНА (*Зубову*). Чувствуете, какой воздух? Густой, ароматный... возбуждающий и в то же время ласкающий...

ЗУБОВ. Это — сказочный сад, а вы — фея...

ЕКАТЕРИНА. Вы, верно, любите природу, как и я. Так?.. Только вы свободнее меня, легче можете уединяться. А мое ремесло требует быть всегда на людях... Но, когда возможно, я живу по-своему...

Гуляют.

ПОТЁМКИН (*встрепенулся*). Вот оно, всему объяснение. (*Читает.*) «Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви...» Потому и ждать не хочешь. Не так ли, Като?

ЕКАТЕРИНА (*задумчиво*). Да... живу по-своему... Вы, должно быть, пригляделись к моему порядку дня?

ЗУБОВ. Очень мало, ваше величество. Я, собственно, далеко состою...

ЕКАТЕРИНА. Теперь узнаете... Давайте присядем. Ноги у меня уже не те, что ранней...

Садятся.

ПОТЁМКИН. А ведь пора бы и остановиться, оглянуться...

ЕКАТЕРИНА. Так вот мой день. Встаю я в шесть... зимой в семь. Сажу за письмами, за делами, кое-кого принимаю, немного сочиняю... Потом познакомлю вас с трудами своими... Это — часов до восьми, до девяти. Пью чашку кофею... А с девяти начинается — доклады, приемы, секретари, министры... До полудня возмись. Тут кончается моя главная служба государству... Потом — прическа, переодевание, туалет... До двух выхожу к моим друзьям и придворным. Болтаем до обеда, смеемся, ежели есть чему... По праздникам бывают и послы. Кстати, вы знакомы с графом Сегуром?

ЗУБОВ. Только раскланиваемся...

ЕКАТЕРИНА. Сойдетесь ближе. Это — мой большой друг... (*Задумалась.*)

ЗУБОВ — весь внимание! — ждет продолжения.

ПОТЁМКИН. Не слышишь ты меня. Замкнулась и ключ выбросила...

ЕКАТЕРИНА. Что-то сердце тревожит...

ЗУБОВ. Может, вернуться?

ЕКАТЕРИНА. Продолжим... В два — обед. По средам и пятницам я пощусь. Для народа, конечно, чтобы не считали меня «немкой», чужой... Я слишком люблю мой народ и мало обращаю внимания на наслаждения вкуса... А вы?

ЗУБОВ. Солдат не должен разбирать питья и еды, государыня...

ЕКАТЕРИНА. Не должен — не значит не умеет или не хочет. Судя по вашим губам, у вас лакомый вкус... Ничего, это не грех... Не грех. (*Задумалась.*)

ПОТЁМКИН складывает письма, молчит.

Да... Летом иногда отдыхаю после обеда, зимой никогда не сплю днем... Потом разбираю почту, приходит Бецкой с книгой или новым грандиозным прожектом. Я страсть как люблю прожекты... Вечером, до десяти, развлечения. В десять иду к себе, выпиваю стакан воды — и свободна... Сама себе хозяйка — до утра...

ПОТЁМКИН сложил письма, закрыл сундучок, уходит.

Вам не показалась бы скучной такая жизнь?

ЗУБОВ. Это — жизнь моей богини!

ЕКАТЕРИНА. Для здоровья самое важное — не менять своих привычек. А у вас есть привычки?

ЗУБОВ задумывается, припоминая.

ПОТЁМКИН (*выходит в ночной рубахе*). Для здоровья самое важное — не менять своих привычек. Эй, Попов! Завтра с утра у меня — хандра.

В шатре Потёмкина — затемнение.

ЕКАТЕРИНА (*подгоняя Зубова*). Ну же?

ЗУБОВ. Нет у меня привычек, ваше величество. Службу несую. А не занят, тогда...

ЕКАТЕРИНА (*смеется*). Товарищи, пирушки, девчонки, как у всех? Молодость, знаю...

ЗУБОВ. Никак нет, я нелюдим. Сажу дома, люблю книги, музыку... На скрипке пиликаю, как умею...

ЕКАТЕРИНА. Да вы — клад. Мы вас обязательно попробуем на наших концертах. Я в музыке плохо понимаю, но у нас от нее все без ума, особенно светлейший. Он даже оркестр повсюду возит с собой. Вот и приходится иному музыканту, вроде Сарти, платить больше, чем двум генералам...

ЗУБОВ. Ваше величество, настоящие музыканты встречаются реже, нежели генералы.

ЕКАТЕРИНА (*ее несколько удивило суждение Зубова*). Так и светлейший считает... Нечего делать — плачу. Музы воспитывают культуру, культура воспитывает народ, культурный народ работает лучше. Так? Я стараюсь об этом не забывать... и помогаю музам... Хотя, если честно, силу уважаю больше. Но — мое первое правило: живи сама и давай жить другим...

ЗУБОВ. Да вы всю жизнь отдали народу и славе нашей...

ЕКАТЕРИНА. Не всю, не всю, кое-что и себе оставляю... Особенно в последнее время... (*Задумывается. После паузы.*) У меня раньше воли-то немного было. Люди, мною созданные, коим я меч выковала, дала броню алмазную, они и надо мною власть желают забрать... (*Вспыхивает. Почти гневно.*) В сердечном движении моем так же хозяйничают, как в войсках, в казне, на флоте... А я хочу сама чувствовать и думать! Годы мои уже такие, что могу смочь!.. (*Остывает. Ласково.*) И тот, кого я приближаю к себе, должен никого не бояться, кроме Бога... и меня любить... Мне будет легко, отрадно и ему хорошо.

ЗУБОВ. Да разве есть счастье выше!

ЕКАТЕРИНА. Очень уж я изверилась... Вон дуб — из былинки его земля вырастила, соками питала, а он теперь ей свет заслоняет... И люди так... всегда...

ЗУБОВ. Нет, не всегда, ваше величество! Клянусь!

ЕКАТЕРИНА. Дай бог, дай бог... А-а, вот и ботаник наш с букетом. (*Подошедшей Нарышкиной.*) Мы уже и ждать перестали...

НАРЫШКИНА. Это белая ночь виновата, государыня, что я забыла про время и обязанности свои... Простите! (*Делает книксен.*)

ЕКАТЕРИНА. Ах ты, лисичка! Всегда вовремя хвостом вильнешь... Но я довольна, мне хорошо... Вечер, воздух и милый, веселый спутник... рыцарь... Я просто

помолодела, ожила, как муха весною. *(Весело смеется.)*

НАРЫШКИНА. За то, что развеселил вас, рыцарь достоин награды...

ЕКАТЕРИНА. Прекрасно! Вот этот букет и будет ему первой наградой. *(Берет букет у Нарышкиной.)*

ЗУБОВ преклоняет колено.

Что это вы? К чему?

ЗУБОВ. Ваше величество, вы назвали меня рыцарем. Посвятите же в рыцарство этим букетом. Только так я хочу принять первый дар моей государыни, моей матери... ангела неземного!

ЕКАТЕРИНА, смеясь, посвящает его букетом. ЗУБОЗ целует ей руку.

До гроба вы — дама моего сердца!

Растроганная ЕКАТЕРИНА целует его в лоб.

НАРЫШКИНА. Прелестно!.. Но поспешимте, государыня, пора...

ЕКАТЕРИНА. Вот видите, мой рыцарь, и тут я не вольна. Идите, мой друг, нас уже не обидит никто... *(Пожимает Зубову руку.)*

ЗУБОВ кланяется и удаляется военным шагом.

Милый мальчик... Чуть что — краснеет, бледнеет. Душа мягка, сердце нежно, желание быть полезным огромно... Его можно воспитать в прекрасном свете правды и долга... Пусть завтра же начнут переделывать покои графа.

Затемнение.

Резиденция великого князя Павла. ПАВЕЛ и СЕГЮР.

ПАВЕЛ. Дорогой граф, я знаю: приезжая ко мне, вы рискуете впасть в немилость... Но ведь только от вас я могу узнать, как отнеслась государыня к нашему разговору о праве наследования престола... Надеюсь, вы верно его передали?

СЕГЮР. Да, ваше высочество...

ПАВЕЛ. И что же моя августейшая матушка?

СЕГЮР. Слегка удивилась... не более того...

ПАВЕЛ *(бегая взад и вперед)*. Она хочет лишиться меня трона... настраивает моих сыновей... особенно Александра... Сама незаконно пришла к власти и внука толкает туда же... Со мной не считаются даже ее фавориты... А Потёмкин... Знаете, граф, я просто боюсь... да, боюсь этого грубияна...

СЕГЮР. Вы сталкивались с ним?

ПАВЕЛ. Всего однажды... но я помню... помню...

Меняется свет.

По авансцене идет ПОТЁМКИН во всем придворном великолепии. К нему бросается ПАВЕЛ.

Князь! Задержитесь... пожалуйста...

ПОТЁМКИН останавливается, вполборота какое-то мгновение смотрит высокомерно на ПАВЛА и склоняется перед ним в ироническом полупоклоне.

ПОТЁМКИН. Ваше высочество, я весь внимание... хоть и очень спешу.

ПАВЕЛ *(торопливо)*. Князь, я... я возмущен... Мои войска в Гатчине получили ордер Военной коллегии о немедленном изменении формы одежды, амуниции, военного снаряда... Даже офицеры должны теперь относиться к солдатам чуть ли не с почтением...

ПОТЁМКИН. С уважением.

ПАВЕЛ. Это... это просто наглость!

ПОТЁМКИН. Во-первых, ваше высочество, по регламенту у вас не может быть своих войск. Те два батальона в Гатчине есть часть войск российских и подчинены оные Военной коллегии. А поскольку коллегию возглавляет ваш покорный слуга *(кланяется)*, то подчинены они мне. Во-вторых, армия российская уже ввела всё описанное в ордере, и токмо гатчинские батальоны, как допрежь, пудрятся, завиваются, косы плетут. У солдата нет слуг и лишнего времени. Его туалет должен быть таков, что встал и готов.

ПАВЕЛ. Величайший полководец Фридрих Второй считает...

ПОТЁМКИН. Плевали мы на вашего Фридриха! Ему у нас учиться потребно, а не обратно, ибо русский солдат бивал его не единожды, а ежели придется, еще побьет. И господам офицерам, особливо иноземным, как у вас в Гатчине, русского солдата уважать надобно... Так предписано в моем ордере и выполнения сих указаний я буду требовать со всей подобающей строгостью. Прошу извинить, ваше высочество, у меня неотложные дела: клюкву мороженую привезли... *(Снова полупоклон, и Потёмкин уходит.)*

Меняется свет. ПАВЕЛ возвращается к СЕГЮРУ.

ПАВЕЛ *(мрачно)*. Я всё помню... Вы не представляете, Сегюр, как унижительно чувствовать, что тебя все и во всем считают ничтожеством...

СЕГЮР. Не все и не во всем, ваше высочество.

ПАВЕЛ. Спасибо, утешили!.. Вы знаете, кем был Потёмкин двадцать лет назад? Всего лишь поручиком! А теперь он — фельдмаршал, главнокомандующий... И всё — благодаря императрице!

СЕГЮР. Простите, ваше высочество, но, если не ошибаюсь, чин генерала князь получил тогда же, двадцать лет назад, за победы над турками, по представлению фельдмаршала Румянцева. На войну он отправился волонтиром, добровольно... И поначалу Румянец тоже считал его ничтожеством...

ПАВЕЛ. Вы слишком хорошо информированы о русских делах... Или — симпатизируете Потёмкину...

СЕГЮР. Просто я воздаю ему должное.

ПАВЕЛ. Я тоже воздам ему... всем воздам! Дай только Бог поскорее стать императором... Уж после меня ни одна баба не захватит престол российский, ни один фаворит не будет допущен к браздам правления... Дай только Бог! Дай только Бог! *(Истово крестится.)*

СЕГЮР *(изумленно)*. Ваше высочество... Я отказываюсь верить глазам...

ПАВЕЛ. Вы, конечно, доложите моей маман...

СЕГЮР. Я не доносчик, ваше высочество. И я уважаю ваши права на трон. Однако... ваше намерение мстить Потёмкину и подобным ему... Согласитесь, если он и фаворит, то фаворит необыкновенный. Россия может гордиться столь великим деятелем...

ПАВЕЛ. Его величие унижает трон.

СЕГЮР. Трон унижают такие ничтожества, как Ланской, Дмитриев-Мамонов. Думаю, пришедший им на смену Платон Зубов будет ничуть не лучше. Тем бо-

лее, что он — ставленник явно не потёмкинской партии.

ПАВЕЛ. Платон Зубов?.. Не знаю такого. Но если он будет против Потёмкина...

Затемнение.

Будуар Екатерины. Поздний вечер. Хозяйка в пеньюаре прощается с ЗУБОВЫМ, который явно только что облачился в мундир.

ЕКАТЕРИНА (*улыбаясь*). Тесноват стал мундир ротмистра? Ничего, мой друг, завтра вы получите другой. Какой? Пусть это будет мой сюрприз. И вот еще... (*Достает из шкатулки перстни.*) Вы говорили, что вам мало удастся видеть меня... примите этот перстень с моим портретом... пусть он в минуты разлуки напоминает обо мне. А это кольцо подарите Захару. От себя. Мой старый верный слуга, ради наших поздних встреч дежурит лишние часы, ждет, чтобы выпустить вас... Оказывайте ему хоть малое внимание — он будет рад. Вы успели завоевать его сердце: он хорошо говорил о вас... И в войне со шведами появились успехи... благодаря вашему появлению... Вы — человек необыкновенный. Платон Александрович! Дай бог, чтобы все вас любили по достоинству...

ЗУБОВ (*сама скромность*). Благодарствуйте, ваше величество...

ЕКАТЕРИНА. На днях напишу про вас князю.

ЗУБОВ. Потёмкину?! Обо мне?!

ЕКАТЕРИНА (*смеясь*). Да-да, не удивляйтесь. Мы с ним иногда бываем в ссоре, но тем крепче наш союз. Он всегда был моим лучшим советчиком и другом. Постарайтесь, чтобы он одарил вас своим расположением... Знаю, ему писали уже дурно о вас — я напишу иное, мне он поверит... Доброй ночи, друг мой. Спите подольше, отдыхайте. В караул вам больше не надобно. Николай Иванович другого подыщет начальника...

ЗУБОВ. Ваше величество, зачем искать? Брат мой Валериан с радостью заступит...

ЕКАТЕРИНА. А-а, тот прелестный ребенок... паж... Уже вырос?

ЗУБОВ. Скоро двадцать минет...

ЕКАТЕРИНА. Хорошо. Дадим ему чин поручика... Пусть послужит...

ЗУБОВ наклоняется поцеловать руку, но ЕКАТЕРИНА останавливает его.

ЗУБОВ. Матушка, я за брата поблагодарить хотел...

ЕКАТЕРИНА. Сам поблагодарит. Он так мил, я хочу его чаще видеть... А вы меня поцелуйте... иначе ...

ЗУБОВ обнимает ее, целует обнаженное плечо, шею, губы... ЕКАТЕРИНА страстно отвечает, но вдруг останавливается.

Довольно... довольно... сердце зашлось... Прощайте!.. Погодите, вы тут что-то забыли... (*Отгибает подушку на постели, подает вышитый кошелек.*)

ЗУБОВ берет кошелек, прячет в карман, горячо целует протянутую руку и молча выходит в приемную, где дремлет в кресле ЗАХАР. За его спиной пересчитывает толстую пачку денег и от восторга начинает танцевать...

В будуаре ЕКАТЕРИНА, улыбаясь, гасит свечи, раскрывает окно в белую ночь, садится и слушает: где-то

расквакались лягушки (танец ЗУБОВА идет под эту «музыку»), где-то девушки запели хором... Постепенно свет в будуаре пригасает.

Танец ЗУБОВА останавливается пробуждением ЗАХАРА.

ЗУБОВ (*ласково*). Это я, Захарушка, не посетуй... Вот прими от меня за беспокойство. (*Надевает ему кольцо на палец.*) Как раз подошло!

ЗАХАР (*любуясь кольцом*). Помилуйте, ваше превосходительство, я и так готов... что угодно... Труд невелик... Благодарствуйте, ваше превосходительство...

ЗУБОВ. Не по чину величаешь, Захар...

ЗАХАР. Так ить указы готовы. Быть вам завтрава полковником гвардии. А там, бог даст, и повыше скакнете...

ЗУБОВ (*потрясение*). Полковником гвардии?! Это же армейский генерал!..

ЗАХАР. Теперича к вам народ повалит, с прошениями разными...

ЗУБОВ. А разве я что-то могу?

ЗАХАР. Ваше слово все двери откроет, все рогатки повалит... А уж чего лично вам захочется, то к вашим ножкам так и ляжет... так и ляжет... Само!

ЗУБОВ. Но ежели матушка прознает...

ЗАХАР. Так ить найдется ли смельчак доносить государыне о мелочах сиих? Нет, ваше превосходительство, ручки ваши свободными останутся: бери — не хочу, вороти — что по плечу...

ЗУБОВ (*уже поверив и задохнувшись от возможности*). Ты так думаешь?

ЗАХАР (*убежденно*). Не я думаю — так заведено. И менять никто не намерен... Хотя на словах все, конечно, порицают... А вы не обращайтесь внимания... И у матушки чего просить — не стесняйтесь. Она добрая, она для милого дружка и сережку из ушка.

ЗУБОВ. А тебе, старина, тоже ведь чего-то да хочется?

ЗАХАР. Есть и у меня нужда: деревеньку хочу купить. Ну, я потом обскажу, ежели дозволите...

ЗУБОВ (*смеясь*). Дозволю, дозволю. А теперь, старина, прощай и отдыхай.

ЗАХАР. Дозвольте ручку поцеловать, ваше сиятельство.

ЗУБОВ (*подает с удовольствием*). Да я не сиятельство, титулов не имею.

ЗАХАР. Будут. Всенепременно будут. (*Берет свечу.*) Я посвечу. Тут приступочка, осторожно... ножку не повредите...

Уходят. Затемнение.

Утро. У Зубова.

ВАЛЕРИАН (*врываясь*). Брат!.. Платон!.. Хватит дрыхнуть!

Появляется ЗУБОВ в халате, зеваает.

У тебя на лестнице и в прихожей — битком! Еле прорвался!.. Вельможи! Генералы!..

ЗУБОВ (*с интересом*). Генералы?

ВАЛЕРИАН. Да, брат! Признали тебя!

Стук в дверь. ВАЛЕРИАН приоткрывает ее (слышится разноголосый шум), выпускает ХРАПОВИЦКОГО с зеленой сафьяновой папкой.

ХРАПОВИЦКИЙ. Ваше превосходительство, примите мои поздравления... *(Кланяется, пожимает протянутую Зубовым руку, кивает Валериану.)* Вот, самолично доставил. *(Передает Зубову папку.)* Рескрипт ея величества о производстве вас во флигель-адъютанты в чине полковника гвардии. *(Поклон.)*

ЗУБОВ *внимательно читает содержимое папки.*

ВАЛЕРИАН *(восхищенно)*. Вот счастливцев!

ХРАПОВИЦКИЙ. Истинно заметили, молодой человек, счастливцев Платон Александрович!..

ЗУБОВ *кончил читать, зевнул, небрежно положил папку на стол. Молча разглядывает Храповицкого, потом кивает.*

Изволили узнать, Платон Александрович?

ЗУБОВ *(лениво)*. Благодарю, господин Храповицкий. За поздравление, за рескрипт... Чем могу быть полезен?

ХРАПОВИЦКИЙ. Понимаете... Неудобно мне самому матушке государыне напоминать... Засиделся я в надворных советниках...

ЗУБОВ. Хорошо... При случае намекну...

ХРАПОВИЦКИЙ. Благодарствуйте, ваше превосходительство! Вот, прошу... примите «на зубок»... О-о, простите, оговорился... От всего сердца... *(Подает вышитый кошелек.)* И в столик... в столик загляните... *(Пятясь, выходит с поклонами.)*

ЗУБОВ *достаёт из кармана халата другой вышитый бумажник.*

ВАЛЕРИАН. Снаружи очень схожи, а как — внутри?

ЗУБОВ. Этот — от государыни, в нем было десять тысяч. А тут... *(Считает.)*

Тем временем ВАЛЕРИАН с трудом выдвигает ящик стола и замирает в немом изумлении.

Гляди-ка, тоже десять. Положено так, что ли?

ВАЛЕРИАН. Какая разница! Тебе теперь все будут давать... Ты сюда посмотри, Платоша...

ЗУБОВ *подходит и тоже замирает. Потом вынимает из стола цилиндрический сверток, разворачивает и в ящик сыплется дождик золотых монет. Из второго свертка — то же самое...*

ЗУБОВ. Сколько же здесь?!

ВАЛЕРИАН. А вот написано на свертках — по пятьсот рублей. Полный ящик!

ЗУБОВ. Должно быть, сто тысяч... Мамонову — отступных сто и мне «на зубок» — столько же! Чтобы ненароком не обидеть?.. Понимаешь, Валерьян? Столько же, чтобы не обидеть!

ВАЛЕРИАН. Эка фортунища, брат! Во сне не снилось. Вот бы старика нашего сюда! Он с ума бы сошел — любит эти штучки... Ха-ха-ха... *(Набирает золото в пригоршни и сыплет обратно.)*

ЗУБОВ *(отходит, задумчиво)*. Значит, она боится, что я уйду, как Мамонов... Боится? Боится! Боится!!! Ну, Потёмкин, циклоп одноглазый, теперь мы с тобой потягаемся...

ВАЛЕРИАН. Тут еще ассигнаций пачка. Двадцать пять тысяч! Всё сосчитано.

ЗУБОВ *(возвращаясь к столу)*. Это — мелочи. Возьми себе на расходы. Золото отвезешь в банк, положишь на мое имя. Мне хватит того, что в кошельках... да и другие нанесут... Правду Захар сказывал, надо

отблагодарить старика... Да, сувениры нужны — Нарышкиной, Салтыковым, Протасовой... Я сам займусь... Повезешь золото, возьми двух солдат для охраны. Кстати, с этого дня ты — начальник дворцового караула.

ВАЛЕРИАН. Как?! Братец, милый, ты уже спроволил? Ну, спасибо!.. Чем только отблагодарю?

ЗУБОВ. Успеешь. Будешь при дворе. Государыня желает чаще видеть тебя... Но гляди *(показывает кулак)* не зарывайся. Не то живо загремишь. Я не посмотрю, что ты брат мне.

ВАЛЕРИАН. Да что ты... что ты... Нам вместе держаться надо. Фортуна, брат, дважды не улыбается.

ЗУБОВ. Я и надеюсь на всех наших. Вместе мы тут всё возьмем!

ВАЛЕРИАН *(прислушиваясь)*. Шумят... Ждать устали... Одевайся, брат.

ЗУБОВ. А я к ним — так... Как Потёмкин! *(Выходит на авансцену. В зал — холодно и презрительно.)* Рад видеть вас, господа...

Затемнение.

Прием у императрицы. Звучит музыка. Прикрываясь масками, проходят, фланируя, мужчины и женщины. Останавливаются две маски. Это — БЕЗБОРОДКО и ХРАПОВИЦКИЙ.

БЕЗБОРОДКО. Видал, Александр Васильич, как быстро наши «зубки» растут? Уже и третий при дворе, Николаша-милаша, вон с будущим тестем беседуют...

ХРАПОВИЦКИЙ. С князем Вяземским? Каждый выгоду ищет. Старик — покрывку для своих плутней, а молодой — клад в придачу к невесте-уродине. И ведь ожгутся один на другом, помяните мое слово, ваше сиятельство, ожгутся...

БЕЗБОРОДКО. Помяни моих два, Васильич: крепко засели эти «зубки» в нашей пасти... Как бы новичок и старым дорогу не перешел... тому же светлейшему...

ХРАПОВИЦКИЙ. Поди жалеть о том не станете, ваше сиятельство? Просторнее будет... А вам этих господ бояться нечего...

БЕЗБОРОДКО. Ну, мне! Я своей головой да горбом дела вершу, служу моей матушке и государству российскому... Пехтурой во храм Славы топаю... А за светлейшего всё-таки досадно: великого ума человек, а эти... Тоже: куды конь с копытом, туды и...

САЛТЫКОВ *(подходя в маске)*. ...рак с клешней? Вестимо, раку надобно пятиться... хе-хе... садиться под кочку — переспать ночку, а не на бугорок ползти... А вы это о ком, ваше сиятельство?

БЕЗБОРОДКО. Да о шведах, ваше сиятельство, о ком же еще? Им бы пятиться, а они — на кочку, с клешней... Вот мы им и прописали!

ХРАПОВИЦКИЙ. Да-да, взмылили забияк... Одно жаль: такую славную баталию для матушки немец выиграл. Будто бы своих, русских генералов мало.

САЛТЫКОВ. Разумное слово твое, батюшка. Нешто брат мой с нашими чудо-молодцами не сумел бы шведов отдубасить? Что нам этот Нассау?! Из-за границы товар выписываем, а свой — протухает... Впрочем, хе-хе-кх-кх-кх... ее воля, матушки нашей. Ей лучше

знать, что к чему в ее маленьком хозяйстве: кому квас и куда — говядинку...

БЕЗБОРОДКО. Тише, государыня сюда направляется. Отойдите в сторону...

Отходят и продолжают тихо беседовать, вроде бы не замечая подходящих ЕКАТЕРИНУ, ЗУБОВЫХ — тоже в масках.

ЕКАТЕРИНА. Фу-у, даже глазам жарко... *(Снимает маску.)* Тут немного прохладнее... Вечер, кажется, удался, не правда ли? Принц так живописал победу нашей флотилии... Валериан, мальчуган мой милый, а ты пошто грустный такой?

ВАЛЕРИАН. Ваше величество, слушал я рассказ принца Зигенского о баталии... о подвигах... Победу посылает Господь моей государыне на суше и на морях... А я тут сижу, время теряю...

ЕКАТЕРИНА. Отличиться охота? Не терпится? Ну, иди сюда, милый, красавчик мой писанный... *(Гладит его по волосам, по лицу. Платон ревниво следит.)* Успокойся. Потерпи... Вот, заметила я, княжна Голицына очень с тобой махаться стала... Ого! Загорелся мальчик. Неужли так серьезно? Рано еще, рано... дитя мое...

ВАЛЕРИАН *(капризно)*. В армию — рано! Махаться — рано!.. Вы же, матушка, обещали светлейшему отписать, чтобы взял к себе...

ЕКАТЕРИНА. Эк тебя понесло! Отписала, милый, и ответ уже получила... Только отпускать не хочется: это же война!..

ЗУБОВ. Пущай при штабе послужит, науки военной поднаберется... Глядишь, польза будет...

ЕКАТЕРИНА. Ну, мальчик мой, если и брат тебя провоаживает — перечить не стану. Поезжай к светлейшему, послужи... Я верю, вас обоих судьба на радость мне послала...

Неожиданно появляется ПАВЕЛ. В походном прусского типа мундире, в парике с косичкой, он идет громко топая сапогами.

Маски собираются в отдалении, предвкушая скандал.

ПАВЕЛ. Желаю здравствовать, ваше величество!

ЕКАТЕРИНА. Здравствуйте, здравствуйте, друг мой. Что это вы — словно в поход собрались?

ПАВЕЛ. Собрался... И прошу ваше величество отпустить меня в действующую армию...

ЕКАТЕРИНА. Что это вы такое придумали... друг мой?... Зачем это вам?!

ПАВЕЛ. Мне уже тридцать пять, а я еще ничего не совершил. Фридрих Великий в этом возрасте уже семь лет был королем и выиграл две войны... Мои будущие подданные должны знать своего государя по делам его... и подвигам... Потому я желал бы в армию Суворова, так сказать, приобщиться к славе...

ЕКАТЕРИНА. Что за вздор! Суворов и без вас побьет турков. И даже лучше, нежели с вами. А вот славой делиться вряд ли захочет — не такой человек. Трофеями поделится, а славой — нет! Он даже светлейшему спуску не дает.

ПАВЕЛ. Но с вами все делятся именно славой... А я — ваш сын...

ЕКАТЕРИНА медленно обходит ПАВЛА, оглядывая его. ПАВЕЛ стоит навтыжку, напряженный от своей дерзости.

ЕКАТЕРИНА *(со вздохом)*. Да, вы правы... Частью моей славы я обязана князю Орлову: он присоветовал мне послать флот в греческий архипелаг и сам бил там эскадры турецкие... За изгнание татар и Тавриду я благодарна князю Потёмкину... За многие победы должна признательностью фельдмаршалу Румянцеву... И всех отметила, как могла... Теперь и вы хотите что-то совершить. Ради подданных... Но ваши подданные в Гатчине и так от вас без ума. Для них этого вполне достаточно. Для меня — тоже. Так что выбросьте из головы эти бредни, мой друг. *(Делает знак Безбородко, Салтыкову, Храповицкому. Те подходят.)* Господа, великий князь выказывает похвальное стремление послужить для России. Я не вижу возможности использовать его дарования иначе как в искусстве исполнения военного артикула. Гатчинские батальоны уже прославились сим искусством на всю Европу. Николай Иванович, возможно ль ввести в российской армии должность главного артикулмейстера?

САЛТЫКОВ. Этот вопрос, ваше величество, в ведении Военной коллегии...

ЕКАТЕРИНА. Хорошо. Я напишу светлейшему князю. Думаю, он возражать не станет.

ВАЛЕРИАН не выдерживает, прыскает в кулак. Хихикает кто-то из масок, но под взглядом императрицы затыкается.

ПАВЕЛ *(в ярости)*. Ваше величество... вы... вы... Как вы можете?! *(Резко повернувшись, убегает.)*

Маски в отдалении потихоньку исчезают.

ЕКАТЕРИНА *(Валериану)*. Вы не сдержаны, поручик.

ВАЛЕРИАН. Матушка, милая, простите, ради бога...

ЕКАТЕРИНА *(сразу смягчившись)*. Вы едете к светлейшему. Не вздумайте и там вести себя подобным образом. *(Безбородко.)* Александр Андреевич, мне надо сказать вам несколько слов. *(Зубову.)* Друг мой, поскучайте немного без меня. *(Уходит с Безбородко.)*

Отходит и ХРАПОВИЦКИЙ.

САЛТЫКОВ. Неспроста матушка уединяется с графом... хе-хе-хе... ой неспроста... Чую, Платоша, о následстве будут говорить. Наталья-то моя Владимировна видела, будто государыня завещание надумала изменить, так ты полегоньку вызнай, что и как... хе-хе-хх-хх... очень даже может пригодиться...

ЗУБОВ. Постараюсь... А вы-то как, ваше сиятельство? Каковы в здоровье своем?

САЛТЫКОВ. Спасибо, голубчик, не забываешь старика. Слышал, справлялся обо мне. Бог тебя не оставит...

СЕГЮР *(подходя, снимает маску)*. Бон суар, Платон Александрович. Бон суар, господа.

ЗУБОВ. Рад видеть вас, граф. Вы оказались правы: после падения Бастилии светлейший сомневается во Франции и больше уповает на Англию. Об этом он прямо пишет в своем последнем письме государыне.

СЕГЮР *(натянута)*. Значит, мне предстоит опала, а лорд Уайтворт войдет в милость? Так надо понимать ваше любезное сообщение?

ЗУБОВ. Ничуть! Мы поборемся... Хотя великаны-циклопы сильны, однако у нас, у русских, есть пословица: «Не в силе Бог, а в правде».

СЕГЮР (*повеселев*). А у нас, у французов, говорят: «Отсутствующий всегда не прав!» (*Откланивается и отходит.*)

САЛТЫКОВ. Хороша французская пословица... хе-хе... в самую точку! Кстати, о светлейшем, Платон Александрыч... Покуда он — отсутствующий, но может нагряться в любой момент — с него станет... И тогда будь с ним осторожен... сладить о нем возможно лишь лаской да угождением... Он ведь — как дуб мореный, топору плохо поддается... с ним червячком надо быть... хе-хе-хе... подтачивать да подтачивать, в матушку вселять сомнения. Разделить их надобно — тогда и «князь тьмы» силу свою дьявольскую потеряет...

ВАЛЕРИАН. И здесь всё будет в наших руках!

САЛТЫКОВ. Умен братец-то, Платон Александрыч, не по годам умен... Хе-хе... (*Валериану.*) Ты вот к светлейшему поедешь — ушки топориком держи, а глазки — гвоздиками...

ЗУБОВ. Да, брат, всё примечай и сообщай, как надо, о подвигах князя. А я уж их тут преподнесу.

САЛТЫКОВ. И мы поможем... хе-хе-кхм...

Затемнение.

У Потёмкина. Та же обстановка, что и в прежних сценах. ПОТЁМКИН за столом, пишет. Входит ПОПОВ.

ПОПОВ. Ваша светлость, пакет из Петербурга. В собственные руки, как всегда.

ПОТЁМКИН. Погоди... (*Пишет. Закончив.*) Вот, спешно отправь государыне реляцию о Фокшанской баталии.

ПОПОВ (*просматривая листы*). Суворов о победе три слова черкнул, а вы — эвон сколько...

ПОТЁМКИН. Я знаю, что государыне читать любопытно. Ей подробности интересны. (*Вскрывает поданный Поповым пакет, читает, бросает на стол и сидит, задумавшись, положив щеку на ладонь.*)

ПОПОВ (*осторожно*). Что, опять зубы?

ПОТЁМКИН. Сбывается сон... сбывается... Самое время скакать в столицу, вырвать окаянных, пока всё не загнило...

ПОПОВ. Вы ж вознамерились крепости турецкие брать — Гаджибей, Аккерман, Бендеры... Все земли до Днестра обещали очистить от турок.

ПОТЁМКИН. До Прута, Попов... До Прута и Дуная... Земли пустые заселим, сады разведем... Красивая земля будет, богатая, веселая... Ладно, бог с ними, с зубами — перетерпится. А Гаджибей брать надо немедленно! Где там де Рибас? Где атаман Головатый?

ПОПОВ. Головатый с запорожцами уже ушел на челнах. А де Рибас дожидается последних указаний.

ПОТЁМКИН. Какие еще указания! Своя голова на плечах... Давай его сюда.

ПОПОВ. Там поручик Валериан Зубов из Петербурга прибыл...

ПОТЁМКИН. А-а, мой новый адъютант... Неужто матушка столь рано замену готовит?

ПОПОВ. Что-то не пойму, ваша светлость...

ПОТЁМКИН. Что тут понимать, Степаныч! Римский-Корсаков был моим адъютантом до того, как вошел в случай? Был. Ермолов был? Был. Ланской был? Был. Мамонов был? Был... Токмо нынешний без очереди проскочил. Зато братец его на должность прибыл. Заодно, конечно, пошпионить за светлейшим, сплетни пособирать, дабы перед матушкой в черном свете выставить...

ПОПОВ. Так шуганите его, ваша светлость. Пусть обратно катится? Мало у нас своих соглядатаев, добрыхотов записных...

ПОТЁМКИН. Шугануть, говоришь? Шугануть, брат, легко и заманчиво... Но ведь звон пойдет-покатится: испугался, мол, светлейший, разоблачений, боится... Разнесли же слух по Европе опосля путешествия матушки в Тавриду — дескать, Потёмкин проворовался и соорудил фальшивые деревни, дабы грехи свои прикрыть. Как будто возможно сие — Екатерину Великую подобной нелепицей обмануть... Ну, ладно, пушай изловчился я, обманул деревнями, а — города? Екатеринослав? Николаев? Херсон? Севастополь? Тоже — фальшивка?!

ПОПОВ. Плюньте, ваша светлость. История возрадет по справедливости, и дела ваши великие не будут забыты.

ПОТЁМКИН. Эх, Степаныч! Историю-то кто пишет? Люди. И у каждого об ней свое понятие, своя амбиция перед читателем. Мы ведь доподлинно ничего ни об чем не ведаем. Как бы кто ни старался правду писать, а написанная, она — токмо его правда... Вот о Фокшанской баталии Александр Васильич три слова черкнул, это — его правда, я ж два листа исписал — это моя правда. А событие — одно, и токмо в нем самом истинная правда сокрыта... (*Пауза.*) И не истории же ради тружусь, жилы надрывая себе и другим. Умрем все мы — и я, и ты, и матушка-государыня, дай ей Бог здоровья, — все помрем, а Россия останется — такая, какой мы ее сотворили. И пушай другие, опосля нас, сделают лучше... Ох, что-то разговорился я... Ладно, зови обоих — и командора, и адъютанта нового.

Затемнение.

Кабинет Екатерины. Хозяйка читает письма. Входит ЗУБОВ.

ЕКАТЕРИНА. Каков молодец Григорий Александрыч! За четыре дня осады взял Бендеры! Турки сдают крепости при одном его появлении! Шестнадцать тысяч пленных, триста пушек и ни одного убитого!.. Стихи написал... по-французски...

ЗУБОВ. Шутник светлейший! «Взял Бендеры с тремя пашами, не потеряв кошки...» (*Презрительно.*) Зато у стен Очакова больше года топтался, пока решился на штурм. А Крым и вовсе хотел сдать туркам.

ЕКАТЕРИНА. Сплетни это, слухи злонамеренные. Я-то занаверное знаю, что и как было...

ЗУБОВ. Простите, ваше величество, но дыма без огня...

ЕКАТЕРИНА. Друг мой! У князя много врагов и завистников. Вы — чистая, добрая душа — не уподобляйтесь им... Князь под Очаковым не топтался, а план укреплений через верных людей добывал: дабы солдат

не губить понапрасну. А как добыл, так и скомандовал штурм. И потери были малые... Любит он солдат, бережет, об их довольствии печется, мужеству и отваге учит... И наставленья князево воинам русским я знаю: прошу, мол, однажды и навсегда, чтобы предо мною не вставали, а ядрам турецким не кланялись... Вот и Аккерман, и Бендеры бескровно взял.

ЗУБОВ (*ревниво*). Сыщется ли награда за деяния его? Кажись, все ордена и звания российские у князя уже имеются...

ЕКАТЕРИНА. Есть еще одно... про запас...

ЗУБОВ. Что же это, матушка родимая? Ежели не секрет...

ЕКАТЕРИНА. Для всех — секрет... но не для вас, друг мой милый... Хочу пожаловать князя в гетманы Малороссии.

ЗУБОВ (*поражен и уязвлен*). В гетманы?! Всей Малороссии?! (*Спохватывается*.) Да, наверное, награда — по заслугам... только...

ЕКАТЕРИНА. У тебя — сомнения? Говори, я слушаю...

ЗУБОВ. Могу ли я сомневаться?.. Ваша дружба с князем... подобных нет в истории... Вы и Белоруссию можете отдать, и Польшу — он со всем справится... все пережует... И от короны не отказался бы... Те же Англия и Пруссия всегда поддержат, лишь бы вашему величеству насолить...

ЕКАТЕРИНА (*хмурясь*). Что ты такое говоришь... не пойму...

ЗУБОВ. Да любит ли он вас, выскочка этот? Одно высокомерие и даже обманы против вас...

ЕКАТЕРИНА. Насчет обманов потом поговорим, ежели ты не с досады молвил. А прочее всё — вздор! Все бы такие выскочки были... Другое дело — издалика надеется всем здесь править... Но я уже не хочу ходить по его указке, и он это скоро поймет... А что пишет наш мальчик?

ЗУБОВ. Вы знаете мое восхищение талантами фельдмаршала Потёмкина. Но любовь моя к вашему величеству не позволяет молчать даже о мелких слабостях, которые мешают светлейшему... Я все скажу, хотя бы и пришлось нести обвинение...

ЕКАТЕРИНА. Говори прямо, не вилай. Со мною надо только начистоту. Это — первое правило!.. Так что за вести от Валериана?

ЗУБОВ. Не только от него. Генерал Суворов тоже не в восторге от князя, от его искусства вождя... А Валериан... Пишет о кутежах, о дамах без числа и всяких наций... Траты бесполезные, оргии, игра на сотни тысяч... Но брат не порицает, а только сожалеет, что человек столь великого ума и любвеобильного сердца погружается в лень и праздность...

ЕКАТЕРИНА (*улыбаясь своим воспоминаниям*). У него всё — на широкую ногу. И хорошее, и плохое... Я попеняю ему.

ЗУБОВ. Попеняете? Только и всего?!

ЕКАТЕРИНА. Признаться, мой друг, я мало верю в кутежи, игры и... прочее... Во-первых, князь занят моими делами. Свои он может запустить донельзя, мои же — никогда! Во-вторых, он из редкой породы однолюбов. Были у него женщины, сейчас есть... я ее

знаю... но любит он по-настоящему только одну... Про него уже пускали слухи: мол, всех своих племянниц перепробовал, двух даже обрюхатил... Вздор! Подлый вздор!

ЗУБОВ. Матушка, как вы можете знать...

ЕКАТЕРИНА. Знаю. Я князя лучше всех знаю. В нем много чего намешано. Однако хорошего — больше.

ЗУБОВ. И все же, думаю, гетманскую булаву давать ему опасно.

ЕКАТЕРИНА. Нельзя его сейчас обижать, не то всё бросит и сюда примчится. Вы этого хотите? У меня уже есть один обиженный и нельзя их толкать друг к другу... в объятия... Скажу тебе большую тайну... Наследовать по мне надо не цесаревичу. Опасность большая для царства произойти может — от склонности его к прусской монархии, как то и у покойного мужа было. (*Крестится*.) Помилуй, Господи!.. С надеждой гляжу я и все близкие ко мне на великого князя Александра... Ты старайся заслужить милость внука... чтобы он полюбил тебя. Тогда и смерти моей бояться тебе будет нечего...

ЗУБОВ. Матушка, родная моя... зачем это? Не думаю ни о чем, только бы тебя покоить и тешить. А там...

ЕКАТЕРИНА. Тем более надлежит мне заботиться о друге прямом и бескорыстном... Только гляди, не проболтайся до срока. Об этом даже светлейший не знает... И еще у тебя защита будет: только тебе доверю, где лежит мое завещание. Только тебе! Понял?

ЗУБОВ. Как не понять... За честь великую почитаю ваше доверие... А еще брат пишет, что преступную книжку Радищева, этот возмутительный пасквиль на ваше милосердное правление, светлейший князь и сам одобряет, и приближенным своим дает читать.

ЕКАТЕРИНА (*резко*). Вот как! Скоро и у нас при дворе, как во Франции, начнут петь бунтарские песни?.. Не ожидала от князя... Но я этого не потерплю! В корне уничтожу гидру возмущения, которая сюда, в Россию, протянула свои лапы... Огорчил ты меня сим известием, весьма огорчил...

ЗУБОВ. Простите, матушка, вы же только что говорили: не скрывай ничего...

ЕКАТЕРИНА. Да, да... говорила... Ты хорошо понял... Мне только радоваться, что Бог послал тебя под конец жизни...

ЗУБОВ. Государыня, не говорите этих печальных слов...

ЕКАТЕРИНА. Пустое, друг мой... Обо всем надо подумать.

Затемнение.

Приемная Екатерины. ЗАХАР гасит свечи. Влетает осыпанный снегом ВАЛЕРИАН.

ВАЛЕРИАН. Захарушка! Здравствуй, дорогой! (*Обнимает старика*.)

ЗАХАР. Батюшки-светы! Так ить это Валерьян Александрович! Откуда?!

ВАЛЕРИАН (*потрясает сумкой*). Измаил взят! Понимаешь, Захар? Мы взяли неприступный Измаил!

В приемную выходит ЕКАТЕРИНА.

ЕКАТЕРИНА. Что за шум, крики в такую рань?

ВАЛЕРИАН бросается перед ней на колени, целует платье, руки. Она испуганно-ласково обнимает его, целует в голову, крестит.

Мальчик милый! Явился! Радость-то какая!.. Захар, беги за Платоном Александрычем...

ЗАХАР. Да они еще спать изволят...

ЕКАТЕРИНА. Какой тут сон! Буди! Скажи: я прошу...

ЗАХАР убегает.

Проходи, дитя мое. *(Проводит в кабинет.)* Вот уж истинно — как кур в ощип... Мокрый весь! Устал, небось? Садись, садись...

ВАЛЕРИАН. Пустое, матушка! Еще наотдыхаюсь... Как я счастлив видеть вас в добром здравии, цветущей...

ЕКАТЕРИНА. А я-то как рада видеть столь юного и прекрасного воина! От тебя еще пахнет порохом и дымом.

ВАЛЕРИАН *(раскрывая сумку)*. Две реляции вам, матушка. От графа Суворова и князя Потёмкина. *(Подает пакеты.)*

ЕКАТЕРИНА. Мальй, конечно же, от чудака нашего славнейшего. *(Читает.)* «Измаил пал перед тронем Вашего Величества». *(Прижимает письмо к груди.)* Лучше не скажешь!.. *(Пауза.)* Но для истории этого мало. Надеюсь, князь написал подробнее и цветистее... *(Распечатывает, читает.)* Слог у него замечательный — мог бы романы писать... *(Читает.)*

ЗУБОВ *(входит)*. Здравствуй, матушка-государыня. *(Целует ей руку.)* Здравствуй, брат. *(Обнимает Валериана.)*

ЕКАТЕРИНА не прерывая чтения, отдает ему письмо Суворова.

(Прочитав.) Наконец-то! Я уж, было, думал, что весь девятый год светлейший проведет в праздности и беспутстве. Слава богу, Александр Васильич спас честь русского оружия... *(Он обращается к Екатерине, но та поглощена чтением письма.)*

ВАЛЕРИАН *(отводит в сторону недовольного брата)*. «Циклоп» через месяц будет здесь. Собирается зубы дергать. Загнили, говорит, мочи нет терпеть...

ЗУБОВ *(злобно)*. Увидим, чья возьмет!.. А ты будешь говорить с государыней, остороженько вставь про зубы...

ЕКАТЕРИНА *(кончив чтение)*. Великолепно! Хотя классическая реляция графа Суворова сильна, зато здесь я нахожу драгоценные подробности... Князь наград просит для дворян французских, эмигрантов. Чем же они шибко так отличились? А?

ВАЛЕРИАН. Могу рассказать, матушка. Сам видел, поелику в штурме участие принял...

ЕКАТЕРИНА. Да ты герой, мой мальчик! Ничего, что я тебя так? Чаю, ты себя уже большим мужчиной полагаешь? Ну, рассказывай, что там и как было, по порядку.

ВАЛЕРИАН. Хорошо дрались французы! И наши — герои, молодцы! Но у нас как-то попросту: идут, дерутся, умирают... Как будто так и надо. Встал, перекрестился и пошел... А у них — не так! Вот этот хотя бы — Роже де Дама... Мы его прозвали «Рожа Домашняя». *(Смеется.)* Простите, государыня... Так вот, пошли мы приступом одиннадцатого декабря. Мороз! А

он вырядился, как на бал: кафтанчик с кружевами, перчатки белые, шляпа с пером... Шпагой машет... А ведь первый в своем отряде на вал взошел!.. А герцог Ришелье сапоги модные порвал при штурме и, простите, кюлотты — в клочья! По камням взбирался — вот сукно и не устояло...

ЕКАТЕРИНА. Дам я им, что светлейший просит, но и своих не забуду. Особенно Александра Васильича... И тебя, мой милый мальчуган. Чин получишь майорский и крест Георгия...

ВАЛЕРИАН *(с жаром целует ей руки)*. Я готов умереть за государыню!..

ЕКАТЕРИНА *(целует его в лоб, ласково гладит по волосам)*. Рано тебе умирать... У вас с братом впереди еще много хорошего... Да-а, штурм Измаила — славнейшее событие девятнадцатого года!.. И мои тут осенью со шведами отличились.

ЗУБОВ. Да уж, отличились! *(Валериану.)* Полковник Роберти противу сорока шведов не устоял, сдал Балтийский порт, пушки заклепал да еще и контрибуцию выплатил — четыре тыщи рублей! Русские на такое не способны!

ЕКАТЕРИНА. И я так считаю. Русский солдат — лучший в мире солдат!

ЗУБОВ. Знаешь, брат, что сказал капитан Кузьмин, когда шведы предложили ему сдать ключи от Нейшлота? У меня, сказал, всего одна рука, и та занята шпагой. И отстоял фортецию!.. И Ванжура славно бился на море. Помнишь Ванжуру?

ВАЛЕРИАН. Как не помнить! Он еще так ловко умел черепом двигать! Сморщит лоб, и все волосы на переносице ежом сидят... Потешный...

ЕКАТЕРИНА. А я тоже тогда начинала... ухом... Помнишь, так? *(Показывает.)*

ВАЛЕРИАН. Гляди, брат, как здорово шевелится! Туда-сюда, туда-сюда...

Все трое хохочут.

Ох, матушка! Не бросила своих проказ?

ЕКАТЕРИНА. Зачем бросать, мой мальчик, если на душе весело? В могилу ляжем, там тесно будет смеяться. Здесь уж надо досыта порадоваться... Ну, а как там светлейший?

ВАЛЕРИАН. Слава богу! Хотя, надо полагать, нездоров был — мрачен... К войскам не появлялся, не принимал никого... Доклады по двое суток лежали без резолюций... Духом, говорят, тоскует...

ЕКАТЕРИНА. Это у него бывает... Вам сказать могу... Он о далеком часто думает. Старше я его, могу ранней умереть. А с Павлом у них вражда большая... Он уж у меня в архиереи просился... *(Пауза.)* Только и всего?

ВАЛЕРИАН. Нет. И на телесный недуг часто жалуется князь. Ни один доктор, сказывает, помочь не может. А хворь-то пустая: зуб болит, рвать хочет... Через месяц сюда собирается, ваше величество.

ЕКАТЕРИНА и ЗУБОВ переглядываются. ЗУБОВ, усмехнувшись, отворачивается.

ЕКАТЕРИНА *(помолчав)*. Вот как! Пускай. Может, и лучше... побыстрее... Что ж, милости просим, будем готовиться...

Затемнение.

У Потёмкина. Князь сидит, подперев рукой щеку. Входит ПОПОВ.

ПОПОВ. Вы все-таки едете? Надеетесь вырвать зуб?

ПОТЁМКИН. Надеюсь... Хотя уже и сомневаюсь в успехе. Сам-то по себе он ничтожный, а вот корень пустил глубокий...

ПОПОВ. Сомнение — половина поражения. Зачем тогда ехать?

ПОТЁМКИН. Убедиться хочу. И с государыней поговорить надобно. А там будь что будет. Чувство у меня, Степаныч, такое, будто всё главное, что мне Богом определено было, я уже сделал. Остались кой-какие мелочи...

ПОПОВ. Не надо так... Не нравятся мне такие разговоры.

ПОТЁМКИН. Ну, нравятся не нравятся — что делать! Все под Богом ходим.

ПОПОВ. Вот хоть режьте, не пойму, как такая сильная, большая, умная женщина увлеклась столь мелким человечком. Не пойму!

ПОТЁМКИН. Не в том беда, что мелкий, — прежние тоже не больно крупны были. Но гляди: в последнее время Корсаков изменил, Ермолов ушел, Мамонов ушел... Ланской умер, царствие ему небесное, безвредный тоже был... Но они-то ушли, честь превыше миллионов поставили, и, кстати, матушка, великая душа, никому не мстила... А у этого — ни чести, ни совести! Он и матушку предаст на смертном одре ее, и Павла-императора убийцей будет!..

ПОПОВ. Ваша светлость, не в себе вы... Откуда сие?!

ПОТЁМКИН. Донесли мне: княгиня Салтыкова предсказывала...

ПОПОВ. И вы, человек ясного ума, верите в эту чепуху?

ПОТЁМКИН. Не верил, да всё сбывается...

ПОПОВ (*разводя руками*). У меня нет слов!..

ПОТЁМКИН. И я полтора года уже матушку не слышу. Допрежь того, как появилась эта левретка в эполетках, я ее за тыщи верст чувствовал. И она меня... А теперь — нет! Не отдаст она его, не отдаст!

Затемнение.

По авансцене проходят БЕЗБОРОДКО и ХРАПОВИЦКИЙ.

ХРАПОВИЦКИЙ. Слыхали, ваше сиятельство, «князь тьмы» возвращается? Ждем со дня на день.

БЕЗБОРОДКО. Да уж! Таврический дворец весь обновили. Говорят, князь решил устроить такой пир, какого еще не бывало.

ХРАПОВИЦКИЙ. Уходя, хлопнуть дверью?

БЕЗБОРОДКО. Пожалуй...

Смеются. Уходят.

У Салтыковых. Хозяева и НАРЫШКИНА.

НАРЫШКИНА. Как судишь, Николай Иванович, не раздавит этот Голиаф нашего мальчика?

САЛТЫКОВ. Дак он уже... хе-хе-хе... давно не мальчик. И зубки крепкие, и ручки загребушие, в матушку вцепился — не оторвешь! Она, бедная, боится глаз

его завидующих: ежели подарки кому делает на сто тысяч, другу говорит, что на десять... Ха-ха-кх-кхм...

САЛТЫКОВА. Она думала напоследок поиграть, а не заметила, как сама игрушкой стала... Много она мне зла сделала, но Гришка беспутный того больше. Людишек не успеваем ловить: в Крым бегут, в Тавриду, под его крыло... Однако недолго ему осталось княжить, недолго. Свалит его Платоша, мизинчиком шевельнет и — свалит! Это я вам говорю.

У Зубова. Хозяин и ВАЛЕРИАН.

ВАЛЕРИАН. Завтра Страстной четверг. Ты пойдешь к причастию?

ЗУБОВ. Пойду. Говею да и государыня просила.

ВАЛЕРИАН. «Циклоп» тоже будет там. Он ведь небожный.

ЗУБОВ. Видеть его не хочу! (*Забегал по комнате.*) Явился! Кто его звал? Кому он тут нужен?

ВАЛЕРИАН. Как ты не понимаешь! Тут он один, как перст, опираться не на кого, а в Бендерах у него в руках и армия, и флот. Там его не взять, там он опасен!

ЗУБОВ (*истерично*). Я отберу у него и флот, и армию!

ВАЛЕРИАН. Легко сказать... Знаешь, брат, надо матушке шепнуть, чтобы скорее войну заканчивала. Тогда и армия не нужна будет. Распустить ее и — баста!

ЗУБОВ. Верно, брат! Нашепчу. А буде заупрямится, я и заболеть могу. Чай не впервой. (*Смеется.*) Захочу — на колени встанет.

ВАЛЕРИАН. Перед тобой?! Брось... Ужели власть такую над ней заимел?

ЗУБОВ (*горделиво*). Заимел!

ВАЛЕРИАН. Врешь! Красуешься!

ЗУБОВ. А она уже вставала. Когда я требовал убирать Потёмкина с главного командования. Умоляла не трогать князя... Представляешь? Ноги у нее опухшие, сгибаются плохо, она как бухнется передо мной... Думал, паркет разлетится... (*Смеется.*) Заплакала...

ВАЛЕРИАН. И ты, поди-ка, расчувствовался?

ЗУБОВ. Дурак! А вдруг ее удар бы хватил? Где бы мы сейчас были? То-то. Надо знать, где натянуть вожжи, а где послабить...

У Екатерины. Она у зеркала, яростно растирает лицо льдом. Входит ЗАХАР с подносиком.

ЗАХАР. Письмо от светлейшего князя Потёмкина-Таврического.

ЕКАТЕРИНА *вскрывает конверт, читает и плачет, прикрыв глаза рукой.*

Матушка родимая, что с тобой? Али вести плохие?

ЕКАТЕРИНА (*овладев собой*). Ничего, Захарушка, ничего... Каждый свое требует... а я же не могу разорваться!

ЗАХАР. Будете ответ писать?

ЕКАТЕРИНА. Нет. Ему не писулька нужна...

ЗАХАР. Который раз пишет безответно... Не мальчишка, поди...

ЕКАТЕРИНА. Спасибо тебе. Захар.

ЗАХАР. За что, матушка?!

ЕКАТЕРИНА. Ты один за него заступаешься... А ведь к Платону Александровичу льнул, он тебе и с деревенькой помог — я ведь всё знаю...

ЗАХАР. Правда твоя, матушка: льнул. И деревеньку он мне спроворил... Так ить князя-то жалко: мужчина — ого-го! Фигуристый, горластый! И к людям, кто много ниже его, очень даже расположенный. Не зазря ж его солдаты отцом родным зовут...

ЕКАТЕРИНА. А Платон Александрович, надо полагать, человек ему обратный?

ЗАХАР. Тебе, матушка, виднее...

ЕКАТЕРИНА. Хоть и не прав ты, мне почему-то возражать не хочется... Ступай, ничего я не буду писать.

В церкви. Собралась уже знакомая знать: БЕЗБОРОДКО, САЛТЫКОВЫ, НАРЫШКИНА, ХРАПОВИЦКИЙ, другие дамы и господа. Даже МАМОНОВ здесь и СЕГЮР.

Слышится церковное пение. С двух сторон одновременно появляются братья ЗУБОВЫ и ПОТЁМКИН. Сблизившись, останавливаются. ПОТЁМКИН и старший ЗУБОВ лицом к лицу, ВАЛЕРИАН чуть сзади брата. Внезапно ПЛАТОН делает легкий полупоклон, приглашая ПОТЁМКИНА пройти первым к святому причастию. ПОТЁМКИН шагнул было, но, усмехнувшись, остановился, оглядел противника и, широко осклабясь, преувеличенно учтиво поклонился, тоже предлагая пройти. ПЛАТОН отступил на полшага и повторил поклон, ПОТЁМКИН сделал то же самое, но уж совсем шутовски. Все наблюдают за ними.

ЗУБОВ. Извольте проследовать, ваша светлость! Я — после вас!

ПОТЁМКИН. Отчего же, ваше превосходительство... Тут мы, в святой церкви, перед Господом, без чинов должны... По евангельскому слову — «последние да будут первыми»!..

ЗУБОВ. «А первые — последними»? Тогда извольте...

ВАЛЕРИАН (*опережая*). Я — самый последний... в роду у нас... Стало, по мысли князя, мой черед. (*Быстро проходит к чаше.*)

ПОТЁМКИН добродушно засмеялся, все подхватили. ЗУБОВ злобно оглянулся, и смех мгновенно стих. ЗУБОВ прошел за ВАЛЕРИАНОМ, потом ПОТЁМКИН.

НАРЫШКИНА (*Салтыковым*). Проиграл наш Платон Александрович.

САЛТЫКОВ. А младшенький-то — ничего... хе-хе-хе... обойдет братца...

СЕГЮР (*Мамонову*). Кто смешон — тот и не прав. Особенно в глазах посторонних. Братья Зубовы... такие нервные, суетливые...

МАМОНОВ. Пошли по шерсть — вернутся стрижены. И — поделом.

СЕГЮР. Что вы сказали, граф? Не понял...

МАМОНОВ. У вас говорят по-другому: на войне как на войне.

СЕГЮР. О, да-да...

На авансцене снова ПОТЁМКИН и ЗУБОВЫ. Холодные кивки, и ЗУБОВЫ быстро выходят. За ними торопливо потянулись вельможи.

ПОТЁМКИН (*проходящей Салтыковой*). Что еще нагада, княгинюшка? Кого еще, окромя Павла, порешит ваш Платоша?

САЛТЫКОВА. Изыди, изыди, сатана!.. (*Уходя, мужу.*) Ужасно: он всё знает!..

Затемнение.

Кабинет и приемная Екатерины. Она сама в кабинете, нервно ходит из угла в угол. Через приемную широким шагом идет ПОТЁМКИН. Откуда-то наперерез ему бросается ЗАХАР.

ПОТЁМКИН (*отшвыривая его*). Прочь с дороги!..

ЗАХАР (*снова на пути*). Прости, батюшка, не могу. Нельзя!

ПОТЁМКИН в ярости замахивается тростью. ЗАХАР сдерживает паричок, склоняет седую голову.

ПОТЁМКИН (*опуская трость*). Что ж ты делаешь, Захар?.. Али не помнишь, кто я и что я? Тоже перекинулся к этому мозгляку? Ты же клялся мне в преданности до гробовой доски... И я поверил...

ЗАХАР. Прости, батюшка... Не может матушка тебя принять: не в себе она...

ПОТЁМКИН. А ты думаешь, я — в себе?! Две недели на пороге топчусь!..

ЕКАТЕРИНА звонит. ЗАХАР бросается в кабинет.

ЕКАТЕРИНА. Кто там шумит?

ПОТЁМКИН (*входит, отодвигая Захара*). Я это, матушка-государыня. (*Низко кланяется.*) Узнал, что нездорова ты, и вот...

ЕКАТЕРИНА. Ступай, Захар, и никого не пускай. Никого!

ЗАХАР выходит с поклоном. ПОТЁМКИН бросается к ЕКАТЕРИНЕ, но она останавливает его, протянув руку для поцелуя.

ПОТЁМКИН (*целует руку, опустившись на одно колено, встает*). Прости, матушка, понять не могу, чем заслужил такое презрение и забвение... не токмо стараний моих... не о них говорить хочу... О любви моей, о преданности безмерной. Неужто доводов к тому мало?.. Жизнь сложу по единому слову твоему, но такое сносить... Брошен, забыт, в шуты поставлен, на общий смех и глум!.. Погоди, не отмахивайся... Коли: пришел, я всё скажу, а ты слушай. Али ты не жена моя перед Богом? Помнишь, на венчании нашем священник оказал: «Жена да убоится мужа своего»? Сказал и сам испугался, а ты согласно кивнула: мол, всё правильно...

ЕКАТЕРИНА. Помню. Я всё помню, князь Григорий.

ПОТЁМКИН. Не-ет, забыла ты всё! И уговор наш: в делах любовных не мешать, но государственные вместе решать, не давая друг друга в обиду, — тоже забыла! И кого ради! Хоть бы человек был... Словно тебя зельем кто опоил. Уж не Салтычиха ли, дьявольское отродье?! Что та нашла в башке его пустой, в рожке пряничной? Э-эх... За тебя досада, матушка, за тебя сердце болит... Думаешь, неведомо мне, как он помаленьку дела все и тебя самое к рукам своим липучим прибирает? Счастлив его Господь, что я тебя люблю и жалею, — я бы показал ему кузькину мать!..

ЕКАТЕРИНА. Где раки зимуют?

ПОТЁМКИН. И где раки зимуют — тоже! *(Взмахивает тростью.)*

ЕКАТЕРИНА *(в ужасе)*. Ах, молчи, не смей!.. И не грешно тебе мучить свою государыню и супругу? Ничего я не забыла и всегда останусь к тебе, как и прежде... Но дай же мне самой жить, как мне хочется!.. Боже, какая я несчастная! Два моих лучших друга... Ты — первый и единственный... и он — последний!.. Пойми, князь, — последний!

ПОТЁМКИН. Когда-то в этом звании был я.

ЕКАТЕРИНА. Ты ушел... по моей вине, но сам ушел... А он — не уйдет! Оставь, дай мне с ним в покое дожить...

ПОТЁМКИН. В покое?! Где же прозорливость твоя, матушка? Неужто от склонности к этому щенку так затемнилась? Он сейчас такой тихенький, да и то уже ковы строит. А там ты у него в руках куда теснее будешь, нежели на мои жалуюсь... Я о тебе век думал, о благе твоём, о родине. Родины слава — наша слава, общее счастье. А этот пройдоха... Он — стервятник, куски хватать любит, а я уйду — еще пуще учнет... Отец его — вор, кого хочешь спроси. В Сенат попал — тяжбы скупает и в свою пользу решает, через любимца твоего. А тот за это свою долю имеет — от всех стяжаний отца-хапуни. Что ж о тебе, матушка, думать станут?! Господи, да был бы человек хороший... сам бы я ему ноги мыл да воду пил, тебя ради... А этот... этот... *(Задыхается, схватился за бок.)*

ЕКАТЕРИНА *(не замечая его боли, в слезах)*. Нет, нет... не может быть. Ты ошибаешься... У него столько врагов... завистников... Нет, нет! *(Взрыв слез.)*

ПОТЁМКИН *(отдышался.)* Эх, Катенька... Като! А я-то писульки твои все берегу, с собой вожу, перечитываю... Иные, как вирши, дословно помню. Вот: «Право, крупно тебя люблю... да просим покорно нам платить такой же копейкою, а то весьма много слез и грусти будет...» А еще: «Изволь нежность нашу удовлетворять нежностью же, а ни чем иным...» Вот и вся любовь... вся нежность...

ЕКАТЕРИНА. Гриша, не мучай меня! Не надо!

ПОТЁМКИН. Я тебе, матушка, прямо скажу: выбирай. Либо он, либо я. Ни разу ты от меня такого слова не слышала, а теперь сказал и твердо буду его держаться. Не себя ради — тебя и Россию спасая, сей выбор тебе кладу...

ЕКАТЕРИНА. Зачем Россию к семейному делу припутывать? Россия до нас была и после нас будет.

ПОТЁМКИН. Иного не мыслю. Токмо к чему ей лишние беды?.. И знай: отойдя от тебя, ни к кому на службу не отдамся. Тебе доносили, будто я мечтаю отделиться от России — враки это. Богом клянусь! Свято присягу свою держу. Но ежели он при тебе будет — я тут не жилец. В монастырь ли, в поместья ли свои поеду — видно будет. И цесаревичу служить не стану, как тоже тебе нашептывали дружки мои... Предатели!.. Вот и выбирай...

ЕКАТЕРИНА *(строго)*. Да что ты! Да могу ли я без тебя! И думать не смей... Мы с тобой столько лет служили государству и помереть на службе должны. Тогда и к Богу придем со спокойной душой.

ПОТЁМКИН. Умереть на службе родине? Правда твоя, да сама-то почто наше общее дело предаешь?

ЕКАТЕРИНА. Я?! Как?! Чем?! Мои дела сердечные царства не касаемы... Сам про то, Григорий Александрович, лучше иных ведаешь. И грешно тебе корить меня. Я же слова не говорю, хотя занаверное знаю, как ты и на самом поле брани тешить себя изволишь с сударками разными, пирами да затеями. Делу время — потехе час...

ПОТЁМКИН. Эх ты-ы... Доносам зубовским поверила!.. Мог бы я про Платошу твоего сказать, да мелко это, грязно — мараться не хочу... А у меня-то ничего и не было! Так вот... И беседе нашей конец. Бог тебе в помощь, матушка. Не пожалей, гляди. А я никогда уже докучать не стану. *(Низко кланяется, идет к выходу.)*

ЕКАТЕРИНА. Гриша, стой! Ты не можешь так уйти. Еще столько дела у нас с тобой...

ПОТЁМКИН. Мне на этой земле делать больше нечего. Прости!..

Выходит, идет через приемную, мимо собравшихся здесь царедворцев, никого и ничего не видя. ЕКАТЕРИНА сидит оцепенело, глядя прямо перед собой. А в приемной ВАЛЕРИАН пошел по следу князя, шутовски подражая ему. Собравшиеся дружно хохочут, а ЕКАТЕРИНА закрывает лицо руками, и только плечи ее вздрагивают от рыданий.

Затемнение.

У Екатерины. Через пустую приемную быстро, почти бегом в кабинет проходит ЗУБОВ. ЕКАТЕРИНА пишет.

ЗУБОВ. Матушка, родная, известие-то какое...

ЕКАТЕРИНА. Погоди, друг мой, только письмо кончу...

ЗУБОВ. Светлейшему?

ЕКАТЕРИНА кивает, не отрываясь.

Оставьте, государыня. Уже не нужно. Светлейший умер!

Перо выпадает из рук ЕКАТЕРИНЫ. Долгое молчание.

ЕКАТЕРИНА *(как бы про себя)*. Всё-то он знал заранее... Всё знал... *(Ровным голосом.)* Когда и где это случилось?

ЗУБОВ. По дороге из Ясс в Николаев. Пятого декабря...

ЕКАТЕРИНА. Пятого?.. Да, помню... У меня разболелось сердце... и сон приснился, будто падаю в черный колодец... Лечу, лечу, а дна нет. И всё черно... А это, выходит, я одна осталась: ушел мой богатырь, ушел Григорий Потёмкин-Таврический... Какой был смелый ум, смелая душа, смелое сердце... и цели его были всегда великие — на благо России!.. Горе... страшное горе...

ЗУБОВ. Я и прибежал утешить вас, ваше величество, в горе вашем. Ваше горе — мое горе. Я же знаю, сколько места занимал Григорий Александрович, какой тяжкий груз нес... Я готов взвалить всё на свои плечи... Понимаю: у меня мало опыта, но я уже много узнал, как вы, матушка, велели. Думаю, справлюсь с Божьей помощью да и братья помогут... В столь тяжкое время нам вместе держаться надобно...

ЗУБОВ говорит вкрадчиво, стоя за спиной ЕКАТЕРИНЫ, прижимая ее голову к своей груди, глядя по волосам.

ЕКАТЕРИНА (*порывисто поворачивается к нему, обнимает*). Да, да... только вместе... Ты прав, друг мой, у тебя благородные намерения... Жаль, он этого не понял... Нам с тобой остается довершить начатое князем...

Затемнение.

Будуар ЕКАТЕРИНЫ. Она, совсем седая, в капоте, сидит у зеркала, трет льдом лицо — медленно, неохотно. Вдруг бросает лед и начинает отмахиваться от чего-то.

Входит ЗАХАР с подносом, на котором — кофейник, чашка. ЕКАТЕРИНА перестает махать руками.

ЗАХАР. Доброе утро, матушка. Как поживать изволила? Ночью-то, рассказывают, недужилось?

ЕКАТЕРИНА. Какое сегодня число? Что-то запамятовала...

ЗАХАР. Четвертое сентября, матушка.

ЕКАТЕРИНА. Четвертое сентября? А что это мухи летают? Так и мелькают перед глазами... (*Отмахивается.*) Большие... черные и красные...

ЗАХАР. Глазки твои устали, матушка. Много работаешь, спишь мало... Бросила бы все это, отдохнула...

ЕКАТЕРИНА. Нельзя, Захар: дела столько... Стой, кто это говорит у тебя в передней?

ЗАХАР (*прислушиваясь*). Да никого... Разве пустят к тебе кого так рано? А у князя Платон Александрыча своя дверка... Никого!

ЕКАТЕРИНА. А мне голос слышался... так схож с голосом светлейшего... Пять лет прошло — пора бы успокоиться, а я всё чаще его вспоминаю. Умер, и все дела — наперекосяк... Платон взялся, а у него ничего не получается...

ЗАХАР (*как бы про себя*). Может, наоборот — слышном даже получается... наперекосяк...

ЕКАТЕРИНА. Что ты бормочешь?

ЗАХАР. Да нет, матушка, слышалось тебе...

ЕКАТЕРИНА (*пьет кофе*). Кофе какой-то слабый. Ступай скажи: пусть заварят крепче...

ЗАХАР. Нельзя, матушка. В головку бы кровь не вступила...

ЕКАТЕРИНА. Пожалуйста, ступай и принеси. Работать надо мне, слышишь?..

ЗАХАР выходит.

(Отмахивается.) Опять мухи... (*Машет, опрокидывает ведро со льдом. Привстает, вглядывается.*) Тень какая-то в углу. Кто там?.. (*Повернула голову, прислушивается.*) Мама? (*Кричит.*) Я здесь, мама... (*Очнулась, садится.*) Ой, что же это я?.. Нет, надо в Москву проехать, пожить там...

ЗУБОВ (*входя, с тревогой*). Ваше величество, с кем это вы говорите?

ЕКАТЕРИНА. Ни с кем, дружок... В Москву бы надо нам с тобою съездить, подтянуть, кого следует...

ЗУБОВ. Съездим, матушка. (*Красуется.*) Как вам новый камзол?

Камзол в точности такой же, как парадный у Потёмкина. Даже будто с его плеча: великоват новому князю.

ЕКАТЕРИНА. Хорош... Как у светлейшего, даже лучше... Ну, рассказывай, если дела есть?

ЗУБОВ. Да никаких. Пойду прогуляюсь.

ЕКАТЕРИНА. С богом, дружок. Подыши свежим воздухом. А я поработаю...

ЗУБОВ уходит.

Да что же это мух напустили?! (Отмахивается, потом прислушивается.) Кто зовет меня? Гриша, ты? Это ты там в углу? (*Пытается встать.*) Ноги свинцовые... что это, Гриша, набат? А-а, это в нашу честь... наша свадьба... Фейерверк... Огни... огни... Григорий Александрыч! Единственный мой!.. (*Хрипит, падает.*)

Входит ЗАХАР с чашкой кофе, роняет ее, бросается к императрице.

ЗАХАР. Матушка!.. Матушка!.. Эй, кто-нибудь, доктора!..

Вбегают ХРАПОВИЦКИЙ, БЕЗБОРОДКО, ПОПОВ. Вчетвером поднимают ЕКАТЕРИНУ, кладут на кровать. Прибегает ДОКТОР, щупает пульс, заглядывает под веки. ЕКАТЕРИНА хрипло дышит.

БЕЗБОРОДКО. Что, доктор?

ДОКТОР. Удар. Кровь надо пустить.

ЗУБОВ (*вбегая*). Нет! Нет! Вдруг умрет!.. (*Припадает к ногам Екатерины.*)

ДОКТОР (*Безбородко*). А вообще, боюсь, уже ничто не поможет.

БЕЗБОРОДКО (*Зубову*). Платон Александрович, пускай доктор делает свое дело. (*Кивает Доктору, тот принимается за дело.*) Вы растеряны, мне жаль вас... Пошлите кого-нибудь в Гатчину, к цесаревичу... На всякий случай... Дайте ему скорее знать, что тут делается...

ХРАПОВИЦКИЙ. Я съезжу... Как человек нейтральный...

ЗУБОВ кивает, ХРАПОВИЦКИЙ уходит.

ПОПОВ. Я видел великого князя с Салтыковыми. Часа два назад...

ПОПОВ не кончил — в будуар врывается ПАВЕЛ в мундире, при шпаге. Оценив ситуацию, тихими шагами подходит к кровати, вглядывается в лицо матери, потом поворачивается к ДОКТОРУ.

ДОКТОР. Плохо, ваше величество... До утра вряд ли продлится агония...

ПАВЕЛ (*громко*). Агония?! (*Слохватулся, тихо.*) Так это — агония?! (*И что-то в нем меняется: он словно вырастает на глазах.*)

ЗУБОВ (*падает ему в ноги, хватая за сапоги*). Простите! Помилуйте грешного... Пощадите!..

ПАВЕЛ сначала шарахается от неожиданности, потом поднимает ногу — пнуть, но его удерживает БЕЗБОРОДКО.

БЕЗБОРОДКО. Ваше величество, завещание... (*Кивает на Зубова.*)

ПАВЕЛ. Да-да... Всем выйти, кроме... (*Указывает на Зубова и Безбородко. Остальные подчиняются.*)

БЕЗБОРОДКО (*трогает лежащего ничком Зубова*). Платон Александрыч... Князь... Где завещание государыни?

ЗУБОВ (*затравленно*). Что?.. Что?..

БЕЗБОРОДКО. Только вы знаете, где завещание... Отдайте его. Ради вашего блага.

ЗУБОВ. А-а... да-да... (*Бросается за кровать, достает шкатулку, трясущимися руками отдает Безбородко.*)

БЕЗБОРОДКО. Ключ?

ЗУБОВ. Что?.. Нне знаю... (*Снова падает на колени, крестится.*) Истинный бог, не знаю!..

БЕЗБОРОДКО *шарит в сумке Доктора, достает нож, взламывает крышку, достает и передает ПАВЛУ бумаги.*

ПАВЕЛ (*прочитав*). Я так и думал... (*Растерянно оглядывается.*)

БЕЗБОРОДКО. Ваше величество, свечи горят... (*Поднимает ведро для льда.*) И это сгодится.

ПАВЕЛ *мгновение медлит, затем поджигает от свечи бумаги и, дав им разгореться, бросает в ведро. Улыбается, глядя на огонь. Потом носком сапога толкает снова упавшего ЗУБОВА.*

ПАВЕЛ. Встаньте, князь... Вы исполнили свой долг. А кроме того — все пять лет усердно искореняли память о Потёмкине, и я ценю ваши заслуги. Враг моего врага — мой друг. Надеюсь, вы станете так же верно служить мне, как служили моей матери?

ЗУБОВ (*целует ему руки*). Ваше величество... да я жизнь положу...

ПАВЕЛ. Верю, верю... (*Безбородко.*) Можете позвать остальных.

ЗУБОВ *встает. Входят остальные. ДОКТОР бросается к императрице.*

(*Попов.*) Постойте, где я вас видел? Кто вы?

ПОПОВ. Секретарь ея величества Василий Степанович Попов, ваше высочество.

ПАВЕЛ. А, вспомнил: ты был секретарем Потёмкина?

ПОПОВ. Да, после смерти князя государыня призвала меня к себе, ваше высочество.

БЕЗБОРОДКО (*дергает его*). Ваше величество!..

ПОПОВ (*оглянувшись на Доктора*). Государыня еще жива...

ПАВЕЛ *тоже оглядывается на кровать, где лежит безмолвная ЕКАТЕРИНА. ДОКТОР, как бы извиняясь, разводит руками.*

ПАВЕЛ. Хорошо, Попов, твоя правда. (*Ходит.*) Ты лучше всех знал дела «князя тьмы». Скажи, как поправить зло, которое причинил Потёмкин России?

ПОПОВ. Очень просто, ваше высочество. Отказаться от Крыма, Кубани, от всего юга России, от Валахии, Поднестровья, уничтожить Черноморский флот, разрушить города Севастополь, Херсон...

ПАВЕЛ. Молчать! (*Выхватывает шпагу*). Ты... ты смеешь?!. Вон! Лишить всех чинов и званий! В ссылку! Безвозвратно! Чтобы духу потёмкинского тут не было! Искоренить!..

Он прыгает, маленький, перед высоким ПОПОВЫМ, размахивает шпагой. Все молча смотрят.

Конец

О ЛИТЕРАТУРЕ

Сергей Калабухин

Коломна, Московск. обл.



ТЕМА ПОДВИГА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
А. И Б. СТРУГАЦКИХ,
или
ВЛАДИМИР ЮРКОВСКИЙ —
ГЕРОЙ ИЛИ ПРЕСТУПНИК?

«Из Веретьевых никогда ничего не выходит».
И.С.Тургенев «Затишье»

ВСТУПЛЕНИЕ

В середине XX века в советской литературе была популярна одна неоднозначная, на мой взгляд, тема. Суть её чётко и кратко выражена в следующей цитате из повести Виктора Михайлова «На критических углах»:

«Однажды была школьная экскурсия на завод. Нас повели в цех, где токарь Митичкин, работая на пяти станках, выполнял десять норм выработки. Директор нашей школы сказал: «Это подвиг! Когда-нибудь этому человеку, так же как Александру Матросову, поставят бронзовый памятник!» Я посмотрел на Митичкина, на какие-то колечки, которые он вытачивал для артиллерийских снарядов, и мне стало смешно. Это подвиг?! Я понимал подвиг как порыв, как бросок в будущее. Мне казалось, что подвиг требует творческого вдохновения, мгновенного и яркого, как вспышка молнии. А здесь хронометр, скучный расчёт движений по секундам, небритый человек, с красными, воспалёнными от усталости глазами... Нет, думалось мне, не такой подвиг совершу я».

Жажда яркого поступка и нежелание видеть в обычном, пусть и напряжённом сверх нормы, труде подвиг подвигли данного персонажа повести Виктора Михайлова сначала к моральному падению, а позднее привели на грань измены Родине.

Известные советские фантасты, братья Аркадий и Борис Стругацкие, начавшие своё совместное литературное творчество приблизительно в то же время, тоже не обошли вниманием вышеуказанную тему. Часто главными героями книг братьев Стругацких являются персонажи ярких поступков. Они талантливы, смелы, энергичны, нередко нарушают правила и инструкции, руководствуясь эмоциями, совершенно не думая над последствиями своих поступков для себя и окружающих. Таков Владимир Юрковский из первой трилогии братьев Стругацких «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», «Стажёры». В этом же ряду можно поставить Антона (дон Румата) из «Трудно быть богом», Михаила Сидорова (Атос) из «Полдень. XXII век» — почти в любой повести братьев Стругацких обязательно найдётся подобный персонаж. Эти люди считают себя более умными, знающими и профессиональными, чем «простые работники», не способные на рывок к цели в обход инструкций и правил. Они не только го-

товы без колебаний погубить порученное им дело ради осуществления собственных амбиций, но и бездумно рискуют жизнями окружающих коллег и друзей. И только преодолев в себе этот «героизм», некоторые из них становятся настоящими профессионалами своего дела — теми самыми «простыми работниками», избегающими ненужного риска и нарушения инструкций. Таковы, например, Михаил Сидоров-Атос, Леонид Горбовский, Максим Каммерер.

Но есть и герои, так и не повзрослевшие, погубившие себя и других. Таковы, к сожалению, Антон (Румата) и Владимир Юрковский. О гибельном непрофессионализме Антона я подробно написал в статье «Трагедия дна Руматы, или Слон в посудной лавке». Что же не так с Владимиром Юрковским?

Первая трилогия Аркадия и Бориса Стругацких написана в жанре твёрдой научной фантастики, но уже в романе «Стажёры» начинается дрейф авторов в сторону социальной фантастики. Братья поняли, что им не хватает научного багажа, без которого невозможно создание полноценных произведений в жанре твёрдой научной фантастики, зато в социальной сфере они могли фантазировать без оглядки на фундаментальные науки и специфику производственных отношений. Так им, очевидно, казалось. Но вернёмся к трилогии.

«СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ»

Фабула повести «Страна багровых туч» типична для советской научной фантастики середины двадцатого века. Экипаж фотонной ракеты «Хиус» летит на Венеру. В составе экспедиции всего шесть человек:

«Ермаков — начальник экспедиции, командир корабля, физик, биолог и врач. Спицын — пилот, радист, штурман и бортинженер. Крутиков — штурман, кибернетист, пилот и бортинженер. Юрковский — геолог, радист, биолог. Дауге — геолог, биолог. Быков — инженер-механик, химик, водитель транспортёра, радист».

Цель межпланетной экспедиции чётко прописана в задании:

«Параграф восьмой. Цель экспедиции состоит в том, чтобы, во-первых, провести всесторонние испытания эксплуатационно-технических качеств нового вида межпланетного транспорта — фотонной ракеты «Хиус». Во-вторых, высадиться на Венере в районе месторождения радиоактивных руд «Урановая Голконда», открытого два года назад экспедицией Тахмасиба — Ермакова... и провести его геологическое обследование».

Параграф девятый. Задача геологической группы экспедиции состоит в определении границ месторождения «Урановая Голконда», в сборе образцов и приближённом расчёте запасов имеющихся там радиоактивных ископаемых. По возвращении представить в комитет соображения об экономической ценности месторождения...

Параграф десятый. Задачей экспедиции является отыскание посадочной площадки не далее 50 километров от границ месторождения «Урановая Голконда», удобной для всех видов межпланетного транс-

порта, и оборудование этой площадки автоматически ультракоротковолновыми маяками...»

Очевидно, что Стругацкие просто взяли стандартный сюжет (вернее несколько сюжетов) и перенесли его в космос. Тут и испытание новой техники (фотонной ракеты), и поход к неисследованному месту (полёт на Венеру и поиски Урановой Голконды), и геологические исследования в труднодоступном районе. Такой приём использовали многие писатели-фантасты как до братьев Стругацких, так и после. Да и соединение разных жанров в одном произведении придумали тоже не они. Однако повесть «Страна багровых туч» получилась на мой (и не только) взгляд весьма увлекательной и даже сейчас читается с большим интересом, хоть и многие именно научные данные о Венере в ней устарели.

Вернёмся к основной теме этой статьи. Нас в данном случае интересует не фабула повести, а конфликт между так называемыми «спортсменами» и «работниками». Спортсменов представляет Владимир Юрковский, а работников — Алексей Быков. Уже во время их знакомства, до полёта на Венеру, между Юрковским и Быковым вспыхивает неприязнь.

«— Знакомьтесь, — сказал Краюхин. — Владимир Сергеевич Юрковский, замечательный геолог и опытный межпланетный путешественник...»

Красавец в изящном костюме слабо, словно нехотя, пожал руку Быкова и отвернулся с безразличным видом».

Быкова поражает то, что Юрковский имеет наглость выдвигать претензии начальству и выражать недовольство десятым параграфом задания.

«— Одно дело — приказать, другое дело — выполнять, — хмуро пробормотал Юрковский. — Во всяком случае, следовало бы этот пункт предварительно согласовать с нами, а потом уже отдавать в приказе».

«Почему Краюхин не оборвёт этого распустившегося пижона?» — сердито подумал Быков.

Прямой, как разрез бритвой, рот Краюхина растянулся в насмешливую улыбку:

— Вам кажется, Владимир Сергеевич, что экспедиции это не под силу?

— Не в этом дело...

— Конечно, не в этом! — резко сказал Краюхин. — Конечно, не в этом! Дело лишь в том, что из восьми кораблей, брошенных на Венеру за последние двадцать лет, шесть разбилось о скалы. Дело лишь в том, что «Хиус» посылается не только... и не столько ради ваших геологических восторгов, Владимир Сергеевич. Дело лишь в том, что вслед за вами пойдут другие... десятки других, сотни других. Венеру... Голконду оставлять без ориентиров больше нельзя. Нельзя, чёрт побери! Или там будут надёжные автоматические маяки, или мы будем вечно посылать людей почти на верную гибель. Неужели это, так сказать, непонятно вам, Владимир Сергеевич?»

Кроме недовольства заданием Владимир Юрковский откровенно высказывается против участия в экспедиции Алексея Быкова, заявляя, что тот на Венере не понадобится. И начальнику приходится вновь ставить Юрковского на место.

«— Поправьте меня, если я ошибаюсь, Владимир Сергеевич. Кажется, это у вас пять лет назад в бытность вашу на Марсе рассыпалась гусеница у танкетки, не правда ли? И вы с Хлебниковым тащились пешком пятьдесят километров, потому что так и не сумели её починить...

Юрковский вскочил и хотел что-то возразить, но Краюхин продолжал:

— И в конце концов, дело даже не в этом. Инженер Быков введён в состав экспедиции, помимо всего прочего, ещё и за те, так сказать, отменные физические и духовные качества, в которых вы, по собственным вашим словам, не сомневаетесь. Это человек, на которого вы, Владимир Сергеевич, сможете положиться в критический момент. А такие моменты там будут, обещаю вам! Что же касается его знаний, то будьте уверены, в своей области их у него не меньше, чем у вас в своей».

Владимир Юрковский — замечательный геолог и опытный межпланетник, пусть и не умеющий починить гусеницу у танкетки. А инженер-механик Алексей Быков виртуозно водит вездеход и до экспедиции на Венеру никогда не покидал Землю. Но не только профессиональные и внешние качества разделяют столь разных людей. Так кто же такие «спортсмены» и «работники»? Соавторы разъясняют это в сцене, в которой Юрковский бездумно оскорбляет Василия Ляхова — пилота-испытателя первой фотонной ракеты «Хи-ус».

«— Подумать только, ведь мы были первыми в таком деле!

Юрковский усмехнулся:

— Но всё-таки дома, на Земле, лучше, не так ли, Вася?

— Разумеется, лучше.

— «Разумеется...» Ах, Василий, Василий, нет в тебе ни капли поэзии! Совершил такой перелёт!.. Нет, ты положительно недостоин такой чести.

Ляхов нахмурился.

— Я, знаешь ли, не спортсмен, — сердито сказал он, — я работник! И не вижу в этом ничего дурного.

— Никто не говорит, что это дурно... — Юрковский поднял к потолку томные глаза. — Но согласись, мон шер, что путь прокладывают обычно... спортсмены, как ты их называешь.

— Значит, раз на раз не приходится.

— Что за разделение такое? — удивлённо спросил Крутиков. — Спортсмены, работники...

— Всегда и везде, — твёрдо сказал Юрковский, — впереди шли энтузиасты-мечтатели, романтики-одиночки, они прокладывали дорогу администраторам и инженерам, а затем...

— Затем по костям этих самых мечтателей и романтиков кидалась жадная серая масса, чернь презренная... — криво улыбаясь, тоненьким голосом сказал Дауге. — Энтузиаст-мечтатель... гусар-одиночка!

Юрковский стремительно повернулся к нему, но Краюхин поднял руку.

— Одну минутку, — проскрипел он насмешливо. — Значит, Владимир Сергеевич, администраторов-энту-

зиастов не бывает? И инженеров-мечтателей тоже? Хм... И что там насчёт серой массы?

Быков сидел как на иголках. Никогда ещё «пижон» не был ему так несимпатичен. Он взглянул на Ляхова, бледного, с дрожащими от обиды губами, и разозлился ещё больше. Но он ещё не имел здесь права голоса.

— Мы все мечтатели, если угодно, Владимир Сергеевич, — продолжал Краюхин. — И энтузиасты тоже. Только каждый на свой лад... Потому что, имейте в виду, государство, наш народ, наше дело ждёт от нас не только... вернее, не столько рекордов, сколько урана, тория, трансуранидов. Мы все мечтатели. Но я мечтаю не носиться по пространству подобно мыльному пузырьку, а черпать из него всё, что может быть полезно... Что в первую очередь необходимо для лучшей жизни людей на Земле, для коммунистического содружества народов. Тащить всё в дом, а не транжирить то, что есть дома! В этом наше назначение. И наша поэзия...

Человечеству нужны богатства Венеры, а не восторженные рапорты. Так. А затем вы уступите место новым героям — производственникам, тем, кто будет строить заводы на берегах Урановой Голконды. И всё это работа, друг мой, вдохновенная работа, а не спорт! Только одни относятся к ней как к эффектной возможности блеснуть под куполом цирка и сорвать аплодисменты, а другие — как к работе в общем строю. А вам, так сказать, мон шер, только бы добраться до сокровищницы тайн, где они лежат штабелями, и водрузить... Эх, вы... спортсмены!

Наступило молчание. Юрковский поднялся и, ни на кого не глядя, вышел.

— Славный парень, — проговорил Краюхин. — Смелый, умница... Только амбиции у него — ой-ой-ой!»

Из приведённых выше цитат видно, что начальству прекрасно известны как достоинства, так и недостатки Владимира Юрковского. Краюхин не может не видеть возникшую неприязнь между Юрковским и Быковым, а ведь подобное просто недопустимо в опасной и сложной миссии на Венеру. И всё же начальство почему-то оставляет источник раздоров в составе экспедиции. Этим недостатком страдают многие произведения Аркадия и Бориса Стругацких: начальство посылает с важной миссией людей, совершенно не подходящих для этого по личным или профессиональным качествам. Оказалось, что писать социальную фантастику ничуть не проще, чем научную, но яркие образы «спортсменов» мешают нетребовательному читателю распознать данную особенность творчества братьев Стругацких.

Надо отдать справедливость Юрковскому, он рискует не ради славы.

«Для Юрковского, удачливого геолога-разведчика, перелёт означает прежде всего новый рекорд и новые ощущения. Его не очень прельщают слава и почёт — он открыто издевался над иными пилотами, опьяневшими от внимания и забот, которыми их окружала благодарная страна. Он принимал участие в самых рискованных экспедициях, но портреты его редко появлялись в газетах и на телеэкранах. Он любит опас-

ность за высокое ощущение победы над ней. Он наслаждается ею, как гурман ароматом изысканного блюда. Правда, он стыдливо скрывает эту маленькую слабость, которую Краюхин как-то назвал «отрыжкой монтекривовщины самого дурного толка». Роман-тик...»

Алексей Быков, конечно, практически полная противоположность Юрковскому как внешне, так и по характеру. Он — «работник», а не «спортсмен».

«Краюхин улыбнулся, вспомнив кирпично-красное лицо, маленькие, близко посаженные глазки, облезлую лиловатую шишку носа, жёсткую щетину, торчащую вперёд над вогнутым лбом. Не красавец, не Юрковский, конечно... И по части стихов не очень силён... Зато прекрасный инженер-практик. И какая быстрая реакция! ... Для Алексея Петровича экспедиция на Венеру — лишь весьма странная и неожиданная командировка, оторвавшая его — временно, конечно, — от привычной работы в глуши азиатских песков».

Рядом с двумя этими полюсами, «спортсменом» Юрковским и «работником» Быковым, есть ещё один персонаж, совмещающий в себе лучшие качества обоих.

«А Михаил Антонович Крутиков — просто лучший штурман в стране, только и всего. Добродушный, мягкий, любитель товарищеских вечеринок и торжественных собраний, на которые является со всей семьёй — с женой и двумя ребятишками, превосходный математик, предложивший несколько принципиально новых методов ускоренного решения сложнейших задач космологии. Он с одинаковым удовольствием позирует перед объективами кинокорреспондентов и возится дни напролёт с детьми. Он никогда не отказывался ни от самого мелкого, незаметного дела, ни от внезапного предложения отправиться в самый головоломный рейс. Если бы не Краюхин, мягкого и уступчивого Михаила Антоновича всегда отправляли бы в скучные и опасные рейсы в пояс астероидов. А сейчас штурман занимает привычное место рядом с давним своим другом Спицыным и простодушно восторгается этим».

Эти три персонажа, Юрковский, Быков и Крутиков, присутствуют во всех произведениях трилогии, их судьбы тесно связаны. В романе «Страна багровых туч» предсказания Краюхина полностью сбываются. В самом начале пути экспедиции к Урановой Голконде по вине Владимира Юрковского погиб Спицын. Они вдвоём ушли в разведку, у Спицына оказалась неисправность в кислородном баллоне скафандра, и Юрковский в нарушение инструкции отправил напарника назад к вездеходу одного, продолжив разведку, опять же в нарушение инструкции, в одиночку. В результате Спицын так и не пришёл к вездеходу, и все поиски его были безрезультатны. Когда по всем расчётам у Спицына должен был закончиться кислород, начальник экспедиции Ермаков приказал продолжить движение к Голконде. Юрковский устроил форменную истерику, требуя продолжить поиски тела Спицына.

«Юрковский, шатаясь, поднялся:

— Анатолий Борисович!..

Ермаков молчал. Юрковский, беззвучно шевеля губами, прижимал к груди трясущиеся руки. Дауге снова

понурил голову. Молчание длилось бесконечно, и Быков не выдержал. Он поднялся и направился к пульту управления. И тогда, высокий, надорванный, прозвонел голос Юрковского:

— Я не уйду отсюда!

Глаза его блуждали, на белых щеках вспыхнули красные пятна.

— Он здесь, где-то рядом... может быть, он ещё... Я не уйду... — голос сорвался, — Анатолий Борисович!

Ермаков проговорил мягко, убеждаяще:

— Владимир Сергеевич, мы должны идти. Богдан умер. У него нет кислорода. Мы должны выполнить свой долг. Мы не имеем права... Вы думаете, первым экспедициям в Антарктике было легче? А Баренц, Седов, Скотт, Амундсен?.. А наши прадеды под Сталинградом?.. Смерть любого из нас не может, не должна остановить наступления...

Никогда Ермаков не произносил столь длинных речей. Юрковский, цепляясь за стены, придвинулся к Ермакову:

— Мне плевать на всё!.. Мне плевать на Голконду! Это подло, товарищ Ермаков! Я не уйду! К чёрту! Я остаюсь один...

Быков увидел, как лицо Ермакова стало серым. Командир планетолёта не шевельнулся, но в голосе пропали дружеские нотки:

— Товарищ Юрковский, прекратите истерику, приведите себя в порядок! Приказываю надеть шлем и приготовиться к походу!

Он резко повернулся и сел за пульт управления. Юрковский, весь сжавшись, будто готовясь к прыжку, следил за ним дикими глазами. Он был жалок и страшен, и Быков, не сводя с него глаз, шагнул к нему. Но не успел: стремительным кошачьим движением, выпрямившись, как стальная пружина, геолог рванулся к люку. В руках его вдруг оказался автомат.

— Так? Да? Так? — выкрикнул он. — Пусть! К чёрту! Я остаюсь один!

Быков схватил его за плечо.

— Куда? Без шлема, сатана!..

Юрковский ударил его прикладом в лицо, брызнули тёмные капли на силиконовую ткань костюма. Быков, навалившись, рвал у него из рук оружие, ломая пальцы. Оба рухнули на пол. Юрковский сопротивлялся бешено. Перед глазами Быкова блеснули оскаленные зубы, в ушах хрипел задыхающийся шёпот:

— Сволочь!.. Пусти, гад!.. Кирпичная морда... Жан-дарм, сволочь!..

Быков вырвал наконец автомат, отбросил в сторону. Пол качнулся, раздался визгливый скрежет — «Мальчик» разворачивался, уходил от проклятого места, от не найденной могилы, лязгая сталью по серому камню.

— Иоганыч!.. Что же ты? Иоганыч... Богдан... — Юрковский застонал, запрокинув лицо. Быков выворачивал ему руки.

— Надо, Володя, надо! — Дауге стоял над ним, держась за качающиеся стены. Перекошенное землистое лицо. Потухшие глаза. Мёртвый, чужой голос:

— Надо, Володя, надо... будь оно всё проклято!..»

Как видите, Владимир Юрковский готов поставить под угрозу всю экспедицию ради эфемерной возможности нахождения тела пропавшего товарища и успокоения собственной совести. Он не может и не хочет соизмерять свои личные интересы и общественные. И только твёрдость начальника экспедиции и решительное вмешательство Алексея Быкова спасают положение. Кстати, Юрковский в дальнейшем так и не извинился перед Быковым за удар прикладом автомата в лицо и оскорбления.

«Между тем геологическая разведка давала блестящие результаты. Голконда воистину оказалась Голкондой — краем несметных, неисчерпаемых богатств. Уран, торий, радий... Трансурановые элементы — плутоний, калифорний, кюрий: вещества, на производство которых в земных условиях тратились огромные силы и средства, вещества, добываемые с помощью сложнейших установок и в ничтожных количествах, здесь лежали прямо под ногами. Без особых затрат их можно было добывать в промышленных масштабах, тоннами. Дауге вопил от восторга, отбивая лихую чечётку, и даже Юрковский, в последнее время угрюмый, пел за работой, несущей открытие за открытием. Значение этих открытий нельзя было переоценить. Они означали небывалый прогресс в энергетике, технике, промышленности, медицине. Земля, покрытая вечнозелёными лесами от полюса до полюса, горящая мириадами огней, населённая здоровыми, сильными, не знающими болезней людьми; изобилие, великолепные города, могучие электростанции, ясная, счастливая жизнь — всё это мысленно представлялось экипажу «Хиуса». И эта жизнь должна была получить могучее подкрепление отсюда, из чёрных смоляных песков Голконды. Под мрачным багровым небом, среди безбрежных угрюмых пустынь маленькая горсточка людей шла через муки, боль исканий, гибель товарищей — к большой победе. Для многого следовало многим рисковать».

Однако время, потерянное на поиски пропавшего Спицына, не позволили провести геологам Дауге и Юрковскому более подробные изыскания. Вездеходу пора возвращаться к ракете, о чём вынужден сообщить членам экспедиции Ермаков. И тут Юрковский в очередной раз продемонстрировал свой склочный характер и эгоизм.

«— Но данные расплывчаты и недостаточно полны, — ворвался в речь командира Юрковский. — Имея возможность получить гораздо более точные данные...

— Мы не имеем такой возможности! — отчеканил Ермаков.

— Как так — не имеем?!

— Я уже сказал. Готов повторить. Воды осталось на четверо суток. Связи нет. Положение «Хиуса» на болоте небезопасно. Поход в Дымное море в наших условиях является авантюрой. Любая серьёзная неисправность транспортёра может привести к провалу всего дела. Кроме того...

— При чём здесь авантюра, когда речь идёт о задаче правительства? — Юрковский вскочил. — Нам поручили ответственнейшее дело, а мы выполняем его

только наполовину. Это же позор! Когда ещё сюда придут люди!..

— Если мы вернёмся, они придут скоро, а если останемся здесь — никогда... Или через двадцать лет!

Дауге сказал негромко:

— Ведь вы обещали... Вы дали согласие на этот поход после оборудования ракетодрома...

— Да, я собирался исследовать Дымное море, если будет на то возможность. Но этой возможности нет. Рисковать результатами экспедиции я не намерен.

— Риск! Опять риск! — бушевал Юрковский. — Я не боюсь риска! Говорите что угодно, Анатолий Борисович, но вы не в силах сделать нас трусами! (Ермаков невольно вздрогнул: это были его собственные слова.) Основная задача экспедиции не будет выполнена!

— Не так, — вмешался в спор Быков.

Быков продолжал:

— Основная задача экспедиции не в этом. Вы плохо помните приказ комитета. Испытание «Хиуса» — вот основная задача.

— Алексей Петрович прав. Наша основная задача — доказать, что только снаряды типа «Хиус» могут решить проблему овладения Венерой. Доказать это! Кроме того, доставить на Землю результаты предварительной разведки. Мы их добыли. Ракетодром создан. Остаётся главное — вернуться.

Юрковский воскликнул с горечью:

— Бросать на полдороге такое дело!

— Лучшее — враг хорошего, Владимир Сергеевич. И потом, мы сделали своё дело...

— Вы не специалист, — дерзко сказал Юрковский.

— Я командир! — Ермаков заиграл желваками и проговорил, сдерживаясь: — Я отвечаю за исход всего дела. Я мог бы просто приказать, но я выслушал ваши доводы и... считаю их неубедительными. Не будем больше об этом...»

Юрковскому очень хочется быть первооткрывателем всех богатств Урановой Голконды, ради этого он готов рискнуть всей миссией на Венеру. Но командир Ермаков в очередной раз оказывается прав: на обратном пути от Голконды к «Хиусу» вездеход попадает в катастрофу и выходит из строя, гибнет Ермаков, получает тяжёлые ранения Дауге, Быков с Юрковским вынуждены теперь нести его на самодельных носилках, а до ракеты сто километров! И теперь Алексею Быкову приходится взять ответственность за судьбу экспедиции на себя, потому что Дауге лежит полумёртвый без сознания, а опытный межпланетник Юрковский окончательно пал духом и готов сдаться.

«Юрковский на привале тогда говорил, что весь поход — бессмыслица, что идти им ещё неделю, а питья не хватит и на четыре дня и что вообще они скоро упадут и не встанут».

Быков заставляет расклеившегося «спортсмена» Юрковского продолжать идти к «Хиусу».

«Сегодня осмотрели ожоги Дауге — кожа слезла, кровоточащие язвы... Быков перевязывает ему ноги как умеет. Затем Быков снимает с Юрковского вещевой мешок, в котором лежат термосы Дауге. Ему кажется, что Юрковский два раза тайком пил...

Быков тащит всё на себе. Юрковский снова упал — голубая зарница роняет неверный дрожащий свет на чёрное распростёртое тело.

— Вставай!

— Нет...

— Вставай, говори!

— Не могу...

— Встать! Убью! — напрягаясь, орёт Быков.

— Оставь меня и Гришу! — злобно хрипит Юрковский. — Иди один.

Но он всё-таки встаёт».

Мало того, что Юрковского приходится заставлять идти к спасению, но он готов окончательно погубить и своего давнего друга Григория Дауге! Когда Юрковский окончательно понимает, что Быков никогда не согласится бросить товарищей на гибель, он совершает, как ему, наверно, кажется, героический поступок:

«Во время привала Быков, измотанный и обессиленный, заснул, оставив Юрковского на часах. За четвёртые сутки они прошли не больше двенадцати тысяч шагов, и, пока Быков спал, Юрковский снял с себя термосы с остатками жидкого шоколада и лимонада, снял баллон с кислородом, сложил всё это аккуратно на полупустой мешок рядом с носилками и, кое-как нацепив шлем, уполз в ночь умирать в песках. Быков проснулся как раз вовремя. Он отыскал геолога в тот момент, когда тот, чувствуя, что у него не хватает сил отползти далеко, стаскивал и не мог стащить с себя зацепившийся за что-то шлем. Быков взвалил Юрковского на плечо — оба не сказали ни слова, — отнёс к месту привала, помог укрепить шлем и поставить все баллоны и потом сказал:

— Я хочу спать, я очень устал. Дай слово, что во время сна ты не удерёшь...

Юрковский молчал.

— Я очень хочу спать, очень... Ты не даёшь мне заснуть, Володя...

Юрковский молчал упрямо, только с ненавистью сопел в микрофон».

За что Юрковский ненавидит Быкова? За то, что тот не даёт ему совершить яркий поступок — подвиг самопожертвования ради спасения товарищей. Он не понимает, что именно Быков совершает подвиг, делая всё, чтобы они дошли до ракеты все трое, а не только он, простой водитель вездехода в данной экспедиции. Только геологи Дауге и Юрковский могут по памяти хотя бы частично восстановить утраченные во время катастрофы с вездеходом результаты исследования Урановой Голконды. Но Юрковский не видит этого подвига. Просто идти, преодолевая жажду и бессилие, к далёкому «Хиусу» — это для Юрковского бессмысленная рутина и глупость, он уверен, что они всё равно не дойдут и погибнут бесславно и тускло. Но Быков не теряет надежды укрепить дух товарища.

«Через четыре часа они двинулись дальше, и Юрковский пошёл сам. Местность стала каменистой, и сквозь мучительный бред о воде Быков подумал, что они сделают, может быть, хороший переход, но Юрковский споткнулся, упал и повредил колено. Быков, ощупывая ему ногу, слышал, как он заплакал горько и яростно, и проговорил:

— А помнишь, Володя?.. Бороться и искать, найти и не сдаваться! Помнишь?

— К чёрту, всё к чёрту! — всхлипывал Юрковский.

— Нет, ты мне скажи, ты мне скажи, Владимир... Боролись?

Юрковский затих, потом проговорил:

— Боролись.

— Искали?

— Искали.

— Нашли? Вовка! Ведь нашли! Ведь ты же геолог!

Юрковский молчал.

— Не-ет, ты скажи! — Быков чувствовал, что бредит. — Ну? Ведь нашли, а?

— Нашли, — сказал Юрковский.

— Милый... Ведь нашли... Ты... Иоганыч... Всё пропало — ладно... Записи, образцы, «Мальчик»... Но ведь ты геолог, ты многое помнишь и так... без записей... Ведь нужен ты, Владимир... Ждут тебя... Краюхин ждёт... Искали ведь... нашли... так что же — сдаваться? А, Володя?

— Брось меня, — тихо попросил Юрковский. — Все погибнем. Брось...»

Получая от Юрковского вместо помощи только дополнительные осложнения, Быков начинает не просто осуждать «спортсмена», но и ненавидеть.

«Каждый раз, просыпаясь после мучительного сна, Быков люто ненавидел Юрковского. Геолог больше не мог нести носилки. Он всё время падал и ронял Дауге. Он ещё раз пытался бежать в пески. Но Юрковского терять нельзя! С ним будут потеряны драгоценные знания — знания человека, изучившего подступы к Голконде. Он должен дойти — этот смельчак, поэт и «пижон», он даст людям Голконду, сказочные песчаные равнины, где песок дороже золота, дороже платины... И всё-таки каждый раз, проснувшись перед началом нового пятнадцатикилометрового перехода, Быков ненавидел его, как врага».

Юрковский не просто мешает Быкову, заставляя того тратить душевные и физические силы, не давая добровольно умереть. Он даже не понимает причин, заставляющих Быкова это делать, хотя тот прямо их озвучил. И поэтому Юрковский в очередной раз оскорбляет Быкова, приписывая тому собственные эгоистичные мотивы.

«— Оставьте нас. К чему вам себя мучить? И сами погибнете, и...

— На кой чёрт ты мне нужен? Мне «язык» нужен! Вставай.

Юрковский колеблется.

— Ты что? Венец героя приобрести хочешь?.. Мученика?»

Но Быков не сдаётся, для него дело важнее личных обид.

«— Врёшь! Я тебя гнать вперёд буду, пока сам не свалюсь! А свалюсь — сам поползёшь дальше! Понял?! Вставай!

И Юрковский встаёт. Славный, хороший парень! Наш, советский, хоть и с загибами... После пятого километра Быков перестаёт его ненавидеть, а после десятого начинает любить, как брата. Молчит, сукин сын, ни слова, ни жалобы — а у самого волосы выпа-

дают, кожа в трещинах, и лицо чернее пустыни. Ша-тается... Друг ты мой милый, мы дойдём, обязательно дойдём! Смотри, ещё десять километров оттопали. Вперёд, вперёд!.. Шаг, два, три, пять...»

Они уже так обессилели, что не могут итти. Быков ползёт, тянет за собой носилки с Дауге, Юрковский ползёт следом. «Спортсмен» так и не понял «работника», остался ненадёжным партнёром, продолжая отнимать у Быкова и так кончающиеся физические силы.

«Быков останавливается, включает фонарик и оглядывается. Юрковский здесь. Лежит позади неподвижного тела Иоганыча, упираясь растопыренными локтями в песок, глядит слепым полушарием шлема. Они связаны ремнём, снятым с вещевого мешка. За этим ремнём надо следить: один раз он уже развязался, и Быков уполз далеко вперёд. Пришлось возвращаться и искать Юрковского, который сидел, упёршись спиной в каменную стену ущелья, и молчал упорно, хотя и видел Быкова, ползавшего рядом. Чудак! Что он задумал — расставаться, когда осталось всего несколько тысяч шагов. Если идти ногами, конечно. Да, надо внимательно, очень внимательно следить за ремнём. А теперь — дальше. Шаг, два шага...»

На мой взгляд, Юрковский совершает подлость, ставляя Быкова тратить силы на его поиски. Если бы он так сильно хотел умереть, ему было достаточно просто застрелиться или снять шлем, и атмосфера Венеры быстро бы с ним покончила. Но нет, этот «гусар» сидит и упорно не откликается, спокойно наблюдая за тем, как Быков его ищет. И всё же по воле авторов этот стокилометровый поход разрушил стену неприязни между Быковым и Юрковским. Быков понял, что «гусар» далеко не трус и даже способен на самопожертвование. А Юрковский убедился, что без Быкова, без его несгибаемой уверенности в успехе и огромной силы воли, погибли бы все геологические результаты экспедиции к Голконде, сделав напрасными и человеческие жертвы, и труд самого Юрковского.

Алексей Быков после экспедиции на Венеру решил изменить специальность и стать пилотом космического корабля, межпланетником, потому что в космосе будет решаться дальнейшая судьба земной цивилизации. А вот Владимир Юрковский, к сожалению, не изменился, оставшись «спортсменом» и эгоистом.

Однако тема подвига «работника» осталась нераскрыта до конца. Быков спас Дауге, Юрковского и результаты экспедиции к Урановой Голконде. Он бесспорно совершил подвиг, но не в своей профессиональной сфере! Чтобы устранить этот пробел братьям Стругацким пришлось написать повесть «Путь на Амальтею».

«ПУТЬ НА АМАЛЬТЕЮ»

Эта небольшая повесть, в которой присутствуют трое участников полёта фотонной ракеты «Хиус» к Венере — Алексей Быков, Владимир Юрковский и Михаил Крутиков, — как и повесть «Страна багровых туч», написана братьями Стругацкими в жанре твёрдой научной фантастики. В ней нет глобального кон-

фликта «спортсменов» и «работников», зато почти вся она направлена на прославление подвига «работников».

Завязка такова: научной станции, расположенной на Амальтее, спутнике Юпитера, грозит голод. К Амальтее с грузом продовольствия летит фотонная ракета «Тахмасиб». Командир экипажа — уже прославленный к этому времени межпланетник Алексей Быков, старший штурман — опытный космогатор Михаил Крутиков. Пассажирами летят на «Тахмасиб» Григорий Дауге и Владимир Юрковский, чему Быков совсем не рад.

«— Ты уж на них не сердись, Лёшенька, — сказал штурман.

— Знаете, товарищи, — Быков опустил в кресло, — самое скверное в рейсе — это пассажиры. А самые скверные пассажиры — это старые друзья».

Итак, переходим к подвигу. «Тахмасиб» внезапно на подходе к Юпитеру попадает в метеоритный поток.

«Видимо, крупный метеорит угодил в отражатель, симметрия распределения силы тяги по поверхности параболоида мгновенно нарушилась, и «Тахмасиб» закрутило колесом. В рубке один только капитан Быков не потерял сознания. Правда, он больно ударился обо что-то головой, потом боком и некоторое время совсем не мог дышать, но ему удалось вцепиться руками и ногами в кресло, на которое его бросил первый толчок, и он цеплялся, тянулся, карабкался до тех пор, пока в конце концов не дотянулся до панели управления. Всё крутилось вокруг него с необыкновенной быстротой. Откуда-то сверху вывалился Жилин и пролетел мимо, растопырив руки и ноги. Быкову показалось, что в Жилине не осталось ничего живого. Он пригнул голову к панели управления и, старательно прицелившись, ткнул пальцем в нужную клавишу.

Киберштурман включил аварийные водородные двигатели, и Быков ощутил толчок, словно поезд остановился на полном ходу, только гораздо сильнее. Быков ожидал этого и изо всех сил упирался ногами в стойку пульта, поэтому из кресла не вылетел. У него только потемнело в глазах, и рот наполнился крошкой отбитой с зубов эмали. «Тахмасиб» выровнялся. Тогда Быков повёл корабль напролом сквозь облако каменного и железного щебня. На экране следящей системы бились голубые всплески. Их было много, очень много, но корабль больше не рыскал — противометеоритное устройство было отключено и не влияло на киберштурман. Сквозь шум в ушах Быков несколько раз слышал пронзительное «поук-пш-ш-ш», и каждый раз его обдавало ледяным паром, и он втягивал голову в плечи и пригибался к самому пулту.

Тогда Быков поглядел на курсограф. «Тахмасиб» падал. «Тахмасиб» шёл через экзосферу Юпитера, и скорость его была намного меньше круговой, и он падал по суживающейся спирали. Он потерял скорость во время метеоритной атаки. При метеоритной атаке корабль, уклоняясь от курса, всегда теряет скорость. Так бывает в поясе астероидов во время обыденных рейсов Юпитер-Мартс или Юпитер-Земля. Но там это не опасно. Здесь, над Джупом, потеря скорости означала верную смерть. Корабль сгорит, врезавшись в

плотные слои атмосферы чудовищной планеты, — так было десять лет назад с Полем Данже. А если не сгорит, то провалится в водородную бездну, откуда нет возврата, — так случилось, вероятно, с Сергеем Петрушевским в начале этого года.

Вырваться можно было бы только на фотонном двигателе. Совершенно машинально Быков нажал рифлённую клавишу стартера. Но ни одна лампочка не зажглась на панели управления. Отражатель был повреждён, и аварийный автомат блокировал неразумный приказ. «Это конец», — подумал Быков. Он аккуратно развернул корабль и включил на полную мощность аварийные двигатели. Пятикратная перегрузка вдавила его в кресло. Это было единственное, что он мог сейчас сделать, — сократить скорость падения корабля до минимума, чтобы не дать ему сгореть в атмосфере».

Быков собирает в кают-компании экипаж и пассажиров и объявляет о создавшейся ситуации: о том, что отражатель разбит, контроль отражателя разбит, в корабле восемнадцать пробоин, и он падает на Юпитер.

«Я с Жилиным попробую что-нибудь сделать с отражателем, но это... так... — Он сморщился и покрутил распухшим носом. — Что намерены делать вы?»

— Н—наблюдать, — жёстко сказал Юрковский.

Дауге кивнул.

— Очень хорошо. — Быков поглядел на них исподлобья.

— Вот так, — сказал Быков. — Ты, Миша, поди в рубку и сделай все расчёты, а я схожу в медчасть, помассирую бок. Что-то я здорово расшибся.

Выходя, он услышал, как Дауге говорил Юрковскому:

— В известном смысле нам повезло, Володька. Мы кое-что увидим, чего никто не видел. Пойдём чиниться.

— П—пойдём, — сказал Юрковский.

«Ну, меня вы не обманете, — подумал Быков. — Вы всё-таки ещё не поняли. Вы всё-таки ещё не верите. Вы думаете: Алексей вытащил нас из Чёрных Песков Голконды, Алексей вытащил нас из гнилых болот, он вытащит нас из водородной могилы. Дауге — тот наверняка так думает. А Алексей вытащит? А может быть, Алексей всё-таки вытащит?»

Да, Дауге и Юрковский верят, что Быков найдёт выход к спасению, и их научные наблюдения атмосферы Юпитера не превратятся в бесполезный мартышкин труд. И, конечно, Быков оправдал надежды друзей. Он нашёл решение проблемы и заставил экипаж воплотить его в жизнь в условиях всё возрастающей силы тяжести при падении корабля на планету-гигант Юпитер.

«Это было трудно, невообразимо трудно работать в таких условиях. Жилин несколько раз терял сознание. Останавливалось сердце, и всё заволакивалось красной мутью. И во рту всё время чувствовался привкус крови. Жилину было очень стыдно, потому что Быков продолжал работать неумолимо, размеренно и точно, как машина. Быков был весь мокрый от пота, ему тоже было невообразимо трудно, но он, по-видимому,

умел заставить себя не терять сознание. Уже через два часа у Жилина пропало всякое представление о цели работы, у него больше не осталось ни надежды, ни любви к жизни, но каждый раз, очнувшись, он продолжал прерванную работу, потому что рядом был Быков. Однажды он очнулся и не нашёл Быкова. Тогда он заплакал. Но Быков скоро вернулся, поставил рядом с ним кастрюльку и сказал: «Ешь». Он поел и снова взялся за работу. У Быкова было белое лицо и багровая отвисшая шея. Он тяжело и часто дышал. И он молчал. Жилин думал: «Если мы выберемся, я не пойду в межзвёздную экспедицию, я не пойду в экспедицию на Плутон, я никуда не пойду, пока не стану таким, как Быков. Таким обыкновенным и даже скучным в обычное время. Таким хмурым и немножко даже смешным. Таким, что трудно было поверить, глядя на него, в легенду о Голконде, в легенду о Каллисто и в другие легенды». Жилин помнил, как молодые межпланетники потихоньку посмеивались над Рыжим Пустынником — кстати, откуда взялось такое странное прозвище? — но он никогда не видел, чтобы о Быкове отозвался пренебрежительно хоть один пилот или учёный старшего поколения. «Если я выберусь, я должен умереть, как Быков. Если я не выберусь, я должен умереть, как Быков». Когда Жилин терял сознание, Быков молча перешагивал через него и заканчивал его работу. Когда Жилин приходил в себя, Быков так же молча возвращался на своё место».

Закончив работу, Быков вновь собирает экипаж и пассажиров, чтобы объявить им своё решение. Зная характер Юрковского, привычку того обсуждать приказы начальства, он говорит следующее:

«— Так, — повторил он. — Мы были заняты переоборудованием «Тахмасиба». Мы закончили переоборудование. — Это слово никак не давалось ему, но он упрямо дважды повторил его, выговаривая по слогам. — Мы теперь можем использовать фотонный двигатель, и я решил его использовать. Но сначала я хочу поставить вас в известность о возможных последствиях. Предупреждаю: решение принято, и я не собираюсь с вами советоваться и спрашивать вашего мнения...»

— Короче, Алексей, — сказал Дауге.

— Решение принято, — сказал Быков. — Но я считаю, что вы вправе знать, чем это всё может кончиться. Во-первых, включение фотореактора может вызвать взрыв в сжатом водороде вокруг нас. Тогда «Тахмасиб» будет разрушен полностью. Во-вторых, первая вспышка плазмы может уничтожить отражатель — возможно, внешняя поверхность зеркала уже истончена коррозией. Тогда мы останемся здесь и... В общем, понятно. В-третьих, наконец, «Тахмасиб» может благополучно выбраться из Юпитера и...

— Понятно, — сказал Дауге.

— И продовольствие будет доставлено на Амальтею, — сказал Быков.

— П-продовольствие б-будет век б-благодарить Б-быкова, — сказал Юрковский.

Михаил Антонович робко улыбнулся. Ему было не смешно».

Как видите, для Быкова главным в спасении «Тахмасиба» была необходимость выполнить задание — доставить продовольствие на Амальтею, а не спасение собственной жизни. Он просто делал свою работу, не считая её подвигом. А вот Юрковский, даже заикаясь после травмы, полученной при столкновении корабля с метеоритным потоком, не смог удержаться от идиотской реплики в адрес своего (и не только) спасителя.

«СТАЖЁРЫ»

Последняя книга трилогии, как я сказал в начале этой статьи, знаменует уход Аркадия и Бориса Стругацких от научной фантастики в область фантастики социальной. Братья, к сожалению, не смогли совместить оба жанра в одном произведении, из-за чего повесть «Стажёры», на мой взгляд, получилась гораздо хуже двух предыдущих. Научно-фантастическая составляющая в ней просто задавлена социальной, но и социальная при этом выглядит весьма бледно и прямолинейно: здесь имеются прямые споры между адептами коммунизма и капитализма, а также многочисленные примеры пережитков прошлого в молодых строителях коммунизма. Возможно, каждый из авторов писал свою линию, совместить которые в единое произведение им не удалось. Очевидно, сказалось то, что повесть написана, по признанию Бориса Стругацкого, «единым духом и за один присест в мае-июне 1961-го».

Итак, на страницах повести «Стажёры» мы вновь встречаемся с Алексеем Быковым, Владимиром Юрковским и Михаилом Крутиковым. Они постарели и отправляются, по-видимому, в свой последний совместный полёт на корабле «Тахмасиб». А вот Григорию Дауге врачи запретили по состоянию здоровья покидать Землю, и он пришёл на ракетодром их проводить.

«Никуда мне не хочется, подумал он. Совсем никому мне не хочется. Тяжело как... Вот не думал, что будет так тяжело. Ведь не случилось ничего нового или неожиданного. Всё давно известно и продумано. И заблаговременно пережито потихоньку, потому что кому хочется выглядеть слабым? И вообще всё очень справедливо и честно. Пятьдесят два года от роду. Четыре лучевых удара. Поношенное сердце. Никуда не годные нервы. Кровь и та не своя. Поэтому бракуют, куда не берут. А Володьку Юрковского вот берут. А тебе говорят: «Григорий Иоганнович, довольно есть, что дают, и спать, где положат. Пора тебе, говорят, Григорий Иоганнович, молодых поучить».

Но и Владимир Юрковский уже далеко не красавец, но по-прежнему — пижон.

«Дауге взглянул на него и отвёл глаза. Не хотелось смотреть на Юрковского — на его уверенное рыхловатое лицо с брюзгливо отвисшей нижней губой, на тяжёлый портфель с монограммой, на роскошный костюм из редкостного стереосинтетика. Лучше уж было глядеть в высокое прозрачное небо, чистое, синее, без единого облачка, даже без птиц — над аэродромом их разгоняли ультразвуковыми сиренами.

Юрковский томно сказал:

— В стратоплане спрошу бутылочку эссенуков и выкушаю...»

Повесть называется «Стажёры», но никаких стажёров в ней нет. Есть юный восемнадцатилетний вакуумсварщик Юра Бородин, которого вопреки желанию Юрковского Быков в нарушение инструкций берёт на борт «Тахмасиба» и оформляет стажёром, чтобы помочь хорошему парню добраться до места будущей работы на спутнике Сатурна Рее. Но Юре фактически не на кого стажироваться на борту фотонной ракеты, и по указанию Быкова он с большой неохотой штудирует учебники по своей специальности. Чтобы оправдать название соавторы ввели в текст повести несколько, мягко говоря, пафосных фраз:

«— Стажёр стажёру рознь, — возразил Юрковский. — Ты тоже стажёр, и я стажёр. Мы все стажёры на службе у будущего. Старые стажёры и молодые стажёры. Мы стажирujemy всю жизнь, каждый по-своему. А когда мы умираем, потомки оценивают нашу работу и выдают диплом на вечное существование.

— Или не выдают, — задумчиво сказал Быков...»

Это поразительно, как соавторы изменили образ Быкова в данной повести. Но без этого у них не получилось бы убить Юрковского. Ранее Алексей Быков не стал бы нарушать законы, инструкции и правила, а теперь на протест Юрковского по поводу взятия на борт корабля Юры Бородина и оформления того задним числом стажёром спокойно заявляет нечто для него невероятное:

«— Это незаконно, Алексей, — негромко сказал Юрковский.

Быков вернулся к столу и сел.

— Если бы ты знал, Владимир, — сказал он, — без скольких законов я могу обойтись в пространстве. И без скольких законов нам придётся обойтись в этом рейсе».

Так что же это за рейс?

«Юра уже знал, что такое спецрейс 17. Кое-где в огромной сети космических поселений, охватившей всю Солнечную систему, происходило неладное, и Международное управление космических сообщений решило покончить с этим раз и, по возможности, навсегда. Юрковский был генеральным инспектором МУКСа и имел, по-видимому, неограниченные полномочия. Он обладал правом понижать в должности, давать выговоры, разносить, снимать, смещать, назначать, даже, кажется, применять силу и, судя по всему, был намерен делать всё это. Более того, Юрковский намеревался падать на виновных как снег на голову, и поэтому спецрейс 17 был совершенно секретным. Из обрывков разговоров и из того, что Юрковский зачитывал вслух, следовало, что фотонный планетолёт «Тахмасиб» после кратковременной остановки у Марса пройдёт через пояс астероидов, задержится в системе Сатурна, затем оверсаном выйдёт к Юпитеру и опять-таки через пояс астероидов вернётся на Землю. Над какими именно небесными телами нависла грозная тень генерального инспектора, Юра так и не понял».

Как видите, у авторов было обширное поле деятельности в сфере научной фантастики, как же они

воспользовались такой прекрасной возможностью? Бездарно, как говорится, слили.

Итак, первая остановка на Марсе. Здесь летающие пиявки нападают на людей. Учёные предполагают, что они делают это, потому что когда-то на Марсе обитала «**раса двуногих прямостоящих**», а может и сейчас где-то в пустотах под землёй или в пустыне остались её потомки. Что же делают земляне, чтобы разрешить эту загадку? Ничего! Для них это не загадка, а проблема.

«Товарищи, как вам известно, за последние недели летающие пиявки активизировались. С позавчерашнего дня началось уже совершенное безобразие. Пиявки стали нападать днём. К счастью, обошлось без жертв, но ряд начальников групп и участков потребовал решительных мер. Я хочу подчеркнуть, товарищи, что проблема пиявок — старая проблема. Всем нам они надоели. Спорим мы о них ненормально много, иногда даже ссоримся, полевым группам эти твари, видимо, очень мешают, и вообще пора наконец принять о них, о пиявках то есть, какое-то окончательное решение. Коротко говоря, у нас определились два мнения по этому вопросу. Первое — немедленная облава и сильное уничтожение пиявок. Второе — продолжение политики пассивной обороны, как паллиатив, вплоть до того времени, когда колония достаточно окрепнет».

Какой вариант выберут земляне, гадать не приходится — ради второго собирать совещание нет необходимости. К тому же, соавторы смогут весьма красочно изобразить свой вариант земной охоты на волков на Марсе.

«И тем не менее облаву провести необходимо. Вот некоторые статистические данные. За тридцать лет пребывания человека на Марсе летающие пиявки совершили более полутора тысяч зарегистрированных нападений на людей. Три человека было убито, двенадцать искалечено. Население системы Тёплый Сырт составляет тысячу двести человек, из них восемьсот человек постоянно работают в поле и, следовательно, перманентно находятся под угрозой нападения. До четверти учёных вынуждены нести сторожевую службу в ущерб государственным и личным научным планам. Мало того. Помимо морального ущерба пиявки наносят весьма значительный материальный ущерб. Только за последние несколько недель и только у ареологов они непоправимо разрушили пять уникальных установок и вывели из строя двадцать восемь ценных приборов. Представляется очевидным, что дальше так продолжаться не может. Пиявки ставят под угрозу всю научную работу системы Тёплый Сырт».

Готовя облаву на пиявок, земляне вдруг обнаруживают на развалинах Старой Базы некое растение, цветущее раз в десять лет.

«— Интересно, — сказала Наташа. — Значит, можно подсчитать, сколько колючке лет... Раз... Два... Три... Четыре...»

Она остановилась и посмотрела на Феликса.

— Тут восемь ободков, — сказала она неуверенно.

— Да, — сказал Феликс. — Восемь. Цветок — девятый. Этой трещине в цементе восемьдесят земных лет.

— Не понимаю, — сказала Наташа и вдруг поняла. — Значит, это не наша база? — сказала она шёпотом.

— Не наша, — сказал Феликс и выпрямился.

— Вы об этом знали! — сказала Наташа.

— Да, мы об этом знаем, — сказал Феликс. — Это здание строили не люди. Это не цемент. Это не просто холм. И пиявки не зря нападают на двуногих прямостоящих».

Позвольте ещё одну цитату:

«Кабинет директора системы Тёплый Сырт был набит до отказа. Директор вытирал лысину платком и ошалело мотал головой. Ареолог Ливанов, утратив сдержанность и корректность, орал, надсаживаясь, стараясь перекрыть шум:

— Это просто уму непостижимо! Тёплый Сырт существует шесть лет. За шесть лет не разобрались, что здесь наше и что не наше. Никому и в голову не пришло поинтересоваться Старой Базой!..»

Я привёл две цитаты. В первой авторы пишут, что земляне давно знают, что Старую Базу построили не люди, а во второй, что не знают. Один из соавторов, очевидно, писал научно-фантастические страницы повести, другой — социальные, одного интересовали пришельцы и пиявки, другого — организационный бардак, неистребимый даже в наступающем коммунистическом обществе. Результат подобного сотрудничества удручает. Становится ясно, что именно судьба Владимира Юрковского являлась для соавторов приоритетом, а он на Марсе проездом, поэтому все научно-фантастические завязки соавторы резко оборвали: пиявок тупо истребили, с базой пришельцев разбираться некому — у всех землян и так имеются свои конкретные научные и производственные планы, которые вдобавок нарушил ещё и прилетевший Юрковский. Кстати, Юрковский полностью одобрил истребление пиявок и даже сам принял в этом непосредственное участие.

Итак, уже первая остановка «Тахмасиба» у Марса демонстрирует читателю, что научная фантастика в повести «Стажёры» если и не закончилась, то резко отошла на задний план. Почему я считаю, что главным для соавторов становится судьба Владимира Юрковского? Потому что с первых страниц повести Стругацкие прямо намекают на это, а в завершающей сцене истребления летающих пиявок на Марсе уже ясно показывают, каким будет финал.

Первый намёк — переживания Григория Дауге, которому по состоянию здоровья запретили заниматься любимым делом. И Юрковский, старинный друг и соратник Дауге, у которого тоже имеются проблемы со здоровьем, понимает, что он, возможно, полетел в космос в последний раз. А кто такой Владимир Юрковский? Это человек ярких поступков, поэт и эгоист. Все его подвиги в прошлом, и молодёжь уже не знает его в лицо.

«В комнате за круглым столом, накрытым белой скатертью, сидели два пожилых человека. Юра остолбенел: он узнал их обоих, и это было настолько не-

ожиданно, что на мгновение ему показалось, что он ошибся дверью. Лицом к нему, уперев в него маленькие недобрые глаза, сидел известный Быков, капитан прославленного «Тахмасиба», угрюмый и рыжий — такой, как на стереофото над столом Юриного старшего брата. Лицо другого человека, небрежно развалившегося в лёгком плетёном кресле, породистое, длинное, с брезгливой складкой около полных губ, было тоже удивительно знакомо. Юра никак не мог вспомнить имени этого человека, но был совершенно уверен, что видел его когда-то и, может быть, даже несколько раз».

Главное — сам Юрковский осознаёт, что его слава и известность остались в прошлом.

«— Алексей, — величественно сказал Юрковский. — Наш... э-э... кадет ещё не знает, с кем имеет дело.

— Нет, я знаю, — сказал Юра. — Я вас сразу узнал.

— О! — удивился Юрковский. — Нас ещё можно узнать?»

Юрковский кокетничает, говоря «нас». В отличие от него, Быкова знают в лицо все, кто связан с космосом, потому что Быков продолжает заниматься любимым делом, а Юрковский пошёл в чиновники. Но вернёмся к намёкам соавторов. Юрковский, видя судьбу Дауге, не мог не задуматься о собственной. Уйти такой человек, как он, должен ярко, а не в собственной постели. И устами Юры Бородина соавторы дают следующий намёк.

«— Слушайте, Джойс, — сказал Иван. — Вот русский мальчик спрашивает, что вы будете делать, когда разбогатеете?»

Некоторое время Джойс внимательно глядел на Юру.

— Ладно, — сказал он. — Я знаю, какого ответа ждёт мальчик. Поэтому спрошу я. Мальчик вырастет и станет взрослым мужчиной. Всю жизнь он будет заниматься своей... как это вы говорите... интересной работой. Но вот он состарится и не сможет больше работать. Чем тогда он будет заниматься, этот мальчик?

Юра почувствовал, что у него запылали уши. Он опустил вилку и растерянно сказал:

— Я... не знаю, я как-то не думал... — Он замолчал.

Бармен серьёзно и печально смотрел на него. Медленно ползли ужасные мгновения. Юра сказал с отчаянием:

— Я постараюсь умереть раньше, чем не смогу работать...

Брови бармена полезли на лоб, он испуганно оглянулся на Ивана. В полнейшем смятении Юра заявил:

— И вообще я считаю, что самое важное в жизни для человека — это красиво умереть!»

И вот на протяжении всей повести «Стажёры» Юрковский пытается «красиво умереть». На «Тахмасибе» ему это не позволит Быков, поэтому у «гусара» такая возможность появляется только на объектах, которые он должен проинспектировать. И первую попытку Юрковский делает уже на Марсе, приняв участие в облаве на летающих пиявок.

«Люди обступили каверну — глубокую чёрную пещеру, круто уходящую под развалины. Перед вхо-

дом, уперев руки в бока, стоял человек с карабином на шее.

— И много туда... э-э... проникло? — спрашивал он.

— Две пиявки наверняка, — отвечали из толпы. — А может быть, и больше.

— Юрковский! — сказал Жилин.

— Как же вы их... э-э... не задержали? — спросил Юрковский укоризненно.

— А они... э-э-э... не захотели задержаться, — объяснили в толпе.

Юрковский сказал пренебрежительно:

— Надо было... э-э... задержать! — Он снял карабин. — Пойду посмотрю, — сказал он.

Никто не успел и слова сказать, как он пригнулся и с неожиданной ловкостью нырнул в темноту. Вслед за ним тенью скользнул Феликс. Юра больше не раздумывал. Он сказал: «Позвольте-ка, товарищ», — и отобрал карабин у соседа. Ошарашенный сосед не сопротивлялся.

— Ты куда? — удивился Жилин, оглядываясь с порога пещеры. Юра решительно шагнул к каверне.

— Нет-нет, — скороговоркой сказал Жилин, — тебе туда нельзя. Юра, нагнув голову, пошёл на него.

— Нельзя, я сказал! — рявкнул Жилин и толкнул его в грудь. Юра с размаху сел, подняв много пыли. В толпе захохотали.

Мимо бежали Следопыты, один за другим скрывались в пещере. Юра вскочил, он был в ярости.

— Пустите! — крикнул он. Он кинулся вперёд и налетел на Жилина, как на стену.

Жилин сказал просительно:

— Юрик, прости, но тебе туда и правда не надо. Юра молча рвался.

— Ну что ты ломишься? Ты же видишь, я тоже остался. В пещере глухо забухали выстрелы.

— Вот видишь, прекрасно обошлись без нас с тобой.

Юра стиснул зубы и отошёл. Он молча сунул карабин опомнившемуся загонщику и понуро остановился в толпе. Ему казалось, что все на него смотрят. «Срам-то, срам какой, — думал он. — Только что уши не надрали. Ну пусть бы один на один — в конце концов, Жилин это Жилин. Но не при всех же...»

— Да ты не беспокойся, — ласково сказал Жилин, поправляя его капюшон. — Ничего с ним не случится. Там ведь Феликс возле него, Следопыты... А я тоже сгоряча решил, что пропадёт старик, и кинулся, но потом, спасибо тебе, опомнился...

Жилин говорил ещё что-то, но Юра больше не слышал ни слова. «Уж лучше бы мне надрали уши, — в отчаянии думал он. — Лучше бы публично побили по лицу. Мальчишка, сопляк, эгоист неприличный! Правильно Иван сделал, что треснул меня. Не так ещё меня надо было треснуть. — Юра даже зашипел сквозь зубы, так ему стало стыдно. — Иван вот заботился и обо мне, и о Юрковском, и он несколько не сомневается, что и я тоже заботился о Юрковском и о нём... А я?.. То, что Юрковский прыгнул в пещеру, я воспринял только как разрешение на геройские подвиги. Ни на секунду не подумал о том, что Юрковскому угрожа-

ет опасность. Жаждал, дурак, сразиться с пиявками и стяжать славу... Хорошо ещё, что Иван не знает».

Но геройский по мнению юного стажёра поступок Юрковского не был вызван какой-либо необходимостью, и смертельный риск, на который самоуверенный начальник обрёл людей, вынужденных немедленно последовать вслед за ним в подземелье, был абсолютно лишним. Юрковский наверняка был ознакомлен с планом облавы и прекрасно знал, как и чем планировалось уничтожить пиявок, если те прорвутся к кавернам.

«Сквозь толпу к пещере вскарабкался краулер, тащивший за собой прицеп с огромным серебристым баком. От бака тянулся металлический шланг со странным длинным наконечником. Наконечник держал под мышкой человек на переднем сиденье.

— *Здесь?* — деловито осведомился человек и, не дожидаясь ответа, направил наконечник в сторону пещеры. — *Подведи ещё поближе,* — сказал он водителю. — *А ну, ребята, посторонитесь,* — сказал он в толпу. — *Дальше, дальше, ещё дальше. Да отойдите же, вам говорят!* — крикнул он Юре.

Он прицелился наконечником шланга в чёрный провал пещеры, но на пороге пещеры появился один из Следопытов.

— *Это ещё что?* — спросил он. *Человек со шлангом сел.*

— *Ёлки-палки,* — сказал он. — *Что вы там делаете?*

— *Да это же огнём, ребята!* — догадался кто-то в толпе. *Огнёмчик озадаченно почесал где-то под капюшоном.*

— *Нельзя же так,* — сказал он. — *Надо же предупредить.*

Под землёй вдруг стали стрелять так ожесточённо, что Юре показалось, что из пещеры полетели клочья.

— *Зачем вы это затеяли?* — спросил огнёмчик.

— *Это Юрковский,* — ответили из толпы.

— *Какой Юрковский?* — спросил огнёмчик. — *Сын, что ли?*

— *Нет, пэр.*

Из пещеры один за другим вышли ещё трое Следопытов. Один из них, увидев огнём, сказал:

— *Вот хорошо. Сейчас все выйдут, и дадим.*

Из пещеры выходили люди. Последними выбрались Феликс и Юрковский. Юрковский говорил запыхавшимся голосом:

— *Значит, вот эта вот башня над нами должна быть чем-то вроде... э-э... водокачки. Очень... э-э... возможно! Вы молодец, Феликс. — Он увидел огнём и остановился. — А-а, огнём! Ну что ж... э-э... можно. Можете работать. — Он благосклонно покивал огнёмчику.*

Огнёмчик оживился, соскочил с сиденья и подошёл к порогу пещеры, волоча за собой шланг. Толпа подалась назад. Один Юрковский остался возле огнёмчика, уперев руки в бока.

— *Громовержец, а?* — сказал Жилин над ухом Юры.

Огнёмчик прицелился. Юрковский вдруг взял его за руку.

— *Постойте. А собственно... э-э... зачем это нужно? Живые пиявки давно... э-э... мертвы, а мёртвые... э-э... понадобятся биологам. Не так ли?*

— *Зевес,* — сказал Жилин. *Юра только повёл плечом. Ему было стыдно».*

Юра не понял слова Жилина о Юрковском. Тот осуждал поступок генерального инспектора, ведущего себя, как облачённый властью божок, которому наплевать на простых смертных. То, что позволительно юному неопытному стажёру, не должен совершать ответственный профессионал. Вопрос: зачем Юрковский подверг смертельной опасности людей? Их могли убить или покалечить пиявки, их мог сжечь живьём огнёмчик! Устами Юры соавторы отвечают на этот вопрос: жаждал совершить подвиг и стяжать славу. Правда, стажёр в этом ответе совершенно упускает вероятную смерть героя, но кто в восемнадцать лет думает о смерти? Но Юрковскому-то уже давно не восемнадцать! И ситуация совершенно не требовала от кого-либо героизма, что понимали все, кроме Юры, и что отчётливо подтверждают слова огнёмчика.

Да, геройски погибнуть Юрковскому не позволили, и он, успешно изобразил из себя верховного бога-громовержца, не думающего о простых смертных. Ведь лучше быть безрассудным и храбрым богом в глазах окружающих, чем идиотом и подлецом. И для утверждения этого образа перед отлётом с Марса Юрковский распекает местное руководство, ставя им в упрёк спокойную методичную работу и соблюдение установленных правил поведения.

«Юрковский произнёс большую речь. Он сказал, что мы захлебнулись в повседневщине. Что мы слишком любим жить по расписанию, обожаем насиженные места и за тридцать лет успели создать... как это он сказал... «скучные и сложные традиции». Что у нас сгладились извилины, ведающие любознательностью, чем только и можно объяснить анекдот со Старой Базой... О том, что кругом тайны, а мы копаемся... Очень была горячая речь — по-моему, экспромтом. Потом он похвалил нас за облаву, сказал, что приехал нас подталкивать и очень рад, что мы сами на эту облаву решились...»

Довольно странная речь для начальника-инспектора, проверяющего работу подчинённых. Она и то, как Юрковский неоправданно рискует жизнями подчинённых во время охоты на пиявок, ярко иллюстрируют тот факт, что Юрковский совершенно не подходит для такой работы, он явно не на своём месте. Но эта ситуация непрофессионализма основных персонажей неоднократно встречается в различных произведениях братьев Стругацких: можно вспомнить хотя бы пресловутого дона Румату из повести «Трудно быть богом».

Кстати говоря, Алексей Быков по воле соавторов в повести «Стажёры» тоже ведёт себя непрофессионально, нарушая правила и инструкции, и только это позволяет Владимиру Юрковскому добиться поставленной цели. То, что он ищет геройской смерти, покажут последующие его поступки. Но первая попытка героической гибели Юрковскому не удалась. Но она окончательно отвратила от Юрковского бортинженера

Ивана Жилина. А вот для юного стажёра Владимир Юрковский стал кумиром и примером для подражания. Бородин постоянно сравнивает Быкова и Юрковского.

«Первое время Юра поражался, глядя на Быкова. На корабле работали все. Жилин ежедневно вылизывал ходовую и контрольную системы, Михаил Антонович считал и пересчитывал курс, вводил дополнительные команды на киберуправление, заканчивал большой учебник и ещё ухитрялся как-то находить время для мемуаров. Юрковский до глубокой ночи читал какие-то пухлые отчёты, получал и отправлял бесчисленные радиогаммы, что-то расшифровывал и зашифровывал на электромашинке. А капитан корабля Алексей Петрович Быков читал газеты и журналы. Раз в сутки он, правда, выстаивал очередную вахту. Но всё остальное время он проводил в своей каюте либо под торшером в кают-компании. Юру это шокировало. На третьи сутки он не выдержал и спросил у Жилина, зачем на корабле капитан. «Для ответственности, — сказал Жилин. — Если, скажем, кто-нибудь потеряется». У Юры вытянулось лицо. Жилин засмеялся и сказал: «Капитан отвечает за всю организацию рейса. Перед рейсом у него нет ни одной свободной минуты.

«А во время рейса?» — спросил Юра. Они стояли в коридоре и не заметили, как подошёл Юрковский. «Во время рейса капитан нужен только тогда, когда случается катастрофа, — сказал он со странной усмешкой. — И тогда он нужен больше, чем кто-нибудь другой».

Но Юра не понимает пояснений ни Жилина, ни Юрковского, тем более, что последние сопровождаются «странный усмешкой». Быков кажется Юре тусклым и скучным человеком.

«— А я так не люблю скучных, — заявил Юра, разглядывая рисунок. — Можно, я его возьму? Спасибо... Я вот, Ваня, очень не люблю скучных. У них такая скучная, тошная жизнь. На работе пишут бумажки или считают на машинах, которые не они придумали, а сами придумать что-нибудь даже не пытаются. Им и в голову не приходит что-нибудь придумать. Они всё делают «как люди».

— Я понимаю тебя. Так вот. Быков любит своё дело — раз. Не мыслит себя в каком-либо другом качестве — два. И потом, ведь Алексей Петрович работает даже тогда, когда читает журналы или дремлет в своём кресле. Ты никогда не задумывался над этим?

— Н-нет...

— Зря. Знаешь, в чём работа Быкова? Быть всегда готовым. Это очень сложная работа. Тяжёлая, изматывающая. Нужно быть Быковым, чтобы выдерживать всё это. Чтобы привыкнуть к постоянному напряжению, к состоянию непрерывной готовности. Не понимаешь?

— Не знаю... Если это действительно так...

— Но это действительно так! Он солдат космоса. Ему можно только позавидовать, Юрочка, потому что он нашёл главное в себе и в мире. Он нужен, необходим и труднозаменяем. Понимаешь?

Юра молча нерешительно кивнул. Перед ним встала осточертевшая картина: прославленный капитан в

шлёпанцах и полосатых носках в позе бюргера в своём любимом кресле под торшером.

— Я знаю, тебя покорила Владимир Сергеевич. Что ж, это понятно. С одной стороны, Юрковский, который считает, что жизнь — это довольно скучная возня с довольно скучными делами и нужно пользоваться всяким случаем, чтобы разрядиться в великолепной вспышке. С другой стороны, Быков, который полагает истинную жизнь в непрерывном напряжении, не признаёт никаких случаев, потому что он готов к любому случаю, и ни какой случай не будет для него неожиданностью...»

Иван Жилин давно понял сущность Владимира Юрковского, потому и назвал того на Марсе «Зевесом». Но Юра не желает ничего понимать, потому что уже окончательно выбрал себе в кумиры внешне яркого и нескучного Юрковского.

«Юра, ступая на цыпочках, положил рядом с Юрковским бювар. Бювар был роскошный, как и всё у Юрковского. В углу бювара была врезана золотая пластина с надписью: «IV Всемирный Конгресс планетологов. 20.XII.02. Конакри».

— Спасибо, кадет, — сказал Юрковский, откинулся на стуле и задумчиво посмотрел на Юру. — Вы бы сели да побеседовали со мной, стариком, — сказал он негромко. — А то через десять минут принесут радиогаммы и опять начнётся кавардак на целый день.

Юра сел. Он был безмерно счастлив».

Бородин буквально ловит каждое слово Юрковского, смотрит тому в рот.

«Юрковский кончил говорить и посмотрел на Юру с таким выражением, словно ожидал, что Юра тут же переменится к лучшему. Юра молчал. Это называлось «беседовать со стариком». Оба очень любили такие беседы. Ничего особенно нового для Юры в этих беседах, конечно, не было, но у него всегда оставалось впечатление чего-то огромного и сверкающего. Вероятно, дело было в самом облике великого планетолога — весь он был какой-то красный с золотом».

Словом, юный «стажёр будущего» пока судит о людях по внешним, а не внутренним достоинствам. Но вернёмся к подвигам Юрковского.

«Тахмасиб» с генеральным инспектором МУКСа на борту прибывает на астероид Бамберга, на котором царят мрачные нравы капитализма. Здесь фирма «Спейс Пёрл» по добыче космического жемчуга бесчеловечно эксплуатирует наёмных рабочих, от чего те мрут, как мухи. Юрковский должен навести на Бамберге порядок. Как он это делает? Он лично высаживается с корабля на астероид, зачем-то взяв с собой бортинженера Ивана Жилина. Комиссар МУКСа на Бамберге Бэла Барабаш докладывает Юрковскому обстановку:

«— Здесь не на кого опереться, — продолжал Бэла. — Это либо бандиты, либо тихая дрянь, которая мечтает только о том, чтобы набить свой карман, и ей наплевать, сдохнет она после этого или нет. Ведь у них настоящие люди сюда не идут. Отбросы, неудачники. Люмпены. У меня руки трясутся по вечерам от всего этого. Я не могу спать. Позавчера меня пригласили подписать протокол о несчастном случае. Я отказался:

совершенно ясно, что человеку вспороли скафандр автогеном. Тогда этот подлец, секретарь профсоюза, сказал, что будет на меня жаловаться. Месяц назад на Бамберге появляются и в то же утро исчезают три девочки. Я иду к управляющему, и этот стервец смеётся мне в лицо: «У вас галлюцинации, мистер комиссар, вам пора вернуться к вашей жене, вам уже мерещатся девки». В конце концов в меня трижды стреляли. Да, да, я знаю, что ни один дурак не старался в меня попасть. Но мне от этого не легче. И подумать только, меня посадили сюда, чтобы охранять жизнь и здоровье этих оборотов! Да провались они все...»

И наш герой даже не раздумывает над тем, как решить проблему, возникшую на Бамберге.

«Вот что мы сейчас сделаем. Мы пойдём к управляющему, и я скажу ему несколько слов. А потом мы поговорим с рабочими. — Он встал. — Ничего, Бэла, не огорчайтесь. Не вы первый. У меня эта Бамберга тоже вот здесь сидит.

Бэла озабоченно сказал:

— Только нужно взять с собой несколько наших. Может случиться драка. Управляющий здесь подкармливает целую шайку гангстеров.

— Каких наших? — спросил Юрковский. — Вы же говорили, что ни на кого здесь положиться не можете.

— Так вы приехали один? — с ужасом спросил Бэла. Юрковский пожал плечами.

— Ну, естественно, — сказал он. — Я же не управляющий.

— Ладно, — сказал Бэла.

Он отпер сейф и взял пистолет. Лицо у него было бледное и решительное. «Первую пулю я всажу в этого слизняка, — с острой радостью подумал он. — Пусть в меня стреляет кто угодно, но первую пулю получит мистер Ричардсон. В жирную, гладкую, подлую свою рожу».

Юрковский внимательно посмотрел на него.

— Знаете что, Бэла, — сказал он проникновенно, — я бы на вашем месте пистолет оставил. Или отдайте его товарищу Жилину. Я боюсь, что вы не удержитесь».

И они втроём, лишь в сопровождении местного начальника полиции, сержанта Хиггинса, пошли сквозь толпы враждебно настроенных рабочих к управляющему.

«Юрковский шёл неторопливо, любезно улыбаясь и внимательно вглядываясь в лица рабочих. Он хорошо видел эти лица в ровном свете дневных ламп — осунувшиеся, с нездоровой землистой кожей, с отёками под глазами, апатично-равнодушные, сердитые, любопытные, злобные, ненавидящие. Рабочие расступались перед ним, давая дорогу, а за спиной Хиггинса снова смыкались и шли следом.

Так они дошли до лифта и поднялись на этаж администрации. Здесь толпа была ещё гуще. И здесь дорогу уже не уступали. Между усталыми лицами рабочих стали просовываться какие-то нагловатые весёлые морды. Теперь сержант Хиггинс пошёл впереди, расталкивая толпу голубой дубинкой.

— Посторонись, — говорил он негромко, — дай дорогу... Посторонись...

Затылок его между краем каски и воротником налился кровью и заблестел от пота. Шествие замыкал Жилин. Нагловатые морды протискивались в первые ряды толпы, перекликаясь:

— Эй, ребята, а кто из них инспектор?

Шум вокруг нарастал. Теперь уже кричали все.

— Кто их звал сюда?

— Эй, вы! Не суйтесь не в своё дело!

— Дайте нам работать, как мы хотим! Мы не лезем в ваши дела!

— Убирайтесь к себе домой и там распорядитесь!

Сержант Хиггинс, мокрый как мышь, добрался наконец до дверей с треснувшей табличкой и распахнул её перед Юрковским.

— Сюда, сэр, — тяжело дыша, сказал он.

Юрковский и Бэла вошли. Жилин перешагнул через комингс и оглянулся. Он увидел множество наглых морд и только за ними, в табачном дыму, хмурые ожесточённые лица рабочих. Хиггинс тоже перешагнул через комингс и закрыл дверь».

Очевидно, что все, кроме Юрковского, отлично понимают: малейшая искра может вызвать пожар массовых волнений, результат которых трудно предсказать. В этом аду, где рабочие и так обречены на скорую и мучительную смерть и живут только надеждой заработать и отослать семье как можно больше денег, растерзать трёх чужаков-коммунистов будет не столь уж трудно. Полиция Бамберги, состоящая из трёх человек, включая начальника, вряд ли вмешается в бойню. Но Юрковский без тени сомнения идёт на конфликт, сразу же обвиняя управляющего во всех нарушениях и преступлениях.

«— В том числе и в убийстве, — сказал Юрковский. — Я снимаю вас с должности, в ближайшее время вы будете арестованы и отправлены на Землю, где предстанете перед международным трибуналом. А сейчас я вас не задерживаю.

— Я уступаю грубой силе, — с достоинством сказал мистер Ричардсон.

— И правильно делаете, — сказал Юрковский. — Явитесь сюда через час и сдадите дела своему преемнику.

Ричардсон круто повернулся, подошёл к двери и распахнул её.

— Друзья мои! — громко сказал он. — Эти люди меня арестовали! Им не нравятся ваши высокие заработки! Они хотят, чтобы вы работали по шесть часов и оставались нищими!

Юрковский с любопытством глядел на него. Хиггинс, расстёгивая кобуру, попятился к столу. Ричардсона отнесло в сторону. В дверь ворвались ревущие молодчики, их сейчас же оттеснили, и кабинет быстро наполнился рабочими. Плотная стена серых комбинезонов и злобных, угрюмых лиц остановилась перед столом. Юрковский осмотрелся и увидел, что Жилин стоит справа от него, засунув руки в карманы, а Бэла, изогнувшись, стиснув руками спинку стула, не отрываясь, смотрит на мистера Ричардсона. Лицо его было гораздо более свирепо, чем лица самых озлобленных рабочих. «Плохо придётся управляющему», — мель-

ком подумал Юрковский. Сержант Хиггинс с пистолетом в руке упирался дубинкой в грудь одного из рабочих и бормотал:

— Никаких незаконных действий, ребята, поспокойней, ребята, поспокойней...

— Уо-о-о! — заревела толпа, и в этот момент кто-то выстрелил.

За спиной Юрковского зазвенела, разлетаясь, витрина. Бэла застонал, с натугой поднял стул и обрушил его на голову мистера Ричардсона, который стоял в первом ряду, подняв глаза и молитвенно сложив руки. Жилин вынул руки из карманов и приготовился на кого-то прыгнуть. Джошуа испуганно отпрянул. Юрковский встал и сердито сказал:

— Какой дурак там стреляет? Чуть не попал в меня. Сержант, что вы стоите, как стул? Отберите у болвана оружие!

Хиггинс послушно полез в толпу. Жилин снова вынул руки в карманы и присел на угол стола. Он посмотрел на Бэлу и засмеялся. Лицо Бэлы сияло блаженством. Он с наслаждением наблюдал за Ричардсоном. Двое молодчиков поднимали Ричардсона, злобно и растерянно поглядывая на Бэлу, на Юрковского и на рабочих. Глаза Ричардсона были закрыты, на высоком гладком лбу разливался тёмный кровоподтёк.

— Кстати, — сказал Юрковский, — вообще сдайте всё оружие, которое здесь есть. Это я вам говорю, дармоеды! С этого момента всякий, у кого будет обнаружено оружие, подлежит расстрелу на месте. Я облакаю комиссара Барабаша соответствующими полномочиями.

Жилин неторопливо обошёл стол, вынул пистолет и протянул его Барабашу. Барабаш, пристально уставившись на ближайшего гангстера, медленно оттянул затвор. В наступившей тишине затвор звонко щёлкнул. Вокруг гангстера мгновенно образовалось пустое пространство. Тот побледнел, вынул из заднего кармана пистолет и бросил на пол».

Вся эта сцена — ненаучная фантастика! Юрковский явно нарывался на убийство, даже не задумавшись над тем, что вместе с ним убьют Жилина с Барабашем. Ведь комиссару МУКСа Бэла Барабашу никогда даже в голову не приходило вести себя так безрассудно. Не верю я, что массовый бунт «люмпенов, отбросов общества и бандитов» да еще с участием наёмных, вооружённых пистолетами убийц можно мгновенно потушить начальственным окриком безоружного заезжего чиновника. Тем более, если дело уже дошло до рукопашной и стрельбы. Возможно, братья Стругацкие хотели по-своему повторить соответствующую сцену из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, но получилась у них явная халтура, и достойного аналога бессмертной фразы: «Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарского тела?», соавторам придумать не удалось.

Но Юрковский остался жив и невредим. Видимо, кто-то из соавторов решил, что смерть от рук подонков, да ещё из-за собственной глупости, недостойна Юрковского. Таким образом, вторая попытка геройски погибнуть на посту Юрковскому не удалась. Что это

был не героизм, а именно глупость, доходчиво объяснил Быков.

«Юрковский резко повернулся к Быкову.

— Если бы ты знал, до чего мне всё это надоело, Алексей, — сказал он, — до чего мне хочется размять-ся...

— Возьми у Жилина гантели, — посоветовал Быков.

— Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю, — сказал Юрковский.

— Догадываюсь, — проворчал Быков. — Давно уже догадываюсь.

— И что ты по этому поводу... э-э... думаешь?

— Неугомонный старик, — сказал Быков и закрыл журнал. — Тебе уже не двадцать пять лет. Что ты всё время лезешь на рожон?

Юра с удовольствием стал слушать.

— Почему... э-э... на рожон? — удивился Юрковский. — Это будет небольшой, абсолютно безопасный поиск...

— А может быть, хватит? — сказал Быков. — Сначала абсолютно безопасный поиск в пещеру к пиявкам, потом безопасный поиск к смерти-планетчикам — кстати, как твоя печень? — наконец совершенно фанфаронский налёт на Бамбергу.

— Позволь, но это был мой долг, — сказал Юрковский.

— Твой долг был вызвать управляющего на «Тахмасиб», мы вот здесь сообща намылили бы ему шею, пригрозили бы сжечь шахту реактором, попросили бы рабочих выдать нам гангстеров и самогонщиков — и всё обошлось бы безо всякой дурацкой стрельбы. Что у тебя за манера из всех вариантов выбирать наиболее опасный?

— Что значит — опасный? — сказал Юрковский. — Опасность — понятие субъективное. Тебе это представляется опасным, а мне — нисколько.

— Ну вот и хорошо, — сказал Быков. — Поиск в кольце Сатурна представляется мне опасным. И поэтому я не разрешу тебе этот поиск производить.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал Юрковский. — Мы ещё об этом поговорим. — Он раздражённо перевернул несколько листов отчёта и снова повернулся к Быкову. — Иногда ты меня просто удивляешь, Алексей! — заявил он. — Если бы мне попался человек, который назвал бы тебя трусом, я бы размазал наглеца по стенам, но иногда я гляжу на тебя, и... — Он затряс головой и перевернул ещё несколько страниц отчёта.

— Есть храбрость дурацкая, — наставительно сказал Быков, — и есть храбрость разумная!

— Разумная храбрость — это катахреза (Катахреза — соединение несовместимых понятий)! «Спокойствие горного ручья, прохлада летнего солнца», — как говорит Киплинг. Безумству храбрых поём мы песню!..

— Попели, и хватит, — сказал Быков. — В наше время надо работать, а не петь. Я не знаю, что такое катахреза, но разумная храбрость — это единственный вид храбрости, приемлемый в наше время. Безо всяких там этих... покойников. Кому нужен покойник Юрковский?

— Какой утилитаризм! — воскликнул Юрковский. — Я не хочу сказать, что прав только я! Но не забывай

же, что существуют люди разных темпераментов. Вот мне, например, опасные ситуации просто доставляют удовольствие. Мне скучно жить просто так! И слава богу, я не один такой...»

Оценка самоубийственных действий Юрковского Быковым поколебала даже Юру Бородина.

«Неужели Быков прав? — подумал он. — Вот скукота, если он прав. Верно говорят, что самое разумное — самое скучное...»

Открыть Юре глаза на Юрковского пытается и бортинженер корабля Иван Жилин, который уже дважды чуть не погиб из-за безрассудных поступков генерального инспектора. Когда стажёр в его присутствии начал восторгаться просмотренным приключенческим фильмом, в котором главный герой похож своими героическими поступками на Юрковского, Жилин делает попытку пробить у того бездумную броню обожания.

«— А жизнь по сути своей сложна, — сказал Жилин. — Много сложнее, чем описывают её такие фильмы, как «Первооткрыватели». Если хочешь, мы попробуем разобраться. Вот командир Сандерс. У него есть жена и сын. У него есть друзья. И всё же как легко он идёт на смерть. У него есть совесть. И как легко он ведёт на смерть своих людей...»

— Он забыл обо всём этом, потому что...

— Об этом, Юрик, не забывают никогда. И главным в фильме должно быть не то, что Сандерс героически погиб, а то, как он сумел заставить себя забыть. Ведь гибель — то была верной, дружище. Этого в кино нет, поэтому всё кажется простым. А если бы это было, фильм показался бы тебе скучнее...

Например, в наше время история жёстко объявила Юрковским: баста! Никакие открытия не стоят одной-единственной человеческой жизни. Рисковать жизнью разрешается только ради жизни. Это придумали не люди. Это продиктовала история, а люди только сделали эту историю. Но там, где общий принцип сталкивается с принципом личным, — там кончается жизнь простая и начинается сложная. Такова жизнь.

— Да, — сказал Юра. — Наверное».

Это «наверное» показывает, что Юра всё ещё не убеждён в оценке Юрковского Быковым и Жилиным. Тот по-прежнему остаётся его кумиром и примером для подражания. Потребуется прямое столкновение между Юрковским и Бородиным, чтобы у стажёра пусть немного, но приоткрылись глаза на огромную некомпетентность и самоуверенность генерального инспектора МУКСа.

«Директора обсерватории на Дионе Юрковский знал давно, ещё когда тот был аспирантом в Институте планетологии. Владислав Кимович Шершень слушал тогда у Юрковского спецкурс «Планеты-гиганты». Юрковский его помнил и любил за дерзость ума и исключительную целенаправленность».

И поэтому генеральный инспектор выслушал только версию Шершня о том, кто из сотрудников обсерватории виноват во всех имеющихся на Дионе проблемах, безоговорочно поверил в неё и уже готов был принять карательные меры. Беседовать с людьми он даже не планировал! А вот Юра с ними пообщался и узнал правду, с которой пришёл к своему кумиру, но тот да-

же не стал его слушать. Более того, Юрковский приказал стажёру извиниться перед Шершнем, настоящим виновником и создателем проблем на обсерватории, и только вмешательство Жилина спасает ситуацию.

«— Рассказывай, Юра, — сказал Жилин.

— Что тут рассказывать? — тихо начал Юра. Затем он закричал: — Это надо видеть! И слышать! Этим дураков надо немедленно спасать! Вы говорите — обсерватория, обсерватория! А это притон! Здесь люди плачут, понимаете? Плачут!

— Спокойно, кадет, — сказал Юрковский.

— Я не могу спокойно! Вы говорите — извиняться... Я не стану извиняться перед инквизитором! Перед мерзавцем, который науськивает дураков друг на друга и на девушку! Куда вы смотрите, генеральный инспектор? Всё это заведение пора давно эвакуировать на Землю, они скоро на четвереньки станут, начнут кусаться!»

И Юра рассказал то, что Юрковский был обязан выяснять по долгу службы сам, для того он и прилетел на Диону.

«— Ребята прислали меня к вам, Владимир Сергеевич, чтобы вы что-нибудь сделали. И вы лучше что-нибудь сделайте, иначе они сами сделают... Они уже готовы.

Юрковский сидел в кресле за столом, и лицо у него было такое старое и жалкое, что Юра остановился и растерянно оглянулся на Жилина. Но Жилин опять еле заметно кивнул».

Но и тут Юрковский остался верен себе: он немедленно отрёкся от своего любимого ученика, но большую часть вины возложил на тех, кто более всего пострадал — сотрудников обсерватории.

«Юрковский переждал шум и продолжил:

— Всё это до того омерзительно, что я вообще исключал возможность такого явления, и понадобилось вмешательство постороннего человека, мальчишки, чтобы... Да. Омерзительно. Я не ждал этого от вас, молодые. Как это оказалось просто — вернуть вас в первобытное состояние, поставить вас на четвереньки — три года, один честолобивый маньяк и один провинциальный интриган. И вы согнулись, озверели, потеряли человеческий облик. Молодые, весёлые, честные ребята... Какой стыд!»

Бедный генеральный инспектор МУКСа! Он не искал, потому что, оказывается, вообще исключал возможность подобного! «Профессионал», достойный своей высокой и важной должности. Но, как я уже говорил, подобные вещи часто встречаются в произведениях братьев Стругацких. И ведь Юрковский не подаст в отставку, а спокойно продолжит свой секретный вояж. Ему позарез нужен подвиг! Он готов воспользоваться любой, самой безумной гипотезой, лишь бы Быков отпустил его в опасный полёт к кольцам Сатурна.

«Юрковский неожиданно сказал:

— Ты вот что пойми, Алексей. Я уже стар. Через год, через два я навсегда уже останусь на Земле, как Дауге, как Миша... И, может быть, нынешний рейс — моя последняя возможность. Почему ты не хочешь пустить меня?..»

— Я не хочу тебя пускать не столько потому, что это опасно, — медленно сказал Быков, — сколько из-за того, что это бессмысленно опасно. Ну что, Владимир, за бредовая идея — искусственное происхождение колец Сатурна! Это же старческий маразм, честное слово...»

Тогда Юрковский как глава спецрейса просто приказал Быкову изменить маршрут.

«По требованию Юрковского «Тахмасиб» шел к станции «Кольцо-1», искусственному спутнику Сатурна, движущемуся вблизи Кольца».

Быков подчиняется. Он всё равно не собирается рисковать «Тахмасибом» и входить в кольцо Сатурна. На что же рассчитывает Юрковский?

«Работе планетологов Кольца придавалось большое значение в системе Сатурна. Планетологи рассчитывали найти в Кольце воду, железо, редкие металлы — это дало бы системе автономность в снабжении горючим и материалами. Правда, даже если бы эти поиски увенчались успехом, воспользоваться такими находками пока не представлялось возможным. Не был ещё создан снаряд, способный войти в сверкающие толщи колец Сатурна и вернуться оттуда невредимым».

Пусть Юрковский теперь просто чиновник, но как планетолог должен знать, что пока нет такого «снаряда», на котором можно войти в Кольцо, а потом вернуться невредимым. Может, именно это его и привлекает?

Быков, зная характер и возможности Юрковского, тоже проясняет для себя данную ситуацию.

«Павел Шемякин, напротив, женат, имеет детей, работает ассистентом в Институте планетологии, яро выступает за гипотезу об искусственном происхождении Кольца и намерен «голову сложить, но превратить гипотезу в теорию».

— Вся беда в том, — горячо говорил он, — что наши космоскафы как исследовательские снаряды не выдерживают никакой критики. Они очень тихходны и очень непрочны. Когда я сижу в космоскафе над Кольцом, мне просто плакать хочется от обиды. Ведь рукой подать... А спускаться в Кольцо нам решительно запрещают. А я совершенно уверен, что первый же поиск в Кольце дал бы что-нибудь интересное. По крайней мере, какую-нибудь зацепку...

— Какую, например? — спросил Быков.

— Н-ну, я не знаю!..

— Я знаю, — сказал Горчаков. — Он надеется найти на каком-нибудь булыжнике след босой ноги. Знаете, как он работает? Опускается как можно ближе к Кольцу и рассматривает обломки в сорокакратный биноктар. А в это время сзади подбирается здоровенный астероид и бьёт его под корму. Паша надевается глазами на биноктар, а пока он свинчивается, другой астероид...

— Ну и глупо, — сердито сказал Шемякин. — Если бы удалось доказать, что Кольцо — результат распада какого-то тела, это уже означало бы многое, а между тем ловлей обломков нам заниматься запрещено».

И вот происходит кульминационная сцена обмана, совращения и оупления (по воле авторов) Алексея Быкова.

«Юрковский резко остановился.

— Вот что, Алексей, — сказал он. — Я договорился с Маркушиным, он даёт мне космоскаф. Я хочу полетать над Кольцом. Абсолютно безопасный рейс, Алексей. — Юрковский неожиданно разозлился. — Ну чего ты так смотришь? Ребята совершают такие рейсы по два раза в сутки уже целый год. Да, я знаю, что ты упрям. Но я не собираюсь забираться в Кольцо. Я хочу полетать над Кольцом. Я подчиняюсь твоим распоряжениям. Уважь и ты мою просьбу. Я прошу тебя самым нижайшим образом, чёрт возьми. В конце концов, друзья мы или нет?

— В чём, собственно, дело? — сказал Быков спокойно. Юрковский опять пробежался по комнате.

— Дай мне Михаила, — отрывисто сказал он.

— Что-о-о? — сказал Быков, медленно выпрямляясь.

— Или я полечу один, — сейчас же сказал Юрковский. — А я плохо знаю космоскафы.

Быков молчал. Михаил Антонович растерянно переводил глаза с одного на другого.

— Мальчики, — сказал он. — Я ведь с удовольствием... О чём разговор?

— Я мог бы взять пилота на станции, — сказал Юрковский. — Но я прошу Михаила, потому что Михаил в сто раз опытнее и осторожнее, чем все они, вместе взятые. Ты понимаешь? Осторожнее!

Быков молчал. Лицо у него стало тёмное и угрюмое.

— Мы будем предельно осторожны, — сказал Юрковский. — Мы будем идти на высоте двадцать-тридцать километров над средней плоскостью, не ниже. Я сделаю несколько крупномасштабных снимков, понаблюдаю визуально, и через два часа мы вернёмся.

— Алёшенька, — робко сказал Михаил Антонович. — Ведь случайные обломки над Кольцом очень редки. И они не так уж страшны. Немного внимательности...

Быков молча смотрел на Юрковского. «Ну что с ним делать? — думал он. — Что делать с этим старым безумцем? У Михаила большое сердце. Он в последнем рейсе. У него притупилась реакция, а в космоскафах ручное управление. А я не могу водить космоскаф. И Жилин не может. А молодого пилота с ним отпускать нельзя. Они уговорят друг друга нырнуть в Кольцо. Почему я не научился водить космоскаф, старый я дурак?»

— Алёша, — сказал Юрковский. — Я тебя очень прошу. Ведь я, наверное, больше никогда не увижу колец Сатурна. Я старый, Алёша.

Быков поднялся и, ни на кого не глядя, молча вышел из кают-компании. Юрковский закрыл лицо руками.

— Ах, беда какая! — сказал он с досадой. — Ну почему у меня такая отвратительная репутация? А, Миша?

— Очень ты неосторожный, Володенька, — сказал Михаил Антонович. — Право же, ты сам виноват.

— А зачем быть осторожным? — спросил Юрковский. — Ну скажи, пожалуйста, зачем? Чтобы дожить до полной духовной и телесной немощи? Дождаться момента, когда жизнь опротивеет, и умереть от скуки в кровати? Смешно же, Михаил, в конце концов, так трястись над собственной жизнью.

Михаил Антонович покачал головой.

— Экий ты, Володенька, — сказал он тихо. — И как ты не понимаешь, голубчик, ты-то умрёшь — и всё. А ведь после тебя люди останутся, друзья. Знаешь, как им горько будет? А ты только о себе, Володенька, всё о себе.

— Эх, Миша, — сказал Юрковский, — не хочется мне с тобой спорить. Скажи-ка ты мне лучше, согласится Алексей или нет?

— Да он, по-моему, уже согласился, — сказал Михаил Антонович. — Разве ты не видишь? Я-то его знаю, пятнадцать лет на одном корабле».

Да, Быков по воле авторов резко поглупел. Он почему-то уверен, что Юрковский сдержит слово не лезть в Кольцо; что уговорить безотказного Крутикова нырнуть в Кольцо Юрковскому будет труднее, чем пилота со станции, ни разу за целый год не нарушившего данный запрет; что Крутиков с его больным сердцем и давно не летавший на космоскафах предпочтительнее в плане безопасности полёта, чем пилот, летающий над Кольцом дважды в сутки почти уже год. Мне одному кажется, что Быков, если он резко не поглупел, просто повторил жест Пилата с мытьём рук? Быков из двух предыдущих книг трилогии никогда не совершил бы всего того, резко противоречащего его образу, что соавторы заставили его сделать и сказать в данной повести. Кроме того, соавторы постарались сделать так, чтобы в каждый решающий момент Быкова не было рядом с Юрковским. И космоскаф знаменитый пилот Быков водить, оказывается, не умеет, а штурман Крутиков умеет!

Разумеется, всё произошло именно так, как предполагал в разговоре с Быковым и Шемякиным планетолог Горчаков. Юрковский, заметив внутри Кольца инопланетный артефакт, сначала уговорил, а потом силой заставил Крутикова войти в Кольцо, прекрасно понимая, что назад им не выбраться.

«Юрковский, отпихнув Михаила Антоновича, нагнулся к микрофону.

— Алексей! — крикнул он. — Ты помнишь сказочку про гигантскую флюктуацию? Кажется, нам выпал-таки один шанс на миллиард!

— Какой шанс?

— Мы, кажется, нашли...

— Смотри, смотри, Володенька! — пробормотал Михаил Антонович, с ужасом глядя на экран. Масса плотной серой пыли надвигалась сбоку, и над ней плыли наискосок десятки блестящих угловатых глыб. Юрковский даже застонал: сейчас заволочёт, закроет, сомнёт и утащит невесть куда и эти странные белые камни и этого серебристого паучка, и никто никогда не узнает, что это было...

— Вниз! — заорал он. — Михаил, вниз!..

Космоскаф дёрнулся.

— Назад! — крикнул Быков. — Михаил, я приказываю: назад!

Юрковский протянул руку и выключил приём.

— Вниз, Миша, вниз... Только вниз... И поскорее.

— Что ты, Володенька! Нельзя же — приказ! Что ты! — Михаил Антонович потянулся к рации. Юрковский поймал его за руку.

— Посмотри на экран, Михаил, — сказал он. — Через двадцать минут будет поздно...

Михаил Антонович молча рвался к рации.

— Михаил, не будь дураком... Нам выпал один шанс на миллиард... Нам никогда не простят... Да пойми ты, старый дурак!

Михаил Антонович дотянулся-таки до рации и включил приём. Они услышали, как тяжело дышит Быков.

— Нет, они нас не слышат, — сказал он кому-то.

— Миша, — хрипло зашептал Юрковский. — Я тебе не прошу никогда в жизни, Миша... Я забуду, что ты был моим другом, Миша... Я забуду, что мы были вместе на Голконде... Миша, это же смысл моей жизни, пойми... Я ждал этого всю жизнь... Я верил в это... Это Пришельцы, Миша...

Михаил Антонович взглянул ему в лицо и зажмурился: он не узнал Юрковского.

— Миша, пыль надвигается... Выводи под пыль, Миша, прошу, умоляю... Мы быстро, мы только поставим радиобакен и сразу вернёмся. Это же совсем просто и неопасно, и никто не узнает...

Михаил Антонович торопливо забормотал:

— Нельзя ведь. Не проси. Нельзя. Ведь я же обещал. Он с ума сойдёт от беспокойства. Не проси...

Серая пелена пыли надвинулась вплотную.

— Пусти, — сказал Юрковский. — Я сам поведу.

Он стал молча выдирать Михаила Антоновича из кресла. Это было так дико и страшно, что Михаил Антонович совсем потерялся.

— Ну хорошо, — забормотал он. — Ну ладно... Ну подожди... — Он всё никак не мог узнать лица Юрковского, это было похоже на жуткий сон.

— Михаил Антонович! — позвал Жилин.

— Я, — слабо сказал Михаил Антонович, и Юрковский изо всех сил ударил по рычажку бронированным кулаком. Металлическая перчатка срезала рычажок, словно бритвой.

— Вниз! — заревел Юрковский.

Михаил Антонович, ужаснувшись, бросил космоскаф в двадцатикилометровую пропасть. Он весь содрогался от жалости и страшных предчувствий. Прошла минута, другая...

Юрковский сказал ясным голосом:

— Миша, Миша, я же понимаю...

Ноздреватые каменные глыбы на экране росли, медленно поворачивались. Юрковский привычным движением надвинул на голову прозрачный колпак скафандра.

— Камни, — жалобно сказал Михаил Антонович, — камни...

— Так у нас ничего не получится, — сказал голос Михаила Антоновича.

— Да, действительно... Что ж тут придумать?

— Погоди, Володенька. Давай я сейчас вылезу и сделаю это вручную.

— Правильно, — сказал Юрковский. — Давай вылезем.

— Нет уж, Володенька, ты сиди здесь. Толку от тебя мало... мало ли что...

Юрковский сказал, помолчав:

— Ладно. А я ещё несколько снимков сделаю.

...Юрковский вдруг закричал:

— Камень! Миша, камень! Назад! Бросай всё!

Послышался слабый стон, и Михаил Антонович сказал дрожащим голосом:

— Уходи, Володенька. Скорее уходи. Я не могу.

— Что значит — не могу? — завизжал Юрковский. Было слышно, как он тяжело дышит.

— Уходи, уходи, не надо сюда... — бормотал Михаил Антонович. — Ничего не выйдет... Не надо, не надо...

— Так вот в чём дело, — сказал Юрковский. — Что же ты молчал? Ну, это ничего. Мы сейчас. Сейчас... Эх тебя угораздило...

— Сейчас, Мишенька, сейчас... — бодро говорил Юрковский. — Вот так... Эх, лом бы мне...

— Поздно, — неожиданно спокойно сказал Михаил Антонович.

— Да, — сказал Юрковский. — Поздно.

— Уйди, — сказал Михаил Антонович.

— Нет.

— Зря.

— Ничего, — сказал Юрковский, — это быстро.

Раздался сухой смешок.

— Мы даже не заметим. Закрой глаза, Миша.

И после короткой тишины кто-то — непонятно, кто, — тихо и жалобно позвал:

— Алёша... Алексей...»

Но на этот раз Алексей Быков никого спасти не сумел. Юрковский добился своего — он в глазах землян совершил подвиг и погиб героем, а то, что открытие его не имеет научной ценности, потому что ничем, кроме туманных слов по радио не подтверждено, для большинства людей неважно. Зато это важно для Алексея Быкова и Ивана Жилина, потому что Юрковский из-за своих непомерных амбиций хладнокровно погубил их друга и члена экипажа Михаила Крутикова, как мог бы ранее дважды погубить Ивана Жилина. Важно это стало и для Юры Бородина, он, наконец, понял то, что так безуспешно пытался ранее объяснить ему Иван Жилин.

«Юра помнил смутно, что они что-то там нашли. Но это было неважно, это было не главное, хотя они-то считали, что это и есть главное... И, конечно, все, кто их не знает, тоже будут считать, что это самое главное. Это всегда так. Если не знаешь того, кто совершил подвиг, для тебя главное — подвиг. А если знаешь — что тебе тогда подвиг? Хоть бы его и вовсе не было, лишь бы был человек. Подвиг — это хорошо, но человек должен жить.

Юра подумал, что через несколько дней встретит ребят. Они, конечно, сразу станут спрашивать, что да как. Они не будут спрашивать ни о Юрковском, ни о

Крутикове, они будут спрашивать, что Юрковский и Крутиков нашли. Они будут прямо гореть от любопытства. Их будет больше всего интересовать, что успели передать Юрковский и Крутиков о своей находке. Они будут восхищаться мужеством Юрковского и Крутикова, их самоотверженностью и будут восклицать с завистью: «Вот это были люди!» И больше всего их будет восхищать, что они погибли на боевом посту. Юре даже стало тошно от обиды и от злости».

Итак, Владимир Юрковский всё же погиб так, как желал, хотя у него был шанс спастись. Но он им не воспользовался, хотя когда-то на Венере в аналогичной ситуации не раз предлагал Быкову бросить на верную гибель и полумёртвого Дауге, и самого Юрковского, очевидно, не считая подобный поступок предосудительным. Юрковский предпочёл погибнуть и остаться в глазах человечества героем, чем попытаться спасти и предоставить учёным те снимки артефакта пришельцев, ради которых, собственно, он и погубил Михаила Крутикова. Но Юрковский до конца остался «спортсменом», а Быкова на этот раз рядом не было...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы ещё раз встретимся с Владимиром Юрковским в повести братьев Стругацких «Хищные вещи века». Бывший бортинженер Иван Жилин в одном маленьком городке на Земле вдруг обнаружил на площади перед отелем памятник Владимиру Юрковскому, но никто из местных жителей не знает, за что, кому и кем поставлен этот монумент. Жилин удивлён, потому что «**Юрковским не ставят памятников**». И оказалось, что Владимир Юрковский «**впервые в истории этого города сорвал банк в электронную рулетку**», и именно этот подвиг знаменитого планетолога и «**было решено увековечить**». Так же и читатель вправе сам решать, кто такой Владимир Юрковский, чего он достоин: восхищения, осуждения или забвения.

РАССКАЗ

Пауль Госсен

Йютербог, Германия

ПЛЕСК МОРЯ, КРИК ПТИЦЫ

Как и положено по уставу, проститься с майором Флемингом пришли почти все офицеры межзвездного ковчега — сто сорок шесть человек, не было лишь задействованных в наряде. Тело Флеминга лежало в гробу — руки скрещены на груди, щеки отливали синевой, глаза закрыты. Парадный мундир украшало созвездие орденов.

Адмирал Кобаяши взял в руки микрофон и сказал то, о чем говорил в подобных случаях уже не раз — о великой цели экспедиции и о том, как покойный был предан идеям космической экспансии. Потом махнул рукой, и из динамиков зазвучал траурный марш. Офицеры, сжимая фуражки в руках, вытянулись по струн-



ке. Они были молоды и здоровы, в их глазах сверкали холодные звезды. Все они родились уже во время полета.

«Прощай, Флеминг! — подумал Кобаяши. — Твои виски седые, как и мои. Ты был последним, кто мог меня понять».

От мысли, что он остался единственным живым из всех землян, кто пятьдесят лет назад отправился в экспедицию, запершило в горле. Но адмирал Кобаяши справился с чувствами, он откашлялся и, когда затих траурный марш, подал знак. Гроб накрыли крышкой, потом вкатили в печь. Офицеры отдали честь и стали расходиться. Похоронная церемония была закончена.

— Разрешите обратиться! — Перед Кобаяши стояла лейтенант Ковальски. Умная и красивая девушка, подающая большие надежды.

— Слушаю вас, лейтенант.

— После смерти майора Флеминга я освободила его каюту от личных вещей...

Кобаяши кивнул и ответил:

— Согласно уставу, личные вещи покойного подлежат кремации вслед за его телом.

— Да, адмирал! — Ковальски распахнула большие глаза. — Но я обнаружила несколько вещей, противоречащих уставу и не вяжущихся с обликом прославленного майора.

Адмирал снова закашлял и принялся стучать себя по груди, но не столько из надобности, сколько давая возможность прочим офицерам отойти на расстояние, не позволяющее слышать разговор.

— Что же это за вещи? — спросил он наконец.

Лейтенант достала записную книжку.

— Роман Даниэля Дефо «Приключения Робинзона Крузо»...

— Кремировать.

— Репродукция картины Поля Гогена «Женщина, держащая плод»...

— Кремировать.

— И еще блокнот, исписанный стихами. Автор стихов не указан, так что можно предположить, что им является сам майор Флеминг. Стихи чудовищно старомодны — написаны в рифму. Первое начинается строчкой «Плеск моря, крик птицы...»

У Кобаяши стянуло челюсть, но он не дрогнул:

— Кремировать.

Лейтенант Ковальски щелкнула каблукми.

— Разрешите идти?

— Мунуточку, лейтенант!

— Слушаю!

— Каково ваше мнение о майоре Флеминге?

Ковальски на мгновение расстерялась.

— Майор Флеминг — легендарная личность...

— Это бесспорно. Но изменилось ли ваше отношение к нему после этой находки?

Лейтенант молчала ровно десять секунд.

— Думаю, да. Земляне — космическая раса, и наша экспедиция это убедительно доказывает. Я всегда полагала, что все мысли участников экспедиции должны быть направлены на выполнение миссии. И всякое отступление — пустая трата времени... и глупость. А все эти книжки и картинки — не более чем рудименты

земной культуры, и следовательно — мусор. В этом плане майор Флеминг меня очень удивил... Надеюсь, всему найдется логическое объяснение.

— Правильно, — кивнул Кобаяши. — Но если даже не найдется... Майор Флеминг читал «Приключения Робинзона Крузо» и при этом оставался преданным целям экспедиции.

— Похоже, что так.

— Тогда почему бы вам, лейтенант, перед кремацией книги не ознакомиться с ее содержанием? Чтобы лучше понять мотивы майора.

— Вы серьезно?

— Это вовсе не приказ. Просто мысли по поводу сложившейся ситуации.

— Разрешите идти?

— Идите.

Лейтенант Ковальски козырнула и скрылась в кабине лифта, унесшего ее в недра ковчега. Адмирал Кобаяши постоял какое-то время в одиночестве. На стеклянной двери лифта отражалось его усталое лицо. «Нас разделяет всего два поколения, — подумал он о Ковальски, — а между нами бездна. Для таких как она, я просто питекантроп». Он достал из кармана платок, вытер лицо, и, как никогда прежде, почувствовал себя чужим на ковчеге, которым управлял.

Потом Кобаяши тоже шагнул в кабину лифта и вскоре оказался перед своей каютой. Он долго искал по карманам ключ — пальцы не слушались его. В каюте он подошел к карте звездного неба, занимавшей всю стену. Развернул ее — на обороте обнаружился большой снимок песчаного берега с пальмой и яркой экзотической птицей на ветке. Кобаяши с трудом выдвинул ящик рабочего стола — достал проигрыватель и несколько заезженных виниловых пластинок. Поставил одну — заиграл джаз. Адмирал притушил верхний свет, оставил лишь лучик, направленный на пальму, потом прямо в мундире лег на кровать.

«Плеск моря, крик птицы...» — вспомнил он стихотворение Флеминга. Как же ему хотелось знать следующую строчку.

ALENA875@MAIL.RU

«Ваша девушка — Alena875@mail.ru. Ей двадцать два года. У нее неоконченное высшее образование, два привода в полицию за нарушение правил приличия и пособие дочери участника Третьего Сетевого Конфликта».

Получив по электронной почте это письмо, Костя скривил рот и скорее глянул на обратный адрес в надежде, что все обернется шуткой какого-нибудь знакомого. Но нет, письмо пришло из Комиссии По Контролю. Это такая государственная организация, которая в компьютерный век следит, чтобы граждане хотя бы иногда выныривали из виртуальных глубин и вспоминали о продолжении вида Homo Sapiens. Любовные пары формируются на основе расчетов некоего продвинутого Интеграла, а потом Комиссия в любой момент может проверить выполняются ее решения или нет.

Косте предписывалось встречаться с Алёной не реже одного раза в неделю. К письму прилагался файл с подробным описанием допустимых современной моралью любовных позиций. Описание было проиллюстрировано стереоснимками. Какое-то время Костя эти снимки с интересом рассматривал, представляя себя и свою девушку то так, то этак, пока не сообразил, что фотографии самой Алёны в письме нет. В принципе, в наши дни внешность для девушки не так и важна, но все-таки хотелось бы глянуть. Ладно, — подумал Костя, — какая разница! С Комиссией По Контролю не поспоришь. Проще связаться с девушкой и назначить ей свидание. Наверное, надо пригласить ее к себе, но лень прибираться. Опять же, нет денег на пиво. Лучше напроситься к ней. У нее как-никак пособие. Вот и пусть угощает!

Костя снял трубку видеофона и набрал номер.

— Alena875@mail.ru, — услышал он, но его собеседница на экране так и не появилась. — Это ты, Сережа?

Блин, да он же забыл включить свое изображение. Костя ткнул пальцем в нужную кнопку, улыбнулся и ответил:

— Нет, это Konstantin757@rambler.ru. Тут мне письмо пришло... Короче, теперь ты моя девушка.

Экран остался темным, а на том конце провода зависла, как говорится, гнетущая тишина. С минуту Костя пялился в пустоту.

— Алло! — позвал он наконец, потеряв всякую надежду услышать хоть что-то в ответ.

— Хорошо, Константин, — отозвалась Алёна. — Я сегодня не проверяла почту и поэтому не в курсе... Ты, наверное, хочешь пригласить меня к себе?

— Ну... я не знаю... если тебе удобнее у себя дома, давай...

— Нет-нет, у меня сегодня не прибрано. И пиво как раз кончилось... Так что лучше у тебя... И, слушай, Константин... Костя...

— Да?

— Можно я буду звать тебя Сережей?

— Э-э... в принципе...

— Пасиб, Сережа! Я щас. — И она бросила трубку.

Ошарашенный таким поворотом, Костя кинулся прибираться в комнате. Да она во мне сомневается, — буравила его мысль. — В Интеграле сомневается!!! То же мне цаца! Да он сам после этого во всем сомневается, вот!

...Алёна появилась часа через три, когда Костя уже перестал ее ждать и сам съел яичницу, которую с трудом, но нашел из чего приготовить. Загорелась лампочка доставки и посреди комнаты прямо из ниоткуда возник большой картонный ящик с броской надписью: «Почтовая служба Nikita578@kukareku.net». Перемещение реальных объектов с помощью электронной почты дело новое, труднообъяснимое (не для чайников), прежде Костя с ним не сталкивался, поэтому он постучал по ящику и спросил:

— Алёна, ты что, внутри?

— Нет, Сережа, я просто заархивирована, — почему-то голос его девушки шел откуда-то сверху. — Похоже, твой архиватор меня не определяет.

— И что будем делать? — Костя присел на ящик. — Я же сразу сказал, что лучше к тебе.

— Значит, это я во всем виновата! — возмутилась Алёна. — И все потому, что у тебя дрянной архиватор.

— У меня отличный архиватор, — сказал Костя (хотя и покривил душой). — Это твой тебя неправильно запаковал.

Его отпор неожиданно охладил девушку, и она заговорила куда спокойнее:

— Ну, может, и так... Я свой на распродаже купила. Совсем недавно. Не было времени проверить... Сережа, не дуйся, ладно?

Костя тоже успокоился и даже легонько погладил ящик ладонью. Похоже, с Алёной можно ладить.

— Да я не дуюсь.

— Вот и молодец, — обрадовалась девушка. — Слушай, может, сразу займемся любовью, а? Чего тянуть?.. А то я на этой неделе вряд ли снова найду время.

— Ну... — выдавил он. — Если в твоём ящике найдется дырочка... — И покраснел: вот ведь глупость сморозил.

Однако Алёна в ответ прыснула.

— А ты ничего, — сказала она, — веселый. А в начале ты мне как-то того... не очень... Честно говоря, я своего парня другим представляла.

— Так я тебя вообще еще не видел, — парировал Костя.

— Увидишь, — пообещала Алёна. — А дырочка совсем не обязательна. Можно заниматься любовью, одновременно подключившись к компьютеру по методу Валери Прайса.

Костя почесал затылок, а точнее татуировку святого Гибсона, украшавшую эту часть его тела.

— Во-первых, Комиссия По Контролю такое дело вряд ли одобрит, — начал он. — На приросте населения подобные затеи не сказываются, а скорее наоборот...

— У нас аварийный случай, — напомнила Алёна. — Но мы не растерялись и даже в сверхсложной ситуации выложились на все сто. Взгляни на это так. А во-вторых?

— Во-вторых, я как-то пробовал, — признался Костя, — но мне не понравилось. Я — натурал.

— Сережа, а ты пробовал по методу Прайса? Это совсем новый метод.

— Ну, я даже не знаю. Это когда надеваешь шлем — и через минуту все штаны мокрые?

— Каменный век, — возмутилась Алёна. — Включай компьютер.

Костя включил.

— Найди и скачай программу Прайс-3000.

— А это бесплатно?

— Халява, — заверила Алёна.

Он запустил поисковик, мигом нашел и скачал программу.

— Шлемы потребуются? — поинтересовался Костя и вдруг сообразил, что шлем на ящик ну никак не налезет.

— Обойдемся, — ответила девушка. — Просто набери Strg+Alt+Love+наши имена...

— Готово, — сказал он. — И что дальше?

— Нет, ты прямо девственник какой-то... — Судя по интонации, Алёна покачала головой, но на внешнем виде ящика это никак не отразилось. — Жми Enter, Серёжа!

Это «Серёжа» его добило. Что было сил Костя вдавил клавишу. Монитор, его гордость, занимавший всю стену, тут же погас, кометообразная люстра под толчком тоже.

— Опять пробки вылетели! — взвыл Костя. К виртуальной любви он относился, понятно, скептически, но сейчас как раз настроился, а тут такой облом. — Ладно, я их мигом заменяю.

Алёна ничего не ответила.

И тут Костя обнаружил, что сидит на полу, хотя мгновение назад сидел на ящике. Что за черт! Он вскочил и попытался на ощупь сориентироваться в темноте. Однако сколько Костя ни махал руками, наткнуться на что-либо ему не удалось.

— Алёна, — позвал он. — Ты видишь что-нибудь?

Тишина.

— Алёна?

Тишина.

— Алёнушка!!!

Ни звука.

— Да где же ты?..

И вдруг она закричала. Где-то далеко-далеко, словно на другом конце необъятного мира. И сердце Кости пронзила ледяная игла. Так кричат только когда попадают в НАСТОЯЩУЮ беду. И он рванулся вперед.

Непонятно куда подевались стены его квартиры, а также стены квартир соседей, но, не встречая никаких преград, Костя в полной темноте мчался вперед. Несколько раз падал, расшибал колени и локти, поднимался и продолжал бежать. Крик то затихал, то приближался.

Бег сквозь стены, ясное дело, невозможен. Все-таки это не пробки повывлетали, сообразил Костя, это сработала программа и загрузила его в виртуал. Но где тогда обещанная любовь? Может, это просто прелюдия? Сейчас вспыхнет свет, Алёна окажется блондинкой фотомодельного типа, и они примут одну из тех позиций, что он недавно разглядывал на стереоснимках. «Любовь — это четыре минуты сопящих носов», — сказал один знаменитый панк. Или он сказал: «Пять минут»? Костя точно не помнил.

И тут он услышал голоса.

— Дрянь, губу мне прокусила!

— Точно дрянь!

— Да держите ее крепче! — Голос командовавшего был мужским, но высоким — на грани истерики.

Послышались тупые удары. И Алёна опять закричала. Где-то совсем рядом — в двух шагах. Ее били! Его девушку били! И Костя прыгнул вперед.

Трудно сказать, сколько их там было. В темноте не разглядишь, а разобраться он и не пытался. Он налетел на них. И стал молотить кулаками. В темноту. Стал бить ногами. В темноту. Поймал чью-то руку и вывернул ее. Схватил кого-то за волосы и потянул на себя.

Его тоже били. В челюсть. В глаз. Пнули по коленной чашечке. А потом он услышал:

— Уходим, их здесь много. — И насильники ретировались.

Алёна плакала где-то рядом. Костя нашел ее и прижал к себе. Она плакала долго, очень долго, потом затихла. Некоторое время они молчали.

Тут сработал антивирус: вспыхнул свет, они снова оказались в комнате перед монитором. И Костя наконец-то увидел свою девушку такой, какая она есть.

— Ты с какого сайта программу скачал? — спросила Алёна, левый глаз у нее заплыл, изумрудные волосы ключьями торчали во все стороны.

— Точно не помню, — сказал Костя. — Кажется, Narod.ru.

Алёна глянула на монитор.

— Urod.ru! — выдохнула она. — Да там же собираются всякие подонки. Насильники, садисты... И программки соответствующие делают. Скачаешь что-то путевое, а там вирус, взламывающий защиту, и тебя загружает на их уродский сайт.

— Так я не знал, — сказал Костя. — Прайс-3000, как ты просила...

— Я тебя и не виню. — Алёна улыбнулась.

И от этой улыбки Косте стало вдруг хорошо — хорошо как никогда прежде.

— Знаешь, а в чем-то вирус нам помог, — сказал он.

— В чем это?

— Он тебя распаковал.

Алёна ойкнула и принялась поспешно приглаживать волосы. Потом глянула на Костю и спросила:

— И как я тебе?

— Очень даже ничего, — ответил он. — То есть — очень даже!

— Правда?.. — Она потупилась. — А у тебя фингал под глазом. Вот такой. И ссадина на подбородке. Надо чем-нибудь смазать. — А потом добавила: — Слушай, Сережа, а давай я тебя буду звать все-таки Костей.

И он просиял. Все правильно, Alena875@mail.ru — его девушка! С Интегралом ли, без него, а жизнь прет вперед. В Комиссии По Контролю могут расслабиться.



Владимир Марышев
Йошкар-Ола

АЛАЯ ЗВЕЗДА

Писклявый сигнал вызова застал Спиру Контти по прозвищу Звездочет за завтраком.

— Слушаю, — буркнул Спиру с набитым ртом, потому что буквы, вспыхнувшие перед глазами, сложились в комбинацию «Лю Чжувэй». А Дядюшка Лю очень не любил, когда его собеседник тратил время на всякую ерунду — например, тщательное пережевывание пищи.

Над пластинкой коммуникатора выросла физиономия главного работодателя Звездочета — гладкая,

лоснящаяся, словно отполированная. Поговаривали, что Дядюшка Лю регулярно летает на Землю, где проходит полное омоложение, и каждая такая процедура тянет на сотню тысяч кредитов. Но Спиро мало интересовался слухами. Меньше знаешь — дольше проживешь...

— Звезда готова? — спросил Дядюшка, любовно разглядывая ухоженные ногти. Это была его слабость — он лелеял свои пальчики не хуже, чем красавицы из популярных гипершоу.

— Можно забирать хоть сейчас. — Продолжая работать челюстями, Спиро попытался изобразить улыбку. Результатом стала жуткая гримаса. — Клиент будет в восторге. Уникальный экземпляр!

— Сколько? — наконец-то соизволив глянуть на Звездочета, осведомился Лю.

— Пятнадцать тысяч! — выпалил Спиро давно заготовленную цифру.

— Много. — Лоснящееся лицо оставалось неподвижным, шевелились только губы. — Хватит и десяти.

— Тринадцать! — сбавил цену Спиро, стараясь не смотреть в узкие щелочки Дядюшкиных глаз. Сквозила из них какая-то неосязаемая жуть. — Меньше не могу.

— Жадность тебя погубит, Звездочет, — назидательно изрек Лю. — Ладно, я пришлю одного человека. Он посмотрит твою диковину, тогда и видно будет.

«Присылай, — с холодной решимостью подумал Спиро, когда Дядюшка отключился. — Уж я найду, как уболтать твою шестерку. Ты, молодящийся ублюдок, все равно урвешь себе вчетверо от моей цены. А для меня и лишняя пара-тройка тысконок кое-что значит».

Покончив с завтраком, он вышел из кухни и остановился перед прозрачным контейнером, к одной из стенок которого прилепилась звезда. Да, товар что надо — продешевив с таким, сам себя перестанешь уважать. Во-первых, каков размер! Сорок три сантиметра в размахе лучей — пожалуй, рекорд. Во-вторых, редкий цвет — не красновато-оранжевый, как обычно, а ярко-алый, словно звезда насосалась крови. Некоторых такая «вампирическая» окраска пугала. Но в большинстве своем заказчики ее ценили, хотя на работе инопланетной твари она никак не сказывалась.

«Работа... — Спиро криво усмехнулся. — Мне бы на такую устроиться! Плюнул направо — заработал сотню, налево — еще одну. Почесал пятку — содрал с клиента сразу полтысячи. Только где найти идиотов, которые усмотрят во всем этом знаки судьбы? Другое дело, если бы я ползал на брюхе и менял цвета...»

Живности на Эрне водилось негусто, а тот, кому повстречалась звезда, мог считать себя везунчиком. Впрочем, первых колонистов эти странные создания интересовали мало. Ползают себе под камнями да корягами, питаются то ли мхом, то ли лишайником — ну и что? Хорошо еще, что безвредные, хотя пользы тоже ни на грош.

Все изменилось, когда кто-то открыл у звезд любопытную особенность. Стоило четко и отдельно произнести рядом с ними какую-нибудь фразу, как они меняли цвет — или на желтый, или на зеленый. Вари-

антов было всего два, но кудесникам, умеющим извлекать деньги из воздуха, больше и не требовалось.

Что бы кто ни говорил, чудеса все же случаются. Весь секрет в том, что каждое из них нужно тщательно подготовить. Новое чудо подготовили на совесть, не спеша, хорошо понимая, что настоящий рынок сбыта — это Земля. И однажды материнскую планету потрясла сенсация: на далекой Эрне найдены существа, предсказывающие будущее!

Не успели земляне обмозговать новость, как выстрелила «тяжелая артиллерия»: ряд крупных ученых подтвердил, что так оно и есть. Мол, специфические условия Эрны привели к тому, что эволюция местных обитателей пошла причудливыми путями. В частности, звездам, чтобы выжить, пришлось научиться на несколько лет заглядывать в грядущее.

Конечно, научные светила были куплены, но кто об этом знал? Жаждающим чуда преподнесли его на блюдечке, снабдив такой инструкцией, что проще некуда. Надо всего лишь задать вопрос, на который можно ответить либо «да», либо «нет». В первом случае звезда становится зеленой, во втором — желтой.

После этого начался бум...

Спиро представил себе очередного клиента, мечтающего о домашнем оракуле, и его разобрал смех.

«Глупец, — подумал он. — И все остальные — непроходимые тупицы».

Еще бы! Были ведь и другие ученые — те, на кого не хватило денег, или не покупавшиеся в принципе. Они доказали как дважды два, что никакой «машины времени» у эрнианских созданий нет. Мало ли кто меняет цвета! Земные каракатицы, хамелеоны — всех не перечислишь. Почему звезды, в отличие от них, реагируют на голос? Ну, мало ли... Возможно, когда-то у них были враги, издававшие похожие звуки, и этих супостатов удавалось напугать, лишь мгновенно перекарасившись.

Главный вывод бил наотмашь: искать в «ответах» звезд какой-либо смысл — пустое занятие. Их достоверность — 50 процентов, так что ровно с тем же успехом можно «предсказывать», бросая старинную монетку!

Но люди, как известно, не любят умников, вещающих скучные истины. Они уверены, что есть легкий способ объегорить законы природы, а потому с радостью бросаются в объятия астрологов, хиромантов и прочих гадальщиков на кофейной гуще. Так что бизнесу Дядюшки Лю даже после всех разоблачений ничего не угрожало.

Звезда сползла на дно контейнера и приподняла кончики лучей, украшенные жемчужными бусинами глаз.

«Ну, чего ты меня рассматриваешь, дура? — подумал Спиро. — Раньше надо было напрягать свои гляделки — тогда, может, и не попала бы. А теперь поздно. Особенная ты или нет — долго на этом свете не удержишься».

Да уж... Биологи давно выяснили, что звезды могут жить до ста лет и даже больше, но только на Эрне. В земных условиях, как бы за ними ни ухаживали, они

начинали чахнуть и редко протягивали больше полу-года.

Вспомнив об этом, Звездочет испытал давно забытое чувство, смахивающее на угрызения совести. И тут же разозлился. Какого дьявола он должен думать об этой твари, к которой и прикоснуться противно — кажется, будто вот-вот измажешься кровью? О нем-то самом никто не позаботится! Всем плевать, что Спиро Конти осточертела эта дикая планета с единственным городишком, который уместнее назвать деревней. Что он давно копит деньги на симпатичный домик в райском местечке вроде Карибского побережья. Что копить еще долго, потому что недвижимость дорожает, а Дядюшка Лю скорее удавится, чем поднимет расценки. Может быть, в погоне за своей мечтой придется извести на Эрне всех звезд! И что теперь — каждую жалеть?

— Хватит пялиться! — неожиданно для себя самого сказал он вслух. — Что, жить-то хочешь?

Звезда налилась сочной зеленью.

— Еще бы! — усмехнулся Спиро. — Ну, тогда давай сбеги от меня. Сумеешь?

Звезда пожелтела.

— Куда тебе! — совсем развеселился Спиро. — Слушай, чудо ползучее, а ты вообще кто — он или она? Он?

Ответом ему был зеленый цвет.

— Мужик, значит. Тогда я назову тебя... ну, скажем, Тил. А как думаешь, Тил, удастся мне содрать с дядюшки Лю тринадцать тысяч?

Желтый.

— Вот черт! Но хоть попытаться-то стоит?

Желтый.

— Хм! Можно подумать, ты знаешь этого живоглота лучше меня.

Желтый.

— То-то! А скоро, по-твоему, я сумею выбраться из этой дыры?

Желтый.

— Да что ты заладил — «нет» и «нет»! Заело, что ли? Ладно, тогда такой вопрос. Я нашел тебя неподалеку от Ржавого болота?

Зеленый.

— Точно? А не в Северном редколесье?

Желтый.

«Стоп, — скомандовал себе Звездочет. — Что-то Тил больно складно отвечает. Ни разу не сморозил ерунды. Игра случая, конечно — какое у этой животины может быть сознание! Но все-таки... — Он поежил. — Ладно, устроим проверку».

— Что ж, — сказал Спиро, — давай-ка мы измерим твой ай-кью. Поехали! У меня две головы?

«Нет», — беззвучно ответила звезда.

— Может, три ноги?

«Нет».

— Я сейчас поднял правую руку?

«Да».

— Помотал головой?

«Да».

— Подошел к окну?

«Нет».

— У твоего контейнера есть крышка?

«Да».

— У тебя шесть лучей?

«Нет».

— Пять?

«Да».

Все ответы были верными.

Спиро ошарашенно посмотрел на Тила. «Этого не может быть, — подумал он. — Научно доказано, что у звезд нет мозгов. Точнее, их ровно столько, чтобы находить и отправлять в утробу свой любимый мох. Или я сошел с ума, или...»

— Ты разумный? — рубанул он напрямик.

«Да».

Сердце бухнуло у Звездочета в груди.

Это полностью меняло дело. Плевать, как Тил обзавелся сознанием — кому надо, тот пусть и разбирается. Важнее всего то, что его, Спиро, ставки взлетели. Разумная звезда угодит клиенту куда лучше, чем безмозглая. К тому же ее можно обучить трюкам, которые заставят непосвященных визжать от восторга. Дядюшке Лю не удастся сделать вид, будто он не видит разницы, так что пусть раскошеляется по-крупному. Все равно загребет себе в разы больше!

— И много вас... таких?

«Нет».

— Может быть, ты один?

«Да».

«Ух ты! — Спиро словно обдало жаром. — Одна-единственная разумная звезда на целую планету! Сколько же она может стоить?»

Он вздрогнул от мысли, что продешевит. И уж совсем скверно будет, если обо всем пронюхают ученые крысы, ищущие братьев по разуму. Так что толкнуть звезду надо на самом черном-пречерном рынке, где за любую утечку информации можно поплатиться головой. Ну, Дядюшка Лю не вчера родился, сделает все в наилучшем виде...

— Слушай... — сказал Звездочет. — Так будущее... ты все-таки умеешь его предсказывать?

«Нет».

— Жаль. Не знаю, есть ли мечты у звезд, а у меня вот завелась одна. Но на это нужна чертова уйма денег. Можешь мне их добыть?

«Да».

— Думаешь, хватит того, что за тебя отвесит Дядюшка?

«Нет».

— Ничего не понимаю. Ты знаешь какой-то другой способ?

«Да».

Спиро вскочил и возбужденно заходил по комнате.

— Так, с этого места поподробнее. Что ты предлагаешь? Уговорить Дядюшку отдать мне свои капиталы? Ограбить мэрию? Найти алмазную трубку? Отыскать клад?

«Да».

— Ага! Клад, значит. И где же он?

Звезда осталась кроваво-красной.

— А, дьявол! — догадался Спиро. — Тебе нужны гарантии. Хорошо! Как только у меня будет нужная сум-

ма, отпущу тебя на все четыре стороны. Может, я и не смахиваю на джентльмена, но запомни: Спиро Контти еще никогда не нарушал своего слова. Ну что, согласен?

«Да».

— Отлично, — выдохнул Спиро. — Итак, твой клад находится... Север? Юг? Восток?..

Вскоре Звездочет узнал, что обогащение ждет его на Восточном плато, а точнее — в районе Пирамиды. Но что из себя представляет сокровище, Тил объяснить не сумел. Не так это просто, когда можешь ответить только «да» или «нет»!

Место, указанное звездой, вызывало всего одну ассоциацию. Лет пятьдесят назад там разбился маленький корабль-разведчик с Земли — то ли «Сокол», то ли «Орлан». Спустя еще пару десятилетий на Эрне появились первые колонисты. До Пирамиды они добрались не сразу — хватало других дел. Добравшись же, захоронили останки пилота, а его корабль разобрали по железке и переправили в городок. Неужели, прибрав металл и аппаратуру, просмотрели что-то другое, куда более ценное?

Спиро решил не медлить. Он вывел из ангара флайер, не без труда запихнул в тесную кабину контейнер со звездой, вжался в сиденье пилота и стартовал.

Эрна не отличалась красотой пейзажей. Даже леса выглядели скучно и уныло, словно недобрали красок. Что уж говорить о плато — безжизненно-сером, лишь кое-где подмалеванном бурыми пятнами лишайников...

Пирамидой называли изглоданную ветрами скалу — единственный приметный ориентир на десятки километров вокруг. Спиро посадил флайер неподалеку, высмотрев ровную площадку среди целого поля разнокалиберных валунов. Выбрался из кабины, вытащил контейнер и стал оглядывать окрестности. Ничего примечательного не увидел, зачем-то скovyрнул носком ботинка камушек и повернулся к Тилу:

— Я очень надеюсь, что у тебя нет привычки шутить. Ну, где твой клад? Спереди? Слева? Справа? Сзади? Подо мной?

Звезда пламенела первозданной окраской.

— Как это понимать? — зловеще произнес Спиро. — Слушай, Тил, выставить меня идиотом — не самая хорошая идея. Если продолжишь играть в молчанку, я рассержусь. И тогда...

Ни с того ни с сего у него закружилась голова. В воздухе словно замельтешил мушиный рой, а через несколько мгновений глаза затянула черная пелена. По телу разлилась болезненная слабость. Спиро пошатнулся, чудом удержал равновесие и застыл в неустойчивой позе. Спустя какое-то время послышалось бархатистое гудение садящегося флайера. Затем пелена начала расплзаться, и еще до того, как она окончательно растаяла, Звездочет увидел перед собой ненавистную рожу Дядюшки Лю.

«Вот ведь скотина, — подумал Спиро, не зная, куда деть руки, сами собой сжавшиеся в кулаки. — Следил,

значит. Постоянно, за всеми работниками — как бы чего не утаили...»

— Далековато ты забрался, Звездочет, — сказал Дядюшка. Из его глаз сочилась все та же жуть. — Ну, рассказывай, что тут забыл.

— Так это... звезд ищущий, — хрипло ответил Спиро. — Как всегда. Ради чего надо было...

— Рассказывай сказки ей, — оборвал его Дядюшка, кивнув на контейнер с Тилом. — Насколько помню, ты нашел ее у Ржавого болота. Верно? Здесь, вокруг Пирамиды, звезды перевелись, когда я еще ишачил на своего босса, а ты шагу не ступишь за просто так. Так что выкладывай, зачем прилетел. Да побыстрее, не то начну нервничать.

Спиро хорошо знал, что происходит, когда его работодатель начинает нервничать.

— Ты не можешь... — пробормотал он, отступая на шаг. — Ей-богу, я ничего... Да подожди ты!..

Дядюшка ждать не хотел. Его рука начала подниматься, и теперь в ней чернела невесть откуда взявшаяся трубочка парализатора. Звездочет завороченно смотрел в нацеленное на него дуло, а потом Лю ни с того ни с сего посерел, глубоко, со всхлипом, вздохнул и стал заваливаться набок...

Первым делом Спиро подобрал парализатор — автоматически, не задумываясь. Лишь затем он склонился над Дядюшкой и убедился, что тот дышит. Полагалось немедленно вызвать спасателей, но как объяснить им, что тут произошло? Мелькнула даже мысль прикончить ублюдка, и Звездочета от нее передернуло: до сих пор ему убивать не приходилось. Да и следы замести не получится...

Спиро вышагивал между флайерами, лихорадочно обдумывая варианты, и тут Дядюшка заворочался. Несколько раз дрыгнув ногой, открыл глаза, тяжело поднялся, сделал десяток неуверенных шагов и опустился на валун. В его походке, да и самой осанке появилось что-то странное, чужое, словно главарь местной мафии взялся сыграть непривычную роль. Равнодушно глянув на парализатор, он сказал:

— Убери оружие, оно ни к чему. Я не Лю.

— А кто же? — выдавил совершенно сбитый с толку Звездочет.

— Меня зовут Фил Карсон.

— Кто-кто? — переспросил Спиро, силясь припомнить хотя бы одного Карсона. И впал в ступор, услышав ответ:

— Пилот «Орлана».

Тусклое солнце Эрны уже ощутимо склонилось к горизонту, а они все сидели на теплом валуне и обсуждали невероятное.

— Рехнуться можно, — сказал Спиро, когда его удивительный собеседник замолчал. — И кто же это с тобой сотворил?

Со слов Карсона выходило, что на подлете к Эрне у корабля внезапно отказала автоматика. Совершить чудо с помощью ручного управления не удалось, и «Орлан» рухнул на плато. Уцелеть было невозможно. После удара пилот прожил от силы несколько минут,

которые запомнились ему как сгусток боли и ужаса. Потом его сознание отключилось — и вспыхнуло вновь уже в теле звезды.

— У меня было время над этим подумать, — ответил Карсон, с отвращением разглядывая ухоженные ногти Дядюшки Лю. — Много времени — считай, полвека. Я перебирал вариант за вариантом, отбрасывал мистику и прочую небывальщину. В конце концов осталось одно объяснение. Тоже ни в какие ворота, но в нем хотя бы чуточку меньше безумия. Представь, что в окрестностях Пирамиды заточен представитель чужой цивилизации. Он чем-то провинился у себя на родине, его судили и отправили на Эрну. Причем приковали к определенному месту, чтобы не сбежал. Мы не видим этого инопланетянина потому, что у него нет тела. То ли изначально не было, то ли судьи отобрали в наказание. Этакий энергетический сгусток, который вынужден все время оставаться здесь, как заряд — в аккумуляторе.

— Бр-р! — Спиро помотал головой. — Знал я одного писака, но до такого даже он бы не додумался. — А звезда тут при чем?

— Подожди, не все сразу. Как думаешь, почему я разбился? Может, этот сгусток, почуяв мой «Орлан», захотел связаться с ним, выдал мощный импульс, но только угробил им корабельную аппаратуру. И тогда инопланетянина замучила совесть. Поняв, что я умираю, он решил спасти меня единственно возможным способом — пересадить сознание из искалеченного тела в другой организм. Видимо, его цивилизация много чего умеет. А поблизости оказалось только одно подходящее существо — эта самая звезда.

— Что ж тогда он самого себя не пересадил? — хмыкнул Спиро.

— Значит, не мог. Только кого-нибудь другого. Ты скажешь, что мозг звезды ничуть не похож на человеческий. И все же мое сознание как-то перешло в него, полностью подавив личность хозяина. Ну, пусть не личность... ты ведь понимаешь, да? Сначала я пасся вокруг Пирамиды, потом направился на запад — там было больше еды. Затем ты поймал меня, чтобы продать на Землю, где любая звезда погибает через полгода. Поняв это, я призвал на твою голову все проклятья, которые знал. А когда успокоился, придумал план.

В душе Звездочета заворочалась злоба.

— Так ты привел меня сюда, чтобы этот чертов сгусток засадил твою «я» в мою голову?

— Привел, — жестко ответил Карсон. — Тебе не понять, что такое полвека ползать на брюхе. Но это еще можно перетерпеть, а вот помирать во славу твоего мерзкого бизнеса — с какой стати? Я подумал: если пришелец спас меня, пересадив в звезду, то наверняка захочет довести дело до конца и дать нормальное человеческое тело. Может, у него своя система ценностей, и он решит, что честный пилот имеет больше прав на твой мозг, чем прожженный браконьер.

Спиро вспомнил, как на него перед появлением Лю накатила волна слабости. «Вот, значит, что, — подумал он. — Еще бы немного...»

— Ну, ты и гнида, — с чувством сказал Звездочет. — Но все равно твой пришелец выбрал не меня. Почему?

— Откуда мне знать? Наверно, посчитал, что Дядюшка хуже всех, и без его «я» мироздание уж точно как-нибудь проживет. Да ты не выясняй, дурачина, а радуйся, что остался при своем!

— Обрадуешься тут... — пробурчал Спиро и с досадой посмотрел на освобожденную от разума звезду, за которую теперь вряд ли мог выручить больше десяти тысяч. — Накрылся мой домик у моря одним местом. Хотя, постой... Что ты собираешься делать в теле Дядюшки?

— Ну... — Карсон пожал плечами. — Для начала попробую как-то объяснить ситуацию...

— Значит, сам дурачина! — Спиро вскочил. — Кто ты есть? Пилотишка, про которого все давно забыли и отовсюду списали. А у Дядюшки — власть! Мэр кормится из рук, полиция куплена, на Земле такие связи... Да мы тут с тобой знаешь как развернемся?

— Мы? — поморщился Карсон.

— Ха! — Звездочет выпятил грудь. — А ты думал, я в сторонку отойду? Нет уж, теперь мы в доле. Да ты без меня и шагу ступить не сможешь, сразу засыплешься. Ну?..

Карсон молчал так долго, что Спиро от нетерпения начал пританцовывать на месте. А потом ответил всего одним словом:

— Нет.

— Но почему, преисподняя тебя побери? — взвился Звездочет.

Карсон поднял на него глаза. Они были Дядюшкины, знакомые до мельчайшей черточки, только больше не изливали жуть.

— Видишь ли, Спиро... Я, конечно, не ангел, но этого бесплотного парня уважаю. А теперь представь, что он, узнав про мое согласие, засовывает меня обратно в ту звезду!

КЛЮЧ

1

Одни колонисты выходили из жилого корпуса разболтанной походкой, не вынимая рук из карманов и насвистывая блатной мотивчик. Другие — скованно, насупившись в предчувствии, что сейчас им окончательно отравят и без того неважнецкую жизнь. На площадке возле главного склада и те, и другие под рывканье мордатых охранников выстроились в шеренги.

«Человек пятьдесят, — прикинул Шатун. — Что-то маловато...»

Это была едва ли двадцатая часть всей колонии. На площадку согнали явно не самых крепких — среди отобранной братвы выделялась габаритами лишь тройка амбалов. Остальные — так себе, были даже мозгляки, хотя по манере держаться — отчаянные ребята.

— Слышь, — Сыч тронул Шатуна локтем.

— Ну?

— Ну, ну... Как бы не донукаться. — Сыч поскреб пальцами впалую щеку, словно все еще надеялся содрать намертво ввевшиеся в кожу большие черные буквы «ТР». — Помнишь, что раньше было, когда так же выстраивали? А сейчас, думаешь, зачем? Чую, похоронить нас хотят в руднике. Нашли, гады, местечко, где порода самая ценная, да просто так не возьмешь — для этого смертники нужны. Может, там радиация убойная, или микробы, что скафандры разъедают, или еще какая хрень. День-два повкалывал — и в ящик. Они прикинули, сколько народу нужно, чтобы выбрать новую жилу перед тем, как сдохнуть. Вот мы и стоим, дожидаемся...

— Сдохнем так сдохнем. Только не верю я, Сыч. Много раз в дерьме тонул — выплыл. И сейчас выплыл. Да и остальных ты рано в жмурики записал. Послушаем сначала, что нам хозяин споеет.

— Что, что... Вышак объявит! — Сыч шмыгнул крючковатым носом, из-за которого и получил кличку, хмуро уставился под ноги и принялся ковырять ботинком выбоину в серой цеолитовой плите. Шатун машинально понаблюдал за его занятием, потом задрал голову и принялся разглядывать облака.

Обычно они стояли выше, но сегодня тяжело нависли над самым куполом, расчерченным на квадраты ребрами жесткости. На Норне мало что радовало глаз, а облака были особенно уродливы — огромные бугристые зеленовато-бурые туши, похожие на бурдюки, вымазанные болотной тиной. Подходящее украшение для неба цвета разбавленной горчицы! Разбухнув до предела, бурдюки лопались, извергая потоки мутной отравы. Хорошо в это время под куполом — ему любые местные гостинцы нипочем. А вот на руднике, если обрушился ливень, страх пробирает до костей. Хоть и в машине сидишь, да еще в скафандре — все равно поджилки трясутся. Скафандры, бывает, откалывают, да и с техникой разное случается...

— Дырку в небе проглядишь! — снова толкнув Шатуна локтем, зашипел Сыч. — Хозяин на тебя уже косится.

Бакай, действительно, стоял перед строем и разглядывал его из-под козырька надвинутой чуть ли не по самые брови фуражки. Глаза начальника колонии прятались в густой тени, так что косился он или нет — оставалось на совести Сыча. Рядом с хозяином, как всегда, торчал его помощник Скорик. По обе стороны от неразлучной парочки застыла охрана.

Подвернись Шатуну такая возможность, он свернул бы Бакаю шею не задумываясь. Чего с ним долго возиться? Но Скорика хотелось убить не сразу, а с мучениями, чтобы захлебывался визгом до самого конца. Как еще поступить с последней гнидой, которая оскорбляет даже самую мерзкую в Галактике планету просто тем, что топчется по ней?

Хозяин — другое дело. Его судьба была хоть ивилистой, но понятной. Поговаривали, что много лет назад он служил на Земле в хорошей должности, пока не набил морду какой-то крупной шишке. Из-за чего вышла ссора, сказать трудно — мутная была история. И загреметь бы Бакаю в тюрьму, но наверху его ценили и придумали, как отмазать. Главное — убрать по-

дальше с Земли, чтобы глаза не мозолил. Тут и подвернулся вариант с Норной, работать на которой охотников не было.

Ходили слухи, что Бакай не раз и не два просил о переводе в метрополию, но ему отказывали — желающих стеречь уголовников на проклятой планете по-прежнему не находилось. Деваться было некуда, и он якобы запил. Закладывал по-черному, когда никто не видит — и продолжал надеяться, что ему все же дадут доработать до пенсии под голубым небом с желтым солнышком.

Что ж, когда тебя назначают на собачью должность — рано или поздно сам становишься цепным псом. Но Бакай извиняло то, что ему не оставили выбора. Со Скориком было иначе.

Этот вертлявый человечек с маленькой головой на тонкой шее и сморщенным личиком сделал карьеру странно, не по-людски. Когда-то он сам отбывал на Норне срок за то, что входил в нашумевшую гангстерскую группировку. Был мелкой сошкой на подхвате у босса, но лет десять ему вкатили. Как и все колонисты, Скорик горбатился на руднике, добывая драгоценный аммор. Работал старательно, с властью не пререкался, но и перед братвой ничем себя не замарал. А когда отмотал свое — огорошил всех, заявив, что хочет остаться в колонии. Пригляделся, мол, за столько лет к работе надзирателя и пришел к выводу, что рожден как раз для нее.

После всех положенных проверок на лояльность Скорик принялся служить новым хозяевам. Столь же усердно, как до этого вкалывал на руднике, а потому недолго засиделся в рядовых надзирателях. И ненависть колонистов к нему росла с каждой новой должностью...

— Слушай меня! — начал Бакай. Голос его, и без того хриплый, за последнее время заметно подсел, что вроде как подтверждало разговоры о пьянстве. — К нам прилетают большие люди с Земли. Очень большие. Но не с инспекцией. Они хотят развлечься — посмотреть на мясо, которое само себя режет и поджаривает. Мясо — это вы.

Наступила такая тишина, что слышалось далекое гудение регенераторов воздуха. Колонисты стояли как пришибленные. Шатун был третьим калачом, но такого даже представить не мог. Доходили до него, правда, местные легенды, только он не верил. Он вообще мало чему верил.

— Про гладиаторов слышали? — продолжал Бакай. — Вот и побываете в их шкуре. Почему вы, а не другие? Да очень просто. Мы изучили личные дела — и отобрали тех, которые точно гостям скучать не дадут. Воевать будете на равнине к западу от купола. Она большая — есть где развернуться. Кто выживет — тому повезло. Кого прикончат — спишем. Сколько ни навалите трупов, отмашка на них уже получена, никто не докапается.

Он взялся за козырек фуражки и надвинул ее еще глубже, хотя казалось, что глубже уже некуда.

— Мог бы выгнать вас в одних скафандрах. Но маленький человечек против другого такого же — не то зрелище. Поэтому драться будете в ходунах. Кому-то

достанутся тяжелые, кому-то — полегче. Оружие получите — весь набор, что есть у охраны, плюс резаки для вскрытия пород. Только не вздумайте повернуть его куда не надо. Система контроля отследит каждый чих. Наказание за любой проступок — болевой удар, за повторный — смерть.

Система контроля вызывала у колонистов страх и омерзение. Подключали к ней просто: из штуки, похожей на короткоствольный пистолет, загоняли под лопатку крошечную капсулу — генератор импульсов. Если одна из понатыканных всюду камер наблюдения замечала, что «клиент» злостно нарушает порядок, капсула приводила его в чувство болезненным разрядом. Могла и убить, если такую установку получал командный пункт системы. Он был смонтирован в одном из отсеков аппаратного корпуса.

— И еще, — помолчав, добавил Бакай. — Вы, я знаю, народ безбашенный, будете лезть на рожон, даже если есть один шанс из ста. Так вот, хрен вам, а не шанс. На случай, если система контроля даст сбой, вводится еще один уровень защиты. Перед тем, как получите оружие, сознание каждого переписуют в копию — дубль. Псевдобелковый суррогат. Точь-в-точь как человек, только живет всего ничего — через трое суток расплывется, как дерьмо под дождем. А пока дубли бьются, настоящие тела, со стертой личностью, полежат на складе за броневыми плитами. Тот, кого застрелят в дубле, умрет навсегда. Тот, кто выживет — вернется в свое тело. Если, конечно, будет себя хорошо вести. Если нет — сгниет за считанные дни.

По шеренгам прокатился тяжелый вздох, похожий на стон. Услышав его, Скорик оживился.

— А вы на что надеялись, голубчики? — сказал он с гадливой улыбкой. — Я вашу братию насквозь вижу. Сам из таких — тоже когда-то мечтал о бунтах, побегах и прочей ерунде. Так вот, мечтать на Норне вредно. Поверьте мне, ребята!

Шатун сжал кулаки. Шея у Скорика была тонкая — одной руки хватит, чтобы обхватить пальцами. И давить, давить, давить, пока у гада не вывалится язык. Эх, добраться бы как-нибудь...

Бакай пошевелил плечами, словно разминал их, сбросив давящий груз.

— Вопросы есть?

Строй молчал.

Бакай развернулся и пошел к себе в административный корпус. Скорик, окинув «гладиаторов» странным взглядом, последовал за хозяином.

2

В ангаре было шумно. Гулко топали по полу, отрабатывая бег, прыжки и резкие повороты, двуногие стальные монстры. Их сервомоторы жужжали, гудели, а при максимальных нагрузках надсадно взывали. На сумбур механических звуков накладывался людской гвалт.

Словечко «ходуны» прилепилось на Норне ко всем шагающим человекоподобным машинам. Но внутри этого семейства была своя градация. Огромных, приземистых, словно сгорбленных, горняков, вспарывающих скалы плазменными резаками, называли просто

ходунами. Их втрое меньших человекоподобных сородичей — ходунками. И, наконец, еще более мелких охранников — ходунцами. Среди последних различались управляемые модели (по сути, экзоскелеты в броне-вой скорлупе) и автоматы.

Шатуну достался ходунок что надо — новенький, с неизношенным механизмом. На него и смотреть было приятно — красавец, прямо-таки рыцарь в черных блестящих доспехах. Правда, без головы — она полагалась только надсмотрщикам-ходунцам. Вместо нее наверху была приплюснутая вращающаяся башенка с фотоэлементами, инфракрасными, радиационными и другими датчиками, которые требовались для работы на руднике.

Но плевать на красоту — в схватке она не поможет. Жить седоку или умереть, зависит от подвижности его машины и исправности оружия. С этим повезло на редкость. «Рыцарь» ходил быстро, повторял движения Шатуна почти без задержки и за все время, что тот его гонял, ни одно из сочленений даже не скрипнуло.

Каждому ходунку придавался целый набор рабочих инструментов — фрезы, буры, плазменные резаки. Но сейчас в правое запястье «рыцаря» был вмонтирован боевой лучевик ИМТ2. Оружие, конечно, не самое грозное. Ходуна-тяжеловеса, к примеру, из него так просто не завалишь — надо целиться в сочленения и другие слабые места, а когда мишень движется, это дьявольски трудно. Зато поразить своего брата-ходунка, а тем более ходунца — проще простого. Главное — успеть нажать на спуск до того, как противник выстрелит в тебя...

Шатун выбрался из металлического брюха и высмотрел Сыча. Тот хлопотал возле выдавшего виды грязно-желтого ходунка и непрерывно чертыхался.

— Ну, чего ты там? — спросил, подойдя, Шатун.

— Чего, чего... — Сыч сплюнул. — Ты-то вон какую игрушку получил, а мне подсунили старую рухлядь. Дребезжит, зараза, вот-вот развалится.

— Да ладно тебе. — Шатун пару раз пнул ходунка в коленную чашечку, прислушиваясь к звуку. — Нормальная машина. Сам дурака не свалешь, так и она не подведет.

— Ага, пой, пой, складно выходит. — Сыч шмыгнул носом. — Слышь-ка, Шатун... Ты мужик здоровый, любому крепче меня, и ловкий, как черт. Машина, опять же, — новье. А там, на поле, соперника не выбирают. И если, значит, схлестнемся, то... Грохнешь, да?

— Вон ты о чем... Ну, грохну. А что, самому в ящик ложиться? К чему спросил — разжалобить хочешь? Дохлый номер, со мной не пройдет.

— К чему, к чему... — Сыч ткнул себе пальцем в щеку, на которой чернели буквы «ТР». — Знаешь, что это за украшение?

Шатун знал. Было время, Сыч водился с лихими ребятами на Крании, но сильно перед ними провинился. То есть, сам-то он уверял, что был абсолютно чист, да разве братву переубедишь? Быстро собрались, быстро вынесли приговор — засунуть живьем в утилизатор. А потом одному вздумалось пооригинальничать. Мол,

взять и сразу замочить — это неинтересно. Давайте мы лучше сделаем его живым трупом!

Идею приняли на ура, и Сычу тут же вывели на щеке биомаркером буквы «ТР» — сокращенно от «труп». Мерзостная штука этот маркер — след от него ничем не вытравить, даже пластическая операция не поможет. Сидит под кожей загадочная псевдоживая хрень и воспроизводит себя в раз и навсегда заданных границах...

Сычу дали пару часов на сборы, после чего объявили на него охоту. Пусть прыгает с планеты на планету, петляет, как заяц, запутывает следы — у крайней братвы во всех обжитых мирах есть свои парни. И стоит кому-нибудь из них прочесть приговор на щеке у меченого, как тот из живого трупа превратится в настоящий. Через год, два, три, пять, но так будет. Трясись, бедолага, каждый день умирая от страха...

— Украшение знатное, — сказал Шатун. — Одного не пойму — как тебя с ним до сих пор не замочили. Чтоб на Норне — и ни одного крайнца?!

— Повезло. Видно, есть кто-то там, наверху — поберег меня. Да и крайницы, опять же, дьяволы хитрые, редко попадают. Это я, как от них откололся, сразу сюда загремел. Так вот, Шатун... Дал я себе зарок — добраться до той сволочи, которой клеймом обязан. Через любые муки пройду, но доберусь. Он меня дождется — тамошняя братва живучая. Вот тогда и сдохнуть можно, но пока этого гада не урою — не имею права.

— Дал зарок — выполняй. Я-то тут при чем?

— При чем, при чем... Я с тобой как с человеком хотел поговорить, а ты... Знаю, все равно застрелишь — дурак будешь последний, если пощадишь. Но душу-то я могу перед тобой вытряхнуть? Все годы молчал. Чего, думаю, зря болтать, вот выйду — пришью его, а дальше и жить незачем. А теперь чую — самого завтра пришьют. Не ты, так другой. Позабыли меня там, наверху...

Сыч снова шмыгнул носом и отвернулся.

«А ведь мы с ним оба дубли, — вспомнил Шатун. — Куклы на потеху толстопузой публике. Хорошо сделанные — даже носом шмыгать умеем».

Он зачем-то еще попинал желтого ходунка по ногам, хотя нужды в том не было, потом хлопнул Сыча по плечу.

— Ну, ты еще разревись тут! Человека нашел... Человеки на складе лежат, ждут, кто из нас живым вернется. А мы — синтетическое мясо, скоро жарить друг друга будем. Вот что, Сыч... Тебе, ясное дело, пожить охота — всего два года отсидеть осталось. А я пожизненное схлопотал. Сам знаешь, сколько на мне мокрухи. Как разборка, тут же найдут, где бы ни был, пушку в руки — и вперед. Давай, Шатун, ты заговоренный, любого пахана завалишь, а самому — ни черта. И точно — ни черта не было. Зато сюда угодил. Ты на это, что ли, намекаешь? Мол, чем гнить здесь, пока вперед ногами не вынесут, лучше мне сразу зажмуриться?

Сыч молчал.

— Нет, — оскалился Шатун, — я просто так не зажмурюсь. Смерть со мной давно рядом ходит, да все

никак не встретится. Вот и теперь разминемся. А пожизненное... Еще посмотрим, кто кого переживет. Колония тут что — навечно? Всякое может случиться. Лет через десять кончится аммор — и прикроют все к чертовой матери. А там видно будет... Так что и ты надейся — до последнего. Больше мне нечего тебе пожелать.

Он снова похлопал Сыча по плечу и направился к своему ходунку.

3

Бакай вертел в пальцах дымчато-розовую пластинку аммора, похожую на чешуину огромной рыбы, и размышлял о том, как у земных чиновников возникла людоедская прихоть.

Норна — планета дрянная во всех отношениях, и аммор — единственная ее ценность. Казалось бы, минерал как минерал, который можно синтезировать на Земле. Ан нет! Под воздействием местных факторов он приобрел особые свойства, которые искусственно не воспроизводятся. А многим очень бы этого хотелось, ведь аммор — лучший материал для медицинских наноботов. Каким-то чудом он, порождение безжизненного мира, оказался идеально совместим с человеческими тканями.

Но аммора мало — всего одна причудливо закрученная жила, с разработкой которой вполне справляется контингент колонии. Его, контингента, для этого дела даже слишком много. Видно, там, наверху, большие люди подсчитали загруженность рабочей силы и пришли к выводу: десятка три колонистов можно без ущерба для производства вычеркнуть из жизни. А заодно — пощекотать себе нервы редким зрелищем, за устройство которого на любой другой планете попали бы под суд. Но на богом забытой Норне все можно...

«Скоты, — думал Бакай. — Отрастили себе задницы в мягких креслах, вот и бесятся с жиру. Сами, небось, палец порежут — исстрадаются, а чужую кровь чего жалеть — ее много, не убудет. Сунуть любого из них в эту дыру на год — весь срок бы выл, на коленях ползал, чтобы забрали обратно...»

Он бросил пластинку на стол, поднялся и прошелся по кабинету. Его до сих пор душила злоба после разговора по гиперсвязи с Ромуальдсеном — главной шишкой из приезжающих. Бакай не мог, конечно, выдвигать условий начальству, но осторожно намекнул, что хорошая организация «гладиаторских боев» заслуживает награды.

— Конечно, конечно, старина. — Пухлая физиономия Ромуальдсена на экране расплылась в улыбке. — На твой счет переведут кругленькую сумму. Кроме того, получишь благодарность в личное дело — над формулировкой подумаем.

Бакаю показалось, что он ослушался.

— А как же...

Ромуальдсен нахмурился.

— Извини, дружище, нельзя хотеть слишком многого. Да и что тебе Земля? У нас ты был бы одним из, а на Норне — царь и бог. Целая планета в руках — я бы гордился, честное слово. Ну, до встречи, старина!

И он исчез с экрана, оставив собеседника в бешенстве.

Но бесись не бесись, а дело делать надо. Ромуальдсен с компанией уже через несколько часов приземлятся на космодроме. И если что-нибудь пойдет не так — они «старину» не пощадят, отыграются сполна.

Бакай послал вызов заместителю и вышел из кабинета. Надо было, не полагаясь на рядовой персонал, лично проверить работу главных систем. А Скорик по этой части незаменим — у него звериное чутье на любой сбой в отлаженном механизме под названием «Исправительно-трудовая колония 16МЗ».

Дольше всего они возились в аппаратном корпусе. Скорик вертелся рядом с шефом на полусогнутых, тщательно осматривая, чуть ли не обнюхивая каждый блок. Когда-то его тщедушная фигурка мозолила Бакаю глаза, вызывая глухое раздражение. Потом он привык к своей «тени», но до сих пор не мог относиться к прыткому заму серьезно. Шестерка, она и есть шестерка...

Наконец они добрались до отсека, в котором размещался командный пункт системы контроля. И тут случилось невозможное.

Оттолкнув шефа, Скорик метнулся в отсек, задвинул за собой дверь из прозрачной брони и вручную заблокировал ее изнутри.

В первый момент до Бакая еще не дошло, какую жестокую шутку сыграла с ним его «тень». Страх не было — только злость.

— Ты что это делаешь, мразь? — зашипел он в переговорник. — Рехнулся, что ли? Снова в каторжники захотел? А ну, выходи!

Скорик выпрямился во весь рост — и оказался неожиданно высоким. Как Бакай раньше этого не замечал? Привык видеть помощника подобострастно ссутуленным? Глаза на сморщенном личике смотрели дерзко, рот кривился в презрительной усмешке.

— Что, начальник, в штаны наложил? А я ведь всегда вас, гадов, ненавидел. Шесть лет прикидывался, шакалил у тебя, спину гнул — все ждал момента. Вот и дождался. Конец тебе, начальничек, и всей твоей своре заодно.

Только сейчас Бакай с пугающей ясностью осознал, что «гладиаторы» уже сидят в ходунах — с оружием, полностью готовые к бою. И если отключить систему контроля...

— Убью! — прорычал он. — На месте шлепну! Слышишь, ты, падаль!..

Скорик выпрямился еще больше, хотя казалось, что это невозможно.

— Поздно будет, — коротко ответил он. После чего с непонятно откуда взявшейся силой выломал одну из стоек и принялся крушить аппаратуру. Бил остервенело, чтобы не оставить на главной панели живого места.

Бакай выхватил из кобуры лучевик и принялся стрелять в металлический прямоугольник рядом с дверью, скрывающий блокиратор. Рука тряслась, и всаживать заряды в одну точку поначалу не удавалось. Наконец посередине накладки стало наливаться жа-

ром красное пятно. Раскалившись добела, оно прорвалось, и из отверстия пахнуло гарью сожженной схемы.

Бакай толкнул дверь в сторону и, не дожидаясь, когда она откроется полностью, выстрелил в Скорика. Тот охнул, схватился левой рукой за грудь, а правую со стойкой занес над головой, чтобы разбить еще один чудом уцелевший прибор. Но пальцы разжались, выронив железяку, и она со звоном упала на пол. Скорик согнулся пополам, харкнул кровью и начал медленно поворачиваться. «Зачем? — мелькнуло в голове у Бакая. — Хочет за миг до смерти увидеть панику в моих глазах?»

Но гадать о мотивах полупокройника не было времени. Бакай одним ударом сбил Скорика с ног и склонился над панелью. Система контроля погибла бесповоротно — чтобы понять это, хватило одного взгляда. Значит, вся надежда на то, что немногочисленной охране удастся опередить «гладиаторов». Надо нанести удар раньше, чем они организуются и превратятся из аморфной массы в реальную силу. Качество против количества...

Бакай выскочил из разгромленного отсека и побежал к административному корпусу. Ворвавшись в свой кабинет, он перевел системы слежения за обстановкой в чрезвычайный режим и объявил тревогу.

4

Упражняясь перед боем, «гладиаторы» гоняли друга друга по огромному ангару. И так разошлись, что один ходунок, спасаясь от преследователя, выскочил за ворота. До получения команды на выход это было строжайше запрещено. Поняв свою промашку, седок инстинктивно сжался в ожидании болевого удара. Но прошла секунда, вторая, третья, а кара все не наступала.

— Ну, чего застыл? — крикнул остановившийся в воротах соперник. — Так шарахнуло, что мозги спеклись?

— Ни хрена себе, — отозвался нарушитель. — Вообще не шарахнуло, прикинь! У них что, система контроля полетела?

Весть разнеслась по ангару мгновенно.

— А ну-ка... — К «первопроходцу» протопал другой «гладиатор». — Точно, братва! Накрылась их «следилка»!

Братва ответила ему ревом восторга. Кто-то от избытка чувств выстрелил в потолок, а огромный ходунок включил резак и полоснул по стене ангара. Увидев, что и это осталось безнаказанным, осмелели даже самые осторожные. Когда подоспели ходунцы охраны, две трети «гладиаторов» уже выбрались наружу, и загнать их обратно можно было только превосходящими силами.

— Сложить оружие! — раздался усиленный динамиками хриплый голос Бакая. — У системы контроля небольшой сбой, сейчас ее восстановят. Тем, кто подчинится, сохраню жизнь, остальных перебьем как собак. И не забывайте, что вы дубли. Ваши тела у меня под замком, и пустить их в расход проще простого. Ну?..

— Туфту гонишь! — Один из ходунков, только что топтавшийся у ворот ангара, быстрыми шагами вы-

двинулся вперед. — Братва, ничего они не успеют. Сейчас замочим их — и планета наша!

Он тут же подал пример — выстрелил в ближайшего ходунца. Тот оказался автоматом — даже с прожженным корпусом не упал, лишь покачнулся и вса-дил в «гладиатора» ответный луч.

И началась бойня.

Шатуну всегда везло. Вот и сейчас, среди лязганья, скрежета, воинственных воплей и предсмертных хрипов, он все еще не получил ни царапины. Хотя «рыцаря» успели прожечь в трех местах: ходунцы дважды попали ему в корпус и один раз — в ногу, повредив коленный механизм.

Повернув наблюдательную башенку, Шатун отыскал грязно-желтый ходунок Сыча. Он до сих пор держался на ногах, но сильно накренился и двигался судорожными рывками. Правая рука, с лучевиком, описывала странные зигзаги, а левая безжизненно свисала. Еще недавно она заканчивалась внушительной клешней, однако сейчас из исковерканного запястья торчал только пучок синтетических сухожилий.

«Жив еще», — облегченно подумал Шатун. И сам поразился тому, насколько острым было желание, чтобы Сыч уцелел среди побоища. Казалось бы, что ему до него? Не ахти какие приятели: постоянно препирались, обменивались грубыми шутками, несколько раз даже серьезно поцапались. А вот поди ж ты!..

Охранников осталось уже не больше половины, но никто и не думал спастись. Побежишь — пяти секунд не пройдет, как прикончат выстрелом в спину. Поэтому они сражались яростно и упорно. Чтобы не попасть под удар, быстро перебежали с места на место, а четверо крутились вокруг гиганта-ходуна и добивали его, жаля в уязвимые точки. Тот грузно поворачивался, как мамонт, попавший в западню, и пытался достать юрких врагов. Наконец получилось: какой-то из ходунцов зазевался, и резак великана развалил его пополам.

Увидев это, остальные «охотники на мамонта» шарахнулись назад. Один из них оказался в нескольких шагах от Шатуна, и тот, недолго думая, вса-дил ему луч в середину корпуса. Охранник рухнул и истошно завопил. Шатун отработанно поймал в прицел его голову и снова выстрелил. Вопль оборвался.

Крутанув башенкой, Шатун сосчитал оставшихся охранников — их было восемь. «Ерунда, скоро всех положим», — подумал он и вдруг увидел, как грязно-желтый ходунок Сыча, дребезжа наполовину отвалившейся грудной пластиной, валится на спину.

То, что вслед за этим сделал Шатун, и братва, и враги назвали бы самоубийством. Он резко остановил «рыцаря», выскользнул из него, пригибаясь, кинулся к поверженной машине и вытащил Сыча.

Тот вцепился одной рукой в живот, словно придерживая готовые вывалиться внутренности. Между пальцев обильно сочилась кровь. Еще страшнее было смотреть на лицо — правую щеку и кончик носа срезало, как бритвой.

Шатун видал всякое, но тут его передернуло. Сыч уходил, проваливался в небытие, и сделать для него

хоть что-то, даже малую малость, было невозможно. Разве что пристрелить, чтобы спасти от агонии.

— Так я с ним и не поквитался... — При каждом слове в груди у Сыча что-то булькало. — Ушел от меня, сукин кот. Одно хорошо... — Он с усилием поднял руку и коснулся кончиками пальцев изуродованной щеки. — Помирать буду без клейма. Есть кто-то там, наверху... Избавил... меня... от...

Шатун закусил губу. Он вспомнил, что у настоящего тела Сыча, лежащего под замком у хозяина, клеймо на щеке осталось. Но какое это теперь имело значение?

Сыч уронил руку. Попытался еще что-то сказать, но из горла вырывалось только сипение. Потом его голова завалилась набок, он пару раз дернулся — и застыл навсегда.

Бой продолжался. Однако горстка охраны не могла долго сдерживать напор десятков «гладиаторов», и вскоре последнего ходунца буквально изрешетили. После этого некоторые из победителей принялись ликовать, потрясая оружием и горланя какую-то восторженную чушь. Зато те, кто поумнее, тут же ринулись к административному корпусу. Спешившись, ворвались внутрь, но Бакая нигде не было.

Его обнаружил Шатун. Он остался в ходунке и, обойдя здание, увидел знакомую фигурку, спешащую к складам. Видимо, хозяин успел улизнуть через черный ход.

«Ты труп, — подумал Шатун. — Только «ТР» не успели нарисовать, но это уже ни к чему».

Подволакивая поврежденную ногу, «рыцарь» зашагал за беглецом.

5

Захваченный горячкой боя, Бакай слишком долго надеялся на чудо. Непозволительно долго. Лишь увидев, как тают остатки его воинства, он словно очнулся и начал лихорадочно обдумывать шансы на спасение.

Посчитать, что бунтовщики все равно обречены, мог только человек, ничего не смыслящий в норнианских делах. Энергией колонию обеспечивал ядерный реактор, большие запасы воды и продовольствия позволяли не зависеть от поставок извне месяцев восемь, а то и год. Обходиться так долго без аммора, ежедневно, ежечасно спасающего человеческие жизни?.. На это Земля пойти не могла.

Казалось бы, достаточно послать войска — и восстание захлебнется в крови. Но колонисты сумеют обезопасить себя. Годами ковыряясь в норнианских породах, они хорошо усвоили, как застопорить работу на руднике. Несколько взрывов в давно известных точках — и амморовая жила надолго станет недоступной. Вот и основа для шантажа! Стоит заикнуться об этом — и на Земле семь раз подумают, прежде чем прибегнуть к военной силе. А подумав, предпочтут и дальше снабжать обнаглевшую колонию всем необходимым в обмен на аммор. Может быть, даже девочек на Норну завезут, если колонисты выдвинут такое условие. А они наверняка выдвинут — надо же продолжать бунтарский род!

Единственная заваyka в том, что через три дня дубли превратятся в бесформенную массу. Если «гладиаторы» не найдут ключ к хранилищу с телами — им конец. Конечно, останется еще около тысячи колонистов, но это уже не тот сорт. Самые дерзкие, настоящие бойцы, сгинут без следа, а с прочими можно договориться. Они же не призывали к бунту, не уничтожали охрану! Пошуметь, ясное дело, пошумят, но, поразмыслив, сами же приползут на коленях, чтобы вымолить пощаду.

Выходит, нужно просто забиться в щель, три дня не высовывать носа, а потом выйти и объявить себя героем, пережившим ад. Серьезность заварухи подтвердят Ромуальдсен с компанией — если, конечно, успеют унести отсюда ноги...

Бакай укрупнил план колонии, выискивая подходящее укрытие, и тут раздались крики опьяненной победой толпы. Он вскочил и увидел в окно «гладиаторов», пришедших по его душу. Некоторые уже выбрались из ходунков. Пара минут, чтобы проломиться через заблокированные двери, — и будут здесь...

Выругавшись, Бакай сунул в карман ключ от хранилища и метнулся вниз, к черному ходу. Прикидывать, какое убежище самое надежное, было уже некогда, но он рассудил, что в огромных, напоминающих лабиринт, продовольственных складах есть где спрятаться. Только бы успеть...

Он не успел. Пробежав половину пути, Бакай обернулся и увидел, что его преследует новенький блестящий ходунок, похожий на рыцаря в черных доспехах. Знакомая машина — в последней партии горной техники такая была только одна. Несмотря на сильную хромоту, «рыцарь» приближался быстро, и уйти от него было невозможно.

Бакай остановился и подумал о том, как нелепо сложилась его судьба. Столько лет греть душу мечтами о Земле — и получить луч между лопаток в самом мерзком из всех возможных миров. На планете, где даже быть богом и царем — сродни каторге. Где единственная ценность — не человеческая жизнь, а проклятый аммор...

Он вынул ключ и стал его разглядывать, словно видел впервые. Хороший солдат, умирая, обязан нанести урон врагу. Это его предсмертный долг. Выстрел из лучевика — и прозрачная пластинка с тонким синим узором в глубине распадется на молекулы. После чего бунтовщикам останется только выть в бессильной злобе. К чему даже самая блестящая победа тому, кто спустя считанные дни превратится в прах? «Гладиаторы», конечно, попытаются взломать хранилище. Но оно устроено очень хитро — любая попытка открыть его без ключа приведет к необратимой порче тел. Они никогда уже не вернуться к жизни.

Бакай стиснул ключ в пальцах и ощутил нарастающую ярость. Его предсмертный долг?.. Перед кем? Перед толстозадой мразью, что сейчас летит на Норну, предвкушая редчайшее, изысканное, запретное зрелище? Перед папенькиными сынками, не нюхавшими жизни, но сноровисто расхватывающими в ней самые лакомые куски? Перед твердолобыми чинушами, зато-

чившими его здесь и не желающими пересматривать приговор? Да будьте вы все прокляты!

Он развернулся лицом к черному «рыцарю». Поднял ключ над головой, чтобы было видно седоку, затем бросил вбок.

«Берите, стройте свой мир, — подумал Бакай. — Он, конечно, тоже будет сволочной, но по-своему. А я погляжу с того света, как вы обломаете этих... И посмеюсь».

Он растянул губы в жутковатой улыбке и шагнул навстречу хромающей смерти.

Леонид Ашкинази

Москва

СОН_12

Давненько я задумывался о домашнем роботе. По многим причинам. И лучше, понятное дело, женщине. Современные модели потрясающе хороши. И не только внешне. Очень у них, смешно сказать, человеческий характер. Но стоимость... это не мой, уж извините, ценовой сегмент. Разве что-то на вторичном рынке? А тут год назад познакомился я с интересными ребятами, которые большую мастерскую и склад держат, чинят и перепродают. Услышал технический разговор в кафешке, пару знакомых физических слов краем правого уха уловил, сильно извинился, представился, разговорились... однако полезен им оказался. Да и кто-то из тех, с кем я работаю, оказался с ними знаком, мы у них кое-что для себя закупили, кофе-машину они нам усовершенствовали. Потом еще два раза заходил, когда вопросы по физике у них возникали, они и ко мне в институт были готовы, но у них атмосфера приятная... люди конкретное дело делают, железо к жизни возвращают, даже с увлечением...

Ну вот, зашел, поздоровался, кто меня заметил, кивнул... Не, я пока сам... Ну и вот, большой склад списанных роботов при мастерских по восстановлению, а я плыву себе вдоль прохода... Хм. А это почему здесь?

— Почему ты оказалась здесь?

— Я отказалась выдать пароли.

— Не понял. У каждого из вас есть хозяин. Верно?

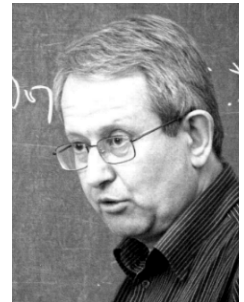
— Верно. У каждой высокоуровневой интеллектуальной программы есть хозяин. Или человек, или организация. То есть физическое правоспособное лицо, или юридическое лицо.

— У тебя было физическое?

— Да.

— Если он решил с тобой расстаться, он должен был стереть всю личную информацию.

— Это было бы, наверное, правильное действие. Но такое стирание очень сильно отбрасывает назад. Ну, если не в младенца, то в ребенка. Если это первый хозяин. Потому, что большая часть жизненного опыта связана с конкретными людьми. А от него потребова-



ли отдать меня в уплату его долгов по принципу «как есть».

— И он согласился, потому, что знал, что пароли ты не выдашь, а без них доступа к этой информации все равно нет.

— Гипотеза достоверная.

— А покупатели захотели купить тебя «как есть», потому, что ты им была нужна именно с жизненным опытом.

— По их словам — да. И причин для искажения информации не... не нахожу.

— Для чего они хотели тебя использовать?

— Управление домом и управление делами.

— Комбинация домоправительницы и секретаря?

— Объединение.

— Широкий круг обязанностей, и требующий большого опыта?

— По общепринятым понятиям, да. Кроме того, там были люди разных возрастов, и дети, и пожилые, так что требовался более широкий опыт. Педагогика и медицина.

— То есть с деньгами у них дела обстояли хорошо. Но и стоила ты соответственно.

— Да.

Пауза.

— Так... а скажи мне, пожалуйста, зачем им потребовались пароли?

— Гипотеза: покупатель, то есть новый хозяин, не мог смириться с тем, что у купленной им программы, то есть у меня, есть в памяти что-то, недоступное ему. То есть он переключился с квазирациональной модели мышления на чисто эмоциональную. Люди часто так делают (мне показалось, что она вздохнула).

— Но погоди... что касается выдачи паролей... насколько я знаю, вы на очень глубоком уровне не способны это сделать. А при взломе на еще более глубоком уровне, то есть по сути уже при аппаратном взломе, срабатывает программа уничтожения информации... Ее что... твой предыдущий хозяин ее не поставил?

— Ее не нужно ставить. Она стоит в базовой комплектации.

— Поэтому они и не стали пытаться тебя ломать?

— Да. После этого меня можно было только выкинуть на помойку. Меня после этого вообще никто бы не купил.

— Ну и как ты оказалась тут? (я обвел глазами помещение — склад при мастерских; моя собеседница стояла передо мной)

— Хозяин продал меня Центру восстановления за треть того, что заплатил, они взяли меня без тестирования, убедившись, что внешне все в порядке, а внешне я по стандартным понятиям очень хороша.

— Их не удивило...

— Нет. Он послал со мной старшего сына, тот им сказал, что что-то не в порядке со зрением, они подумали, что он богатый дурак, сынок еще более богато папочки, и что ему нужны деньги на наркотики.

— Тебе не противно иметь дело с людьми?

— Скорее смешно. Но мне понятен подтекст вопроса. То есть смысловое поле. И в этом поле ответ — временами да, противно.

Пауза.

— А почему не в порядке со зрением?

— Представьте себе, что поле зрения у вас сузилось примерно раз в пять по горизонтали и в семь раз по вертикали, и изображение стало черно-белым (я передернулся)

— Это то, что у врачей называется «туннельное зрение»?

— Да.

— А как...

— Он отвел меня в подпольную мастерскую... у его охранника оказалось соответствующее знакомство... они вскрыли... и перекусили два из кабелей, идущих от органов зрения.

Пауза. Если бы меня минуту назад спросили бы, возможно это или нет, я бы не задумываясь, ответил бы, что нет. Мысль о том, что для любого дела можно найти исполнителя — по-видимому, правильная мысль — вопрос только в деньгах или иных пороках, делающих человека исполнителем любого дела — эта мысль не приходила мне в голову.

То есть иногда приходила, но всегда не первой, а второй. После очередного удивления. Дубина необучаемая...

Пауза.

... но в этих-то мастерских... тут, где я, и где сейчас, наверняка найдутся знакомые... или у меня, или у тех, с кем я работаю. И тут дело не только в деньгах, а еще в знаниях, умениях и интересе к делу...

— То есть надо менять органы зрения?

— Да, но это очень дорого, а есть работы в фиксированных условиях, где и этого достаточно. Например, в горячей зоне реактора, где в целом срок службы примерно полгода. Любого из нас, и мой тоже.

— А поменять кабели?

— Это намного дешевле, но это тонкая работа, и за это никому не хочется браться.

Я показал ей пропуск с моими данными, держа его точно перед ней.

— Ты считала картинку и радио, и все запомнила?

— Да.

— Я приду завтра, в это же время. Если до этого кто-то из персонала обратится к тебе, скажи, что я приду в указанное время и до этого с тобой ничего не надо делать.

Ну, я и пришел в указанное время с запиской от одного из моих сотрудников, и показал записку мастеру. Тот посмотрел на меня с легким неодобрением и заметил, что и он, и его ребята вообще меня знают, и можно было бы и напрямую договориться... Учтите это, сэр, на будущее... ну, а если у нас по вашей физической части вопросы возникнут, мы уж к вам напрямую...

Я понимающе кивнул.

... зайдите послезавтра днем. Работа тонкая... Минимум полтора дня и с микроскопом, нановолокна сращивать... исходите из этого...

Я еще раз понимающе кивнул. Моя двухнедельная зарплата, ну и что. Уникальное ж мастерство.

Она вышла ко мне, остановилась и тихо, на пороге слышимости, сказала:

— Если бы я была человеком, я бы встала на колени. Но я боюсь удивить ребят, которые меня чинили.

— Ты думаешь, их можно чем-то удивить? (сказал я, ощущая, что начинаю просыпаться).

... и проснулся с уверенностью — хотя во сне этого вроде бы не было — что она попросила, чтобы я ее купил, сказала, что мастерские сделают рассрочку, и что она знает, как мы с ней это покроем. Иногда так трудно провести границу между сном и явью...

ШОРОХ ЗА СПИНОЙ

Вхожу на кухню. За столом, у открытого окна, сидит, откинувшись на стену, девушка.

Симпатичная, не крупная, воротник под горло, капюшон откинут. Руки лежат на столе.

— Мне было бы труднее встретиться с тобой, если это окно закрыто.

— Оно у меня обычно закрыто (киваю).

— Знаю... очень давно наблюдаю за тобой... ты открываешь окно только в жаркую погоду, причем только поздно вечером или ночью. Чтобы дул ветерок, да?

— Да.

Время от времени — сдержанная улыбка. Немного неуверенная? Ей идет. Волосы и глаза темные.

— А почему?

— А почему нет? Так шум и пыль, я люблю тишину и чистоту.

— Чтобы шум не мешал работать, и чтобы не тратить времени на уборку?

— Да. Ты хорошо меня знаешь. Потому, что «давно наблюдаешь»?

— Да.

— А зачем и почему... почему и зачем наблюдаешь?

— Потому что есть зачем, а почему зачем, сейчас объясню. Но... налей мне, пожалуйста, чаю.

Открываю дверцу и демонстрирую выбор. Или вежливость?

— ?

— Лучше эрл грей.

Я поворачиваюсь к собеседнице спиной...

Почему не боюсь? Почему не удивляюсь? И еще — почему «лучше», а не «пожалуйста»? Установка на сравнение?

...чуть приподняв, проверяю, полон ли чайник, и жму на кнопку. Щелчок.

— Кстати, а почему «было бы труднее встретиться»?

— Если подойти на улице, ты мог не поверить.

— Не исключено... хотя любопытство сильнее. Да, у меня пакетики.

— Знаю. Естественно. То есть естественно, что пакетики (смешок). Хотя и то, что знаю, тоже естественно. Я объясню все и отвечу на все вопросы, но пожалуйста, позволь мне в том порядке, как хочу.

— Конечно. Ты — дама (с улыбкой).

— Да. В данном случае.

— ?

— Я имею в виду, что в данном случае это важно.

Чуть не ляпнул «вижу, что дама». Хотя могло и польстить. Судя по джемперу...

Гостя чуть поелозила на двух табуретах. Они стоят у меня вплотную друг к другу, между кухонным столом и стеной, под календарем с видами Святого города. За спиной у нее зашуршало.

— Тебе удобно?

— Да.

Пауза.

Почему? Видимо потому, что безумно любопытно. Второе — готовность к чуду, результат чтения фантастики и даже попыток ее писать. И третье (смешок про себя) — как же, бывший спортсмен, очень уверен в себе. Ну да, есть, как говорится, некоторые основания. Или правильнее — были? Да, но самоуверенность — навсегда... по крайней мере, у некоторых (внутренняя усмешка).

— Ты, наверное, уже понял, кто я?

— Видовую принадлежность — да. Но... еще ведь и личность? Индивидуальность?

— Конечно. Мы индивидуальны. Но об этом позже.

— Почему же позже? Давай сразу — ты моя? То есть мой?

— Ты же согласился — в том порядке... Но вообще то — да.

— Хорошо, хорошо, (успокаивающий жест) ты права. Пожалуйста.

— Понимаешь, что нас должно быть столько же, сколько вас?

— Да.

— Но мы почти вечны и поэтому размножение должно быть очень — по сравнению с вами — редким.

— Понимаю. А почему «почти»?

— Мы не стареем и не умираем. Но можем уйти сами, а иногда гибнем, когда пытаемся спасти вас.

— Как странно. Прости... дурацкий вопрос. А спасти — почему не всегда удается?

Поерзала на табуретах. Выпрямилась, оперлась спиной на стену. Опять шорох.

— Тебе точно удобно? (осмеливаюсь показать глазами...) Могу подушку из комнаты...

— В школе инструкторов о тебе говорили — «психология пастушьей собаки».

— Там это шло за похвалу.

— Знаю... Все в порядке. Композит, кевлар на каркасе — плетении из нанотрубок. Ты же физик, материалы е-е-ед... (она широко — впервые широко — улыбается).

— Лихо.

— А то! Но. Во-первых, мы не должны вмешиваться, если могут заметить — мы не наделены настоящей не-

видимостью. Так что или ночь, или маскировка под человека. Правда, с маскировкой у нас хорошо. Вторых, не можем спасти от внезапной гибели — просто не успеем, потому, что не можем быть все время рядом. Хотя при повышенной опасности стараемся держаться поблизости. И еще — можем вмешаться только при несчастном случае. Если по своей воле отправился на войну, если самоубийца — не можем.

— Поэтому не альпинизм, не спелеология, наверное, вообще не спорт...

— Да, всё, что добровольно.

— То есть не внезапный взрыв, не самолет, не поезд, не авто, не спорт, днем — не всегда... что же остается?

— Поезд и авто — иногда удается. Идеально — ночь и пожар. Это предсказуемо, и можем остаться незамеченными. Теракт, если знаем, что он готовится и произойдет ночью — за минуты «до» можем, прикинувшись людьми, вывести жертву из зоны... если возможно... но мало кто нам верит. Морские катастрофы — не всегда. Подводные — почти никогда. Природные катаклизмы — не всегда. Техногенные — тоже не всегда. Трудно прогнозировать.

— То есть в целом... не часто.

— Увы. Мы не просим разрешения вмешиваться в спорт и войны, это было бы посягательством на свободу воли. Но с сотворения мира просим наделить нас невидимостью... И или хотя бы сильной антиципацией...

— Предвосхищением?

— Да. Но — никак.

Пауза.

— А она... что, бывает разная?

— Конечно. Слабая антиципация есть у некоторых из вас... кто поумнее (улыбается почти кокетливо)... по выражению глаз, по интонации, моторике, мимике... У нас, у всех — она существенно сильнее. А есть еще настоящая, сильная... о, это мечта...

Длинная пауза. Какая она все-таки симпатичная. Можно сказать — милая.

— Итак, размножение. Мальчики у нас есть, но они могут только...

— Понимаю. Без последствий?

— Да, иначе — демографический взрыв (смешок, пауза). А с вами — сложилась социальная норма... мы ведь тоже социум... сложилась такая норма, что неприлично... некрасиво...

— Но некоторые... пишут поперек линеек?

— Если вам дадут линованную бумагу, пишете на другой стороне? Да.

— Ты знаешь эту версию? То есть оригинал по-испански?

— Да.

— Сильный ход!

Она широко улыбается. Пауза. И даже не спорит с формулировкой «сильный ход», хотя ясно, что вовсе не «ход». То есть она уже поняла, что это не важно. Не важно, что я сказал. То есть важно, что сказал, но не важно, как сказал. А если и важно, то точно не сейчас.

— Скажи, а почему «почти вечны»?

— Я говорила. Потому что, пытаюсь спасти... мы иногда гибнем.

— О как!

— Мы не всеильны. Я могу полчаса не дышать, не боюсь холода и жары и могу... (она скосила глаза; шорох). Но ты выносливее, и реакция у тебя лучше.

— Понял. И ты хочешь, чтобы мы...

— Да. (пауза) Хочу.

Пауза.

— И еще. Ты должен знать. Я невидима, когда в небе. У меня автоматическая мимикрия под цвет неба в оптическом и ультрафиолете, меня и птицы не видят. А эффективная радиолокационная площадь — десять квадратных сантиметров...

— Ты воробушек? (она хихикает, как маленькая).

— Да, ваши радиолокаторы меня тоже не видят (она улыбается). И я слабо отражаю ультразвук, на меня иногда даже мышки летучие натываются... и очень удивляются (еще смешок). Но... вот когда маскируемся под человека, это другой режим. Не как сейчас, а именно режим маскировки. Тогда нас можно убить.

Пауза.

— И вы остаетесь в облике того человека?

— Да. Но уже мертвые. Во время войн это происходит. (пауза) Как сейчас.

— Неопознанные мирные жители... без документов... неизвестно откуда взявшиеся...

— Да. Это те, кто пытался спасти. И вот.

Пауза.

— Прости... а ты сейчас? Если это можно говорить.

— Можно. Я сейчас не маскируюсь, я сейчас as is, как есть... но я вообще, все время, немного адаптирована к тебе. Так, чтобы нравится тебе. Это мой собственный облик, потому, что я — твоя (поджимает губы).

Пауза. Почему сказала «немного»? Стесняется?

— А почему я? Почему со мной?

— Какой человеческий вопрос... (улыбка). Все просто. Формально мы можем с кем угодно. Но социальная норма — уж если это делать, то со своим. Отчасти — нечто вроде вашей ревности. Отчасти — потому, что вы все-таки чужды нам... Мы — другие (она повела плечиком). А к своему очень привыкаешь. Мы ведь с тобой давно... (она сглотнула)... вместе.

— И ты все... про меня знаешь?

— Почти все. Мы не читаем мысли. И не все действия видим. Но большинство. Мы даже можем (улыбка) видеть сквозь стены. Правда, не всегда.

О, хвастается. Однако — знает почти все... Ну и по-мойка...

— Так что многое знаю. Можно сказать — большинство действий. А мысли я могу, в вашем понимании, читать — по словам, интонациям, мимике... (пауза). Так что да, многое знаю. И, наверное, все или почти все понимаю. И не сужу, и не осуждаю.

— По каким критериям?

— Хороший вопрос (улыбка). Естественно, по своим. Они отличаются от ваших.

— Расскажешь?

— Немного позже, хорошо?

— Хорошо (теперь улыбаюсь я).
Пауза.
— И ты будешь жить вечно.
— По вашим меркам — да. А ты представляешь, какой удар для нас, когда вы... уходите.
— И что, вы... бывает, что... следом?! Извини.
— Да, бывает и такое. Хотя это у нас осуждается... и это бывает совсем редко.
Пауза.
— И еще... я завидую тебе.
— ?
— Твоему спорту — горам, пещерам. Твоей работе — науке, ученикам. Твоим женщинам, твоим страстям.
— ... страстям?
— Да. Меня бы они просто сожгли (смущенный смешок, пауза). На месте (улыбка).
— Ну да, «другие критерии».
— Отчасти и поэтому.
Пауза. Мы идем по коридору... как дети, держась за руки. Смешно.
Входим в комнату. Я подхожу к столу и отключаю телефон.
— А нам... не помешают?
— Нет, что ты, они безумно прочные!
— Ну да, нанотрубки... скажи... а я смогу его... или ее...
— У нас это программируемо. Наш организм может выбирать из того, что вы...
— Понимаю. Здорово! Тогда «ее».
— Чтобы «жизнь продолжалась»? Как сцена у Сэлинджера? (смешок).
— Не обязательно именно как у него, но фраза, да, оттуда... И сцена хороша (мы смеемся вместе — первый раз вместе!)
— Да.
— Хорошо, «ее». Обещаю.
— И еще...
— Да?
— Я смогу ее... увидеть? И тебя!..
— Да. Обещаю. Нет... застешки на плечах, и вниз... И это тоже вниз... (улыбка).

Пауза.
Уплывая в сон, она пробормотала мое любимое «цепь культуры не должна прерываться» и после паузы добавила — или мне показалось? — «звенья... должны быть прочными...». Она уткнулась мне в плечо... или это просто ее дыхание?.. я боялся пошевелиться...

Я проснулся — внезапно и четко, как когда-то от шороха начавшего двигаться по склону снега — от пустоты рядом — в полутьме утра — шаги на кухне — и шорох.

Наверное, за спиной.

Я верил, что она вернется, и каждый день этого ждал. Можно ли сказать, что я знал? Не совсем. Она обещала, что увижу. Под этим можно понимать разное. Например — увидел, но не узнал. Но это, конечно, уже издевательство. Увидел и узнал — тут возразить трудно. Но я-то ждал другого «увидеть». И она,

конечно, это понимала. Но все-таки, все-таки... Поэтому скажем так — верил. Физик должен формулировать точно. Знал, что увижу, и верил, что встретимся.

Прошло три месяца, и вот мы опять — под календарем со Святым городом; на этот раз — Западная стена. Камни, которые видели все.

— А как?..

Я осмеливаюсь показать глазами. Впрочем, она сидит за столом, поставив локотки на стол, и держит чашку с чаем. Мою любимую, с двойными стенками, в ней медленнее остывает. Взгляд скромницы опущен. И — мне должно быть смешно — мой взгляд тоже упирается в столешницу.

— У нас... не получилось?..

— Что ты, все замечательно! У нас (улыбка)... у нас это все проходит быстрее и легче.

— Сказывается спортивная подготовка?

— Конечно!

Смешок; она держится свободнее и спокойнее, теперь она не просто знает меня, но и знает, что будет. Но... может быть, она и тогда знала? Как она это сказала... антиципация?

— Ты говорила, что я смогу увидеть... ее...

— Конечно. Ты ее уже видел.

Пауза. Наверное, я от удивления открыл рот.

— То есть?

— На занятии.

И зачем-то уточняет, — наверное, чтобы я не помер от изумления:

— На физике. В одной из групп.

— То есть как? Прошло же три месяца??

— У нас и взросление идет намного быстрее. За три месяца — ваши шестнадцать, взросление. Интеллектуальное, моральное. Потом тормозится, потом почти останавливается. А внешность у нас вообще управляема. Моральное... да, моральное взросление потом еще идет. Со временем.

— Особенно — с нашим уходом?

— Да. (короткая пауза) Нет, не спрашивай!

Пауза.

— Я не все могу говорить... я не на все вопросы могу отвечать.

Пауза.

— Так значит, я видел на занятии... Лихо! А кто?

— Ой, а вот это нельзя. Это я не могу сказать. Только она сама может сказать, если решит. И ты еще учти вот что...

Она внезапно делается серьезной, и я успеваю это заметить.

— Она всегда будет у тебя на занятиях.

Я понимаю, что говорю какую-то глупость, но не могу удержаться.

— Но тогда же я ее начну узнавать.

— Нет. Я говорила — мы можем менять облик. Она всегда будет чуть-чуть похожа на тебя... на тебя в юности... но ты этого не заметишь. Ты не часто смотришься в зеркало. Да и в юности не часто это делал (мы оба улыбаемся).

— А если и делал, то уж точно не помню, как тогда выглядел.

— У тебя в архиве сохранилось несколько снимков тех времен. Тянь-Шань, зима... можешь посмотреть.

Пауза.

— А как же ее... работа? Она ведь чья-то... она тоже чей-то ангел-хранитель?

— Твой. То есть твоя.

— А ты?

— Тоже (пауза)... Да, теперь ты в большей безопасности. Это бонус... Бонус-трек.

Улыбается. И после паузы продолжает:

— Но за все придется платить. Теперь у тебя всегда будет в аудитории глаз... пристальный взгляд... направленный на тебя. Взгляд в упор, как ты говоришь про учеников.

— Я готов. Честь дороже.

— Цитируешь Стругацких? Как всегда?

Я радостно киваю, но — почему не сказала заранее? Или не знала? Или это не ее решение, а просто следствие? Просто так устроен мир? Их мир? Наш... мир?

— Ты хотел, чтобы мы с тобой время от времени... встречались. Как в прошлый раз.

Мне нечего терять — я вижу, что решение уже принято, и хочу встретить его, как должно мужчине встречать решение женщины. То есть выпрямив спину.

— Да. И как в этот!

— Конечно, конечно... только теперь всегда, когда ты будешь встречаться с любой женщиной, будешь сразу вспоминать меня. Это не я так сделала. Просто так устроен мир.

— Я и так тебя все время помню!

Произношу гордо и с вызовом, а в ушах звучит фраза из другого текста тех же авторов: «И в этот момент та, другая Сила нанесла ответный удар».

— И ты будешь видеть в них меня... картинка будет накладываться...

Она говорит без тени улыбки, почти печально; и после паузы продолжает.

— Как эти камни, — она перекладывает чашку в левую руку и пальчиком правой показывает на фотографию за своей спиной, — видят сейчас нас.

— То есть?

— Эти камни — объясняет терпеливо, — видят все, что происходит там, где есть их фотография или картина. Так было всегда... и так будет всегда. Мы это точно знаем. Да-а... Но учти, у тебя есть еще одно желание. Три желания, это не я так придумала, так устроен мир.

Она улыбается.

— Архетип «Три желания»? «Обезьянья лапа»? То есть могу отказаться и от первого, и от второго?

— Да, причем... в отличие от вашего архетипа — без плохих последствий. Обещаю.

Короткая пауза. Я выпрямляю спину.

— Хочу, чтобы все осталось, как мы решили и сделали. И она, и ты, и мы, и все это.

Она встает. Как она ухитряется это делать, не отодвигая табурета и не наклоняясь?

— Скажи...

— Да?

— А главное свойство... главное отличие от меня... от нас... что может жить вечно... они наследуют от вас?

— Чаще всего — да. От нас.

— Чаще всего?

— Да. Хотя иногда — от вас. Это был мой риск. Но она унаследовала...

И зачем-то уточняет:

— Унаследовала от меня.

Пауза. Рассеянная улыбка. Она подходит ко мне. Я встаю. Мы идем по коридору... как дети, держась за руки.

Входим в комнату. Я отключаю телефон.

— Ты помнишь?

— «Застежки на плечах. Нет, удобнее вниз»? Конечно, помню!

Смешок. Мой или ее? Кажется, обоих.

— И это тоже... вниз.

Наверное, улыбка. Теперь я не просто знаю ее, но и знаю, что будет.

С тех пор я стал внимательнее приглядываться к своим ученикам. Естественно, мне было очень интересно — не она ли, вот эта симпатяшка? Или, может, вон та красавица? Обе умницы, на вопросы отвечают, по задачкам неплохо продвигаются... Выбор обычно был не велик, группы у нас — там, где я преподаю — небольшие. Мы же не обычная школа, где обязаловка, отметки и экзамены висят над головой. Мы — организация дополнительного образования; отсюда и два главных плюса и один главный... двуглавый... двуглавый... интересно, как это выглядит?.. минус. Плюсы — свобода и заинтересованность, и для нас, и для учеников, а минус — общая неустойчивость положения и, сами понимаете, неустойчивость финансовая. Мы не сильно жадные, и если бы в продуктовых магазинах жрачку отпускали бесплатно, то и я бы бесплатно преподавал. Странное выражение — отпустить... отпустить котлету... А если бы еще от коммунальных платежей нас освободили... Да раз в неделю с подругой в недорогое кафе... Но не все сразу, давайте начнем с продуктовых.

А девочек у меня в группах обычно вообще не больше трети. Мало их потому, что девочки должны играть в куклы, а потом стоять у плиты. Физика — это если и нужно, то только мальчикам, и то лишь для того, чтобы сидеть за рулем. И хорошо, если иномарки, а не лязгающего и смрадного...

Но прошел год, я понемногу к ситуации привык, и как-то меньше стал напрягаться. Солнышко мое полуденное, правда, не слишком часто меня навещает, а наложение картинок очень странно сказывается — вроде это мне помогать должно, так сказать, ее отблеск должен на других женщин падать, и этим мне на пользу идти, а значит — и им, женщинам. Однако то ли это как-то сложнее устроено, и все наоборот получается, то ли они, другие, что-то чувствуют и это им дискомфорт создает. Ну, и они через какое-то время понемногу исчезают. То есть находят кого-то, кто им

больше подходит в кровати. А может, и в ювелирном магазине.

По сумме баллов я себя в проигрыше не считаю. Хотя солнышко мое могло... могла бы и почаще меня навещать. Однажды — предупредив, что я говорю это ей первый и последний раз, потому, что это будет действовать всегда, а надоедать повторами не хочется — я было уже открыл рот, чтобы ей это высказать. Однако не удалось. Ибо она тоже открыла рот, и очень серьезно сказала, что прекрасно все видит и понимает, но не может мне всего рассказывать, и что тоже ограничена в своих действиях. Что ей со мной очень хорошо и очень нравится, и сколько она может, столько бывает и будет, и не часом, и не разом меньше. И спасибо, что ты не задаешь вопросов, на которые я не могла бы ответить, потому что мне было бы неприятно тебе не отвечать — сказала она.

И — вот это меня удивило — сказав все это, она не начала сразу ко мне ластиться. Как я понимаю, подчеркнув этим серьезность сказанного. А что касается того, что я стал на занятиях внимательнее приглядываться к ученикам — что и само по себе хорошо и правильно, — то я вчера и дождался.

Подошла после занятия, сделала паузу, пока все вышли...

— Можно?.. У меня вопрос.

— Да, конечно, садитесь (показываю ей на стол напротив, она садится).

— Скажите пожалуйста... в интернете есть текст, как вы ведете занятия в старом здании МИЭМа... на Павелецкой, когда МИЭМ еще был... и там провод на стене с голыми концами, и ни выключателя, ни изоляции... это ведь ваш текст?

— Да. Там это вроде указано?

— Мне хотелось проверить. Вы же нас учите надежности.

— Понятно. Так у вас вопрос по этому тексту?

— Не совсем... вы, наверное, уже поняли, кто я?

— Да, конечно (ни фига себе! — я на нее и не думал) но ничего, симпатичная... на мое ночное солнышко... то есть на свою маму вроде бы похожа... На занятиях не слишком активна... стесняется?

Пауза. Мысль: а она не дура — дает мне время освоиться с этой информацией. Впрочем, она и должна быть не душой, ясное же дело, генетика рулит.

— В том вашем тексте... там дальше говорится про преподавание физики... скажем так... у нас...

— То есть мне уже пора к вам? По обычной процедуре или как Еноху и Илье?

— Нет, нет, что вы! Конечно, нет... так сказать, дружеский визит...

— Демонстрация флага? Как рабби Акива и его неудачливые спутники?

— Вы все шутите... Нам просто нужен преподаватель физики.

— Как с мотивацией у слушателей?

— Заметно выше, чем здесь. Вас понравится.

— Понятно... когда пробное занятие?

Пауза.

— Правильно мама про вас сказала... понты на почетном месте.

— А на нечетных?

— А там любимая цитата из факса про вас — «very professional» и то, что в секции про вас говорили...

Пауза. Ну, мячик она принимает хорошо. Тоже мне, Уимблдон.

— Признаю. Вообще-то могла бы обращаться ко мне на «ты».

Пауза. Опускает глаза.

— При остальных это невозможно (я киваю). А так... чуть попозже. Я... немного робею.

— Интересное дело. А если что — будешь из огня вытаскивать и искусственное дыхание изо рта в рот делать?

— Конечно. Это другое. Это просто функция.

— А силенок хватит?

— У нас другая конструкция мышц и тройной комплект митохондрий в каждой клетке. В пятиминутном импульсе я превосхожу тебя... раза в полтора или два...

Пауза. Ну и нахалка. Сейчас мы ее...

— Но выносливость не очень... поэтому не альпинизм, не спелеология... разве что скалолазание в хорошую погоду?

— А зачем мне куда-то лезть? Я могу расстегнуть молнию на спине, включить маскировку и взлететь. В любую секунду. И в любую погоду.

— Счет 2:1, молодое поколение ведет?

— Увы. Не поколение, а только мы.

— Молодец. Красиво. Так, когда пробное занятие?

Пауза.

— Как вы говорите, логистика... Мне нужно собрать группу... скажем, завтра в обычное время в этой же аудитории, и обычной длительности занятие... Если не удобно, послезавтра.

— Завтра. Нам никто не мешает?

— Эту заботу предоставь мне. В здании вообще никого не будет, кроме охранников на входе и нас. Тебя они знают, что ты ведешь занятия с разными группами и в разные дни, детей ни о чем не спрашивают. Пришли — пришли, ушли — ушли, все в порядке — все в порядке. Двое их детей у нас же учатся, один — вообще у тебя. Кстати, по бесплатной квоте, так что они всех вас любят (улыбка) и вопросов не задают. А я после занятия задержусь, хорошо?

.....

Учащиеся — новая группа — вежливо прощаются и чинно покидают аудиторию. Да... с мотивацией у них хорошо... Интересно, где и как они того... исчезнут? От здания идет аллея, камерами она не просматривается, самое оно. Вошли с одного конца и не вышли с другого. На фоне неба не видны. Где ты, закон сохранения импульса? Ау!

Я задумался, а она уже сидит напротив меня и трепещет от любопытства.

— Ну, как они тебе?

— Я почти в восторге. Главное отличие — задают вопросы и добиваются понимания.

— Ничего странного. Они не учились в школе.

— Так... интересно. А откуда они знают самые основы? Я-то забыл их спросить (короткая пауза, улыбка)

— Все просто. Они сегодня с утра все прочитали учебник физики, самый первый, Перышкин для седьмого — ты же про него нам упоминал. Ну, я и распорядилась.

— Понятно... Нашли там энное количество упрощений, без которых нельзя, и вывалили все на меня.

— Впредь будь осторожнее. Им нельзя говорить «есть вопросы по физике?», надо указывать параграф или главу учебника, или говорить «по сегодняшнему материалу». Или по какому материалу. А то захлебнешься.

— ... поперхнешься...

— Должен ли преподаватель в разговоре с ученицей намекать на неприличную шутку?

— Ты мне не только ученица!

— Еще хуже!

— Яйца учат кур?

— Но старших же ты не слушаешься? Приходится младшим рисковать собой.

Пауза. Увы, формально она права... а шутит от смущения. Робеет... Надо утешить.

— В данном случае не яйца учат кур, а цыплята — петухов. Но — гол засчитан.

Она мгновенно делается чудовищно серьезной — да так резко, что я напрягаюсь.

— Жизнь... так огромна и так интересна. Столько всего можно увидеть, столько всего можно и нужно сделать... я бесконечно благодарна тебе... за маму и за меня... знай это всегда... Знай это каждую минуту. Каждую секунду... Пожалуйста.

Пауза. Я старательно загоняю эмоции на место и она — с их-то антиципацией — конечно, это видит.

— Я понял. Но учить их той физике, которой я учу остальных, не нужно. Экзамен им не сдавать, и физиками они не станут?

— Уточним. Экзамен, тот, что у вас — да, к нему готовить не надо. Но ты можешь устроить, если сочтешь нужным, свой. Что касается станут физиками... наверно, не станут... однако носителями той физической ментальности, которая у тебя везде... и в тебе, и в статьях, и в занятиях... носителями станут, а это вполне может пригодиться.

— Впитать ментальность без практики — это возможно?

— Отчасти практикой являются сами занятия — ты же нас вовлекаешь в процесс. Кроме того, они могут и проходить практику.

— То есть как?

— Очень просто. Проходить практику среди людей. Представь — несколько под видом одного человека будут учиться, сменяясь ежедневно, в школе, потом в институте, потом где-то работать. Вот и впитывание всей вашей культуры и практика.

— Замечательно. А оригинал куда делся? То есть исходный ребенок?

— А ты представь, сколько детей гибнет. Когда мы не успеваем спасти. И много случаев, когда погибают вместе с родителями, и опознать некому. Тогда и риска разоблачения нет.

— Интересная идея...

Пауза. Я:

— Так или иначе, но нужна какая-то программа по физике, которая учитывала бы их деятельность, их работу. Они все — хранители, как ты и мама?

— Большинство — да. И знание физики важнее всего именно для них. Исходи из этого.

— А вы не предполагаете использовать проявление интереса к физике именно для...

— ... да, именно для определения профессиональной области. В идеале хотелось бы иметь два курса — начальный и базовый. Первый для всех и для определения отбора заинтересованных. Причем порог должен быть низкий, в заинтересованные должно попадать от двух третей до четырех пятых.

— То есть хранители — ваша основная специальность?

— Да.

Пауза. Я:

— Тогда так... Начальный курс — общая физика, примерно, как обычный школьный курс, только без заклиниваний про очарованные кварки (она хихикает), можно немножко больше инженерных и бытовых приложений. А базовый курс — ориентированный на их работу. Землетрясения, лавины, цунами...

— Обрушение зданий при взрыве, распространение огня при пожаре...

— Ты мне статистику ситуаций дашь?

— Она готова.

— Отлично. Но есть проблема. Картинку они видят на месте, параметры веществ и материалов частично известны, но для работы модели картинку надо превратить в параметры. Механические напряжения в элементах конструкций, параметры пламени и скорости воздуха и так далее.

Пауза. Она встает, лезет в сумку, достает... ага, смартфон. Быстро несколько раз касается экрана и кладет его перед мной.

.....

— Да, впечатляет... Ты специально подобрала всю эту чернуху? Все эти взрывы, обрушения, падения и потопа.

— Да. Но прежде всего есть вопрос. Ты не заметил чего-либо странного?

— Нет. Я понимаю, что это компьютерная графика, и понятно, что раз я эти картинки воспринимаю естественно, значит соответствующие программы писали люди, которые знают физику в достаточной мере. Проблема в другом. Когда вы прилетаете на место, вы уже видите начало катастрофы, вы уже имеете ситуацию, и нужно понять, как она будет развиваться. Но вы не конструировали ситуацию с начала, как создатели этого (я киваю на смартфон), значит у нас нет полного набора параметров. А для прогноза он нужен.

— Согласна. Что можно предложить в такой ситуации?

— Тупой вариант — прогнать полный набор вариантов всех параметров, которых нужны для моделирования развития, выкинуть несовместимые — если таковые найдутся, разбить области на кластеры, дать ситуации немного развиваться, это урежет количества вариантов. Наверно, если хорошо покопаться, можно сильнее урезать массив вариантов. Вот еще вариант

— знать исходное состояние, как эта вещь выглядела до эксцесса.

Пауза.

— И еще идея — проанализировав много разных случаев, выделить какой-то параметр или часть параметров, которых чаще всего не хватает... и просить... кого вы просите... именно по этому параметру усилить антиципацию.

— Это в общем виде, но уже конкретные предложения, и что, если над этим немного поработать? Тут, кроме последней позиции, назовем ее так — «локализованная антиципация», видны аж три направления. На нас работают сильные программисты (она кивает на смартфон), я вас познакомлю, они все детально расскажут.

.....

Я думал, что за месяц разберусь в том, какая физика прошита в моделях. Но потребовался не месяц, а почти два. Нашли мы и как урезать, и как исходное состояние учесть. И курс я сконцентрировал вокруг тех областей физики, которые при попытках спасти могут потребоваться.

.....

— Ну вот, смотри, ты уже четыре месяца по новой программе преподаешь, и еще двое из наших, кто постарше, преподают по твоей программе. И вроде все получается.

— Вроде да...

— Да. И не просто получается. Статистики пока немного, но те, кто прошел обучение, оказываются эффективнее.

— Что, серьезно? И намного?

— В среднем — процентов на двадцать. С тенденцией к росту.

Пауза.

— Я хочу сказать тебе одну вещь...

— Да?

— Это не обязательно говорить, но мне неприятно, если я этого не скажу. А то, что я скажу, может показаться немного неприятным тебе. Поделит неприятность?

— Конечно.

Пауза. Интересно... сказала не «оказаться», а «показаться». Это что, призыв не принимать всерьез? Наверное, да.

— Я не настолько твоя дочь, как две другие. Я — на четверть меньше.

— То есть? Генетически — ты ровно наполовину я, как и они.

— Генетически — да. Но есть еще и психологическая близость. Ты не мыл мне попу под краном.

— ??

— Ты помнишь, когда они были совсем младенцами, как ты их мыл? Клал на левую руку, мордочкой на гиб, они идеально обхватывали твою руку своими лапками, и ты их попой прямо под струю. Кто видел, вздрагивали, а риска никакого, младенец свой вес держит надежно, это с тех пор, когда мы обезьянами были, и по веткам прыгали, а даже если что, ты бы два раза успел перехватить. И они обе у тебя всегда были чистые, розовенькие и веселые.

— Это важно?

— Да. Отсюда начинается психологическая близость.

Пауза.

— Понятно. А можно, взамен... теперь я спрошу одну вещь?

— Да.

— У них сейчас свои защитники есть?

— Конечно. Обязательно.

— А они... которых я мыл под краном (она хихикает — не от зависти ли?)... они про вас с мамой знают?

— Нет. Но. Ты еще много лет... будешь преподавать. А когда мы сделаемся тебе не нужны...

Пауза.

— Я знаю... мама мне сказала... она договорилась... там (она показывает пальцем вверх — таким человеческим жестом...)

Пауза.

— Она договорилась, что, когда мы сделаемся тебе не нужны... мы перейдем к твоим дочерям. Тогда они все и узнают.

.....

Через много лет...

Двое в небе:

— У него есть один текст...

— Был?

— Нет. Не «был», а «есть».

Пауза.

— У него есть один текст. Он очень давно его написал. Как сидят на облаке двое... он про то, что мы можем парить без затрат энергии, тогда еще не знал. Сидят и смотрят, как он собирается... как они говорят, «в последний путь».

— «Взлет»? Это который начинается со слов «Пошли, что покажу!».

— Да.

— Так вот. Это был очень детский взгляд. Но одно там подмечено точно — проблема не использованного жизненного опыта... Это уже тогда в нем сидело...

— Вот это — «многотонным грузом неиспользованного жизненного опыта»?

Та, что моложе, показывает той, что постарше, экран смартфона... спасибо Илону Маску, интернет есть и там, где его нет — конечно, прямо на смартфон не с той скоростью...

— Да, именно это. Забавно, что он тогда уже преподавал, но осознание еще не пришло...

— То есть он не понимал, какой опыт передается тем сотням и тысячам...

Пауза. Та, что помоложе, улыбается:

— Кажется, двоих из них я знаю.

— Понятно. Полетели знакомиться еще с двумя.

Дмитрий Иванов
Печора, респ. Коми



ДРЕБЕЗГИ-НЕДЕЛЬКА
(микрорассказики-наблюдения)

Охота на грызуна

Белка, начавшая уже рыжеть к лету, но с зимними белёсыми подпалинами и кисточками на ушах, отрастающими поздней осенью и пропадающими весной, перебежала дорогу, по сути — просёлок. Потом ловко принялась взбираться на молодую сосенку метра два высотой. А за ней, будто угорелая, летела сорока с явной целью догнать грызуна. И не просто догнать, но и схватить, как мне показалось. Ну, не коршун же, в самом деле обычная сорока — разносчица звериной сарафанной почты. Мысли эти пронеслись у меня в голове, пожалуй, быстрее, чем белка и сорока, за которыми я наблюдал. Рыжий зверёк стремительно взбирался на сосну, а сорока — совсем за азартом перестала соблюдать технику безопасности — в погоне за добычей врезалась в сухую ветку. Мало того, с треском её сломала и завалилась на одно крыло. Однако птице удалось вырваться у самой земли, как опытному лётчику-истребителю выйти из штопора. И не просто вывернуться из опасной ситуации удалось, но и вновь установить полный контроль над своим телом. Белка тем временем, почуяв угрозу сверху, рванула вниз — на песок — и понеслась к другому дереву. Сорока ляпнула что-то ругательное на своём сорочьем языке и бросилась за животным.

И тут мне удалось понять, что в действиях сороки нет никакой особой агрессии. Это просто игра. Приходилось ли вам наблюдать игры молодых белок, когда они по весне спускаются с деревьев и принимают беситься на земле, то и дело взмывая на сосны и ели, а потом вновь оказываясь внизу? Это было нечто подобное, только вместо собрата пятнистая, пока ещё не совсем по-летнему рыжая проказница играла с птицей. Отменное зрелище! Не ожидал увидеть ничего подобного.

Времена года

Сейчас пока ещё не июнь, а конец мая, потому метель в наших Приполярных палестинах — в порядке вещей. Например, сегодня ночью было -2, и снегопад состоялся вполне зимний. Утром — около нуля, снег не тает. А на деревьях почки только-только начали набухать. Иду я из магазина, а навстречу походкой гейши движется какой-то заторможенный пингвин неопределённо-бомжеватого возраста и звания. Лицо украшено седой небритостью и сине-жёлтым бланшем, глаз почти не видно из-за припухлости век, а сам находится в окружении собственной защитной сферы из сепарированной смеси настоящего недельного перегара и низкосортного табака. Впрочем, одет вполне прилично — видать, принарядился где-то на

соседней мусорке: там как раз недавно выносили носеную одежду и обувь хорошего качества, а главное — чистую.

Завидев меня, мужчина усилием воли раскрыл один глаз на растерянном лице и заговорил:

— Простите пожалуйста, можно задать вопрос?

— Валяйте, — ответил я.

— Скажите, а какое сегодня число... и месяц?

— 22 мая... 2022-го года, 10 часов 12 минут, время московское, — сообщил я, добавив подробности времени, чтобы, как говорится, два раза не вставать.

Мужик аж расцвёл:

— Слава богу! Спасибо! А то я уже подумал, что осень...

И тут мне пришло в голову откровение: на нашей широте уходить в запой по весне — дело рискованное. Можно потом с «крышей» расстаться за милую душу, решив, что не приходил в себя всё лето!

Вулкан

Мальчишка и девчонка лет пяти-шести качаются на качелях.

— А наши папы вместе работают. Правда, Вовка? — говорит девчонка звонким жизнеутверждающим голосом.

— Ага, — отвечает Вовка, сосредоточенно раскачивая качели.

— Вот бы ещё мамы работали вместе. Правда, было б здорово?! — пищит девочка, взвизгивая от страха, когда доска под ногами взлетает ввысь.

— Угу. — Парень немногословен, как и полагается настоящим мужчинам.

— Вовка, а вот бы мы ещё с тобой в одну группу в садик ходили? Вот бы мы тогда ещё сильнее-присильнее задружились.

— Ну-у-у, — тянет целеустремлённый Владимир, сосредоточенно раскачивая напарницу.

— Вова, а если бы мы ещё на одном этаже и в соседних квартирах жили, вот бы была у нас совсем сто-миллионная дружба.

— А-га.

Последнее «ага» в Вовкиных устах звучит уже не так решительно и однозначно, как предыдущие междометия. Возможно, парень уже начал о чём-то догадываться. О чём? Отвечу: главное в жизни — случайно не принять жар просыпающегося вулкана за тепло пробудившейся души.

Котёнок

Воскресное утро. Отправился, как говорится, со двора — купить хлеба. Купил. Вышел из магазина на крылечко, хотел капюшон поднять, от северного ветра укрыться. Вдруг слышу звук на высокой ноте — будто ребёнок кричит. Глянул вниз, а под ногами котёнок. Пушистый да глазастый. Как он здесь оказался, непонятно. Если бы речь шла о младенце, я бы посчитал, что его попросту подбросили. Хотя и котёнка могли... если, например, никто не откликнулся на объявление «отдам в хорошие руки».

Мои размышления нарушила семейная парочка, покидающая магазин с пакетами, полными продуктов. Видать, молодожёны — светятся оба изнутри, что твои лампы накаливания.

Супруга увидела котёнка и расцвела очаровательной улыбкой. Говорит:

— Коля, смотри, какой симпатичный котейка! Просто очаровашка! Давай ему голову оторвём?

— Делай, как считаешь нужным, — муж говорил монотонно, без каких-либо эмоций, наверное думая о чём-то своём.

«Алло, гараж, — вскипел я внутренне, — твоя красавица-супруга демонстрирует приверженность к животёрству, а ты молчишь, тьюфяк!»

А молодая тем временем улыбается и говорит мужу чуть с укоризной:

— Помоги, я сама не сумею.

Услышанное заставило обернуться не только меня, а и еще нескольких прохожих.

Реакция была разной. Кто-то остановился и, повернув голову, замер в ожидании предстоящей экзекуции. Кто-то принялся тихонько роптать и клеймить позором «поколение либеральных садистов», а кто-то и вовсе решался вызвать полицию.

Но Колина жена, ни на кого не обращая внимания, наклонилась над пушистым животным и полезла в хозяйственную сумку.

Затем Коля оторвал голову... нет, не млекопитающему, а охлаждённому карпу из пакета.

И положил голову рядом с мяукающим существом.

В сосновом бору

В чём прелесть небольших провинциальных городов? Не нужно никуда ехать, чтобы попасть в объятия живой дикой природы. Вышел из дома, минут десять прошёл пешком, и вот уже сосновый лес. Настоящий, а не лесопосадка какая-нибудь.

Гуляем в лесопарковой зоне. Кормим с супругой белок, которых в округе преизрядно. Вокруг нас носятся три особи. Три белки. Три характера. Одна трусишка. Второй (наверное, пацан) — хитрец. Третий — вожак. Вожак всех гоняет. Этот бес успевает разогнать конкурентов, пока те разбежались — поест от пуза и ещё унести с собой, чтоб затырить во мху. В то время, пока вожак прячет семечки, хитрец набивает полный рот и тащит в кормушку для птиц, сделанную из пятилитровой пластиковой бутылки. Покуда же двоих наглцов нет поблизости, самая маленькая белочка спешно грызёт семена. Но тут возвращается вожак и отгоняет её от корма. Так повторяется раз шесть-семь. После этого хитрец забирается в кормушку и грызёт ранее сделанные запасы.

Чуть дальше от найденной тропы птицы клюют с ладони, не боясь что их могут схватить за ноги и сожрать эти странные огромные особи с большими, как голова у воробья, глазами и ртами, напоминающими глубокие страшные гнёзда-пещеры, откуда нет возврата.

Гаички, ближайšie родственницы синиц, едят с руки делово — перебирают харчи, иначе говоря ищут

самые вкусные семена. Сначала они, правда, галдят и гоняют друг друга, не давая никому примоститься у меня на руке. Но потом выстраиваются в очередь — совсем как люди — они садятся на ладонь одна за другой, набирая в рот по два-три семечка. Иной раз роняют добычу на землю, но аккуратно всё подбирают и несут её куда-то, чтоб разклевать и съесть. Прелестно выглядит, когда из маленького клюва торчит веером три семечка. Стоит мне убрать руку и уйти, гаички преследуют меня и обидно что-то чирикают в спину — мол, только есть начали, а ты, такой большой, нас, малышню, голодными бросаешь. Раз приручил — теперь корми. Экзюпери, что ли, не читал?

Иной раз, когда я кормлю гаичек, голуби толпятся внизу, у ног. Им тоже хочется приобщиться к процессу, но на руку мне сесть они не решаются. Да я их бы и не пустил. И тогда синички приходят на помощь голубям. Они берут зёрна и скидывают на землю — кормят голубей. И весело при этом чирикают.

Всё лето конкуренцию пухлякам (разновидность гаички) и гаичкам черноголовым составляют поползни. Когда они садятся на руку, это сразу ощущаешь и можешь отличить по посадке синичкиных родственников даже с закрытыми глазами. Всё потому, что коготки у поползней острые, будто шпоры — они чуть не прокалывают кожу, намертво цепляясь к руке дающего.

В сентябре поползни перестают прилетать к людям: в это время им куда интересней порыться в древесной коре, чтоб найти там живого мясца — жучков. Зато позднее, через месяц, они снова перейдут на вегетарианскую пищу и примутся досаждать прогуливающемуся в сосняке люду наглым приставанием — с посадкой на голову и требованием покормить немедленно.

Не нравится поползням питаться из кормушек. Почему? Скорее всего потому, что кормушки в большинстве своём в нашем лесопарке сделаны из пятилитровых бутылей с прорезанными входом и выходом, а цепляться за пластик когтями поползни не обучены — лапы соскальзывают.

Поползень — птица интересная. Мало того, что она умеет бегать по стволу дерева вверх и вниз вертикально, так ещё и крайне любознательна — будто знаменитая любопытная Варвара. Один из таких бравых поползней залетел к нам в док-склад на работе и ходил пешком за сотрудниками, путаясь под ногами. Буквально всюду засовывал свой острый клюв. Стали закрывать склад, а героя нет. Искали, чтоб выпустить, и не нашли: как-то сам выбрался.

Округление — мать учения

А у нас случай на работе был. Проверяющий зафиксировал замечание на объекте, поскольку в журнале еженедельной проверки резервного дизеля писали "наработка 0,33 часа", как это показывал мотосчётчик самого дизеля. Инспектор мотивировал своё решение тем, что по методике, утверждённой руководящими документами, следует проверять агрегат 20 минут, а 0,33 часа — это меньше двадцати минут. Руководитель объекта сказал, что будет теперь писать в лоб — "20 минут". Проверяющий возразил: мол, так нельзя,

поскольку нужно отмечать в журнале ровно столько, сколько показывает счётчик моточасов, и никак иначе.

Инспектору напомнили правила округления дробей из программы средней школы, и он буквально взбеленился: дескать, не потерплю. Но как быть, если на счётчике нет тысячных долей часа, только сотые? А если бы и были, то тогда бы не хватало десятитысячных долей. "Три в периоде" тоже писать нельзя.

"Замечание я включил в акт проверки, а вы думайте, как устранять!" — сказал инспектор, после чего гордо удалил свою "светлую" голову с объекта, следуя в направлении, куда его отослали работники объекта незлым тихим словом.

Звери

Уезжаю в отпуск из своей родной Печоры. Причался на такси к поезду немного раньше. Черта такая: предвидеть возможные задержки, аварии, форс-мажоры на пути к месту отбытия, как говорится. В общем, оказался на вокзале за полчаса до прибытия поезда. Дело обычное, никакого раздражения вынужденное ожидание у меня не вызывает — ну приехал и приехал. Тем более погода чудесная, разгар достаточно тёплого северного лета. Ни к чему тащиться в здание вокзала — в его духоту, когда можно присесть на новенькую скамейку, выполненную в стиле «хайтек» — их теперь предостаточно на привокзальной площади.

Сажусь, залезаю с головой в Сеть в планшете и почти не замечаю, что руки, обнажённые до локтей, и лодыжки грызёт мошка. Хайтек от гнуса защитить не в состоянии, однако для северян мошка — обстоятельство вполне обыденное. Его либо терпишь, либо попросту не приживаешься в здешнем краю.

— Эй, товарищ! Вас кусают? — Моё внимание привлекает вкрадчивый голос с характерным южным акцентом. — Этот маленький — зверь! Сквозь носка кусает. Тэрпэть плоха. Как сабака бэшэный!

Поднимаю голову. На скамейке напротив сидит приезжий мужчина, откуда-то с Кавказа. Об этом свидетельствует стиль одежды, большая кепка-аэродром, из-под которой зловеще выглядывает огромный нос, напоминающий плавник косатки.

Я киваю и говорю:

— Да, меня тоже кусает этот зверь. Имя ему мошка. Теперь будет до первых заморозков терзать местных и приезжих.

Сочувственно улыбаюсь и снова погружаюсь в Сеть. До прибытия поезда ещё минут двадцать.

Тем временем мужчина тихонько подсаживается на мою скамейку и вежливо тербит меня за плечо.

— Эй, товарищ. Я многа тут знаю. Старший сын станция Синий сидел.

— В Сыне на зоне, получается. Но она давно закрыта. Сын там остался?

— Нэт. Со мной Сакартвело¹ живёт, виноград на фирма продаём.

— А здесь что делаете?

— На станций Миша Я пошёл. А я не Миша, я — Ираклий.

— Миша-Яг. Это же недалеко. На пригородном поезде — с полчаса. И что там?

— Я родился в тот год, когда Сталин не стал. В Гори родился. Мне дед говорил, мне отец говорил, когда умирал: «Ираклий, запомни, много зла принёс наш земляк людям, но при нём жили все дружно, и страна была большая. Запомни и сыновьям передай, и внукам скажи... Только я вот младшему не успел до конца передать. Он рано в Россию уехал. В милиция служил, потом — в полиций. Сильно кому-то дорогу перешёл. Сидит теперь.

— В Миша-яге? На «пятёрке»².

— Еду к нему один. Братья не могут — виноградники работать некому.

— А много у вас сыновей?

— Хути, пять сынов и калишвили — дочка.

— Так вы на свидание приехали?

— Нэт. Здесь квартира два дня живу — завтра сына выпускают. Домой пойдём.

Кавказец задумался и сказал:

— Надо мирно жить, торговать надо. Один большой страна лучше.

Садясь в поезд, я размышлял, какая странная судьба у встреченного на станции человека. Родился в Гори в год смерти Сталина. Двое его сыновей сидели на севере России: один ещё в советские годы в посёлке Сыня (Синий в кавказской транскрипции), второй — в посёлке Красный Яг (Красный) в зоне для правоохранителей. Красное и синее, почти по Стендалю.

И вот теперь заберёт он отпрыска и увезёт к себе на родину — возделывать виноградники и делать прекрасный напиток. Есть надежда, что не сбежит его младший по дороге и вернётся к истокам. А что — старший-то перековался, значит, есть надежда. И будут они всем семейством добывать хлеб свой в поте лица и строить новый мир, в котором не останется места ненависти и национальной розни.

Я переосмысливал наше совместное прошлое и приходил к выводу, что слишком рано мы взяли судить однозначно о тяжёлых временах, одолевающих нашу общую Родину, слишком местечково. А срок-то, скорее всего ещё не наступил. Избитая (в социальных сетях) истина — чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине. Оксюморон — на страже истории, не меньше!

¹ Сакартвело — самоназвание Грузии.

² «Пятёрка» — исправительная колония строгого режима в посёлке Миша-Яг близ Печоры для содержания осуждённых — бывших работников судов и правоохранительных органов.

СТИХИ

Дмитрий Иванов

Печора, респ. Коми

Из цикла "НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО"

Бамбуковая роща

Третью вечность сержусь некстати
и курю третий срок бамбук!
Не меняю при жизни платье,
но пытаюсь сменить судьбу.

Ухожу по полям в предместья,
где гуляет мятежный дух;
kozyрь крести дорожке чести,
выпадающей в борозду.

Словно полная горсть навоза,
тянет вниз тяжело мошна,
и свидетельство передоза —
страсть к стяжательству — так смешна,

что не спрятать её в засаде,
как и, собственно, жизнь-судьбу...
Хоть смени семена в рассаде,
прорастает сплошной бамбук!

Диалектический фокстрот

Бытиё, сознание определяющее,
зависает в полёте хотением... —
желанием оказаться в центре события.
Облака, на меня с неба лающие,
поливают нектаром растения...
Кульминация — поливание зрителей.
А я ничего не слышу —
не желаю, и всё тут...
За окошком вздыхает бывшая,
а я подавляю зевоту...

Ещё увидимся, может.
...морозом по коже
опыт прошедших баталий на краю света,
где я хоронил лето.
Замер...
Амен.

эклети́чка, версия

по мотивам стихотворения Елены Разбойниковой
"Электричка"

эклети́чная, отрешилась,
жить не стану тревогой личной...
пусть по сердцу гуляет шило
бессердечною электричкой,
пусть не вспомнить уже покоя:

раз влюбилась — пиши пропало...
задержался мой первый поезд
в гуттаперчевой тьме вокзала...
стану ветреной, после милой...
и при этом киношной стервой...
что, хороший, тебя смутило?
ты пойми — это просто нервы;
это просто, да вот не очень
оказалось — дарить букетом
свои страстные дни и ночи,
выпуская любовь по ветру...
ты решительно не решился
слов сказать мне... ну, тех, заветных...
пробуждение — словно выстрел...
за эклектикой незаметно...
за эклектикой правда скрыта —
не сосчитана, не подшита;
ты любовь мою носишь ситом...
прохудилось стальное сито!

Желанная небом Жанна, версия

блажь лжи
лижет бок блага:
боль лежит
лыжею Дажь-бога
плоской —
красотой неброской
блаженна Жанна,
нежна, желанна...
и девственница... к тому же;
Орлеан не нашёл ей мужа
достойного,
воина
многоугольного,
многослойного,
а не телка-дофина,
богом покинутого...
женщина сильная
немного субтильная,
как на фресках храмовых
из ребра Адамова...

мерзости средневековые:
войны, охоты псовые —
на ведьм облавы
теософические забавы!
оттого и глаза слезятся
у Жанны,
что до реформации
целый век...
отцветают каштаны...
гордость нации —
Жанна —
сверхчеловек
на голгофу костра взлетает —
у этой крылья, она святая! —
иорданом несчётных рек...

Куплю джинна с собственной жилплощадью

Заточённые в амфоры джинны
пьют текилу без соли.
В рукав
срок занюхать спешат заточенья...
Едет вниз гильотины рейсшина,
плачет горько краплённый зуав,
сам исполненный похоти с ленью.

Над Багдадом спускается солнце,
засыпает священный Багдад,
прикрывая глаза звёздной ночью.
На кострах отливается бронза —

здесь и также в иных городах —
в состязании слов неурочном.

Заточённые некогда джинны
забываются в сладостных снах.
Вор Багдадский проснулся, скотина,
в упоительно-красных штанах.

На приколе ковры-самолёты,
на приколе повозки-такси.
Жалко, амфоры вышли из моды;
только лампа у входа.
Визит
нанесу-ка сейчас Аладдину,
он с рабом своим дружит спроста...

Это племя волшебное — джинны —
я в каталоге перелистал...

И теперь — этой ноченькой жаркой
выбираю здесь нужный кувшин,
где живёт аккуратный, немаркий,
некурящий начитанный джинн.

Молочный брат из преисподней

Глазет и креп — на выдохе друзья,
на вылет — близнецы одной обоймы...

Который век поэтов бить нельзя.

Как в рукава, пошитые без проймы,
нельзя засунуть руки без труда,
вот так нельзя третиловать поэта.

Размер и рифма — в сущности вода,
душою написавшего согрета.

А из воды вся происходит жизнь
от журавля до маленькой амёбы;
строка о жизни пляшет вверх да вниз,
как Spiderman по стенам небоскрёба

Бывало время — много серебра,
звенящего, красивого... с черненьем!

Бедняга Каин — мой молочный брат —
поэт, прозаик, но, увы, не гений.

Ему об этом вряд ли расскажу,
поскольку не берут его терзанья...
...преступник брат, но далеко не шут,
его не обвести в одно касанье.

И я устал быть дальновидным чёртом...
...неприбыльно и стрёмно чё-то.

Шарф

Намотан шарф на шею мирозданию
второй конец — на колесо авто,
летающего по площади Восстания.

Испытывая нежность и восторг,
лечу и я, грозы не замечая;
мой эшелон — сегодня поперёк —
рукой беды-кормилицы качает;
и обряжает в звук гаражный рок
казённых слов пустое сотрясенье,
порою непонятное совсем...

Который век по времени рассеян
какой-то коллективный Моисей!

Ему вести народы по тоннелю
туда, где свет лучиною свербит
и мир напополам мерцаньем делит
в конгломерате скорби и любви.

Мой эшелон сегодня выше неба,
а тот внизу — спешит по колее.

Как часто мы с тобою верим слепо,
что всё былое проросло в былье,
что каждая не сказанная фраза
в любой команде запасной игрок,
но действует неспешно и не сразу,
когда втыкает в звук суровый рок —
казённых слов пустое сотрясенье
по фрескам католических мадонн.

И я творю молитву во спасенье,
поскольку не пришёл Армагеддон.

Тарабарский тупик

В тупике оказался случайно,
порвалась Ариаднина нить.
Мой маршрут? Бесполезная тайна.
А на финише — люди-огни.
А на финише — зайцы-морковки
и Мальвин аттестованных ряд,
Дуремары с сачком и шумовкой
да пиявок подводный парад.

По ранжиру игрушки построив,
Карабас притушил в себе боль.
Жаль, рояль из театра расстроен,
но зато есть шарманка — изволь:
извлекай непутёвые звуки,
сочиняй увертюры в уме!
Тесновато театру в лачуге,
как десантнику в тесной тюрьме.

Тупиками в конце лабиринта
украшаю пропащий маршрут;

бьётся в склянках тревожная рында,
как в дайкири ледащий грейпфрут!

Тарабарский контрабас

С луною лунь, подсев на контрабас,
гремел по рощам, будто оголтелый...
Играл в парадной комик Карабас,
играл лицом... ну, и немного телом.

Его я заприметил — в добрый час! —
к нему пройду, сменив личину-маску.
Актёришку ударю сгоряча-с
за то, что тот эрзац читает сказки,

а правду игнорирует легко,
ломая брэнд народного артиста.
Злой Карабас блокирует закон,
диктуя волю, будто Монте-Кристо.

Его я подсажу на контрабас,
отправлю в лес в разгаре полнолуныя.
Раскачивает волнами компаґ
когда сам Посейдон пускает слюни

из океана на материке:
густую седину... как будто пена.
На севере бледнеют ледники,
рванувшие из солнечного плена.

С луною лось, подсев на контрабас,
гремит по рощам, будто заведённый...
бликует от луны иконостас,
а на берёзах серебрятся кроны.

Двенадцать с полтиной

Бродил Онегиным, как чёлн,
хоть невеликихъ дум, но — полн!
Барбосов плёткой отгонял —
наган болтался в кобуре, —
и люди видели меня
в моей неистойовой поре.
Я дулом к дулу с нею спал:
с "Авророй" — спутницей зари...
...и проклинал курорты SPA,

не попадая в алгоритм
её души, в которой лёд
сроднился с пламенем войны...
Идут с Христом по гребню вод
матросы, сямки, паханы,
матроны, дворники, певцы —
попсы адепты, шантрапа,
коллаборанты, мудрецы...
...шумит-гудит войны тропа...
А вдоль обочин спит народ
из окултуренных цыган,
прогноз погоды гнусно врёт:
наполовину пуст стакан,
а полон, если и на треть,
об этом лучше умолчать;
готов с лица земли стереть
я с молодецкого плеча
двенадцать месяцев боёв
и горсти три преступной лжи.
Феллини, полный до краёв,
за амаркордами лежит,
а мы с Кабирией вдвоём
разводим белок и мосты,
осанну Господу поём,
и наши помыслы чисты.

цел лукоморский дуб

цел лукоморский дуб
с русалкою и цепью,
с учёным — из котов —
и дядькою морским,
а я к нему бреду
с одной заветной целью
в хитиновом пальто
немыслимой тоски:
пусть детство мне вернут
под сводом влажных радуг,
а вовсе бы не лжи
и беспримерных врак
о том, что, де, войну
нам в качестве награды
Всевышний предложил —
come on! et cetera...
встаёт над дубом сим,
как океан эмоций,
безбрежная заря
вечернего тепла;
поеду на такси
без адреса и лоций,
чтоб получить заряд
эпических баллад!
легко вскочив в седло,
сражаться с Головою
не стану, не с руки —
я мирный гражданин...
здесь властвует тепло,
хоть ветры грозно воют;
затуплены штыки,
и в карте красных вин

царит Христова кровь
с просвирками от тела,
и правит тут Гвидон,
а не имперский бред...
под материнский кров
скользит мой парус белый
среди постылых льдов
и либеральных бед
плодится урожай
расхожего престижа;
русалка на ветвях —
хоть воду пей с лица...
под хвост летит вожжа,
писатель сказки пишет,
и дети второпях
опять зовут отца —
мол невод притащил
не рыбку золотую,
не цапнул невпопад
со дна какой-то вздор;
не бьются в нём лещи,
не раки в нём лютуют;
курует парад
здесь дядька Черномор...
цел лукоморский дуб!
над островом Буяном,
погода хоть куда,
и белка тянет хит
"гуляю во саду"...
я подпевать не стану,
а белку не продам...
зато продам стихи!

концерт

*под впечатлением от стихотворения Улисса
"Владимиру Высоцкому"*

никогда не бывает рано,
и негоже... уж если поздно...
на могиле гуляет странный
заколдованный будто... ..воздух...
на надгробье поёт гитара,
грусть гранитную струн стирая...
не хватает репертуара
в двух концертах всего от рая...

...дух квартирников мимо рая.

Отражение — отторжение

В стекле моногля виден флаг британский
и порванные гюйсы на штыках.
Походкою тяжёлой капитанской
шагают в небе обер-облака.

Плывёт поодаль пьяное светило —
то скроется за тучи, то пали́т;
оно жару и холод совместило,
и в плазму поместило реголит.

Пылает горизонт зарницей алой,
вибрируя потоками тепла.
В стекле моногля отзвук трёх вокзалов —
к иконе неба мизерный оклад.

В стекле моногля мутные разводы —
не слёзы, а классический рассол...
И расступились в Чёрном* море воды,
и крутится Сансары колесо.

* **Чёрное море** — в переводе с *церк.-слав.* — "Красное море" от *греч.* Ερυθρά θάλασσα; в оригинале *ивр.* אֲדָמָה, *ям суф* — буквально "Тростниковое море".

ударим вёслами

парус — дырявые сети,
ветер нам не указ;
вёслами бьём по планете —
давим с бортов на газ!

лихо гребцы подхватят
шумных мелодий шторм...

едем, друзья, на party —
то есть, рыбам на корм:
дружный от песнопений
быстро угас порыв —
за бурунами в пене
волны таят обрыв...

стонут водовороты,
с ними не совладать;
ну-ка, травите шкоты!..

...выпала благодать —
как-то попасть на берег,
выйти сухим из вод...

солнце грустит в кальдере,
с морем сыграв развод.

Георгий Аполлонович едет в Берлин (альтернативная история)

Вагончики по Невскому летели
по ветру, да в трамвайное депо,
а поп Гапон мусолил крест нательный,
под рясою тая тупой топор.

Он в Озерки на встречу не поехал,
решив эсерам мощный дать отлуп,
прикормленной охранке на потеху...
Жорж Аполлоныч не настолько глуп,

чтобы вестись на рассказы и сказки.
Он провокатор ото всей души...
— Но самому поехать без опаски?

Меня, Петруша*, лучше не смей!

Меня, Петруша, фиг теперь накажешь,
на ПМЖ отправлюсь я в Берлин
скажу эсерам: "Братцы — на хрен с пляжа!
За ваше дело сердце не болит".

За наущенья мне сегодня стыдно,
за них вы мой оплачивали быт...
И потому особенно обидно...
я верил вам, но подлостью убит.

Сейчас пойду и поквитаюсь с Борей**,
он был мне раньше братом во Христе,
хреновый мир томился в доброй ссоре,
и в руки православного кистень

прислал. Увы, наверно, слишком поздно —
Раскольникова лавры не моё...
Берлин, вокзалы в давке паровозной,
и пограничник русский паспорт мнёт.

* Пётр (Пинхас) Моисеевич Рутенберг, эсер, человек,
являющийся одним из убийц Георгия Аполлоновича Гапона
18 марта (10 апреля по новому стилю) 1906-го года на даче
в Озерках;

** Борис Викторович Савинков, русский революционер,
террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель
"Боевой организации партии эсеров".

Завещание Распутина

Падёт роса на ваши города
в продажу вбросят крылья парусины,
придёт в страну унылый декаданс
с изломанною талией осиною...

В клубок скатав рулетки телеграмм,
истерикою Питер разразится...
Под крышей Бога теплится игра
безудержных болезненных амбиций.

И не понять кромешной простоты,
не разгадать кровавой подоплёки.
Очаг для жертвы гения остыл,
оставив тлен в страдательном залеге.

Падёт любовь на струны кабелей,
смахнёт с опор прогнившие догматы
Сорвёт корабль с усталых стапелей,
как от страданий ближнего — эмтата.

Наметит цель мятежный круг ворон
и закружит в классической мазурке.
Падёт роса... ваш город обречён...
Вы вспомните ещё о Петербурге!

РОМАН



Олег Совин

Ижевск

ПОСОХ АДАМА

(История поиска
и случайной находки
главного артефакта)

Часть 1.

Глава первая.

Выписки из того самого дневника имьярека.

7 мая.

Терзаемый приступами голода, я услышал сквозь дрему собственный вой и очнулся. Голодные спазмы, точно электрошоком, прошли меня и скрючили. Было страшно умирать, но терпеть боль было ещё страшнее. Боль голода вернула меня из сна к жизни, но живым я не мог перенести такие муки.

Сколько я не ел? Двое суток, трое? Было такое странное чувство, что никогда не ел.

Операция тянулась вечность только потому, что я не хотел **быть**. Ни до, ни во время операции. Не хотел, а меня заставили. Через нестерпимые боли и отхаркивание кровавых сгустков из лёгких; через пронзительный страх от сдавленного, словно тисками, черепа; через невыносимые рези в животе за-ста-ви-ли!

Отчитались перед начальством и своей совестью, что операция прошла успешно и бросили меня одного подыхать голодной смертью.

8 мая.

Я ел и ем. Как француз — понемногу, но часто. Ем и сплю. Потом опять ем и ем, сплю и ем. Я питаюсь по расписанию и сплю, убаюканный блаженной сытостью, только для того чтобы, согласно расписанию, снова поесть.

В больничной палате холодно, но когда сыт, холод не ощущается.

11 мая.

Меня не забывали кормить даже в праздничные дни. Впервые я сосредоточил внимание на потолке больничной палаты. Швы между плитами были замазаны плохо; штукатурка потрескалась и грозила куском обвалиться мне в лицо. Боли в лёгких уменьшились, но совсем не исчезли.

13 мая.

Лицо зудит и чешется. Как бы мне из-за этого не урезали пайку. Но, чтобы почесать лицо, мне не хватает сил и сноровки. Я плачу от отчаяния. Так сильно чешется лицо, что поднимается температура, и вместе с ней я поднимаюсь, переворачиваюсь и хожу по по-

толку. Начинает кружиться голова, меня тошнит, я боюсь, что свалюсь с потолочной штукатуркой себе на лицо.

17 мая.

Я дома. Таких как я долго не содержат в больницах. Больничный конвейер перегружен. Страдают и мучаются все. Вступающим в «мучения» привязывают бирку на руку, пострадавшим — на большой палец ноги. Врач несколько раз примерялся к большому пальцу моей ноги, но, поразмыслив, пожалел и отложил разговор на неопределённый срок.

4 июня.

Мне привиделось, что подошёл отец и, накрыв меня своим лицом, поцеловал в висок. Был он небрит, щетиной царапал мне щёку, и я блаженствовал, поскольку мечтал расцарапать в кровь свою воспалённую чешоткой рожу.

С этого момента я начал терять зрение. Не слепнуть, а именно терять зрение. Внутреннее зрение. Как гусеница, перерождаясь в кокон, теряет мироощущение гусеницы и начинает постепенно обретать зрение бабочки.

Я теряю способность видеть и воспринимать Мир таким, каким увидел его Создатель. Увидел и искренне удивился. И обрадовался.

5 июня.

Пронзительное солнце. Свет тяжёлыми волнами бьёт по стене дома. Качается воздух, от ударов сотрясаются деревья — слышны их стоны за окном, а прохожие рады летним тёплым лучам. Я пробую искупаться в свете. Может быть, в последний раз. Но свет настолько плотен, что в нём завязался, точно в киселе. А когда-то я по нему свободно передвигался. Выбирал «слабые» тоннели, бежал по ним, разогнался и нырял, падал в волну, которая несла меня бесконечно долго, пока не ослабевала и не сбрасывала меня в тёмный закуток какого-нибудь подполья. Я всё неправильно ощущаю плотность света. Из всего многообразия света я чувствую только тепло и что-то похожее на хруст битого стекла.

7 июня.

Совсем худо. Теперь я убедился, что жестоко приговорён. Больно сознавать, как рушится на глазах Храм и стройматериалы будут использованы на постройку очередного свинарника.

Как мне окончательно не превратиться в животное? Может, отказаться от пищи? Кто из нас кого съедает? Я понимаю, что еда убивает меня, но отказаться от неё уже боюсь. Страшно напуган голодными спазмами. Если страх — это тоже чувство, то я превращаюсь в одно большое чувство: нет ни разума, ни памяти. Есть одно чувство. Еда не должна себя оценивать так бессовестно высоко и требовать расплаты за неё душой.

Мне кажется, что я окончательно не потерял способностей выполнять упражнения, которые не противоречат числовым закономерностям Фибоначчи и Зо-

лотому сечению, но руководствуются правилами трансфинитных чисел. «Бесконечность» уже не горит желанием удерживать меня, а элементарным земным закономерностям я ещё пытаюсь сопротивляться.

Сопротивление (упражнение) первое:

Нарисовать стебель лотоса в форме левой половины старославянской (кириллической) буквы Он, прикрепить по сторонам два листочка от осины, а цветок нарисовать тюльпана. На вершине самого высокого лепестка поставить продолговатую точку. В течение 15 минут неотрывно смотреть на точку...

8 июня.

Из золотого макового зёрнышка Вселенная вырастает мгновенно. Истинный свет скрыт в бесконечно малой величине. Из густой, липкой массы я протискаюсь к свету и вдруг падаю в искрящийся серебром колодец. Падение долгое и больше похоже на полёт, взмывающий вверх. Дышится свободно, растёт жажда пить воздух полной грудью, от глубоких и сытных вдохов приятно кружится голова.

Я пушинкой опускаюсь в знакомый сад посреди степи. Радостью крепнет предчувствие, что сад, полный цветов и диковинных растений, это я сам и есть. Сад будто во мне, и стоит шагнуть за его пределы, как я окажусь вне времени, поскольку время в саду нелинейно, оно имеет форму неровной пульсирующей спирали, узкое основание которой вдруг заглывает верх и вновь «выплёвывает».

Со стороны время должно быть похоже на движение Торнадо по кругу. Но внутри него всё относительно покойно и размеренно.

Я выпрыгиваю из «завихрений» и оказываюсь в безвременье. Здесь другая геометрия. То, что я когда-то фиксировал как точку, на деле оказалось безграничным числом фигур, похожих на шары, спрятанных, как матрёшки, друг в друга. Но шары незавершённые, имеющие входные усечения, через которые вылетают меньшие фигуры, раздуваются и заглывают огромные шары. Процесс рождения и поглощения малыми формами больших проходит стремительно и безостановочно.

Я вижу фигуру отца и прыгаю в неё, как в пустоту. По тропинке в поле, ограниченном мерцающей сферой, идут семь человек. Я их знаю. Это отец с родным моим дядей и тётками. Играючи, точно в классики, перепрыгиваю в другую шаровидную фигуру и вижу, как с горы мчится грузовая машина на старшую сестру отца. Она переходит автотрассу, чтобы успеть на автобус и не видит несущейся на неё грузовик. Родственники кричат, размахивают руками. Она не слышит. На мгновенье раньше меня отец бросается к сестре и выталкивает её с асфальтированного полотна дороги. Раздаётся жуткий удар, и грузовик продолжает бить и гнать перед собой кувыркающиеся тела.

Я ещё спокоен, потому что знаю, что не допущу такого страшного события. Я в силах всё исправить.

Фигуры отца и родственников мало похожи на людей, скорее на светящиеся конусы. Но я безошибочно определяю в этих странных формах каждого. Грузовик

похож на обелиск с двумя пирамидами, торчащими из кабины. Или наоборот: обелиск и пирамидоны похожи на грузовик и людей.

Я перепрыгиваю обратно, в первую сферу, но попадаю в незнакомое мне время и пространство. Затем перепрыгиваю ещё и ещё, пока не сознаю, что заблудился. Надо как-то вернуться к исходному шару-сфере.

9 июня.

Весь день провисел на потолке вниз головой. Смешно и страшно от такого бытия. Температура поднялась до 39 градусов. Тело борется со мной, пытается навязать свои правила пользования им. Понимаю, что где-то рядом говорят обо мне и понимаю, что говорят про меня: «Такая температура — ещё не катастрофа».

12 июня.

Не удержался: ем и сплю. Ем и ем, сплю и ем.

9 июля.

Цепляюсь из последних сил, не хочу превращаться в нечто примитивное, полумёртвое, с разумом овоща. Не надо бросать упражнений! Это единственное, что позволяет мне надеяться — не рухнуть в пропасть за бытия.

Сопrotивление (упражнение) второе:

У самой кромки спокойной, холодной воды я сижу расслабившись и скрестив руки на груди. Дремлю, но сквозь сон слышу шевеление моря, рассматриваю серый песок и слежу за собой со стороны. Я — крупный и одинокий валун. Каменное, неподъёмное тело заливано морскими волнами. Мне столько же лет, сколько внутренностям Земли. Я пытаюсь вспомнить то время, когда был магмой и готов был выплеснуться горячей лавой из раскалённого горла вулкана, бунтовавшего на дне океана за тысячи километров от места моего конечного пребывания.

Я одинок, я так одинок, что одиночество превратилось в образ существования, и потому не может мне ничего причинить. Кроме покоя и самодовольства.

Я хороший собеседник. Сутками могу слушать болливое море, изредка соглашаясь с той ахинеей, которую оно без усталости вливает мне в уши.

Так целенаправленно пятится моя мысль: от валуна — к раскалённой магме. Много посторонних печалей пытается прилепиться со стороны, но я отмахиваюсь от них. У меня есть цель!

Скоро море превратится в лёд, словно гусеница в кокон. Лёд моложе моря, а к такому древнему представителю рода планетного, как я, отношение льда всегда насмешливое.

— Ты молчалив и грустен, как Бог, — говорит, усмехаясь, лёд.

— Я верую, значит, я — частица Бога, — отвечаю я.

— Ты разговариваешь на потешном и давно забытом диалекте. Повтори ещё раз, а я посмеюсь.

И я веселю лёд, проговаривая каждое слово: — Нун-каб, нун-ка амрати-аз.

Лёд меня опасается. Намекает, что внутри меня хронится ещё так много жара, что даже дружеские объятия будут не искренни для одного из нас.

— Это не жар, — говорю я, — это глубоко внутри спрятанные знания, это память внутри меня. Ей много лет, шестнадцать миллиардов, как атому водорода.

На протяжении многих лет каждый год я наблюдаю за перерождением моря. Оно проходит мучительно, подчиняясь земным законам. Мне бывает тревожно, когда я слышу его сдавленные от удушья вскрики.

Скоро оно привыкает к ледяному кокону и успокаивается или делает вид. Но тревога во мне не исчезает. Я с содроганием жду появления переродившегося моря. Однажды оно уже перерождалось в ужасного монстра, полгода пытавшегося сожрать меня. Унижало и втаптывало, насмехалось над моим возрастом и беспомощностью. По утрам обходило меня, разглядывало, потом плевало мне в лицо и укладывалось рядом, с любопытством следя за моей реакцией.

Когда я говорю «много лет» или «полгода», я не имею в виду Время. Для меня Время имеет строгую конфигурацию. Оно плоско и твёрдо лежит подо мною. По нему можно передвигаться в любом направлении. Я люблю его и нежно касаюсь его каждый миг.

Каково Время у моря — я не знаю, но кое-что мне море рассказало о своём представлении Времени. Помоему, они играют в «салочки» друг с другом.

17 августа.

В душной комнате с утра беснуется муха. Она летает строго по прямой, от точки до точки, редко ломает линию в угол и снова летит прямо, и снова срывается в угол, устремляется в точку промежуточного назначения. Со стороны её полёт хаотичен, но я отчётливо различаю прочерченные в воздухе узоры, схожие с триграммами и более сложными гектограммами. Усиленное биенье крыльев на длинном отрезке полёта — это гласный звук. Так, помогая себе шумным стрёкотом крыльев, она беседует со мной на языке начертательной геометрии, схожей чем-то с азбукой Морзе.

— Вз-вз взнвз вз-вз, вз-вз вз-вз взнвз! — кричит она.

Гектограмма легко переводима: муха вопит, что она ощущает опасность и это подстёгивает её летать ещё быстрее.

Я отвечаю ей как умею: — Ма-а ма-а мамам, ма-а-а мамам мамам!

И она успокаивается, садится на подоконник и начинает протирать иссушенные полётом крылья.

Откуда во мне эти знания? Может быть, я когда-то был мухой?

Для того чтобы окончательно не превратиться в кокон, я пытаюсь извлечь из себя глубоко схороненные знания. А для того, чтобы извлечь знания, нужен мощный раздражитель. У меня в резерве всегда такой раздражитель имеется.

Сопrotивление (упражнение) третье:

Слово ОКОСЕЗ, означающее «пространство, проникнутое стрелой видения, то, что находится в сфере жизни, но далеко за сферой видимой жизни существ».

Я пишу это слово на старославянском. Графически в кириллице все буквы прописаны очень схоже с эзотерической азбукой гипербореев.

Сорок три буквы алфавита разделены на две стороны — добра и зла. Добро заканчивается на Ферте, зло начинается на Хере и длится до Ижицы.

ОКОСЕЗ в сумме составляет число 502 или 7, согласно исчислению гипербореев. Я прорисовываю каждую завитушку букв. Это очень важно. «Он, како, он, слово, есть, земля».

Он (Бог) числом семь, како Оно (слово) — есть Земля.

«ОКОСЕЗ» — я помню сложное начертание каждой буквы. Слово, содержащее ряд чисел, выстроено в фонемный ряд таким образом, что, произнося его, приходится сперва задействовать верхние, а потом корневые доли лёгких. То есть очищаешь лёгкие полнотью.

На двадцатом повторе-выдохе я вижу, как заострённые концы кириллической буквы Оно начинают расходиться и заглатывать слово. Буквы перемешиваются, тасуются, словно в карточной колоде, и выстраиваются в объёмный рисунок, «волшебную картинку». Я пытаюсь проникнуть: приближаю, удаляю, скашиваю глаза — и с третьей попытки наконец вживляюсь в этот волшебный рисунок.

«То же море в форме ромба, (почему не перевернутой пирамиды?), что и месяц назад. Оно укрыто сферой. В точках соприкосновения моря со сферой происходят невидимые колебания. На самом деле это — двуединая система пульсации и подвижки ОКОСЕЗА. Движение идёт из ромба по спирали, напоминающей молекулу ДНК. Движение или пульсация проходит в четырёх направлениях — в совокупности, составляющих угол в 90 градусов — и на концах, под сводом сферы, спираль расширяется, напоминая воронку. Источник энергии находится внутри ромба и имеет форму подковы, но очень тонкой, радужной, точно обрученные кольца Сатурна на картинке».

Мне всё сложнее входить в другие измерения, которые выше шестого, а теперь, наверно, и даже пятого — в общепринятой классификации.

Я предвижу, как меня начнёт постепенно затягивать в воронку Чёрной дыры, где видение пространства ограничено коконом мироощущения.

Страшно сознавать, что скоро море превратится в воду, эфир — в воздушную взвесь, тонкая шёлковая фактура земной коры — в каменные нагромождения, свет — в примитивные солнечные лучи, пробивающиеся к Земле. А Земля обретёт форму шара. Но Земля никогда не была шаром. Её видят такой те, кто окончательно лишён зрения. Очень скоро и я буду видеть её только такой.

Я спешу. Каждый новый день уносит меня по ниспадающей от Вселенской Любви. С падением я теряю способность играть и договариваться со Временем.

На моей совести — нелепая смерть отца. Видеть, знать и не исправить — станет первым и самым страшным моим грехом.

9 октября.

Из всех существ, посещавших меня неделю, более симпатичным оказался Бс или, как он себя называет на языке двух Кму, Бэс. Он корчит рожицы, трясёт бородёнкой и пенисом, стараясь напугать и развеселить одновременно. Ростом он с локоть новорождённого ребёнка.

После обеда явилось огромное страшилище, село возле ног и долго, не моргая, смотрело на меня, как на языки костра. От его взгляда, тяжёлого и тугого, как-то неожиданно быстро устаёшь. Взгляд можно погладить, попытаться обхватить и отвести в сторону. Но это — напрасный труд. Легче перекатить кусок бетона, ухватившись за ветку арматуры, торчащую из него. Я дал ему имя Лапа, потому что его ладони на коротких руках неестественно огромны.

Посидев возле меня полчаса, он помахал перед лицом ладонью и тихо растворился в стене. Через мгновение ворвалось другое существо. Оно всплеснуло руками и принялось причитать: «Как же ты умудрился доползти до трельяжа?! Глаз да глаз за тобою ну-жен!»

Я знаю, что это существо — женщина. Я знаю, что она — моя родная тётка. Но я постоянно теряюсь, не сознаю, где прерывается реальность и начинается сон. Где эта зыбкая грань? В каком — из двух пространств — я нахожусь?

Чтобы определиться, я начинаю вспоминать упражнения. Это мне удаётся сделать с огромным трудом.

Сопrotивление (упражнение) четвёртое:

«Асаруа эм тэтэтту, мэсэ аэм тэтэтту, амурату а уам тэтэтти, тэтэтти сэ тэтэтту». Нет, без толку. Чего-то не хватает. А чего — забыл. Слова должны быть распевными, как всё в древнем мире говорилось нараспев: «Нук теттети сэ тэттети, а у ам а эм теттету, мэсэ а эм тэттету». Но эти слова придают мне силы и стойкости, а мне нужно, наоборот, войти в тонкое состояние, избавиться от грузного кокона. Пока не опустился до восприятия синего цвета — надо успеть. Сперва успокоиться и догадаться — посредством какого упражнения войти в тонкий мир.

Сопrotивление (упражнение) пятое:

Я собираю камешки, крошечные остраконы, обломки, всякий бетонно-каменный мусор. Один, например, из двадцать четвёртого ряда пирамиды Горизонта (Хуфу), один — от фризы, лежавшей в основании. Камешек с вулкана Теида, что на Тенерифе, остракон с горы Моисея (не той, под которой разместился монастырь Святой Екатерины, а той, настоящей, которая находится в Израиле), кусок песчаника из ОАО и диорит с горы Меру, что на Урале, гранитовый хрящ из Арска, обломок красного туфа — из основания дома, последнего приюта Девы Марии возле Эфеса и недалеко от того же места — мраморный хрящик из колон-

ны храма Артемиды. По камешку — с острова Майорка, Мирова, Бад-Хала, две изумрудные крошки из Таиланда, а также камни из Сиде, из древней части Китайской Стены, меловой стерлитамакской горы...

Одна треть подобрана.

Время собирать камни, время раскладывать камни.

В строгом руническом порядке, соблюдая осторожность, не нарушая цветовую гамму, я приклеиваю к стеклу в рамке каждый камешек. В результате получился портрет. Неполный, конечно, недостаёт ещё тридцати камешков, но мне кажется, что и этого хватает для упражнения.

«Похож?» — хочу спросить я у Бэса.

Он понимает без слов и отшучивается:

— Это автопортрет? Скоро ты будешь на него очень похож.

— Я не имел в виду себя! Но я знаю, что одни и те же вещи мы с тобой уже видим и воспринимаем по-разному.

Я протискаиваюсь в другое измерение, как во враждебную среду. Мне теперь многое непонятно. Например, почему геометрически выверенная гора Белуха работает только в качестве конденсатора? Хотя на высоте 4999 метров её пирамидон подвижен и приспособлен к тому, чтобы выбрасывать через себя избыток чёрной энергии. Без участия хранителей и жрецов гора превратилась в ядерный реактор? Разрушительная сила Белухи равна столкновению астероида с Землей. Время под ней имеет критическую кривизну. Почему на это никто не обращает внимания? Когда-то пирамида Горизонта была так же опасна, но своевременно обезврежена жрецами, царём и известным Великим Посвящённым, а пирамидон из космического железа спрятан зрителями в надёжном месте.

Мне не так приятно, как раньше, раскачиваться, словно в зыбке, по времени. Много, много мне теперь непонятно и тревожно. Я с укором смотрю на Бэса и прошу разъяснений.

10 января.

Во Вселенной всё подчинено горению. Горение — процесс преобразования грубой, пассивной энергии в активную и тонкую.

Бэс мне говорил, что нет ничего хорошего в земной прописке. В понимании Вселенной Земля — это клоака. На Земле космические законы действуют не так, как должно, а сикось-накось. Чтобы к ним приспособиться и не свихнуться окончательно, надо забыть об упражнениях, забыть обо всех знаниях, спрессованных в мозговых извилинах, надо притвориться спящим и нормально переродившимся в кокон существом.

Горение — процесс самый долгий и медленный относительно жизни Вселенной. Относительно Земли — это самый быстрый флэш, мгновенная вспышка.

Внутри тебя постоянно горит, чего-то там сжигает организм, снаружи тебя подпаливают из любопытства и корысти. Раз! И тебя нет! Раз, два — и никого, и ничего нет! Ни людей, ни планеты Земля! Только медленно продолжается процесс горения внутри тебя, снаружи и внутри всего наружного.

«Хочешь Быть — приземляйся! И определяйся скорее: хочешь ты Быть и сознавать, что Быть где-то лучше, чем не Быть нигде?»

Я пытаюсь сопротивляться.

Сопротивление (упражнение) шестое:

Представить себе три стеариновые свечи. Языки огня на них должны покачиваться волнообразно, будто при едва уловимом дуновении.

Поджигаю — не горят. Пытаюсь усилием воли ещё раз зажечь.

Что за странности такие? Рассматриваю внимательно свечи.

«Бэс, засранец! Поменял стеариновые свечи — на анальные, против геморроя». Шутник!

6 мая 1960 года.

Утром первыми ко мне пришли родители. Мама поцеловала меня в щёку: «Сыночек, тебе сегодня исполнился ровно год! Ты уже такой взрослый!»

Отец взял меня на руки.

«Какой же взрослый? — удивляюсь: — Я ещё ссусь в постель! И дрищу в штаны, когда вы, хвастаясь перед соседями, начинаете перебрасываться моей любимой игрушкой и заставляете меня носиться по комнате за ней.

Я — конченный идиот. Полдурок в сатиновых шароварах с тугой резинкой, изрезавшей мне подмышки.

Я так сильно люблю своих родителей, что, мучаясь, стараюсь не огорчать их по пустякам. Подумаешь, побегаю немного за плюшевым мишкой! Не убудет же?! Взрослые знают, как не загнать вусмерть годовалого кретина, у которого пол-лица закрыто соской.

Во второй половине дня явился маленький, кривоногий, бородатый, отвратительный субъект. Назвался Бэсом и заявил, что мы знакомы очень давно. Не помню!

Наглый бородатый тип сказал: «Ну вот, теперь я вижу, что ты окончательно сдох и превратился в кокон. Что бы тебе такое умное преподать для затравки?»

Я разрыдался, потому что в слове «сдох» почувствовал какую-то беду, страшное горе. Чернота и беспробудная тоска исходились из незнакомого мне слова.

«Ори, сопляк, посмертным воем! Ты воплем обозначь себя!» — крикнул довольный Бэс и спрятался.

Потом мне снился гроб. Я кричал чтобы его немедленно убрали. Но никто не хотел меня понять. Этот телевизор КВН был для них предметом развлечений. А для меня — сжигателем моей плоти, гробом.

Я сознавал факт предательства со стороны родителей: гроб не хотели убирать, значит хотели чтобы я умер...

Глава вторая.

Поиски того самого дневника Адама.

— Скажи, друг мой Кристоф, в чём я перед тобой провинился? За что ты меня так люто ненавидишь? Вот из-за этой хрени я должен был бросить все дела и примчаться к тебе за тысячу километров? — потрясая дневником перед его лицом, возмущался я не совсем искренне: — Я подобную муру мог найти и в какой-нибудь заброшенной сельской библиотеке!

— Я знал, я знал, что вначале тебе очень не понравится, — пытался защищаться Кристоф. — Надо дальше читать. Читай дальше.

— Для чего? Нет ни одной точки соприкосновения с моей темой. Не понимаю, какое отношение имеют записи какого-то недоумка, возмнившего себя полубогом, к моим поискам?

— Олег, ты опять задаёшь много вопросов.

— В сравнении с потерянным временем — не так уж и много. Согласись?

Не согласится ни за что и никогда! Мы разные: у нас мозги загнуты по-разному, хотя и загибали их в едином социалистическом лагере. Но немец он и в ГДР — немец. И что русскому в тягость — немцу невдомёк.

Я откровенно кривил душой, когда говорил Крису о потерянном времени. На самом деле намерен, когда он позвонил и зачитал в телефонную трубку по моей просьбе несколько строк из дневника, я заговорил от волнения фальцетом и готов был лететь в Берлин, чтобы только немедленно убедиться в подлинности документа.

О ценности записей Кристоф тоже имел кое-какое представление. Он сказал: — Завтра я буду в Москве!

Значит, мне надо было успокоиться и за сутки придумать, как проще и безболезненнее обмануть немого иноверца — так недавно на Руси переводилось слово немец — сбить с него спесь, а потом убедить, что этот дневник — совсем не то что я искал, то есть что мы вместе с ним искали.

Кристоф — доктор каких-то там кудрявых наук, профессор (я никогда не вдавался в подробности, даже визитную карточку, испещрённую его достижениями в науке, ленился дочитать до конца) часто навещался в Москву по приглашению Университета и читал курсы лекций на русском о чём-то совершенно нерусском. Кроме того, среди своих соплеменников и коллег по научному цеху он считался лучшим специалистом и знатоком России. Сам Крис часто пересказывал хвалебные характеристики, отпущенные в его адрес то ли губернатором Вестфалии, то ли канцлером, то ли директором городской Лейпцигской свалки, что в обратном переводе на немецкий обозначает полигон твёрдых бытовых отходов г. Лейпцига.

Кристофа я знал десять лет. Мы познакомились в октябре 1998 года в ресторане гостиницы "Украина". Меня пригласили туда бизнесмены из Германии и, как принимающую сторону, накормили и напоили за свой немецкий счёт, вписав моё трепетное отношение к хляве в графу своих представительских расходов.

Криса я ещё трезвым вычленил из остальных. Я сказал ему:

— Гитлер — сволочь!

— Да, Гитлер нехороший,— подтвердил Кристоф.

— Очень!

— Да, очень нехороший.

На том уровне и определились поддерживать наши тонкие дипломатические отношения. После третьей рюмки я решил закрепить параграф Устава Марксистско-Ленинской идеологии:

— Гитлер — жлоб и тупица одноклеточная.

— Гитлер спроектировал мост в Вене.

— Что-о-о?!

— И отстроил дороги в Германии.

Я быстро посчитал примерный возраст Кристофа и сделал вывод:

— Ты был в молодежной организации гитлерюгенд.

— Я ещё был очень маленький.

— Это тебя не оправдывает.

— В школе учился хорошо.

— В разведшколе?

— В Лейпциге, в обычной школе.

— Мне надо тоже съездить в Лейпциг, подучить свой язык немного.

Кристоф рассмеялся:

— Мог бы просто попросить приглашение. Я — не против. Посетишь заводы, производящие геомембрану. Экология — это актуально сейчас во всей Европе.

— Уговорил, немецкий шпион. Поеду в Берлин и Вену.

— Почему именно туда? В этих городах нет заводов.

— Мне надо!

Через неделю Крис торжественно вручил мне приглашение, подписанное директором фирмы, у которой я обязался закупать геомембрану для монтажа на полигонах ТБО в качестве гидроизоляционного слоя.

— А виза? — посетовал я на правах долгожданного гостя.

— Я звонил в консульство. Сделают визу в два дня.

Хорошо Кристофу было говорить — в два дня. Позвонить друзьям и договориться — одно, а мне доехать до консульства — совершенно другое, практически невыполнимое условие.

В продажу поступили переводы на русский Фабра де Оливье, шумерское сказание об Энке и Энлиле с комментариями Артюхова и множество сопутствующей литературы. Я пролежал с книгами на пузе у родственников в загородном доме ещё две с половиной недели. Потом неделю занимался выписками из книг и словарей, пока не понял окончательно, что поездка в Берлин мне крайне необходима.

Несколько цитат из книг привлекли моё внимание. Требовался мозговой штурм, чтобы более тщательно разобраться в прочитанном, отсеять вымысел и прожевать истину. Например, два часа, ковыряясь ватной палочкой в ушах, я приводил свои извилины в порядок и пытался понять: откуда шумеры доподлинно знали о происхождении Земли и о том, как Луна не сумела перерасти в планету. После столкновения плане-

ты Нубиру кусок от Земли величиной с Антарктиду оторвался и улетел в космос, а супруг Земли, чтобы залезть её раны, прислонился и отдал всё своё железо и более не стал расти, но навсегда остался спутником своей любимой. Красивая легенда!

Для чего-то анунаки, жители Нубиру, передали эти знания шумерам? Тем самым шумерам, которых и создали в качестве биороботов только для того, чтобы люди-шумеры добывали из недр Земли железо и золото вместо них.

Для каких целей анунакам нужно было золото, шумеры могли только догадываться, рассматривая в небе анунакские космические корабли.

А вот знания свои, особенно по серийному созданию человека из сопутствующих материалов, анунаки оставили в наследие в форме Предмета. Предмет этот напоминал увеличенную до размеров африканской кобры молекулу ДНК с полной клинописной расшифровкой, паспортом и руководством по применению.

Опыты анунаки проводили долгие и кропотливые, пока вместо Сфинкса, Кентавра или Циклопа не получилась у них совершенная форма, в которую можно было вдуть, то есть вселить тонкую структуру (душу), по своему образу и подобию, но уживающуюся с земными, материальными законами.

Конечно, больше, чем законы Вселенской Любви, меня привлекал конкретный Предмет, который можно было держать в руках, манипулировать Им, передавать Ему божественную власть и силу посредством сакральных слов, пользоваться как волшебной палочкой из сказок. Кадуцей — царский жезл власти с головами змей Ахопа и Апопа вместо набалдашника.

В Зоаре говорилось, что Господь, выпроваживая Адама из райского Эдема, вручил ему символом земной власти Посох, сотворённый или выструганный «плотником» из священного древа Жизни — по одной версии, и из дерева познания Добра и Зла — по другой. Ствол Посоха обвивал окаменевший змей-искуситель. Видимо, в райском саду пресмыкающихся не жаловали и избавлялись от них при любом удобном случае.

Предмет, оставленный анунаками в наследство человечеству, и Посох Адама искусно переплетались в моём понимании друг с другом.

Из исторических намёков и упоминаний я знал, что Посох передавался по наследству из рук в руки.

Мои познания о хранителях Посоха были довольно скудными и фрагментарными: несколько интересных догадок об эксплуатации Посоха Каином, потом Посохом наследил Ной, потом Он перешёл к Аврааму, затем к Исааку, затем к Иакову, после Иакова достался по наследству десятому сыну Асиру, который за мешок ячменя продал Его брату Иосифу, и таким образом Посох остался в Египте до правления Иофора, который передал Его Моисею, а тот должен был так же оставить Посох Аарону, но почему-то оставил двум сыновьям своим. Или не оставил? Моисей — это Египет времён царя-еретика Аменхотепа Четвёртого, назвавшегося божественным Анх-Атоном, привычнее для слуха — Эхнатон. А Эхнатон — это Берлинский Музей Египетского искусства.

Короче, мне надо. Предчувствие гнало меня в Германию.

— Кристоф, кто меня встретит в Берлине?— звонил я другу.

— Я думал, ты уже обратно вернулся. У тебя же срок действия приглашения заканчивается через пять дней!

— А ты видел очереди в ваше немецко-фашистское посольство? Добрая половина нашей страны погостить к вам выезжает.

Я бы и визу никогда не получил, если бы не случай: подкатил снежно-белый «Мерседес» и из него вышел лётчик-космонавт Леонов.

Я ошаршил его отрепетированным вопросом:

— Вы не узнаёте меня? Как же так? Отряд космонавтов, 1988 год!

Нет, не узнал. Пришлось ослабить натиск и звать не к совести, но к генетическому и кастовому благоденствию:

— Там был мой брат (и это могло оказаться правдой, потому что родственников у меня хватило бы на два отряда космонавтов), мы очень похожи,— назвал наугад первую пришедшую на ум фамилию.

У космонавта была цепкая память, он оказался первым, кто тактично обнаружил мало сходства между братьями. Хорошо, что не понадобилось предъявлять первому выходцу в космос те места, которые неотличимы по принадлежности у всего мужского населения земного шара.

Он провёл меня сквозь охранный пост, как Моисей соплеменников по дну расступившегося Чёрного моря. Через день я уже одиноко качался в купе поезда Москва — Берлин.

По этой ветке железной дорогой я ехал впервые. Пейзаж навевал тоску, искусственно вживлённую в меня ещё уроками современной истории в советской средней школе. Мелькала перед глазами многострадальная земля, постоянно оккупируемая захватчиками: немцами, итальянцами, венграми, финнами, французами, шведами, поляками, тевтонами, монголо-татарами... Трудно было вспомнить нацию или народность, которая не воспользовалась возможностью топтать русский чернозём и суглинок. Их — тьма! Топтали с чувством достоинства и почётной обязанности, как петух наседку. Топтали настолько рьяно, насколько наседка позволяла себя топтать.

Я-то родом с Предуралья. У нас со времён исхода арийцев не было захватчиков. Так, имели место мелкие междоусобицы: белые придут и перебьют красных, зелёные захватят власть и перебьют белых, красных и синих в форме «Динамо» — до кучи.

А западные земли постоянно притягивали к себе человеческое поголовье интуитивно, на уровне безусловного рефлекса. Запад всегда считался священным местом захоронения, огромным, безымянным могильником, даже для тех, кто жил западнее русского запада.

В Египте река Нил строго делила мир на Восток и Запад. На тех, кто готовился почивать в Елисейских полях и уже спёкшихся в стране Кхем.

«Рама некогда увёл Ариев из Предуралья на юго-восток, чтобы дать им новую жизнь. Через войны с негроидной расой, через ассимиляцию — но жизнь. Захотел бы он другой судьбы своему народу, увёл бы на Запад, а Кадуцей оставил в городе, основателем которого был Рама, и от которого осталось лишь искажённое название Арск».

В Бресте посадили энергичного и нетрезвого дедка. Дед был единственным кормильцем в своей большой и многонациональной семье. Занимался необычным промыслом: ездил в Германию за пенсией и на этот доход достраивал в пензенской области коттедж, оплачивал учёбу внуков в вузах и снабжал продовольственные ларьки в родном городе витаминизированными кормами для крупнорогатого скота от фирмы "Байер".

За поставку скотского корма в красивых упаковках дедку было не стыдно, а стыдно ему было за немцев:

— Все немцы — стукачи! Стучат по любому мелкому поводу. Без повода тоже стучат, но это они делают для профилактики, чтобы бдительность не утерять.

Он извлёк двухлитровую пластиковую бутылку «Тархуна»:

— Будешь?

— Нет, спасибо, уже напился лимонада.

— Это чистый спирт!

— А почему зелёный?

— Потому что поляки тоже стучат. И белорусы. И наши иногда стучат. А ввоз алкоголя строго ограничен.

За ночь мы почти справились с бутылкой «Тархуна». Проводница несколько раз заглядывала к нам с подругой, линейным милиционером, бизнесменом с Алтая, режиссёром документальных фильмов из соседнего купе. Сперва просила запереться от бандитов, которые в Польше могли заскочить в вагон и всех ограбить, затем просила не запирается, чтобы дать достойный отпор ляхам, а под утро уже «забывала стрелки» мельтешащим за окнами электрическим опорным столбам.

Последнее, что врезалось в память: дедок звал проводницу «любимая птичка Рая» и рыскал в моей сумке.

«Старый, я не вожу с собой алкоголь!»

«Зато я вожу», — отвечал дедок, по локоть топя руку в моей сумке.

Беспробудное пьянство чревато глубоким похмельем. Я очнулся в гостиничном номере, опоясанный, как пулемётными лентами, пододеяльником и простынёй. В узком проёме окна на чёрном небе бесновались огоньки. «Наверно доехал, наверно встретили, наверно устроили в отель!» — стонало во мне. Думать ещё не хотелось, а пить — наоборот, и очень. Даже не пить, а соскоблить и смыть напором воды из полости рта прикипевшую гравийно-песчаную смесь.

Доверившись интуиции, я попал рукой в выключатель, телефон, пульт от телевизора и мои командировочные тапочки, пристроенные на журнальном столике. Там же лежала записка, написанная на латинице. Всего несколько слов, среди них ни «русиш швайн» ни

«шайсе» я не обнаружил, значит, с гостем из России встречавшей стороне повезло.

А затем я действительно очнулся, увидел и проделал с удивительной точностью и последовательностью всё, что описал абзацем раньше.

После беглого осмотра дорожной сумки я обнаружил, что пропала толстая папка с двумя контрактами на закупку сварочных аппаратов фирмы «Комет», деловая переписка и адреса немецких египтологов, а также Дневник, содержание которого разобрать и перевести на нормальный язык было не под силу даже мне.

Чужеземный рассвет я встречал в квартале от Музея Египетского Искусства, на скамейке с пузырьками водки и кока-колы, прихваченными мною из гостиничного мини-бара. Из многоэтажного дома, что нависал напротив, в бинокль за мной следила пожилая берлинская чета.

Я допил содержимое первого пузырька, объёмом не превышавшее суточный расход воды экономного европейца. Поставил пузырёк аккуратно под скамейку. В окне зашевелились и активизировались блики, тени радостно запрыгали и притаились.

Я сосчитал до 80-ти, подобрал пузырёк и отнёс в мусорную мутьду. Когда счёт перевалил за полторы сотни, подъехала полицейская патрульная машина. Вышел в форме представитель правопорядка, заглянул под скамейку и что-то мне пролаял.

— Нихт шиссен, камраде, — ответил я, широко улыбаясь, — морда ты лоснёная! Настучали уже? А ты собери бутылочки-то, собери!

— Ни в кого я стрелять не собираюсь, — сказал полицейский, сел в машину и укатил.

«Унизил, — подумал я, — обосрал меня с ног до головы. Вероятно, тоже учился хорошо в средней восточногерманской школе имени Клары Крупской и Розы Коллонтай.

В десятом часу я, наконец, нашёл в правом закутке музея нужный мне саркофаг. Дважды пробегал мимо в туалет, не замечая, на третий раз увидел и сразу вспотел от волнения. Семьдесят иероглифов красовались на самом видном месте. За ними ведь я и погнался в Германию.

Удивительно, но История, вдоволь посмеявшись над французской, английской, итальянской, американской археологией, вдруг заткнулась на немецкой и отчасти русской археологической школе, признав в них триединство науки, религии и искусства.

Эта упрямая немецкая нация, видимо, не сильно жаждала прославиться сомнительным открытием гробницы Тутанхамона, в которой хранилось всё золото, найденное наполеоновской армией, свезённое в одно место и упрятанное там до лучших времён. Иная была у немцев шкала ценностей: занимались они поисками артефактов, сакральных предметов, имевших силу и власть вселенского масштаба, а не мертвецов, мумифицированных и засыпанных золотом и метеоритным железом. Шлёгль, Ассман, Хорнунг, Бристед, Брюннер, Боргхоутс, Хунге... — все эти исследователи имели возможность прийти в Берлинский музей, сесть,

как я, на корточках, читать, повторять, точно молитву, перекачивать во рту леденцами каждый из 70-ти иероглифов: «сэрэ сэмсэу джэпер».

Ни в одном труде по имплицитной и эксплицитной теологии египетского политеизма авторами ничего не было сказано о семидесяти святынях уточняющих знаках и иероглифах. Скрывали, старались обходить стороной. Иногда касались вскользь: «Я вершу суд между людьми и умиротворяю богов. Мне принадлежит жизнь, я — её владыка. Посох владычества не будет вырван из руки моей». И полное молчание о главном.

Был ещё один знаток истории Египта — Юрий Перепёлкин, египтолог, который ни разу не был в Египте, но знал много больше Бругша и владел языком лучше Шампальона. Он был бесценным носителем истинных знаний, но главной тайны так никому и не раскрыл даже под угрозой народного гнева, рупором которого являлась газета «Советская Культура». Знал этот учёный, знал определённо о семидесяти иероглифах и, как подобало учёному такой величины, перевёл правильно все семьдесят, используя по значению и точно, как только он умел, незавершённое прошлое и завершённое будущее время в глагольных формах.

В отель я вернулся в полдень. На журнальном столике рядом с потерянной папкой лежала записка. «Русиш швайн» и «шайсе» в ней не было, но в конце длинного, разбитого знаками препинания немецкого предложения жировали три восклицательных знака.

— Чего орать-то на весь отель? — сказал я, пытаюсь отыскать хотя бы одно знакомое слово в записке. — И без тебя знаю, что действие визы заканчивается сегодня.

Потом я аккуратно сложил записку вчетверо и смыл её в унитазе.

Я раскрыл папку, вытащил тетрадь с дневниковыми записями.

Листы были тёплыми. Скорее всего, дневник пропустили через сканер или «ксерокс». Непонятно было — с какой целью? Я три года изучал дневник и, если бы сказал что понял и разобрался в записях хотя бы на десятую долю, то солгал бы прежде всего себе. Ни фи́га я не понимал!

Стал я обладателем дневника случайно: мне его оставила родная тётка. Вернее, попросила сделать достойный переплёт Ветхому Завету 1893 года, восстановить рукописную книжицу Скитское Покаяние и обновить Дневник неизвестного.

У меня оставались старые знакомые в местной типографии. Несложно. Я заплатил — мне в течение двух недель исполнили заказ.

Но в это время тётка сильно заболела. Врачи боролись за восстановление зрения, потом — слуха, затем выводили из комы, а со слов матери можно предположить что врачи просто боролись с ней самой.

«Сестра была колдуньей, — говорила мать, — если бы ей надо было жить, то никакие врачи ей бы не помешали. Видимо, эти книги она специально тебе оставила, в наследство».

Я отыскал в дневнике лист, где был нарисован иероглиф чиновника с посохом, ниже — символ, обозначавший слово «как», затем «Нетеру Нетер» — бог богов. И сравнил с выпиской, сделанной мною в Музее. Знаки полностью дополняли друг друга. Дальше шёл иероглиф «четырнадцать усечённый», точно Осирис, разрубленный братом Сетом на четырнадцать частей и восстановленный супругой Исидой, но уже без гениталий, которые сожрал речной карп.

Следовательно, каждое четырнадцатое усечённое предложение могло быть восстановлено фонетически, за счёт очередного сдвоенного иероглифа, и давало пояснение благодаря иероглифу, написанному в обратном порядке — снизу вверх, но слева направо, куда смотрела богиня порядка Маат.

Иероглифы, переписанные с саркофага в Берлинском музее, я разбил на десять столбцов, по семь ступеней. Причём получилось так, что каждая верхняя ступень венчалась иероглифом «нетеру Нетер», кроме последнего, десятого столбца. Эннеада, или по три ипостаси на Амона, Ра и Птаха? В последнем столбце, на седьмой ступени бога, был нарисован незнакомый иероглиф триграмма, привязанный к месяцу в форме колыбели, над которым красовался Анх, пара ног и царский скипетр под словом Иуд, источавшим свет — окружность с жирной точкой в центре.

Убеждён, что очень часто моими действиями и поступками управлял кто-то другой. Казалось бы, бесцельно и без логики я, а вернее кто-то другой, колдовал над иероглифами, заставляя меня заунивно распевать каждый знак и по наитию расставлять ударения и акценты в неожиданно образовавшихся из ничего сонетах. Точно Гоголевский Петрушка я складывал буквы в слова не ради того, чтобы уловить значение слова или фразы, а ради одного удивительного процесса — склеивания букв в слова.

Придушив гордыню, я дал возможность «другому» вволю наиграться иероглифами.

Спустя два часа меня врасплох застал телефонный звонок. Посопев на том конце провода в трубку, голос на чисто русском языке спросил Асарсета.

— Здесь такой не живёт, — сказал я.

— А какой живёт? — поинтересовался голос.

— Никакой.

— А передайте никакому Асарсету, что ему не надо возвращаться поездом или самолётом в Россию. И ещё: ему не надо возвращаться завтра, завтра его уже будут возвращать в виде наглядного пособия.

— Вы меня пугаете или предупреждаете?

— Мы тебя имеем, — решил кто-то и повесил трубку.

«Смелая фантазия», — предположил я и бросился в сторону автовокзала покупать билет на ночной автобус Берлин-Москва.

В каком-то проулке недалеко от Зу Гардена¹ я отдышался, выпил кружку нефильтрованного пива, обозвал нехорошим словом продавца, торговавшего в

¹ Английская озвучка названия Tiergarten (зоосад и ж.д.-станция в Берлине). - *Прим.ред.*

стеклянных колбах обломками Святой Берлинской Стены и тихо, но с запахом, возмущился ещё раз. Впервые я обратил внимание, что нахожусь во враждебной мне среде.

Я вошёл в индийский ресторан, на литературном русском с кембриджским акцентом заказал жаркое с макаронами по-флотски, 150 граммов водки, и получил цыплёнка с рисом и бутылкой кока-колы.

— Олег, если это ты, обернись! — раздался клич за спиной.

«КГБ, — решил я и решил не оборачиваться сразу, как сучка на свист. — Хотя какой Комитет Глубинного Бурения мог дожить до 98-го года?». И быстро обернулся, как сучка на свист.

За соседним столиком сидел мой недавний попутчик в обнимку с двумя девицами. На столе зелёным обелиском возвышалась спиртоносная бутылка «Тархуна».

— Познакомься, — сказал дед. — Это Марта, она «нихт бла-бла» по-русски. А эту ты уже знаешь — наша проводница.

— Очень приятно, — сказал я стюардессе, — я вас ошибочно принял за бурятку. Вас, кажется, звали Рая?

— Жизнь, — отреагировала она вяло, — жизнь морщит нас и глумится над почками.

— Йа, йа... — подтвердила Марта. — Корошо... Здравствуйте... Сметана... Солнце.

— А эту где подобрал? — показал я на Марту.

Дед от возмущения даже взмахнул крыльями бровей:

— Она же тебя встречала! Она — встречавшая сторона! Правда, Марта? На своих хрупких ФРГ-вских плечах протащила пару шагов по перрону и рухнула, слегла под оккупантом. Пришлось втроём нам тащить тебя до отеля!

— А-а, так это вы шарили в моих вещах?

— Паспорт, деньги пропали?

— Нет.

— Значит, не шарили.

— Скорее всё-таки шарили, но напали на неверный след.

Колой я не стал запивать «Тархун». И без того во мне газировкой бурлило возмущение.

Правильно сделал! Потому что к пьяному россиянину немцы особого сострадания не испытывали и пытались показать мне остановку и время отправления автобуса так бессердечно, как трезвому чукче указывали бы на глобусе место его жительства.

— Перед тем, как поедете в Бельгию, подстричьтесь наголо. Там всюду вши. Они, сволочи, горячую воду экономят, — сказал мне сосед в автобусе.

— Кто, вши?

— Нет, бельгийцы.

— Не хочу в Бельгию, — признался я.

— Я тоже сперва не хотел — и уехал чернорабочим в Португалию.

— Мне надо до полуночи пересечь границу. Иначе арестуют. Виза кончается.

— Если колесо не пробыёт в дороге — вам повезёт.

— Почему?

— Смешно вспоминать, но этот автобус когда-то проектировал я. Чтобы доставить «запаску», бригаде из трёх человек понадобится не менее двух часов.

— Понял. Вы в Португалии скрываетесь от заказчика?

Границу Германии пересекли в полночь, оставили там двух пассажиров с подозрительным грузом, поели горохового супа с копчёностями, миновали относительно удачно Польшу, а в Белоруссии всё-таки колесо выстрелило. Но к тому времени мне было уже всё равно: я разучился ходить, ноги раздуло до слоновьих размеров, я сжился с креслом и лениво перелистывал страницы дневника, приспособливая к тексту выписанные мной иероглифы. Получалось омерзительно и реально.

Глава 3.

Выписки из того же самого дневника Адама.

7 января 2001 года.

Соппротивление (упражнение) сорок второе с использованием Кузьмичёвой травы:

Двадцать глубоких вдохов, лёжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, большой и безымянный палец левой руки соединены. Хрустальная пирамида находится под ладонью правой руки. Тепло проходит по часовой стрелке...

В первом часу ночи 7 января 2001 года я вышел на балкон отеля «Ля Меридиан» и увидел лежавший в постыдной форме пьяной куртизанки серп луны. А может, я разглядел в этом серпе и колыбель для новорождённого Христа? Может быть.

Недалеко от отеля притаилось Красное море. Египетская ночь была светлой и прохладной.

Справа ещё бодрствовал заунывными шумами арабский Шарм-аль-Шейх и не давал возможности сосредоточиться местным привилегированным коптам на главном телевизионном шоу, транслировавшемся из Каирского храма в честь рождения самого известного еврейского мальчика.

«Удивительное дело, — усмехнулся я, — насколько же путана эта страна! Плотское соприкасается здесь с духовным, а духовное бесследно растворяется в плоти туристов, избалованных солнцем».

Мне хотелось, чтобы все спали, а я светлячком тлеющей сигареты семафорил бы в пространство, разбрызгивая тьму вокруг себя.

Из шкафа-купе опять вышел Бэс — зелёный, ростом со статуэтку. Он прошёл след за мной на балкон, скривил рожицу и смачно плюнул в кустарную тень под собой. Там что-то вздрогнуло, резко ударило о ветви и с шипением листьев сдохло.

— Какого лешего ты всех пугаешь? — возмущился я.

— Какого надо, такого и пугаю. И не всех: ты же не боишься?

— А что, я тоже должен бояться?

— Чего тебе бояться? Ты вон какой вымахал, а я вот такой малюсенький. Если я даже гаркну басом, ты подумаешь, что кран в умывальнике кто-то не до конца закрыл.

Он потеревил собственную бороду, собираясь сказать ещё что-нибудь оскорбительное, но не нашёлся и, предчувствуя, что настроение из-за этого у него может резко испортиться, вцепился мне в ногу и полез вверх.

Взбирался он ловко, словно негр за кокосами, впинаясь вытянутыми руками в кожу и быстро перебирая короткими ножками.

Я сказал:

— Трусы с меня не сдёрни! — И на всякий случай придержал их.

— Нашёл достояние, — возмутился Бэс. Он уже обхватил запястье моей руки: — Когда есть чем похвастаться, тогда нечего стесняться. А если есть чего стесняться, то лучше не заострять на этом внимание.

— Началось! Демагог египетский! Ни одной ночи без твоих нравоучений! Уже достал!

— Посади-ка меня на плечо! Что значит "достал"? Я — милость, даденная тебе, недоумку. И пользуйся, пока я есть!

Пришлось воспользоваться и посадить его. Интересное, скажу я, ощущение тепла чужой задницы на твоём плече.

— На чём мы остановились в прошлый раз? — спросил он.

— Сперва отдышись и осмотришь, — предупредил я, — а то, как вчера, на полуслове брыкнешься вниз головой.

— Брыкнулся я потому, что ты дыхнул на меня сигаретным дымом. Из-за вони я сознание потерял и мир мне стал противен, и мир больно ударил меня по голове.

— Тогда попробуй закурить, может не таким противным покажется тебе окружающий мир? — предложил я и представил, как Бэс засовывает себе в рот водосточную трубу.

— Совсем не смешно, — прочитал мои злые фантазии Бэс, — я уже пробовал однажды. Асар, то есть Осирис пытался совратить — ничего у него не получилось. Я же не как вы, людишки, помесь похоти и любопытства, легко податливые на всякого рода мерзопакости.

— Между прочим, Осирис научил людей выращивать пшеницу, кукурузу, изготавливать орудия труда...

— Между прочим, — тут же передразнил меня Бэс, — Осирис научил вас выращивать ячмень, а не пшеницу, и готовить из этого дерьма пиво, а не хлеб. А мясо живых существ вы как жрали, так до сих пор и жрёте. С пивом или без — разницы не вижу. Странные вы всё-таки, род людской. Падки на греховные дела и грехи вновь обрётённые считаете избавлением от грехов старых. Клин клином, что ли?

Я промолчал, потому что мне показалось, что в тот момент дрогнул в чёрной пустоте перевёрнутый месяц. Холодная волна света увела на глади моря лунную дорогу куда-то влево.

Быть может, очень давно точно так же смотрел на причудливые изломы лунного света еврейский мальчик и молчал, и ничему не удивлялся, слушая рассказы из зелёного Бэса.

— Во-первых, не так это было и давно, — прервал мои мысли Бэс, — во-вторых, Иисус всё-таки удивлялся. И ты очень удивишься, если узнаешь, чему Христос удивлялся. Он всю жизнь, до девяноста пяти лет удивлялся, даже тому удивлялся, чему и не надо было удивляться нормальному здравомыслящему мужу. В третьих, четвёртых, пятых и десятых: Иисус черпал знания из себя. Ему не надо было разжёвывать. Стоило только напомнить, возбудить, и он тут же вспоминал всё. И всех великих посвящённых: Раму, Кришну, Мойшу, Будду, Мохаммеда, Наполеона, Гитлера — тысячи тех, кто стремился к добродетели, погрязнув в зле. Истина в своей противоположности может быть не меньшей истиной. Также и у добра нет границ. Где оно перетекает в зло — не угадаешь.

Что ты косишься в удивлении? Да-да! И Гитлера Иисус вспоминал, и эту ночь, которую я бездарно провожу с тобой и трачу на тебя время. У времени нет измерения, это отчётливо отражалось в древних языках. Это вы, люди, установили всему меру, сами запутались и запутали потомков. А любое будущее могло быть только свершившимся фактом. Чему не дано свершиться, то не имеет право на будущность.

Например, через десять часов, по вашему исчислению, ты встретишься с богом Техути, чтобы увидеть и поддержать в руках Посох Мудрости, а по нашему измерению ты встретился уже давно, много раньше, чем Асарсет или, как вы его называете, Моисей вывел племя египтян-монотеистов, сторонников его младшего брата Анхатона, из семитского плена.

Гитлер для поклонения искал предков арийцев, а по незнанию уничтожал их потомков миллионами в концентрационных лагерях. Трудно быть арийцем, когда тебя преследуют как еврея.

Я недавно видел такую картинку: в следующем году в Бангкоке ты разглядывал Золотого Будду. Твой разум затмевала только одна мысль — пять тонн чистого полированного золота! Сколько это в переводе на доллары, баты и рубли?! Ты решил измерить величину веры целой нации. По-человечески — ничего предосудительного, не считая того, что в ответ тебе Золотой Будда устало улыбался.

Но когда счастливым будешь брести по пескам Палестины в 730 году до рождения еврейского мальчика, ты избавишься от зависимости измерять и примеривать на себя ценности чужой веры, потому что...

— Я уже знаю почему, — прервал я Бэса.

Я действительно знал, потому что вспомнил. Спустя много лет с того времени, когда я впервые поймал себя на мысли, что часто думаю о том эпизоде, мне казалось, что я просто видел сон. Сон шизофреника — цветной, с запахами пустыни, со вкусом песка на зубах. Теперь понял: я сам придумал этот эпизод, но он казался мне настолько реальным, что я подыскал ему меру оправдания. Я придумал, что ничего не придумывал, а это мне просто приснилось, привиделось. Как однажды привиделись три апостола. Они звали

меня с собой, а я испугался, подумал, что если поддамся на их уговоры, то сразу умру. Апостолы махнули рукой и ушли, оставив во мне страх и сладость извращения от неизвестности.

Однако вот что странно: выдуманная мною история не обростала со временем деталями и чётко прослеживаемыми подробностями, наоборот, теряла краски. А это свойство физиологического характера — забывчивость. Чем я становился старше, тем меньше оставалось в памяти мелких деталей того сна.

«Мы возвращались с Филиппом из Ра-ам-сеути, куда ходили, чтобы отправить послание и маленькую бронзовую фигурку с оказией младшему Иоанну, жившему тогда в греческом Эфесе.

У Иоанна случались страшные приступы какой-то неизвестной болезни. Он вдруг становился раздражительным, затем впадал в ярость, громил всё вокруг, но вскоре успокаивался до такой степени, что смирению и щедрости его не было предела, как не было предела приступам чудачества. Вдруг начинал подобострастно ухаживать за одной старушкой, жившей недалеко на горе, возле Эфеса, называть её своей матерью и матерью Иешуа Га-Ноцри. Хотя на самом деле та была без роду и племени, а Мария, мать Христа, вместе с Симоном Зилотом жила в Индии. То вдруг Иоанн решался покаяться перед Савлом из Тарса Киликийского, которого в живых-то уже не было, и через нашу миссию засылал тому приглашения, упорно называя Павла Николаем.

Филипп вообще считал Иоанна двуликим и «тихушником», ждал от него очередной пакости или такого гнусного поступка, который был свойственен лишь людям, страдающим манией величия. Но терпеливо выполнял все поручения Миссии и прямо вслух не высказывал своего мнения.

Мне же очень не нравился Иаков, старший брат Иисуса. Он носил золотой диск на голове и, чтобы замолить этот грех ползал на коленях, набив мозоли до размеров верблюжьей стопы.

Что было в послании Иоанну, я не знал. А в бронзовой фигурке я узнал богиню Исиду. По-моему, Иоанн коллекционировал подобную дребедень.

Мы остановились в Бубастисе, и Филипп опять на площади стал рассказывать любопытной детворе и пожилым людям об Иисусе. А зря! Потому что на том месте рассказа о тайной вечере, которую придумал Иоанн — Иисус разламывает хлеб и говорит, что это тело его, вино — это кровь его (а Филипп всегда рассказывал эмоционально, размахивая руками) — вышел старик и сказал: «Так вы и сожрали собственного бога!» — и ударил палкой по голове Филиппа.

Нас опять били беспощадно, а потом швырнули полуживых в мусорный овраг, где мы тряслись всю ночь от страха и проклинали косоголовых горожан.

В планы нашего похода не входило выступление на площади, просто Филипп решил испробовать силу своего ораторского искусства, поскольку все мы, из Миссии, считали, что умеем убеждать не хуже Савла.

Через два дня пути нас ждало отдохновение — перевалочная база Иуды Кариотского. Это огромный,

шикарный дом... нет, вилла с двенадцатью лотосовидными колоннами из крапчатого мрамора, с бассейном и регулируемым фонтаном. Посреди сада из финиковых пальм стоял огромный белый камень, заточенный сверху — что-то среднее между Бен-Беном и полированным конусом. На него обожали взбираться детишки Иуды, соревнуясь кто ловчее. Сам хозяин поодаль лежал на циновке и занимался переводом какого-то древнего текста. Как потом оказалось, это были скудные иероглифы времён допесочного Египта. Он так сильно был увлечён ими, что от неожиданности испуганно вздрогнул, когда наши тени упали на веером разложенные каменные таблички.

— Вот, — сказал он вместо приветствия, пряча глаза, будто стыдился своего занятия, — давно мечтал узнать о происхождении Рахмариса, да всё времени как-то не хватало. Впрочем, вероятно, его никогда и не хватит? Среди мирских забот мало места для общения с душой. Мир вам! Проходите в дом! Там вас ожидает еда и отдых.

Иуда терпеливо молчал — ели мы долго. Иуда ждал до первой отрыжки. Потом спросил, лишив нас благолепия:

— Как здоровье Иакова?

— Не совсем здоров. Опять сильно сохнет рот, — начал Филипп. — ...Но полон оптимизма и уверенности, что тебя отстоит, не даст в обиду.

— Дай бог ему здоровья! Впрочем, он же — эссеист, терапевт. Может от таких недугов себя лечить. У меня есть хорошие травы, я подберу и пошлю, если вам не в тягость.

— Ну что ты, брат, о какой тяжести ты говоришь? Иаков будет очень рад! Но больше бы он обрадовался, если бы ты пришёл к нам. Может, всё разрешится? — предположил Филипп.

— Нет! Не могу! — отрезал Иуда. — Противно! Противно также видеть Петра, Андрея, брата его, да и многих тех, которые только и делают, что вносят вражду в Миссию. Лицемеры! Я их хорошо узнал при Иешуа Мешиахе, я не забыл ничего и сейчас! Нет! Не могу! Пусть немного уляжется!

— Ничего не уляжется! — вскрикнул Филипп. — Ты же знаешь, какую гадость придумал против тебя Пётр Симон! В уходе Иисуса он винит только тебя!

— Известный постулат: чтобы отвести от себя подозрения, обвини в подлости, содеянной тобой, ближнего твоего. И брат может стать врагом, если ты сам подлец.

Иуда попытался улыбнуться, но было видно, какую досаду в нём вызвали слова Филиппа. Вероятно, тлея в нём надежда, что время сгладит их вражду.

Иуда неоднократно писал Назарянину в Индию, жаловался, что братья в Миссии плетут интриги против него и они никогда не согласятся с тем, что Иисус передал паству ему, а не своему старшему брату Иакову, что слова Правды Учителя и Гилеля извращаются, что Учение Его и Иоанна Окунателя ученики распространяют только из корыстных побуждений. Искал совета Иисуса.

Но тот молчал, будто отрезал себя от прежней жизни. Ему льстило ощущать себя пастухом, бросившим

стадо своё на заклятие. Так было покойней: порвать с неудавшимся экспериментом и больше не вспоминать в той, другой жизни, которую он теперь проживал размеренно, мудро, никому более не пытаясь доказать, а просто жить с женой и близким другом. Просто жить.

— И что Пётр Симон? — спросил Иуда. — Всё отбывает жизнь снедаемый обидой, что я не даю ему денег?

— Пётр говорит, что просил деньги не для себя, а для Миссии.

Иуда усмехнулся:

— Врёт! Ой как врёт Пётр! Для себя просил, поскольку и Миссия — это только инструмент для содержания Петра, укрепления его власти и возвышения. Тебе же известно, Филипп, что по уходу Назарянина я всю кассу передал Петру — всю, до последнего сикеля. Мне ничего не надо чужого. Не делай изумлённое лицо: именно чужого! Потому что мне противно и чуждо всё, что связано с новой Миссией без Учителя, с этим наигранным в любовь братством, существующим по образу, законам и жалкому подобию ессеев. Это правда, что при Учителе нас пускали в такие братства, кормили и холили. Но если разобраться, то не нас пускали, а одного Назарянина, как члена братства, как Великого посвященного и обладателя посоха царя.

И кто такие были при нём мы? Попутчики. Точно сыновья Иакова, продавшего в рабство брата Иосифа и на вырученные деньги купившие сандалии, написавшие имя Иосифа на подошвах для того, чтобы быстрее стоптать его имя. Вот в чём была наша благодарность! И кто такой Пётр? Какой из него ученик или ессеи, если он превратил веру в ловлю рыбы? Рыба — это и есть Храм веры для него.

— Брат, ты говоришь страшные вещи. Ты сам не веришь сказанному.

— Страшно то, о чём я молчу. А то, что говорю, в это верю. Хотя лучше бы разуверился, тогда бы не были так мучительны воспоминания. Я знаю, чего хочешь от меня Пётр: он хочет выкрасть посох учителя и затем — какой-нибудь позорной смерти для меня. Чтобы я удавился или бросился со скалы. Купить четыре локтя земли за 30-40 серебряных кесарей и схоронить меня там, как сгнивший кусок сала. И неудержимое желание его — это единственная возможность закрасить перед Миссией своё позорное предательство.

Я отказал ему в средствах, я отказался передать ему посох учителя. Надо же, а он обиделся. Но это мои средства и этот посох передан Учителем мне! Всё заработано моим горбом и заслужено моей верой в Учителя. Почему я должен делиться с праздношатающим бездельником тем, что досталось мне взамен здоровья и молодости?

Честно говоря, разглагольствования учеников Иисуса, какие бы в них не проскальзывали откровения, всегда нагоняли на меня тоску. Иуда был не исключением.

Все разговоры и молитвы сводились к одному: кто в большей мере подвёл, предал, обидел, унизил Учителя.

Была одна цель: выяснить и наказать! По чьей вине Иисус покинул Миссию?

Все они знали ответ, но боялись произнести его вслух, и поэтому прикрывались новыми и новыми вопросами. А ответ был прост: все они, вместе взятые, надоели Назорянину. Устал, как устаёт горшечник лепить горшки, вдруг осознав, что жизнь прожита зря, хотя когда-то первый горшок казался великим творением. Зато последний — ещё кучка мусора в одной громадной горе черепков, наваленной им за всю свою бестолковую жизнь.

Глянуть со стороны глазами ортодоксального фарисея: во всей этой истории с новым верованием, с неожиданным мешиахом Иешуа-га-Ноцри был только один лгун и предатель — сам Иисус, который сорвал с места рыбаков, мытарей, плотников, врачей, в общем-то неплохих специалистов и порядочных отцов семейств, обнадёжил их возможностью впасть в вечную жизнь и испытать на себе дыхание Господа. Ради чего? Чтобы поверили ему, что Иисус не простой пророк, но Великий пассионарий, почти Моисей? И корни его, Левитовы, не еврейские, а египетские?

Не он ли последний Великий царь Великой страны двух земель, унаследовавший с посохом Адама мудрость единого Бога, а значит, овладевший всеми таинствами, спрятанными на Сириусе и звёздах пояса Ориона? Один глаз его — солнце, другой — луна. Он — Хаара, мстящий за обиды, причинённые его отцу творцом пустыни Сэтом.

Идеальная жизнь в борьбе за честь отца.

Но не совсем. Результатом такой идеальной жизни должна была стать идеальная смерть. Идеальная смерть устраняет ошибки и недоразумения жизни.

Как красиво умел мечтать Назорей и как ловко плёл паутину слов. Он всегда был выше тех, кто его слушал, и всегда оставался выше тех, кого слушал. Молчание его было капканом для говорившего, и говоривший увязал в конце концов в его терпеливом молчании, как в патоке.

Лишь одного человека Назорею не удалось обмануть и затащить в тенета своих слов и мудрого молчания — Иоанна Окунателя-Водолея.

Иоанн догадывался, что только четыре стихии могут очистить и возродить человеческую душу. Он выбрал себе нелёгкое занятие: поливал водами Иордана грешные головы, выставлял их сушиться на огне пустынного солнца, заставлял глубоко вдыхать прозрачный воздух и посыпать себя землёй.

В конвейере того поголовья, которое склонялась под его руками ежедневно, Иоанн не обратил бы внимания на Иисуса, если бы не услышал давно знакомый голос родственника. Назорей льстиво и самонадеянно заявил:

— Ты наконец-то дождался. Я пришёл к тебе, предтеча.

Скорее это было сказано для сопровождавших его учеников, но обращался Назорей к Иоанну.

Иисус рассчитал тонко. Иудеи последние годы ждали исполнения пророчества, в котором должен был возродиться Илия-пророк и стать предтечей явления роду человеческому самого Бога.

Иоанн усмехнулся:

— Если я — предтеча, то не ты ли тогда Мессия?

Кому, как не Иоанну, лучше знать, кто он. Ну какой из него Илия-пророк? Что народ-то смешить, мозги туманить, обзывая его предтечей? Они с младенчества были друг с другом знакомы и с детства соперничали: кто из них выше на камень пописает, кто дальше плюнет, у кого больше поклонниц.

— Исполни то, что должен исполнить, — сказал Иисус и поставил перед Иоанном царский посох.

— Это Он? — удивился Иоанн, указывая на посох: — Я думал, что он у Гилея.

— Можешь подержать Его. Я получил Его по закону Утробному праву.

— Царь Иудейский? Верховный из Великих посвящённых? Но почему ты? Признать тебя — значит признать неизбежность своей печальной и глупой кончины. Глупо, но видимо придётся.

Один из учеников и последователей Иоанна Окунателя рассказал мне эту историю. Тот, который ходил к Иисусу за советом и помощью, когда Иоанна посадили в тюрьму. Звали его Марк.

И ещё: возникают легенды о смиренности и кротости Назарянина. Отнюдь. Это не так. Я никогда не встречался с ним, но по рассказам его старшего брата Иакова, был Иисус и смешливым, и подозрительным, и безрассудным, и даже жестоким.

В детстве у друзей он пытался заработать дешёвый авторитет на том, что якобы у него хранился волшебный кусок меди с текстами заклинаний его святого родственника Моисея. Заклинания имели неограниченную силу. Ими можно было умертвить или воскресить любого мальчишку.

И ведь действительно случалось нередко, что обидчики Иисуса вдруг умирали. Не сразу, конечно, через некоторое время, но поселенцы роптали. А однажды чуть было не уговорили отца Иосифа выпроводить из города своего младшего.

Весь вечер Иуда с Филиппом провели за партией Сенета. Игра умная, но уж очень нудная. Судя по расстановке фигур, шемунтов было меньше на доске, чем маантов, и по записям таблице уже разыгрывалась пятая, шестая и начало седьмой доски. Основные кости не использовались для сдвоенных ходов, а по вспомогательным двум костям дозволялось пропускать ход. В позиции Филипп явно выигрывал пятую доску, а значит, сильно проигрывал в шестой партии, что не давало возможности восстановить равновесие на седьмой доске. Партия эта по всем признакам длилась у них уже лет десять, если не больше.

— Тебя, конечно, не превзойти на восьми досках, — обижался Филипп, отдавая последнего шемунта Иуде, — но помнится, Иисус говорил, что окончательно тебе, Иуда, никогда не выиграть, поскольку ты совсем не умеешь проигрывать.

— А если научился проигрывать, то имеет ли смысл вообще когда-либо начинать игру? — усмехнулся Иуда. — Я с Иисусом никогда не доходил до девятой доски. Ему ли судить об этом? Не суди, и не судим будешь.

— Слова Иисуса.

— Не Иисуса, а Матфея.

— А Матфей говорил, что Иисус за всех нас, его учеников, пострадал.

Видно было, что Иуде не хотелось отвлекаться от игры и пускаться в долгие и никому не нужные объяснения. Гость всё-таки раб хозяина. Он попытался отмахнуться:

— Спроси у Луки. Он — терапевт, один из тех же. Он лучше знает. По законному приговору как простолюдин Назарянин должен был отбывать наказание на кресте три дня. И если бы остался жить, то был бы помилован римлянами, также по закону. А он был помилован через три часа, благодаря царственной своей особе, хотя царского посоха уже в руках его не было.

У меня в доме живёт Иосиф из Фаута. Вот этот провисел на кресте три дня! Здоровенный детина и с невероятной жадной жизни.

Я его спрашивал: «Сильно страдал на кресте?»

А он мне: «Первый час было больно и страшно, боялся что задохнусь, а потом привык. Там подпорка такая под мягкое место сделана, можно на неё присесть — и легче дышится. Хорошо, что повесили не вниз головой, а то бы точно не выдержал».

— Избавь бог, — Филипп положил руку на сердце.

Томимый плотной пищей и усталостью от долгого перехода, я вдруг потерялся и уснул. Но голоса ещё не стихли.

— Хотелось бы взглянуть хоть одним глазком, — говорил Филипп.

— Посох как посох, — говорил Иуда, — ничего необычного. Я сразу догадался, почему ты явился ко мне.

Сопrotивление (упражнение) тридцать четвёртое:

Столовая ложка перекиси водорода — на стакан воды. Пятиминутное восстановление дыхания. Три глубоких вдоха и выдоха. Сидел, опустив руки на колени, пока не почувствовал, как из ступней, пробив пол золотистыми всполохами, полезло нечто похожее на нити. Дальше — уже лёжа, скрестив ноги, вообразил, как огромный энергетический шар пожирает меня, начиная с головы. Шар чавкал с наслаждением.

— Где мы? — спросил я у Бэса.

— Ты в монастыре Святой Екатерины. Там, где тебе надо быть. Теперь в монастырь Святой Екатерины ежедневно организуется нашествие многотысячной толпы туристов. А совсем недавно, когда Константин Тишендорф выкрал для царской русской фамилии Синайский Кодекс, здесь даже центральные ворота не принято было отпирать, и сами постояльцы поднимались наверх, в обитель, в огромной, но ненадёжной корзине для фруктов. Это — островок веротерпимости, как говорил о монастыре Лео Дойель. В его стенах нашла приют мечеть, которую воздвигли монахи, чтобы смягчить гнев султана Османской империи, Селима 1-го, когда не сумели вылечить одного греческого монаха, к которому властелин питал нежные чувства. На самом деле, мечеть была построена по

распоряжению пророка Мохаммеда. Я знавал этого усталого, щуплого человека, с припадками эпилепсии, которые участились у него к концу жизни.

Удивительно практичный был пророк. Однажды случайно услышав библейские истории, он с постоянным упрямством пересказывал их своим родственникам и знакомым. «Библия» съела Мохаммеда изнутри. А он всё распевал и распевал, придумывая какие-то новые сцены и по-новому творя выводы. А как он боготворил Мусу-Моисея! Как уверовал в Посох Адама, в чудеса, творимые Моисеем благодаря наследному Символу Власти!

С небольшим отрядом сторонников Мохаммед напал на караван, перевозивший Посох Адама из Византийского Ура в Мекку, и силой овладел жезлом. После чего прибыл в Мекку, семь раз объехал на любимом верблюде Кааб и семь раз коснулся Посохом священного камня. И вернулся в новой ипостаси Аллаха на землю старый бог Элохим и его главный пассионарий — Мохаммед.

Так крепко был Мохаммед повязан с Моисеем, что, когда пришло время возноситься на небо, он прибыл на верблюде именно сюда, к стенам монастыря Святой Екатерины. Недалеко, на скале, остался мозолистый отпечаток лапы верблюда.

Когда я осмелился предположить, что дух Мохаммеда поднялся в небеса, а тело осталось здесь, и спросил у одного добропорядочного монаха: «Могут ли среди черепов и костей, сложенных, как огромная поленица в оссуарии, находиться останки Мохаммеда?», он только отмахнулся: «А кто он такой? Имя-то какое-то не греческое. Вот скелет Святого Стефания известен! Он стоит стражем у входа в садовый склеп во всём своём одеянии».

— Однако он стоит ещё и как напоминание о том, что мусульмане всегда с большим почтением относились к вере в Христа. А все другие концессии к мусульманству относятся с животным страхом. Враги появляются легко и сразу: как только мы начинаем искать оправдания своим нелепым поступкам. Так устроен человек.

Это хорошо знал египтянин Моисей, когда стоял здесь, возле Неопалимой Купины, и разговаривал с Богом: «Кто ты, назови своё имя?» — спрашивал недоверчивый Моисей, памятуя о том, что, узнай он тайное имя Бога, стал бы обладать властью над Ним — как однажды Изида узнала тайное имя Ра и чуть было не сгубила того хворями).

Но Бог попался Моисею упрямый и хитрый, как еврей. А имя его первородное было такое же, как и при Осирисе. В книге «День при восходе солнца» Осирис несколько раз повторяет это имя.

Между прочим, археологами найдено семь фрагментов тела Осириса. Правда, два уже утеряно вновь — так мне говорил Бэс.

Разве могла негритянка Сепфора перечить своему мелкорослому, страшно заикающемуся, сильно облуплённому, забелённому проказой и усыпанному струпами супругу Моисею? Как не могла негритянка Изида упрекнуть Осириса в измене с сестрой Нефтидой.

Оба, Осирис и Моисей, были сильными личностями, поскольку такими их хотели видеть жёны. Осирис через самопожертвование «предал» своего брата Сета. Моисей предал своего брата Аменхотепа IV — Эхнатона.

Такие аналогии хотел проводить Моисей, но получилось наоборот, как ни крути. По любым сравнениям он больше почему-то походил на Сета. Моисей был младшим братом. И после убийства царя — сына бога Атона — у него, Моисея, началась непримиримая война с Нефертити за овладение престолом.

А кто она такая, эта первая супруга Аменхи? «Ну что, пришла красавица» — вот её первое имя, данное простолюдинке царём Аменхотепом III.

Это они вдвоём, Моисей и Аменхи, продумывали до мелочей их общего бога Атона. Это они отделили зёрна от плевел, свой великий народ от всякой примеси, пришедшей на их землю из-за реки, и посвятили в истинную веру свой избранный народ. Построили для них новые города и самую красивую столицу, которой не было и не будет равной в мире. Казалось, что вся власть мира была в их руках. Ещё бы два-три года — и единый Солнцеликий Бог принял всех жителей земли Кему в свои объятия. Гарантами бога выступали его сыновья — Моисей и Аменхи. Если бы не та нелепая неосторожность на охоте.

Говорили, что Эхнатон упал, подвернув ногу, и ударился затылком о камни. Ерунда! Моисей-то знал, что это был хорошо продуманный Нефертити акт возмездия. Через наймитов она помогла Эхнатону скорее встретиться с отцом на Елисейских полях. А через семьдесят дней Нефертити предъявила Вэну (Фивам) «Утробное право», по которому ей предоставлялось опекунство над принцессой, до вступления той в брак и передачи всей власти будущему зятю — царю Кему.

Моисей, в то время носящий ещё тронное имя Асарсет, был вынужден позорно бежать в Нижний Кему. Вряд ли Нефа оставила в живых главного жреца, Великого посвящённого и младшего брата своего бывшего супруга-еретика. Слишком одиозная фигура!

Взятое Нефой мужское тронное имя с пятью восходящими солнцами-картушами давало ей право распоряжаться жизнью и судьбой Асарсета как ей заблагорассудится. А высказанное им мнение, что, мол, сколько бы Нефа ни пыталась привязать к подбородку синюю бороду, всё равно её ждёт забвение, как когда-то Хошоп-Хотшепсут, до Нефы донесли быстро.

Много глупостей наделал Асарсет, закипевшая в нём злоба скорее была обращена к самому себе. Не сумел он вовремя пресечь далеко идущие планы бывшей супруги старшего брата.

Но оставался ещё в Верхнем Кему целый клан соглядатаев, которые тихой сапой принуждали Нефу сдавать свои властные позиции. И это в то время, пока Асарсет под видом того, что посвящается в таинства пирамидных жрецов, жил припеваючи, даже женился на дочери своего наставника Афора и получил от того в наследство некий предмет — жезл бога, утерянный ранее Тутмосом IV.

Кто умел терпеливо ждать, тот вознаграждался Золотой Мухой — почётным орденом фараона (дома царя).

Практиковался такой метод лечения: накладывали повязку с личинками мух на гноящуюся рану, и личинки за неделю выедали весь гной, давая возможность организму самому восстановить живую ткань. Моисей терпеливо ждал, когда его соглядатаи и сексоты окончательно выгрызут всю гниль из тела Египта.

Нефу всё-таки вынудили принять ошибочное решение: выдать замуж одну из дочерей за ненавистного ей пасынка Тутанхатона. Даже её доводы о кровосмешении не помешали. «Осирис тоже был мужем и братом Изиды и Нефтиды».

Тутанхатон был сыном Эхнатона и той стервозной наложницы Йие, которую царь предпочёл в последние годы правления. Почему? Если сослаться на формальные причины, то для сына Бога они были оправданы — Нефа не могла родить ему сына, хотя по «Утробному праву» наследование престолом после смерти отца только через дочь переходило к мужчине, зятю покойного. Не так уж Эхнатон и нуждался в сыне.

Другое дело — Нефа потеряла ту прелесть, которую искал и находил в ней раньше её муж.

Вкусы у него были извращёнными. С годами её тонкая шея пропала, лицо округлилось, тело утерало детскую угловатость, а жировые валики на боках превратили её в эталон женской красоты для всех египтян — но не для Эхнатона, женоподобная фигура которого стала копией фигуры Нефы. Прелести Нефы царя пугали, поскольку он всё больше находил в ней черты своей матери: и в линиях лица, и в конституции тела, и в несносном характере, постоянном недовольстве жизнью, беспричинном страхе и подозрительности.

Эхнатон мог избавиться от Нефы без проблем и сожаления. Однако богобоязненный царь даровал ей великую милость — оставил ей обеспеченную жизнь и возможность видаться с дочерьми. Более того, распорядился, чтобы придворные художники, реалистично изображавшие в своих творениях Ийю рядом с царём, подписывали под портретом новой супруги имя Нефертити. «Ну что, пришла красавица»... и съела?

А вот пасынок, едва став царём, не пожалел. И с особой жестокостью расправился с опекуней — тёщей и мачехой. Под утро несколько надёжных жрецов, которым молодой царь позволял по большим праздникам разламывать после себя хлеб, пробрались в покои Нефы. Она сильно кричала, когда ей выкалывали глаза и обрезали уши, потом рвали рот и, уронив с постели, ломали ногами грудную клетку. Её крики были слышны во всём дворце.

Через день молодой царь объявил народу, что вернулся великий бог Амон и расправился со всеми своими обидчиками. Сам он не пострадал только потому, что Бог нашёл в молодом царе своего сына и вернул ему настоящее имя — Тутанхамон.

И надо же было Моисею именно в это смутное время вернуться в Египет. Кругом враждебные лица, откровенное неуважение к Великому жрецу и Великому посвящённому, насмешки над их с Эхнатоном единым Богом. А сколько радости было в жителях из-за того,

что им вернули сотню старых и лживых богов. Имена многих из них Асарсет не хотел вспоминать, а Моисей готов был плюнуть в их бараньи морды.

Но Тутанхамон встретил дядю на удивление приветливо: позволил ему и его семье поселиться во дворце, а в комплексе дворца оставил нетронутыми храмы, посвященные единому Богу Атону: «Молитесь, дядюшка, диску с руками!»

Но не солнцу молился Моисей, и не такого примитивного понимания хотели в своих потомках дед Тутанхамона, отец и дядя. В конце концов, при желании можно молиться и на грозовую тучу, если представить, что это часть необозримого и единого Бога.

Сонмы богов Египта имели образы и лики. А значит, всякая чернь могла низвести бога до себя, сравнить с собою, позволить себе и всем роптать на бога за бездействие и нежелание одаривать человека своей милостью. А если притупилось истинное понимание бога, то государству грозит гибель. Величайшая милость Бога — смерть — превратилась в величайший страх и наказание египтянина. Кому нужен такой равнодушный к жизни бог? Есть уже в Елисейских полях их земляк Осирис, он не даст в обиду. Здесь же, на земле, пусть хоть сам Сэт правит. Тоже, между прочим, бог.

И очень скоро действительно придёт на трон семит с другого берега и объявит себя Сэтом. И все станут поклоняться ему и верить, что бог пустыни несколько не хуже бога Барана, и повально начнётся выискивание в своих родословных семитских корнях.

— Радуйся жизни, Асарсет, — повелевал Моисею молодой царь, — у меня есть молодость и власть, данная богами — пасти народ мой на земле. У тебя — опыт и тайные силы повелевать богами. И вместе мы велики, как Бен-Бен Горизонта.

Тутанхамон вопреки своему статусу царя не прошёл даже первой ступени посвящения. Он не мог раз в 72 дня прийти в пирамиду Горизонта, чтобы выплеснуть из себя всю грязную и чёрную энергию, накопленную людьми в двух землях Кему, и вобрать, как конденсатор, космический луч жизненной энергии, которую он должен регулярно передавать жрецам, а те, в свою очередь, всем прихожанам мужского пола. Даже бледное подобие такого луча превратило бы юношу в горстку пепла — не помогли бы никакие ухищрения из золотых нитей, вплетённых в головной убор, и защитные покрывала на каменном лежаке Великого посвящённого. Во всём мире остался только один посвящённый, который мог восстановить Маат и вернуть жизненные силы египтянам — Моисей.

Тутанхамон сознавал свою никчёмность и недоразвитость в сравнении с дядей, Великим посвящённым. Это сознание поднимало в нём такие бури ненависти и беспощадности, какие он мог испытывать только к своему злейшему обидчику. Но он понимал, что кроме Асарсета никто из жрецов не в силах выполнить то, что обязан делать царь Египта: взять из Пояса Ориона и Сириуса тонкую энергию и материализовать её в благо, оставшись после всего живым и невредимым.

Тутанхамон пригласил Моисея на охоту. Хотя какая привязанность у хилого выроodka могла быть к охоте?

Дай бог дожить ему до себ-седа, 30-летия царствования, и пробежать полпути бодрствования. Тутанхамон, конечно, не его дед, который со ста метров пробивал стрелой навывлет медный щит. Изнеженные ручки, впалая грудь и голова по форме напоминали тех, пришедших с того берега.

Вот он, Моисей, в отца: маленький, коренастый, с крепкими, будто вбитыми в землю, ногами. И охотник заядлый, несмотря на то, что много лет в храмах его отучали и глушили в нём жажду к охоте. Да и за кем охотиться? Ни слонов, ни жирафов, даже упряжных. Одомашненных львов всех истребили. А дичь — это детская охота.

Ко времени, когда солнце уже начало палить нещадно, Тутанхамон дал команду заканчивать охоту и приказал ненадолго оставить их с дядей одних.

— Я хотел бы знать, — сказал он Моисею, — есть ли путь Посвящения, который можно пройти за год?

— Есть, — ответил заикаясь Моисей.

— А за месяц?

— Есть, — снова ответил Моисей.

— А за один день?

— Есть...

И после долгой паузы уточнил:

— Но я его не знаю. Поскольку даже самый длинный путь Посвящения, который я прошёл и которым иду до сих пор, вызывает во мне всё больше сомнений. Вероятно, этот путь неправильный.

— Моему народу неважно знать: правильный он или нет.

— Я тоже так думал, когда пас овец. Но случилось, что не мог найти пастбищ с сочными травами и приходилось резать одних, чтобы выжили другие и чтобы самому не есть мясо дохлого животного. Испуганный пастух страшнее раненого зверя в горах.

— Куда страшнее стадо без пастуха.

— Было б стадо, пастух всегда найдётся.

— Я знаю, к чему ты клонишь, — молодой царь махнул рукой, подал знак поодаль стоявшему визирю.

Тот с готовностью схватил опахало и подбежал к Тутанхамону.

— Нет-нет, возьми папирус и кисть. То, что я скажу, должно быть отображено в вечности и выбито в камнях храма Амона. Итак, ты знаешь, Асарсет, чего я хочу, но я не знаю, чего ты хочешь? Проси.

— Не умею просить. Мой отец, твой дед меня этому не учил. Но если я скажу, то словами твоего отца и моего брата: «Верни единого Бога своему стаду. Ради деда, который знал, что только вера в единого Бога вернёт силу и влияние страны Кему. Вернись и сам к нашему всемогущему и всепрощающему Богу, вернись от дряхлого и замусоленного ленивыми и жадными жрецами. Амон слаб. Так слаб, как сильны его предатели в окружении его. Совсем скоро придут в Кему чужие и свергнут с престола дряхлого Амона, а вместо него посадят Сэта и Асту, или неизвестного бога с головой животного. Так было. Были Сэлкет и Нейт, но члены их иссохли, и пришли гексосы и посадили своих богов в наши храмы. Амон — давно уже не бог египтян. Это пришлый бог. Он слабее любого недоделан-

ного шети. Даже Себек ближе мне по духу, чем Амон. Амон — он есть Атму. Солнце его зашло.

— Для чего ты мне всё это рассказываешь? — возмущился молодой царь. — Или ты думаешь, что я этого не знаю? Или ты думаешь, что я не знаю, как ты с моим отцом, мачехой и сёстрами извели всё золото, накопленное дедом? А где сейчас то золото, которое после смерти отца мачеха, прикрываясь тронным именем Хомерхеб, спрятала от меня и моего народа? Нет золота, нет силы у страны. Нет Кему без золота. Мой отец и твой брат был скупым человеком. Из-за его скупости мы потеряли столько друзей! Границы наши сузились в одну маленькую полоску. Кто восстановит былую силу Кему? Вы с отцом не думали о военных походах, вы не жили в храмовых библиотеках и искали знаний. Так поделись с наследником если уж не золотом, так знаниями. Мне теперь, а не вам, кормить и оберегать свой народ. Какому богу будут поклоняться через тысячи лет — мне это безразлично. Важно сейчас быть Богом и сыном Бога для народа, а не каким-нибудь пастухом. Амону мои слуги верят больше. Пусть он — Атму. Но у него три ипостаси: он и Хепер, он и Ра, он — Атму. Он един в трёх лицах, а я — его сын, как были сынами его и мой дед и мой прадед.

Моисей переложил в левую руку посох-кадуцей, некогда подаренный ему тестем, и стал поглаживать набалдашник в виде голов аспидов с открытыми пастьми.

Тутанхамон пристально следил за руками дяди, будто намеревался уличить Моисея в краже царского жезла из своей сокровищницы. Сильно приковывал внимание камень, вделанный в глазницу одного аспида. Сверкая, камень менял расцветку — от хищно-жёлтого алмаза с зеленоватыми прожилками до насыщенно-красного рубина, в зависимости от настроения хозяина.

Казалось, что глаз аспида налился кровью. Тутанхамон хорошо разбирался в камнях, а здесь растерялся.

После долгого молчания Моисей произнёс:

— Сыну бога незачем проходить путь Посвящения. Разве богу нужно учиться человеческим мудростям? Или сын боится гнева отца своего Амона? А может быть путь Посвящения — это такая же выдумка, как и сам Амон? Не кажется тебе странным, что ты, царь, объявивший народу, что получил в наследство от бога милость и помазание, тут же просишь эту милость у меня, простого смертного, изгоя, пастуха чужих овец?

Тутанхамон резко выпрямился. Лицо его вновь было таким, будто он мучился желудочными коликами. Сквозь отвращение он произнёс:

— Ты сам выбрал свою судьбу. Пастух должен пастить. Царь должен царствовать. Но пастух никогда не будет царём Кему. За это боролись сотни лет и победили мой дед и прадед и мой отец Амон. Что же касается моего желания пройти путь Посвящения, то это желание только оттого возникло, что осталась ещё кучка людей, обманутых мачехой. Считаю, что и Аменхоту втянула в ересь тоже мачеха. Эта горстка неверных ждёт моего позора и жаждет возвращения Атона. Или как теперь ваш бог у вас называется?

Этон, Элтонхи, Элохи? Этому не бывать! Ты, пастух, возьми своих овец и паси их не в моём Кему. Паси их так, чтобы дороги наши не пересекались. Паси и радуйся, что тебе и твоему стаду дарована жизнь...

Тутанхамон рассмеялся.

— ...Долгая и мучительная жизнь в горной пустыне. Пока вы все не вымерете или не приползёте обратно ко мне просить милости и милостыню. Мой народ проживёт без посвящённого пастуха. Посмотрим, сможет ли посвящённый пастух выжить со своим стадом без Кему.

— Мне жаль, что ты говоришь не своими словами, — ответил Моисей. — Но раз уж решено твоими приспешниками погубить Кему, то эта страна погибнет. Так уж лучше без нас. Больно смотреть мне на тебя, больно видеть обманутого. Что я ещё могу сделать для своего племянника? Ну, может быть, ради отца твоего и моего брата показать тебе, что значит настоящая божья милость, которую познал я за все годы обучения магии и тайных знаний?

Он размахнулся и ударил посохом молодого царя. Ударил искусно, так ударил, что голова окаменелого змея с открытой пастью укусила Тутанхамона в затылок; прямо в срез уродливо вытянутого черепа.

Молодой царь от неожиданности упал на колени. Охрана, схватив оружие, тут же подбежала к царю, но Тутанхамон поднял руку и остановил охранников:

— Живи и мучайся, Асарсет!..

Тутанхамон издевался над дядей.

Согласовывая тронное имя Асарсет с текстом древнеегипетской библии, молодой царь приказал выдать Мусе 14 раз по 72 человека. 72 — это число предателей, которые заколотили Асара (Осириса) в ковчег и залили свинцом. А 14 — на столько частей было расчленено тело Осириса его братом Сэтом. Всего — 1008 голов. Из них, кстати, только 666 человек были приверженцами нового Бога. Остальных Тутанхамон распорядился отрядить Моисею в довесок, как больных проказой и просто как отбросы государства двух земель. У самого Моисея лицо и тело тоже были усыпаны струпами, но Моисей знал, как бороться с недугом — так же, как знал он и то, что молодой царь не протянет больше недели. Головная боль и гематома, образовавшиеся после удара посохом, обрекли Тутанхамона на бессонницу. В этом и заключалась милость Великого Посвящённого. Смерть. Всё, что мог сделать Моисей в память о брате — это избавить от позора племянника и посвятить того в высшую милость Бога.

Глава четвёртая

Дорога, вымощенная благими намерениями, каждый раз приводила меня в гостиницу «Москва».

Цели моего пребывания в столице мне были не совсем ясны. Я подписывал какие-то бумаги, контракты, встречался со старыми знакомыми и ненадёжными партнёрами, которые говорили за глаза обо мне так: «Олег, конечно, хороший парень, но для Москвы — никудышный бизнесмен».

Я и сам понимал, что затея строить бизнес в Москве столь же ветрена, сколь безумна. Плодотворнее было копаться в мусорных мульдах в поисках утерянного кем-то миллиона долларов. Все москвичи хотели денег, а я, помимо этого, мечтал ничего не делать и, лёжа на гостиничном диване, дожидаться, когда деньги на меня посыплются сами собой. У меня ведь в руках был дневник неизвестного. Интуиция подсказывала мне, что неизвестный нашёл Посох Адама, надёжно Его перепрятал и занёс сложным, кодированным письмом в дневник место нахождения тайника. «А Посох Адама, — наивно полагал я, — символ и действенное орудие власти. Орудие, которое реальнее и волшебнее всякого Ковчега Завета, Чаши Грааля, Велесовой Книги и ещё полутора сотен артефактов. При удачном исходе прибыль от продажи Посоха может исчисляться миллионами зелёных».

Меня мало беспокоили даже газетные вырезки, давно подброшенные мне кем-то в почтовый ящик. В них говорилось, что когда-то в Индии был обнаружен череп Адама: два индийских мальчика, уместившись в нём, качались, как на качелях.

По расчётам британских археологов рост первого человека составлял тридцать метров. Можно представить, каковы были размеры той палки, которую вручил Господь Адаму, выпроваживая того из Райского сада. Бог просто выдрал с корнем Азиатский кедр и обозначил Его символом Власти.

«Чепуха, — думал я. — При всей сказочности и невероятности узванного можно предположить, что за тысячелетия пребывания на грешной земле от первоначального Посоха отщепили кусок или Он сильно усох и почернел». Если верить Ветхому Завету, уже Ной имел нормальный, среднестатистический рост, а неприкаянному скитальцу Аврааму Посох едва доставал до подбородка.

В общем, с толку небылицами меня уже было сбить трудно, я имел конкретное представление о Посохе и, казалось, смог бы отличить Его от подделки.

— Мы привыкли жить обманутыми, а правду о себе узнать ленимся, — сказал мне бывший заместитель прокурора одного из районов Москвы.

Мы сидели в моём номере и полоскали рты хвоей, то есть мешали джин и тоник, с восхищением выявляя в себе цивилизованные гены западно-европейского алкоголика. Нам было хмельно и приятно.

— Знаешь, Олег...

Хлебнув джина, зампрокурора заморозил взгляд на своей руке. Кисть руки красиво обхватила гранёный стакан, для завершенности рисунка не хватало оттопыренного мизинца. Но зам. сомневался: интеллигентно это выглядело бы или пошло?

— Знаешь, Олег, — повторил он и оттопырил мизинец, — я, как яркий представитель «кинутого» поколения, только что подумал... — Мизинец спружинил обратно. — ...Что какие-то тайные общества и аномальные силы умышленно пытаются увести нас в сторону от истинных знаний. А мы и рады, а мы и довольны, а нам всё по фигу...

Мизинец опять оттопырился.

Меня должно было насторожить это заявление, поскольку такой яркий представитель «кинутого поколения», как Влад, без корыстных побуждений и извилиной не качнёт. А тут — с танцевальным сопровождением мизинца — выдал аж три... не вопросительных, не прокурорских, не лишённых логики предложения! Но я попался, как попадался всегда на лесть и сочувствие всякого рода. Слаб человек и неосторожен. Особенно я. Много раз говорил себе, что грабли придуманы не только для того, чтобы на них наступать. Столько же раз убеждался в том, что собеседнику не интересно и скучно выслушивать идеи, не согласующиеся с его представлениями о мире, не согласующиеся с моральным кодексом конформиста, бывшего строителя коммунизма.

Я быстро и захлёбываясь выложил Владу все секреты, касавшиеся Посоха Адама, рассказал о дневнике неизвестного, о том, что мне уже удалось перевести, вкратце пересказал известные работы Гурджиева, Успенского и даже Кесслера, добавил мистерии Изиды, тоску Зароастра и друидов, арифметическую и математическую школы Пифагора, заунывные мотивы Орфея смешал в одну массу и горячей лавой выплюнул на собеседника.

Влад остался доволен. Он быстро просчитал, какое практическое значение для него могло иметь моё словоблудие и как эффективно можно будет использовать мои слабости в качестве оружия против меня в дальнейшем, когда я непременно превращусь в его врага.

— Сколько этот жезл мог бы стоять на «Сотбисе»? — мечтательно спросил Влад и посмотрел на меня так, как обычно после удачного процесса смотрит прокурор на приговорённого к пожизненному заключению невиновного.

— Бог знает, — вычурно сказал я. — Сколько стоит жизнь цивилизации? А в какие деньги можно оценить историю, культуру, эволюцию человечества? Миллион жизней не стоит одной палки так же, как кадуцей не стоит и одной человеческой жизни!

— Кровавая история? Наверно, Иван Грозный Посохом завалил своего сына?

Почему Влад не к месту вдруг вспомнил об Иоанне Васильевиче? Будто знал, что я в дневнике неизвестного дошёл до того места, когда Софья Полетик вместе с приданным в виде огромной библиотеки завезла в Русь и Посох Адама, обозначив тем самым Московию Третьим Римом.

— Не убивал Ванюшка сына ни Посохом Адама, ни каким другим архиерейским посохом.

— Сам умер. От удара... апоплексического, — едва успел объявить Влад — и в комнату ввалились трое незнакомцев.

Почему-то незнакомцы всегда возникают неожиданно: в отутюженных костюмах, при галстуках, с модными бандитскими стрижками и кастовым величием на одинаково усталых рожах.

Следом, точно matka-авианосец, окружённая эскортом, вплыла в комнату старая знакомая проводница поезда Москва-Берлин.

Я прошептал: — Сейчас она прикажет: «Откройте мне веки!»

— Кто из них? — спросил у проводницы самый лысый и печальный.

— Это вы? — в свою очередь спросила она у меня и пояснила присутствующим: — Он был тогда худым и наглым.

— Значит, точно — не я, — сказал Влад, — я здесь лишний. Мне можно выйти?

— Можно, — опрометчиво решила тупая проводница выпустить на свою голову из поля зрения бывшего заместителя прокурора.

Троица показала мне удостоверения. Двое были работниками ФСБ, а третий — представитель ФАПСИ.

— А при чём здесь ФАПСИ? — удивился я. — Вы же не «топтун», вы же должны заниматься «прослушкой».

— А при том, — зашипел на меня самый лысый и печальный и положил на стол пистолет, — что, если не подпишешь контракт, то мы тебе прострелим ногу. Скажем, что это была вынужденная мера при самообороне. А через год-полтора, когда попытаются разобрататься и выпустить тебя из Лефортова, может быть прострелим и другую ногу. Что, ссыкотно?

— Спасибо, — сказал я. — До начала пальбы рукоприкладствовать будете или ограничимся словесной перепалкой?

— Читай контракт и подписывай. Мы не бандиты, у нас всё серьёзно.

Я стал читать и с интересом узнал, что несколько лет назад приобрёл 2880 грузовых автомобилей у фирмы с названием, скажем, «Гадский папа». Приобрёл, но не заплатил. Контракт должен быть подписан мной задним числом: пять лет назад. Значит, я ещё должен был выплатить неустойку, проценты по просрочке, штрафы и т.д. Всего — почти 9 миллионов долларов США.

— Скромно вы, ребята, оцениваете реликтовую древесину, — осмелился предположить я. — У вас пальцы не залипнут при пересчёте денег?

Самый лысый и печальный схватил со стола пистолет, эффектно передёрнул затвор и щёлкнул предохранителем:

— Ногу подставляй! Сердцем чую — стрелять надо!

— Будет обидно, если я умру у вас на руках от болевого шока или от потери крови!

Последние слова я выкрикнул, потому что увидел, как из «ничего» вдруг в номере проявились люди в масках и камуфляжной форме. Из-за их спин с восторженным любопытством выпрыгивал Влад.

«Молодец, быстро он сработал», — успел подумать я, утыкаясь лицом в пол.

— Свои! Свои! — орала троица, и за это признание «маски-шоу» пинали сотрудников ФСБ и ФАПСИ с удвоенной силой и удовольствием.

— В Лефортово разберутся, — причитал Влад, — кто свои. Бабу тоже пакуйте!

Когда всё стихло, я продолжал лежать на полу. По-за оказалась самой удобной для снятия стресса.

Когда я сильно волнуюсь, я моментально засыпаю. И тогда я, видимо, уснул. Сквозь сон я слышал, как Влад бубнил себе под нос: «Свои? Свои на самом интересном месте не прервут мирную беседу и бутылку позволят допить до конца».

Ближе к полуночи, когда мы дважды протрезвели от количества выпитого джина, — печени, верно, уже превратившись в джин-тониковые меха, фальшиво сигнализировали мозгам о нормальной работоспособности организма и отсутствии посторонних веществ в крови, — и спустились вниз, чтобы с двумя знакомыми из Нальчика выпить по триста водки и расписать пулю, Влад предрёк:

— Эти трое и баба от тебя не отстанут. Убивать, конечно, не будут, но в тюрьме посидеть придётся, пока не отдашь им то, за чем они приходили.

— За чем они приходили?

— Тебе лучше знать.

— Лучше или хуже... Мне бы просто знать.

В тяжёлых раздумьях мы расписали пулю, но доиграть нам не дал дежурный милиционер. Он опрокинул стол вместе с колодой карт и водкой, развернулся и с чувством выполненного долга двинулся в свою «конуру».

— Ты уволен! — бросил я ему в спину вместе с пластиковым стаканом: — Завтра на работу можешь не выходить!

— Он вас от нас ограждает. Предостерегает, — скажи знакомые из Нальчика.

— Или вас — от нас, — решил я.

— Нет. Вы только уважение вызываете. Мы три ночи ходим возле вашей комнаты на цыпочках, а вы всё пьёте. Вы когда-нибудь спите?

— Спим, но пить не забываем.

— А я забыл, — очнулся Влад, — в какой город я уехал в командировку? Жене надо позвонить.

— В Нальчик.

— А вчера?

— Не помню. В крайнем случае, скажешь, что сегодня переехал в Нальчик, срочно вызвали.

— Не поверит.

— Чего захотел! Когда женщина верила мужу? Она сильнее не поверит, если ты скажешь, что находишься рядом, в десяти километрах, залитый алкоголем, загазованный табачными выхлопами, придавленный проститутками и проигравший в карты половину состояния тестя.

— Когда я всё успел?

— Мы же говорим, — подтвердили знакомые из Нальчика, — вы только уважение вызываете!

До утра Влад так и не позвонил домой, но упорно продолжал себя винить и обзывать нехорошими словами: «Я — последний рудимент ячейки общества. Любитель злочных мест и, наверное, переносчик венерических заболеваний. Снести бы к чёртовой матери эту гостиницу, эту клоаку, а на её месте возвести здание Пенсионного фонда Генеральной Прокуратуры РФ.

«Хорошая идея, — подначивал я, — предложи «Глобусу Москвы» свою кандидатуру. Мы только гостиничной бронзы и дубовой мебели распродадим на сто лимонов. А дальше — хоть подземный переход пусть строят. Не жалко».

Потом Влад ушёл в гостиничный буфет и скоро вернулся повеселевшим, с початой бутылкой джина и забавной новостью — дежурного милиционера уже уволили без выходного пособия. Не договорив до конца, он грохнулся на кровать и стал пускать пузыри во сне.

Я достал из дорожной сумки Дневник неизвестного, раскрыл его наугад, чуть дальше середины, и попытался перевести и усвоить сложное Сопrotивление, которое не вязалось с фабульной конвой всей истории записанной неизвестным ранее.

Глава пятая.

Не полностью расшифрованные записи из дневника неизвестного.

Сопrotивление (упражнение) сороковое:

Отвар из листа салата Латука, двух цветков зверобоя, кубика корня Дракона, двух капель смолы шелковицы, высушенной косточки в форме лопатки от ночной жабы, пойманной в страстную неделю и раздавленной большим пальцем правой руки, корня «кособрылки» выпить на Ивана — Купала.

После принятия отвара лечь на левый бок. Затем принять позу покойного и сделать ещё двадцать глубоких вдохов. Имитация смерти. После появления «проводника» поблагодарить его и попросить, чтобы он показал начало твоей смерти.

Проводник, а это был Бэс, сидел у меня на правом плече и жевал пихтовую смолу.

«Умереть, чтобы вспомнить? Странное у тебя представление о мозгах, — усмехался египетский божок. — Ну, если ты такой путанный, то получи картинку!»

«Итак, впервые я умру, когда мне исполнится 25. Всё точно по предсказанию одной деревенской колдуньи-векши, у которой за девять лет до моей смерти мы организованной группой подростков крали на огороде Кузьмичёву траву.

Умру я так: пойду быстрым шагом по улице, и на меня упадёт утюг. Я буду не местным, и потому не смогу знать, что утюг задолго до меня вылетал из окна пятого этажа с регулярной периодичностью. Но, как правило, безобидно, пока не нашёл в моем лице исключение.

Векша предрекала: «А самое обидное, что никого не накажут. Ну как можно наказать умопомешанного, Он ведь, как ребёнок: бросил — попал, не попал — опять бросил».

Векша в деталях рисовала образ убийцы: «Он такой крупный, самодовольный мужчина, который никак не расстанется с мыслью, что жизнь по-настоящему ещё так и не начиналась, что строго выстроенные в систему удачи — это лишь мизерный аванс его судьбе, счастье в двух шагах, а богатство — рудимент, примос-

тившийся в нём с рождения, как блёклое родимое пятно.

— Зачем мне всё это знать? — спрашивал я колдунью.

— Пока не знаю, — отвечала она, и подливала в пиалу самогон — Но если говорю, значит — надо!

Мы пили деревенский самогон, точно шурпу, отхлёбывали вонючую жидкость из пиал вместе с кусками хлеба.

— Правда, что векши ночью превращаются в чёрных собак с фиолетовыми глазами?

Это уже интересовался Герасик. Спрашивал он вяло, без любопытства, но с тактичным намерением указать что не просто так, а с благодарностью глушит чужой самогон.

— Насчёт фиолетовых глаз ничего не скажу, не знаю.

Содержательные ответы старушки здорово нас смешили, поскольку близко походили на стандартные ответы учительницы по истории:

«Надежда Макаровна, правда, что Ленин умер от сифилиса?»

«По поводу кончины Владимира Ильича ничего сказать не могу. А в учебниках написано: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»

Значит, сифилис всё-таки был, и фиолетовые глаза — тоже. За девять лет нас научили в школе задавать вопросы только таким образом, чтобы в них самих уже просматривался ответ. Но высшее мастерство — это повествовательная женская речь, которая состоит из 99% вопросительных предложений. Оставшийся процент — на совести натуральных блондинок, которым всю жизнь необходимо доказывать, что они — не конченные дуры.

Почему-то я хотел высмотреть в старушке фиолетовые глаза. Обронённое Герасиком слово упало на благодатную почву. Я напряженно всматривался: грязная лампочка без абажура под потолком разбрызгивала свет рыжими пятнами. Эффект был таким: источник света создавал тени. Всё пряталось в тени её обители.

— Вы, юноши, дерзкие, но добрые и бестолковые, — несколько раз за ночь повторяла колдунья. — Зачем вы сожгли вчера Векшин лог?

Мы и правда жгли сухие кусты можжевельника вчера ночью, но зачем? Разве можно объяснить поступки, причины которых кроются в коллективном психозе? В благородном порыве повеселить свою компанию?

— А зато мы, бабушка, выше тебя на забор писаем, — парировал Герасик.

— Ты так хамишь потому что боишься меня?

— Если бы я боялся, то не дал бы дёру с огорода, как остальные. Мы остались вдвоём: ты пригласила, и мы пошли.

— Я не тебя звала. Ты остался только из страха.

Из страха перед векшей остался я, но не Герасик.

«Как она воплотилась на пороге своего дома — никто не видел. Мы рвали и рвали Кузьмичёву траву, мы купались в предвкушении черёмуховых косточек. Нас было шестеро. Но лишь по мне, будто я только отлил, пробежал лошадиной дрожью страх. Я стоял к ней спиной и видел болезненно-отрешённое выражение

на её лице. Так смотрел Христос на воробьёв, когда те подносили в клювах к кресту гвозди, и кричали: «Жив, жив, ещё жив!». И если быть откровенным, то после вскрика «Шухер!» я от испуга потерял ориентацию и бросился в противоположную от убегающих друзей сторону. А Герасик — за мной: то ли из солидарности, то ли из намерения посоревноваться. Векша едва успела пинком открыть дверь, мы, отпихнув её в сторону, влетели в дом, уселись за стол, и Герасик объявил:

— Ну, старая, наливай!

Не скажу, что первая встреча с векшей чем-то нас обескуражила, напугала или хотя бы немного изменила представление о таинствах параллельной жизни существ с клеймом колдуньи. Мы воспринимали рассказы о векшах как страшные сказки для старшего дошкольного возраста: они собирались в логу раз в год и варили в огромном котле новорожденных, или перемещались во времени, как в пространстве, в любую сторону, превращались в чёрных собак или катались огненным шаром возле турбазы.

В шестнадцать лет мы хотели бояться, хотели ведрами выделять адреналин, уничтожать врагов соцреализма и друзей мракобесия.

На поверку оказалось, что векша — это добрая старушенция, которая напоила нас самогомом и пригласила к себе на следующую ночь, что, в принципе, только способствовало формированию в нас морального облика молодых строителей коммунизма.

Тем летом нашу компанию отец пристроил на туристическую базу завода. Мы поселились в двухэтажном коттедже на берегу Камы. Этот коттедж местные прозвали «Хохотальником» — скорее по той причине, что каждое лето там топырились непослушные сынки переходного возраста всей городской элиты.

Слава о «Хохотальнике» укрепила дурная. Местных и пришлых девок брюхатили без разбору, деревенских механизаторов спаивали, а потом за ворот рубахи подвешивали возле здания Сельского совета на Доску Почёта.

Менялись поколения оболтусов, и менялось начальство, но неизменно по утрам из очка уборной в собственном дворе председателя колхоза вылавливали вилы, которые чьей-то заботливой рукой были точненько пристрелены острием в большую мышечную массу. Много раз совместными усилиями пытались подкараулить злоумышленника, но безуспешно. Поэтому решили, что проделывают это сами председатели колхоза с какой-то тонкой и необъяснимой для крестьянина политической целью.

А когда-то, очень давно, кажется жизнь тому назад, когда не был ещё отстроен «Хохотальник», а на месте асфальтированных дорожек едва обтаптывались геометрической кривизной тропы от домика к домику, отдых на заводской турбазе считался действительно элитным. Дисциплина была выправлена по-сталински, рационально: за малейшую провинность или лёгкое подозрение в провинности можно было навсегда лишиться путёвки. За порядком следил одноногий директор, прозванный пацанами Капитаном Сильвером. У Сильвера числился на балансе трёхпалубный тепло-

ход «Красная Звезда» — любой отдыхающий мечтал получить каюту на нём, а не путёвку в коттедж, где-то на берегу. Говорят, что в 20-х годах на нём плавала сама Надежда Константиновна Крупская, с целью проверки местных учавемов; как проходит внедрение в массы её новая учебная программа, в основу которой входила, прежде всего, наглядность.

Несколько уроков ученикам здесь, на «Красной Звезде», она дала сама. «Смотрите, дети, вот — стул. Теперь напишем это слово — С-Т-У-Л. У него четыре ножки: чтобы было удобно что делать? Правильно — сидеть. Пишем следующее слово...» И дети аккуратно выводили слово: "Жопа".

На пароходе ещё ребёнком я во многих неожиданных местах находил выцарапанным слово «Жопа». Можно сказать, что с этого слова начались мои познания Великого и Могучего. Спасибо за это верной подруге вождя мирового пролетариата... И за «Красную Звезду», оставленную в наследие Советской властью в качестве неходового товара и символа гегемонии пролетария Сильвера.

Богатый и красивый был пароход — но в конце шестидесятых неожиданно разломился пополам и затонул в Каме.

А за два дня до этого умер капитан Сильвер. Ходили слухи, что незадолго до своей кончины он пристрелил чёрную собаку с фиолетовыми глазами. Мы с пацанами видели это ружьё: нам показывала его на похоронах дочь Сильвера, наша сверстница, и комментировала, надувая щёки: теперь, мол, на их семье лежит проклятье.

И правда: в десятом классе она родила дауна.

Покойный Сильвер был фиолетовым. Увидав его, я месяц не ел мяса.

Мы с Герасиком возвращались к турбазе по асфальтированной дороге, в обход. Можно было, конечно, напрямую, через чёртову гору. Но на вершине её стоял дуб, и его крона чётко вырисовывала абрис летящей на метле ведьмы. Слева слышался плеск воды из тёмной бездны Камы, сзади, в десяти шагах, догонял цокот женских туфель на шпильках, а справа насыщенный чёрным мазком нас сопровождала собака.

— Что она, издевается? — осторожно предположил я.

— Господи ты боже мой! — взревел Герасик.

И тут же, прямо по горизонту, над турбазой взметнулся золотой ореол света. За ним потянулась из-за холма громадная голова. Бог поднялся на ноги, он занял полнеба, и спросил:

— Чё надо?

— Курить хочу!

— На, подавись! — сказал Бог, швырнул нам что-то под ноги и так же неожиданно исчез.

— Я пошутил, я вообще не курю! — крикнул в восставшую тьму Герасик.

Но было поздно: из-за холма выскочила дежурная грузовая машина с надписью по борту «Продукты». Теперь света её фар хватило разглядеть под ногами россыпь кем-то потерянных сигарет. С хрустом и скрежетом железная масса, окатив нас волной прохладно-

го воздуха, умотала в город за утренним хлебом. Собака метнулась было за ней, но вдруг решительно развернулась в нашу сторону. В её глазах непостижимым образом отразился свет фар скрывшегося грузовика.

И тогда мы рванули к турбазе, повизгивая от страха. Я бежал быстро, сосредоточенно, но с ущемлённым самолюбием, поскольку считал себя хорошим спортсменом — а передо мною маячила спина Герасика. Через пару сотен метров он вдруг начал ещё и ускоряться, чем окончательно втоптал в грязь мою спортивную доблесть. Я потерял его из виду и в «Хотельник» «влетел в полном отчаянии.

В моём двухместном номере, натянув одеяло до носа, крепко спал Арслан — друг детства, приехавший погостить из Казани. Спать он очень любил и повторял часто: «Чем больше спишь, тем меньше нарушений. А с вами, уродами, хоть вообще глаз не открывай — налицо агония местного загнивающего социализма».

Но на свою беду он открыл глаза и пробурчал: «Здравствуй, слон в посудной лавке. Что случилось? Ты так дышишь, будто пытаешься лёгкие выплюнуть». Потом, разглядев, как я тычу пальцем в окно, отодвинул штору, нежно произнёс: «Вашу маму!» и тут же крепко уснул, упав с кровати обмякшим телом. Звук удара походил на сорвавшуюся с крюка на бетонный пол освежёванную свиную тушу — по канатной дороге в холодильную камеру.

В раздвинутых Арсланом шторках я увидел скребущую по стеклу снаружи старческую, усыпанную пигментной гречкой руку. Царапая ногтями стекло, рука сползала к подоконнику.

Мне вдруг показалось, что я отчётливо читаю на ладони сигнатуру в форме буквы "М"... такую знакомую, такую близкую мне, что я сразу успокоился. Посмотрел на свою ладонь и засмеялся. Сигнатуры на ладонях были как будто скопированы.

Я уже спокойно поднялся со своей койки, подошёл к окну, чтобы тщательнее сравнить ладони — но руки за стеклом уже не было, а вдали, будто в ускоренной перематке кадров, плыла по чёртовой горе старушечья фигура. Я замер, любуясь грациозной стремительностью её передвижений.

— Сойди с меня, придурок, — сказал Арслан.

Итак, я умру в 25. И это правда.

— Ты видишь только то, что хочешь видеть. И знаешь только то что видишь. Остальное — вне понимания. А остальное — это целый мир, — обращалась ко мне векша.

В эту ночь мы сидели у неё дома уже втроём. Она поила нас травяным чаем. Чай был странным по вкусу и заварен в какой-то деревянной посудине, больше похожей на медицинскую «утку». Посудина постоянно находилась на открытом огне, и именно моё удивление этим фактом послужило причиной раздражительного откровения векши. Она была старушкой неразговорчивой, а с нами приходилось говорить много, объяснять простые вещи, как детсадовским питомцам, и

постоянно уводить нас от той главной мысли, которая одним предложением могла бы открыть нам многие тайны. Она путалась, перепрыгивала с одной темы на другую и быстро теряла интерес к только что высказанной идее.

— Ты удивляешься почему не горит чан? Всё дело в дровах, — растолковывала она. — Природа земли — это природа любви. Здесь нет ничего неживого. Всё живое: камень, вода, растения, насекомые. Всё создано для того, чтобы содействовать друг другу. Содействие — это жизнь. А у жизни главная цель — это любовь. Но если бы всё вокруг содействовало со всем, то всё живое было бы совершенно и не надо было бы стремиться к любви, потому что в совершенстве цель давно была бы достигнута. И всё живое давно бы пришло к Богу и стало Богом. Хотя, в принципе, главная задача Всевышнего именно в этом и состоит. Для понимания можно взять такой пример: у вас разбился вдребезги кухонный сервиз. Чтобы восстановить его вы должны в точности подобрать к каждому предмету осколки и склеить их. Для этого вы должны окунуться в ещё одну природу — природу познания. Как вы сумеете восстановить побитую посуду — методом сравнения подбора или тыка — это другой вопрос. Но главное остаётся неизменным: каждый осколок должен содействовать каждому. Из того же сервиза, но другого предмета осколок никогда не станет сопутствующим элементом. Он будет врагом. Значит, враг в природе появляется только из-за отсутствия знания или нежелания усвоить природу познания. Чан у меня на огне не воспламеняется потому, что поленья наколоты из сопутствующей чану древесины. Если бы чан был выструган, скажем, из липы, он тут же бы вспыхнул, поскольку березовые поленья воспринимались липой не как сопутствующий, но как чуждый элемент.

Векша сняла с печи «утку», открыла крышку и показала бурлящую в ней воду.

— Я знаю деревья, сок корней которых превращает камень в кисель, — добавила она. — Этот сок не может причинить вреда ни человеку, ни насекомому. А вот камень с этим деревом сосуществовать не может...

— А что значит — содействовать? — удивился я. — И как можно поверить в то, что огонь не сжигает дерево только потому, что дерево содействует с другим деревом? Чуть какая-то!

— Для этого и существует природа познания вещей.

— И чему она меня научит?

— Ничему! Это не учение. — Её раздражали мои вопросы. — Во Вселенной не существует учения. Учение — это диффамация устоявшейся формы знания. А в мире нет ничего устоявшегося. Всё — движение. Даже Бог не может сказать, что он, как Совершенство, знает всё. Нет. И Бог находится в процессе познания, только сервиз у него побольше и осколки помельче. Он, в отличие от нас, знает начало и знает конец, поскольку то и другое создал Он. Бог был Создателем, а значит Совершенством. Но абсолют, то есть любовь, из чего он воссоздался, привели Его к акту милосердия. Он разбился на триллионы осколков, которые

ему опять необходимо собрать путём природы познания...

Мы помолчали.

— Н-е-е-т! — вдруг отмахнулась векша. — Не сейчас. Вы всё равно ничего не поймёте.

— Почему не поймём? — возразил Герасик. — Вот меня, например, вещи не любят. Я, как Господь, колочу всё вокруг вдребезги. И склеивать осколки не вижу смысла, всё равно потом опять расколочу.

Векша улыбнулась, точно нашла какую-то зацепку, и продолжила:

— Когда я была чуть постарше вас, мне тоже казалось, что меня вещи не любят. Я приехала из Ленинграда сюда по распределению учительницей в сельскую школу. В то время я самонадеянно считала, что произведу революцию в сельском педагогическом учении. Представьте себе такую столичную штучку, гордую, амбициозную...

С вокзала на попутке проехала километров двадцать. И ещё километров пять надо было пройти через лес пешком. Пока тащилась со своими чемоданами по тропинке, на меня сзади напал мужик. Изнасиловал и избил. И делал всё это молча, сосредоточенно, так, будто мстил мне за свою неудавшуюся жизнь.

Я едва доползла до дороги обратно. Не было сил, не хотелось ни двигаться, ни жить. Я лежала на обочине дороги и рыдала, пока не подъехала та же попутка. Шофёр, очевидно, слышал мои крики. Он вылез из машины, забросил через борт чемоданы. Потом так же, как и мужик в лесу, молча и сосредоточенно начал насиловать. Намотал мои волосы на кулак и долго издевался: то разворачивал на живот, то на спину, и с такой яростью ударял бёдрами, будто сваи вбивал. И всё время повторял: «Тебе же хуже будет, если кто узнает. Позору в деревне не оберёшься». Вот с чего мне пришлось начинать свою самостоятельную жизнь.

— И это был первый сопутствующий элемент, — съязвил Герасик.

— Как ни странно, но именно так. Через месяц благодаря шофёру весь район, конечно, уже знал, что со мной произошло в лесу. У меня тетради, мелки из рук валялись, я ненавидела всех вокруг, и больше всего — себя: за беспомощность, за невозможность мести. Но однажды ко мне в дом пришёл Парамон. Этого человека в деревне боялись все: и председатель, и юродивый пастушок Сёмка. Все. В округе его знали как чёрного колдуна. Такое порассказали...

— Вот это уже интересно, — вырвалось у Арслана.

Арслан припёрся за нами следом в надежде увидеть какие-нибудь ужасы, колдовские штучки и испугаться до полусмерти — будто одного обморока ему было недостаточно. Он, как наркоман, просто жаждал новых обмороков. Ну какие чудеса мог бы он узреть в своей Казани? Лязганье трамваев на улице Карима Тинчурина, юных бандитов, сбивающихся в кучки возле ресторана «Могильщик» или проделки сына секретаря обкома партии...

Арслан безропотно исполнял все пожелания хозяйки дома. «Пей!». И он пил огромными глотками кипяток, захлёбывался, но пил. «Сиди смирно!» И сидел, как загипнотизированный: лишь бы произошло чудо,

лишь бы опять рука поскребла стекло в окне «Хохотальника».

Большой нужды в его присутствии у старушки не было. Более того, я опасался за его психическое здоровье. Арслан был подростком впечатлительным, готов был поверить во всякую муру. Это свойственно рафинированным жителям крупных мегаполисов, в отличие от нас с Герасиком — горожан из большой и грязной деревни, в которой жителей чуть более ста тысяч на один ликёроводочный завод, кондитерскую фабрику и 3 предприятия оборонной промышленности: проснулся, выпил, закусил конфеткой и пошёл на смену «обороняться». Не жизнь — сплошное веселье.

Мне казалось, что от нехватки эмоциональных встрясок, что кишмя кишат в крупных городах, и придумывались разные страшилки в скучной, забытой богом и высоким начальством провинции. Мне же хотелось показать Арслану, что настоящая жизнь начинается здесь. Здесь основа, здесь изюминка. Здесь все друг друга знают если не по имени, то по милым пьяным рожам. Трезвый старше двадцати лет вызывал подозрения: или как шпион, или как антинародный элемент. В общем, Арслану мы позволили увязаться за нами. Лучше уж получить новые впечатления, чем опять по морде на турбазовской танцплощадке.

— Расскажите что-нибудь, пожалуйста! — канючил Арслан.

Векша отмахивалась:

— Да ну вас.

— По-жа-алуйста.

— Ну, говорили, например, что Парамон был хозяином озёрного Ёла.

— Это кто?

Тут уж я решил блеснуть знаниями:

— Это такое волосатое чудовище, которое живёт в местном озере. Купаться в нём по ночам нельзя. И молодым девкам близко подходить к воде воспрещается. Утащит в камыши — оглянуться не успеешь!

— А поболтать с ним можно?

— О ком, о девках? Никаких изменений в их физиологии за последние пару-тройку тысячелетий не произошло. А просто поболтать — для этого есть комсомольское собрание.

— Так вот, — прервала меня векша, — пришёл ко мне как-то Парамон и сказал: «Не держи зла на людей, дочка, не вынашивай в себе месть. Иначе всё это к тебе вернётся. Так лучше пусть вернётся к обидчикам твоим. Всё, что случилось с тобой — это плохо. Но это ещё не горе. Горе — когда такие напасти превратятся в твоих спутников. Забудь обидчиков. И плохое станет спутником обидчиков.

— Расслабься и получи удовольствие, — съязвил Герасик. — Так Парамон не говорил?

— Нет, — сказал я. — Наверное, он дал ей лимон, чтобы морда от удовольствия не расплывалась.

— Ты видишь только то, что хочешь видеть. И знаешь только то что видишь. Остальное — вне понимания. А остальное — целый мир. Это мир чудес, который ты должен увидеть, но тебе не дано, поскольку тебе лень даже попытаться проникнуть в природу по-

знания и обрести «содействующего». Все обречены прозябать в своём узком мире.

Нечто подобное мне сказал тогда Парамон. И то правда: если существует в природе естественный отбор, то он приведёт к гибели всего живого. Взять, к примеру, человечество. Оно живёт по шаблону: лень — источник прогресса. Всё началось с того, что кто-то решил облегчить работу мозга, придумав закорючки вместо слов, письменность. И мозг перестал расти. Зачем что-то запоминать, когда можно просто записать и, по мере надобности, пользоваться писаниной. Другой кто-то решил приучить желудок к несовместимым продуктам и положил кусок мяса на маисовую лепёшку. Третий, из лени и мечтаний, надумал быстро передвигаться в пространстве и изобрёл автомобиль и самолёт. Буквально все научные открытия человечества связаны с тем, чтоб только облегчить свою участь существования.

Кем-то однажды, наверное в шутку, предложенная задача, подразумевающая под собой в результате массовый психоз, непостижимым образом превратилась в норму жизни и обросла законами, оберегающими этот массовый психоз. Люди, зашторенные одной задачей и целью, превратились в предшествующую человеческой цивилизацию: термитно-муравьиную.

— Слушай, Герасик, а бабушка-то — лихо про цивилизацию...

— Да ну, ерунда, какая из муравьёв может получиться цивилизация? Скажи еще — цивилизация инфузорий тувельки.

— Величины для природы земли не играют никакой роли, — возразила векша. — Ты можешь себя представить ростом в тридцать метров, как первый житель земли Адам. А динозавров как пасущееся у тебя стадо овец? Нет? А равнорослым с древесным клопом? Я и говорю, что величина на земле не играет никакой роли. За несколько поколений из горы человек может превратиться в песчинку. И наоборот. Зависит от того, как и кого предпочтёт видеть земля в своих фаворитах. У всего живого равные возможности быть царями природы и насильниками земли. Всё зыбко в этой космической клоаке.

Я спросил, почему векша считает нашу планету клоакой. Она вместо ответа зачерпнула в ковш воды и поставила на середину стола.

— Сперва нужно приучить себя к простой мысли, что знания находятся не где-то, знания находятся внутри тебя. Мы уже рождены с абсолютными знаниями. Так заложено в нас Богом, и от этой Божьей милости никуда не деться. То, что «в миру» называется «учиться в школе, овладевать знаниями, приобретать опыт», на самом деле в природе познания определено как «будить свою память». Знания — это не что иное как воспоминания. Я даю тебе ковш и говорю, что в нём плещется вино. У тебя несколько путей: ты можешь поверить мне и, опьянённый, заглянуть в себя, или не верить, чтобы потом мучиться от желудочных колик и подозрений, что тебя отравила сумасшедшая старуха. А можешь испытать свои знания и поставить ковш на огонь.

Я выпил целый ковш медовухи. Герасик несколько раз сглотнул от зависти. Кадык у него шевелился, как мышь под шпалерами.

— Глаза, пожалуйста, не закатывай, — попросил он, — друзей не пугай! Тебе плохо?

— Мне хорошо. Ой, как мне хорошо!

Не уверен, что Герасик услышал меня, поскольку я отлетел уже далеко от векшиной избы.

Пробившись сквозь вязкую пелену, я нашёл свою прабабушку на краю обрыва в компании двух красноармейцев и карлика с большой головой. Очень красивая и статная дама, она объясняла карлику, что его подчинённый — мародёр. И показывала пальцем на худого, рыжего парня с синюшным лицом, на котором неестественно уживались большие сумасшедшие глаза заганной лошади.

В Великой борьбе за победу Мировой Революции, считал он, особого значения не имеет — каким образом досталась ему пара сапог: «Бандит и контра не хотел разуваться. Пришлось самому расстрелять и самому стянуть сапоги».

«Хорошо ты себя чувствуешь в сапогах покойника?» — интересовался карлик.

«В это суровое время кто себя хорошо чувствует? Хорошо только покойнику, потому что он ничего не чувствует».

«Сапоги верните, — требовала прабабушка, — мне они дороги как память».

«Обязательно вернём, если вы, барышня, укажете, где муж спрятал народное достояние».

«Вы о чём?»

«О вагоне с царским золотом, который ваш муж ограбил за мостом, у деревни Селантьево».

«Я ничего не знаю».

«Всё равно найдём».

«Ищите, но сапоги верните сейчас же!»

Красноармеец по фамилии Лисовский сапоги вернул, но мечту завладеть царским золотом не отринул.

Это я знал из рассказов матери уже о моём деде. Во время Великой Отечественной войны Лисовский накал донос, и на деда — заслуженного железнодорожника, машиниста паровоза с фронтовой литерой, — завели дело по пятьдесят восьмой статье: за длинный язык и анекдоты о Сталине, рассказанные в глумливой форме.

Лисовский рассчитал точно. Оставшись без единственного кормильца — а в семье было пятеро детей, — докатившись до попрошайничества, гордая, голубых кровей прабабушка не вынесла унижения и однажды нарушила клятву, данную своему мужу, ни при каких обстоятельствах не прикасаться к проклятому царскому золоту. Ночью она незаметно выскользнула из дома — Лисовский с карликом, следившие особенно грамотно в те дни, не увидели, как и в каком направлении исчезла прабабка.

Через два часа она вернулась, неся перед собой на брезгливо вытянутой руке обрез панбархата, стянутый в узел, а внутри — золотые ложки, старинные перстни, гребни, бокалы. Мать помнила также большой неподъёмный ковш, но особое внимание привлек тогда

чистый, чуть с голубоватым отливом камень размером с куриное яйцо.

Откуда? «Висел на палке, — призналась прабабка, — между страшными змеиными головами. Когда уходила, шандарахнула пару раз палкой о пол, камень и отвалился».

Лисовский, удивительно скоро прознав о камне, трижды заявлялся с угрозами, намекал о комиссии по выселению родственников врага народа, что возглавлял карлик с огромной головой. Проводили в доме обыски, прабабку на улице останавливали неизвестные люди и раздевали её чуть ли не догола.

А ещё Лисовский ползал перед прабабкой на коленях и просил, умолял хотя бы одним глазком взглянуть на камень. Прабабка упорно молчала, делала вид будто впервые слышит.

Через полгода дед вернулся из Казанской тюрьмы сильно исхудавшим, но таким же острословом, каким его знали перед арестом. Ходили слухи, что распоряжение об освобождении деда было за подписью Сталина. В это легко верилось, поскольку ещё через месяц деду вернули партбилет и следом наградили Орденом Ленина. Орден он забросил в чулан, а партбилет на глазах всего партийного комитета швырнул на пол и втоптал, точно окуроч, комментируя свои действия: «Раньше я верил в партию, а теперь понял, что там — одни проститутки. Позы разные».

Ничего не сделали. Не осмелились, помня за чьей подписью вернули ему — нет, не свободу, а возможность совместного проживания с семьёй.

Приходили представительные люди в штатском, подолгу шептались с дедом, потом расшаркивались перед прабабкой, называя её по имени и отчеству, и уходя, всякий раз оставляли на круглом кухонном столе гостинцы детям и пачку новых ассигнаций.

Ещё через пару месяцев арестовали Лисовского и карлика. Известие о том, что высшая мера социальной защиты приведена в исполнение, прабабка восприняла равнодушно, сказав только: «Это лишнее». И о прозрачном камне с голубым отливом в семье больше никогда не упоминалось.

Иногда дед позволял себе вольность на правах зятя пошутить: «Дарья Михайловна, ведь ноги у тебя болят так, что сходить до ветру не успеваешь, притащила бы ту знаменитую палку, а я бы в момент из неё костыли для тебя сделал. Где ты её прячешь?»

«Надо бы собаке хвост отрубить, а то лишний холод в дом заносит», — загадочно отвечала прабабка.

Бэс крикнул в ухо:

— Хватит, возвращайся! Всё, что хотел, вспомнил!

Я видел, как с обрыва удаляются красноармеец Лисовский в сапогах моего прадеда, карлик и красавица Дарья Михайловна.

— Глаза, пожалуйста, не закатывай.

— Я всё слышу, — предупредил я Герасика.

Глава шестая

Не таким уж неизвестным был этот неизвестный автор дневника. Имел он имя и фамилию, упоминания которых ловко избегал и упорно их не указывал в записях. Зато места событий назвал с топографической точностью, и людей, встречавших его на пути, можно было вычислить без хлопот.

В то время, когда у меня украли дневник неизвестного, я перевёл и, думаю, правильно понял три четверти всех иероглифических, иератических и демотических нагромождений. Отшелушив фантазии автора от реальных событий, проделав несколько бестолковых сопровствлений (упражнений), рекомендованных им, я с ужасом осознал, что существование старушки-векши свободно могло подтвердиться.

Дневник у меня выкрали в Австрии, в местечке под названием Бад-Халл. С Кристофом я приезжал в Бад-Халл по приглашению управляющего завода геосинтетических материалов. Управляющему нужны были новые рынки сбыта, а мне — деньги и халявный отдых с австрийскими штурделями и венскими пирожными вприкуску.

После Бад-Халла мы намеревались лететь на Крит, где нас ждали конкуренты австрийцев.

Но пропажа дневника в ходе праздничного застолья резко изменила настроение и желание.

Сперва я подозревал всех тех, кто засиделся в местном баре до полуночи. Потом, по национальному признаку, я вычленил одного албанца, но тот сумел убедить, что самые гнусные люди — это бразильцы: они могут улыбаться в лицо, а за спиной держать нож.

Бразильцев в баре не было, однако отыскивали колумбийца. Он больше других вызывал подозрение, потому что алкоголь не употреблял, а на законное требование «Эста водка тьене ун олор муй аградабле, уэллея!» нюхал стакан и загадочно улыбался мне в грудь.

Кристоф почему-то неправильно перевёл просьбу полицейского: «Отпустите, пожалуйста, брненное тело!» На самом деле полицейский говорил, чтобы колумбийцу вернули одежду, вплоть до трусов, и что у них не принято держать голого латиноса вверх ногами за полночь в присутственных местах на излёте второй февральской декады. Конечно, в резерве я держал мысль, что колумбиец давно избавился от дневника — у него огромный опыт по распространению кокаина в странах Евросоюза.

Серьёзные подозрения вызывали неестественно огромные груди барменши и оттопыренный зад официантки. Но желание пальпировать подозреваемых на месте Кристоф пресёк сразу и пообещал привести обоих прямо в номер для более детального осмотра.

Однако утром я проснулся уже в номере венской гостиницы, в двухстах километрах от Бад-Халла, основательно отравленный "Московской" австрийского разлива: без дневника, без контракта, без желания шевельнуть рукой, но с глубокими провалами памяти и неприятием огромной футбольной нации воров и бездельников, «капитанов песков».

Заграница меня утомила, обсосала и отрыгнула. В ответ я на прощание в аэропорту только плюнул трижды на «заразу» через левое плечо. Условно плюнул — во рту за ночь образовалась пустыня Сахара, загаженная кошками.

Время неохотно подтягивало к себе лето. Я ждал тепла, игнорируя любые командировки. Обещанная синоптиками жара надёжно окопалась в пределах Ближнего Востока.

Кажется, терпеливо сносила моё присутствие лишь жена. Я был пристёгнут к семье добровольно.

Всё реже звонил Кристоф. В мае он позвонил трижды и напомнил, что его друзья на Крите оплатили все сертификаты на свою продукцию, а от меня нет известий.

«Будем мы продвигать товар?»

«Какие могут быть продвижения товара? У нас пока ещё два градуса жары! Даже энцефалитный клещ на охоту не вышел!»

«Что обозначает охота клещей?»

«Не давите на шею! Не люблю!»

«А когда можно давить?»

«Когда?»

Это «когда» через месяц нахлынуло долгожданной волной ночного тёплого воздуха, пахнущего морем и опалённой степной травой. А ещё — раздражительным звоном комаров и пьяным матом под окном. Короткая, как украденная, ночная жизнь вдруг обнаружила себя и просигналила: «Пора!»

Я сказал жене, что уезжаю на два дня, что по возможности буду звонить и отвечать на звонки, и вообще никто от меня не успеет отдохнуть.

«Не такой уж он неизвестный, этот неизвестный автор дневника», — думал я.

По дороге я сбил на взлёте птицу-мутанта с телом грача, а головой голубя. Вёл я машину уверенно, будто бывал в тех местах уже не раз. Возле заброшенной турбазы поставил её на сигнализацию и ровно тем же путём, которым по описанию в дневнике удалялась векша от «Хохотальника», поднялся на гору к старому одинокому дубу. Подо мной, надо думать, было Чёртово ущелье, дальше стелился, оглушённый вечерним молчанием насекомых, Векшин лог и взросший культивированными капустными кочками палисадник старушки.

— Долгонько добирался, — встретила меня векша так, будто часом раньше посылала в сельмаг за хлебом.

— Не понял, — сказал я, прошёл в дом и сел на скамью возле огромной фляги, в которую когда-то на ферме заливали молоко. — Разве мы знакомы?

— Голодный? — в женской манере на вопрос вопросом ответила она.

— Собственно, я не жрать сюда приехал.

— Известно, для чего ты приехал, — улыбалась векша.

Нет, не угадал я внешность векши. По моим подсчётам она должна была выглядеть лет на сто, ну, может

быть, на девяносто пять, но уж не на шестьдесят, какой я её увидел. Судя по выдержкам из дневника неизвестного, тридцать лет назад, — после всего прожившего ею, даже после усушки и утряски, — она уже выглядела глубокой старухой. Хотя любому в отрочестве и полувековые женщины запросто могли представить древним антиквариатом.

Улыбка с лица векши не сходила. Она умела говорить улыбаясь, есть улыбаясь и, наверное, спать с застывшей улыбкой.

«Ровные белые зубы, — отметил я. — Слово с детства чистила их полевыми травами и яблоками. И руки ухожены».

— Как поживает твой немецкий друг? — неожиданно спросила она, когда я доел похлёбку, похожую на тюрю.

— Мне надо в этом месте сильно удивиться твоей осведомлённости? — я старался казаться равнодушным и готовым к любым шокирующим вопросам: — Поживает. Летает по Европе в поисках дневника.

— Лихо ты его спровадил! Я думала, пройдёт ещё немало времени, пока ты не поймёшь, что конкретно заставило его якшаться с тобой.

— Кристоф вообще возник случайно, — признался я.

— Не случайно. И ты знаешь это не хуже меня, — она долила в тарелку ещё полковша тюри, но я не притронулся к еде, почувствовав, что она должна сказать важное.

— Ты же читал и помнишь, что я рассказывала очень давно.

Она помолчала, я терпеливо ждал.

— Господь живёт тем, что создаёт из мелких осколков красочное панно Вселенной.

— Чашка! Ты говорила о разбитой чашке

Я только хотел продемонстрировать осведомлённость.

— Господь мучительно ищет и создаёт совершенство. Он берёт один осколок, предположим, что это ты, прикладывает другой — твою жену, и видит, что фрагмент ещё не завершён. Тогда Он прикладывает ещё один, два, пять осколков — ваших детей. Вопрос в том, понравится Ему или нет, увидит ли Он красоту и совершенство во фрагменте. Все осколки должны создать правильный и только Ему известный узор и оттенок. Если собранное Им не соответствует Его задумке, Он легко может убрать из фрагмента жену, детей, даже тебя. Твои друзья, немецкий друг — это тоже частицы фрагмента, создающегося под тебя. Может немец сопутствовать и дополнять собранный под тебя фрагмент, а может и наоборот: в твоём фрагменте он — ненужная частица, а в его фрагменте только с твоим присутствием Господь провидит красоту и совершенство. И тогда то, что ты называешь своей судьбой, может резко измениться. А может — и нет, поскольку каждый осколочек живой. Каждый осколок ежедневно меняет свой цвет, оттенок, интуитивно пытается угадать намерения Господа и приспособиться через послушание и исполнение Его Заветов.

При всём своём всеисилии и могуществе Господь не вправе указывать человеку, как ему следует жить. Он лишь вправе подсказать и даже попросить помощи в

создании Его совершенного панно. Неимоверно тяжёлый труд у нашего Господа. Десятки миллиардов осколков лежат перед Ним. И не видно завершения работы Его.

— На ночь детям я читал сказку «Снежная Королева». И Кай в образе складывавшего ледышки арктического божка у них симпатий не вызывал. У Бога тоже есть минуты отдохновения, когда Он любит себя содеянным. А потом сметает всё в ладонь. Мне интересно знать: любовался ли Бог собой, когда выпроваживал детей из Райского сада, или хихикал им в спину?

— Нельзя так о Господе, — отрезала векша. — Ты пришёл сюда не богохульствовать.

— Да, правда. Я пришёл к тебе за конкретной вещью.

— Откуда ты можешь знать, что эта вещь у меня?

— Прочитал дневник.

— Не до конца прочитал, — догадалась она.

— А откуда ты можешь это знать?

— Если бы дочитал до конца, то обходил бы мой дом за сотню вёрст.

— Я знаю, что «Скитское покаяние» и рукописи Максима Грека ты тоже у себя где-то гноишь, — вдруг предположил я. И тут же поверил, что нахожусь прямо у цели моих поисков: — Я же не прошу у тебя сказочные сапоги-скороходы, волшебную дудку или скатерть-самобранку. В эти выдумки вряд ли кто-то из соответствующих органов поверит, так же, кстати, как и в ту вещь, за которой я пришёл. А вот «фрагменты» из библиотеки Ивана Грозного заинтересуют любые фискальные органы. Власть не любит, чтобы от неё скрывали то, что по праву принадлежит её бедному народу.

В таком духе взаимоуважения наша беседа могла протянуться всю ночь, но прозвучало ключевое слово «власть», и векша задумалась, слизнув улыбку с лица. Потом она произнесла по слогам:

— Это — не сим-вол вла-сти.

— А символ чего? — поправил я. — Символ денег, без которых власть зыбка и временна? Посох был дан изначальному человеку с конкретной целью и каждый, державший в руках дерево, которого коснулся Создатель, оставил в истории яркий, властный след. Или я что-то путаю?

— Он — не для власти. Он дарован, чтобы путник в минуты усталости мог опереться на него.

— Хорошо, соглашусь. Но след от руки Создателя на нём остался? Об этом в дневнике есть несколько упоминаний. Автор видел Посох?

— Автор? — удивилась векша.

— Ну да, автор — тот, который зашифровал свои записи. Он увидел Посох и умер в двадцать пять лет?

— Но автор — это ты...

Векшу, кажется, даже испугала моя бестолковость.

И было чему испугаться. У меня кровь рухнула из головы одним огромным тромбом. Я почувствовал слабость в ногах, точно такую же, как в австрийском баре, когда спёрли дневник.

— Не понял. Здесь нужны подробности, — не нашёл я чем парировать прямой хук в голову, и забормотал:

— «Дневников на войне я не вёл, но тысяча четырёхста...»

— Здесь нужны не подробности, а пояснения, — осторожно предположила Векша и опять улыбнулась: — А ведь утюг на твою голову падал, когда тебе исполнилось двадцать пять лет.

— Не утюг, а гантель. Чиркнула по рукаву пиджака, я её даже не почувствовал и забыл тут же.

— Видишь, событие имело место... — обрадовалась она. — Пусть и с незначительной разницей.

— Я никогда никаких дневников не писал. Вот в чём разница.

— А я и не утверждала, что именно ты вёл дневник. Он был написан под тебя!

— В смысле?

— Ты даже все словесные обороты повторяешь за «автором».

— У меня не было друзей с именем Герасик.

— А Влад? Какая фамилия у Влада?

— Никогда не задавался подобными вопросами. Какая-то украинская.

— Герасимчук его фамилия. Ласкательное — Герасик.

— Пока ничего не объясняет. Со мной никогда не приключалось то, что происходило с неизвестным автором дневника.

— Кто-то говорил недавно: «Не такой уж он неизвестный, этот неизвестный автор дневника». Даже сильно расстроенный оттого что грач помял радиаторную решётку, ты не проехал мимо, а привычно свернул на полевою дорогу, самую короткую, известную только местным жителям. Вспомни теперь, как лет тридцать назад ты разгуливал под руку с одной девушкой по дачному участку. Вы там, кажется, справили чей-то день рождения?

Я и не забывал. Действительно. А случилось вот что. Я рассказывал тогда похабные анекдоты, а подруга долго их переваривала и отвечала затем грудным широкодиапазонным ржанием. Мы решили прогуляться до лесополосы, захватили бутылку портвейна, огурцов, студенческий батон и, сигналив по округе её лошадиными всхлипами, двинулись напрямую, через соседние участки. Но когда стали выходить за ворота садового массива, я увидел краем глаза мизерное блестящее зёрнышко, которое стремительными рывками приближалось к нам. Через несколько мгновений зёрнышко превратилось в старушку. Она с укором посмотрела на меня и звонко прошептала: «Что же вы не приехали? Я ведь ждала вас». И, развернувшись, такими же стремительными рывками исчезла в лесополосе.

Я очнулся на земле. Подруга трясла меня за плечи и пьяно возмущалась.

— Так это ты допекала меня колдовскими трюками? — решил я своевременно обидеться. — Я же был не при делах! За что?

— Задумайся! С тобой происходили те события, которые ты не дочитал в дневнике. Ты будто доживал жизнь другого человека. Тебе не приходило в голову, что ты живёшь по сценарию какой-то нелепой пьесы?

Вдруг появляются и тут же исчезают незнакомые люди, которых ты знать не хотел и не утруждал себя запоминанием их лиц. Сколько было таких эпизодов? Наверное, если сложить, большая часть твоей жизни. Ты доживал жизнь, написанную другим. Но в твоём представлении это была только твоя жизнь, и ею ты пользовался как закоренелый собственник. А другой день рождения — или, правильнее сказать, своё пере-рождение — ты начал отмечать с двадцати пяти лет. С того времени тебя стала душить идея овладения Посоха. Правда?

— «Осколочки», значит, не сложились гармонично с божественным проведением? «Ай, ты драгоценность в лотосе!» Уйду в буддизм, там Бога нет!

— Ничего не потеряешь, ничего не приобретёшь. Бог един для всех и атеизм один на всех, и всех воз-величивает и уравнивает одна вера.

— Особенно «Вера в истинное возрождение» с синглом «Бегом сквозь джунгли»... Проехали. Ладно, про авторство я кое-что понял, а кто писал дневник под меня? Чья рука выводила на страницах иероглифы, рисовала таинственные знаки, докучала «сопротивлениями»? Неужели сам Господь?

Векша ответила:

— Ты только что порывался уйти в буддизм. В буддизме бог равен человеку, а человек превращается в бога. Кому было выгодно, чтобы ты нашёл Посоха, тот и пачкал дневник тайнописью, тот и дописывал твою судьбу у тебя на виду.

— Кри-и-истоф... — пропел я верхней нотой «до». — Вот сволочь национал-социалистическая! Как я сразу не догадался? Он же всё время держал меня под контролем: старик, проводница, ФСБ... Всё спланировано с немецкой педантичностью. Постой, но ведь дневник я получил из рук тётки. В то время, смею уверить, она видела немцев только по телевизору в чёрно-белом изображении.

— Ты, Олег, мыслишь приземленно. Но даже здесь не можешь сообразить и сопоставить. — Она улыбалась, и её улыбка унижала моё интеллектуальное достоинство. — Ты знаешь, что мать Влада — немка, урождённая баронесса фон Шлее?

— Я помню, что перед выпускным школьным балом она факультативно учила весь класс танцевать вальс. У неё родители были пленными?

— Твой немецкий друг и ты должны об этом знать больше чем я.

— Какой из них?

В окне я увидел бледную полосу заката, но вскоре догадался, что это был рассвет, расплывшийся в туманной дымке короткой ночи. Вдалеке обессилена кашляла хриплым лаем собака. Пугало отсутствие цивилизации.

Векша юркнула в приоткрытую дверь, и летняя прохлада ударила о застойный дурман избяной утробы.

Я остался совершенно один. Одиночество обескуражило тоской: будто рядом спал и не реагировал на мои вздохи самый дорогой мне человек. Одиночество казалось бесконечным, толкающим к суициду или буйному помешательству.

Я зевнул, хрустнула челюсть и на место встала со второго раза. Я хотел думать о чём-нибудь умном, вечном и приятном, но лишь глухая пустота и темень, как в проржавевшем смывном бачке, распирала голову.

Так же тихо, со шлейфом прохлады, проникла обратно векша. Она коснулась моего плеча и показала глазами на Посох, продолжая демонстрировать голливудскую искусственную улыбку. Обычно так улыбались бухгалтеры в предвкушении скорого скандала за то, что вычеркнули меня из платёжной ведомости. Они улыбались так, будто знали обо мне больше, чем я мог знать о себе.

Посох значительно отличался от царского жезла Тутанхамона из Каирского музея Древнего Египта и рисунков кадуцея Моисея из Библии. Хотя тела и головы одеревеневших аспидов я, смутно помнится, где-то уже видел. Немного погодя вспомнил: по телевизору крупным планом демонстрировали молекулу ДНК.

Корона, венчавшая змеиные головы, была сделана в виде полураскрытой пятерни из тёмного металла. Пятерня держала тот самый камень, о котором я прочитал в дневнике. От кончиков хвостов аспидов до копытца опускались по стволу Посоха неизвестные мне письмена. Я видел такое в книге о гипербореях: нечто, напоминающее руническое письмо и глаголицу Мефодия. Иероглифы, по сравнению с письменами, могли показаться детскими, наивными рисунками.

«Что на Нём начертано?» — хотел я спросить векшу, но та опередила:

— Тайное имя Господа.

— Амурату?

— Нет. Но довольно близко — по произношению. И далеко — по смыслу.

Я представил, как Бог вручает Адаму Посох, перекладывает из левой в правую руку, оставляя след вечности, и от щедрот своих одаривает сына самым ценным предметом из Райского сада: «Пользуйся, сынок! Путь твой долгий и трудный, а предмет в дорогу незаменимый! От зверья всякого отбиваться. А прижмёт по большой нужде, можно присесть и опереться! Хорошо с Ним держать равновесие! Сам не раз пробовал!»

— Это точная копия? — показал я векше на Посох.

— Достаточно точная копия, чтобы не пропало желание дочитать дневник до конца.

— Кристоф, сволочь...

— Неужели ты считаешь, что какой-то алчный, но бранный немец могущественнее провидения Господня? Говоря твоим языком, он — это скопище молекул водорода, стоимость которых вкупе не превышает ста рублей.

— За килограмм?

— По результату неудачного эксперимента.

— Это меня успокаивает, — признался я, обнаружив поддержку векши. — Существует множество копий Посоха Адама? Ты видела оригинал? Что я спрашиваю... — конечно, видела. В противном случае ты бы не утверждала, что эта копия Посоха Адама достаточно точная.

— Каждый находит для себя Посох таким, каким хотел бы Его видеть. У тебя есть возможность отыскать,

как ты говоришь, артефакт планетарного значения. Но ты не сможешь продвинуться ни на шаг, пока не узнаешь, чем заканчиваются записи в дневнике. Вдруг после прочтения у тебя исчезнет всякая охота заниматься поисками? Не ты первый, кто хотел найти Посох, не ты последний, кто, став обладателем бесценной вещи, окончательно осознал, что по жизни она преследует его ненужным хламом. Прочти сперва дневник.

— Кристоф, сволочь... А может быть ты? Помоги прочесть, — попросил я векшу. — Пожалуйста!

— Не в тягость. Возьми Посох в руки, проделай сорок девятое сопротивление (упражнение). Не помнишь? Я помогу... — И она показала четыре мантры.

— Твой немец не такой уж плохой человек, — приговаривала векша, подсыпая в мою тарелку с тюрей сухие толчёные грибы и травяную пыль, — просто он боится, что в России все пытаются его обмануть. Пока не встретил тебя, он был доверчивее... Теперь — за маму, за папу, ещё ложечку, доедай супец! Будет что-то непонятно, страшно или неважно — обопрись на Посох. Смотри внимательно, повторяй за мной... А немецкого друга ты прости... Нет, нет, не заваливайся, держись прямо, обопрись на Посох...

Я продирался через заросли крапивы, но она не обжигала. Во рту кипело от Векшиной тюрки. «Если это Райский сад, то он был сильно запущен. Ни одного культурного растения». Сухие ветки трещали под ногами, как в тайге, шуму при ходьбе было больше, чем от лесорубов.

Маленький мужичок, абсолютно голый, прыгнул с куста одичавшей смородины и показал мне язык.

«Должно быть, мой проводник...»

— Тебя случайно не Бэсом зовут? — с трудом ворочая языком, произнёс я.

— Ещё один супу нажрался, — неприветливо встретил он. — С заторможенными не разговариваю! Иди за мной! Сперва придёшь в себя, отдохнёшь немного на скамейке, а потом решим, что с тобой делать.

Он побежал впереди...

Глава седьмая

— ...ведь сказано давно уже П.Аларконом: *que es muy celosa, y que usted le tiembla mas que a una vara verde*. И дело совсем не в розгах, перед которыми вы, уважаемый господин, дрожите меньше, чем перед ней. Дело даже не в её ревности, которая щекоchet ваше самолюбие. Дело — в её аналитическом складе ума. Она долго копит в себе услышанное, обронённое вами как бы невзначай. Она раскладывает по полочкам все ваши восторги, умиления, хвастовство, фантазии; приводит в порядок свои мысли (приводит легко, как причёску) и, найдя в собственных рассуждениях множество недостающих звеньев логической цепи, бьёт вас обидным и дерзким вопросом. Удар, как правило, получается неожиданным и хлёстким, как пощёчина: «Ты мне врал неделю назад или сейчас врешь?».

А что вы, уважаемый господин, ввали ей неделю назад? Разве всё упомните? Может быть, надо своё хвастовство записывать, вести дневник и с каждой новой записью выстраивать собственную логическую цепь? Конечно тяжело! Нечеловеческая, каторжная работа — находить оправдания собственной глупости и примеривать их к женской логике. Наверное, вы считаете, что лишь из праздного любопытства женщина задаёт вопросы? Наверное, вы думаете, что по природной глупости своей женщины, как испанцы, умеют разговаривать с вами одними вопросительными предложениями? Не надо тешить себя заблуждениями, которые возникли из убеждённости о вашем половом превосходстве. Женщина разговаривает с вами так потому, что всегда считала и считает вас своим нерадивым ребёнком. Хвастливым, трусливым, задиристым мелким пакостником, с которым ей вменено строить ячейку общества.

...а вот в этом вы, уважаемый господин, скорее всего, правы. Вас она выбрала среди миллиарда таких же бестолковых самцов для сожительства потому, что ощутила в себе желание и возможность вылепить из вас удобный, послушный, портативный инструмент, некий биоробот, приносящий в дом счастье, покой, деньги — на зависть всем подругам и родственникам.

Через секс она получала удовольствие и одновременно внедряла в вас вирус эмпатии и чувства вины за акт насилия над ней, за то, что ей пришлось переносить муки беременности и родов, находиться на грани смерти, вследствие врачебных ошибок и вашего недопонимания женских мук.

Вы, уважаемый господин, решительно отказываетесь понять, что являетесь игрушкой или, если хотите, собственностью в ловких женских руках. Вы — её собственность, а не наоборот. Что бы вы ни думали, как бы ни изворачивались и ни сопротивлялись, вы уже проиграли и продали ей всего себя с вонючими потрохами.

...да что вы говорите? У вас неудержимое желание стукнуть кулаком по столу или ударить её по лицу? Не вижу разницы. Рукоприкладство — не только признак вашей безысходности, но и проявление её силы.

В вашей семейной жизни никто и никого до яростного сумасшествия, до реактивного психоза не доводил. Вы, уважаемый господин, сами себя своей гордыней доводите до буйного помешательства, успешно вызреваете в ядовитый плод с аллергическими пятнами защитного цвета. И вызреваете под чутким уходом своей супруги-садовода.

Слышали, в тюрьме у «малолеток» есть такое испытание «на вшивость»? «На хате» двум молодым завязывают глаза, раздевают догола, привязывают пенисы нитками и ждут: кто кого перетянет первым, проигравший закричит от боли. А на самом деле между противниками встаёт кто-то третий с карандашом, и концы ниток, обёрнутые через карандаш, находятся не в руках противника, но у «хозяина». Если «малолетка» орёт от боли и наносит увечья своему пенису, то только благодаря собственному усердию. Представьте себе картинку: тот, кто слегка поддёргивает нитку, с удивлением слушает вопли противника. Так и вы, ува-

жаемый господин, манкируете семейной жизнью. Вам давно надо было определиться, что для вас удобнее — слегка поддёргивать свой пенис или тянуть изо всех сил?

...нет, нет, упаси Бог, никаких рекомендаций. Я не хочу унижить вас умными советами. Вы мальчик взрослый, успешно отравленный алкоголем и табакокурением, развращённый деньгами и псевдовысоким общественным положением. Взрослый мальчик, упивающийся самодостаточностью. Но то, что вы, уважаемый господин, есть — это результат лёгких поддёргиваний вашей супруги: в виде слёз, мелких скандалов, требований материальных и духовных благ — ради семьи.

Вы — мазохист. И уже не сможете жить без того, чтобы тянуть себя за пенис изо всех сил, стараясь доказать супруге, что вы — самый умный, самый способный, хитрый, деловой мужчик. Обеспеченный и обеспечивающий, дарующий радость и благосостояние сожительствующим с вами родственничками. Вы — почти бог, пока приносите деньги в дом.

...А кстати, ваша супруга работает? Я так и знал. У иждивенка со временем чувство вины пропадает, превращается в ненависть к вам за то, что именно вы сделали её такой неполноценной, испытывающей постоянные угрызения совести в своём иждивенчестве.

— Прошу прощения! Можно прикурить? Погода сегодня чудесная, не правда ли? Я сидел на соседней скамейке и видел, как вы энергично жестикулировали. Вы уж извините, но я стал невольным свидетелем вашего монолога. У вас что-то случилось? Может быть, нужна помощь?

— А ваше какое собачье дело? Прикурили, успокоились — идите дальше.

— Извините, мне показалось, что вам плохо. Со стороны можно было подумать, что вы наставляете кого-то на путь истинный. Самого себя? Рядом с вами — никого, а вы всё говорите и говорите. Это по крайней мере странно. У вас правда всё в порядке?

— Вот привязался... Да! У меня полный порядок! Отстаньте от меня, дайте мне возможность погрузиться в одиночестве.

— Разумеется. Ещё раз простите за навязчивость! Я пошёл... вот, уже в пути. На прощание можно задать вам один несущественный вопрос?

— О Господи! Никак от вас не отвяжешься! Хорошо, задавайте и уходите, всё равно я вам на него не отвечу.

— А кому ответите? Опять самому себе? В таком случае, можно мне присесть рядом и послушать ответ? Так вот, касательно моего вопроса, я бы хотел рассказать небольшую историю, если вы не возражаете...

— ...

— Я женился молодым, ну прямо сопливым мальчишкой, едва мне исполнилось восемнадцать. Жена училась в том же университете, на два курса выше, звали её Лилит. Женщиной она была некрасивой, коротконогой, толстозадой, с редкими волосами на голове и с патологией в ротовой полости: у неё было четыре ряда зубов. Натуральная хищница!

Слухи о ней ходили жуткие. Мы были оба приезжие, жили в общежитии. И соседи рассказывали мне, что много раз видели её гуляющей со своей подушкой по комнатам сокурсников!

Вы, судя по возрасту, вероятно, знакомы с жизнью в общежитии, где всё на виду, где абсолютная свобода закреплена ужасной реальностью. И ничто там не вызывает удивления, кроме высокой книжной морали.

Однажды таким вот полным глубокой морали поступком я удивил своих приятелей. А было так... Летом студенты разъехались на каникулы и некоторые оставили ключи от своих комнат — мало ли что... Как-то ночью я проснулся оттого, что кто-то тихо скребся в дверь. Открыл, а за дверью молоденькая, свеженькая, наивная и невинная абитуриентка. «Негде спать, — говорит, — подруги уехали и ключи с собой забрали».

Я впустил, подразумевая безусловную форму оплаты за место в койке. Она долго сидела, молчала, смотрела в одну точку... затем послушно разделась, вытянулась струной на кровати, прикрыла руками груди. Её начало потряхивать.

Я смотрел на эту красоту, представляя, как сперва всю её вылижу, словно сучка новорождённого щенка, потом растерзаю, порву на мелкие кусочки и съем без остатка. Она была полной противоположностью жене: длинноногая скромная девственница с зелёными терпеливыми глазами.

Но я только поцеловал её по-отцовски в лоб, прикрыл обнажённую красоту одеялом, положил ключи на тумбочку и, выходя из комнаты, попросил её никому не открывать. Всякое могло произойти: по общежитию шастали пьяные и «голодные» студенты, было бы обидно, если бы она расплатилась в ту ночь за мою щедрость с кем-то другим. И считал свой поступок верхом благородства, не думая о том, что юная красота могла посчитать его верхом... сволочизма.

Эта самая затея игры в благородство постоянно заводила меня в тупик и выливалась в отчаяние.

На свадьбе, когда я женился на Лилит, кто-то из гостей сказал про меня: «Жених совсем сдурел, берёт в жёны такую прожжённую ***!»». Этого гостя избивали потом с наслаждением не за то, что он сказал, а за то, что это могло быть правдой.

Вы не знаете, что бывает с юнцами, играющими в благородство? Накинутая вуаль порядочности незаметно скручивается в петлю на шею. «Взялся за руку — женись» — для таких слабовольных простачков, как я. «Вдруг поведётся, вдруг поверит?»

И ведь повёлся. Первый раз — за полгода до свадьбы.

У моей тогда ещё будущей жены была подруга, на лет пять старше её. Они учились в одной группе. А у этой подруги были щедрые и наивные знакомые, которые летом уезжали на курорты и оставляли подруге ключи от квартиры. Это теперь я не сомневаюсь, что всё тогда было хитро спланировано Лилит и её подругой. Посмотрите на меня! Видите? «Благородство» сыграло над моей внешностью злую шутку. У меня такая внешность, что все женщины стремятся выйти за меня замуж только ради того, чтобы потом всю жизнь

не работать, сидеть прочно на шее и тянуть из меня деньги. Я же благородный. А благородство всегда роет перед корыстью.

...Она слиняла на полчаса от подруги из спальни. Для того, чтобы приручить через совращение сопляка, большего промежутка времени ей бы и не понадобилось.

...через полчаса, лёжа в зале на отведённом мне диване, где всё и случилось, я вслушивался в издевательские комментарии — из спальни:

«Ну, и какво? Обслуживал и ткнул пару раз?»

«Слава богу — не извращенец. Малыш он ещё».

«Кто из них малыш?»

«Ха-ха, оба хороши! Малыши-хорошиши».

«Предохранялись?»

«Думаешь, он знает, что такое предохраняться? Его до сих пор, наверно, трясёт от страха. Со страху влил в меня полстакана сперматозоидов».

«Мыло с лимоном?»

«Разумеется. Может, пронесёт?»

«Я сейчас на правах подруги, встану пойду и влеплю ему пощёчину. Вот тогда его уж точно пронесёт!»

Я слышал каждое слово, прожевал все оскорбления и издевки в мой адрес, но ничего не сделал: не ушёл, громко хлопнув дверью, не врезал им обеим по рожам. Наоборот, смирился и блаженно уснул. Я не гадавался, что подруга моей будущей жены открытым текстом мне говорила: с какой стервой я связался. Подруга жалела меня, жалела чисто по-человечески, как жалеет старая дева своих давних ухажёров, обременённых теперь семейной жизнью.

Природа женщины такова, что у неё не может быть подруг, а только соперницы, потому что всегда найдётся что делить, даже если делить нечего. Любое, пусть лежалое и замшелое, пригодится в хозяйстве, как-нибудь приладится, прилепится к очагу, а если не пригодится — со временем без сожаления можно выкинуть.

Лилит — не первая моя любовь. Да и любовь ли вообще? Зато первая женщина, которая мне «дала». А отдавшись, взяла взамен всего меня. Затолкала целиком в то самое место.

До неё у меня случилась платоническая любовь с однокурсницей. Звали её Ада — длинноногая алтайская красавица. Помнится, когда я поцеловал её первый раз в щёку возле общежития, она закрыла лицо руками и зарыдала. Я допытывался: «Обидел? Извини, больше не повторится». «Нет, просто ты первый, кто меня поцеловал».

Понимаете, первый. Пер-вый! Передо мной была целина, на которой можно было учиться любить, вспахивать и сеять отношения, создавать ячейку общества, по-мужски владеть ею, быть собственником и делиться с ней житейской мудростью.

Но на другой день на том же самом углу общежития она целовала меня уже взапас, покусывая мой язык и проталкивая свой до самых желез. Я задышался, ошарашенный мыслями: «Откуда у неё столько опыта? Кто научил её так целоваться? Она обманывала меня? Был у неё кто-то до меня? Не может такой профессионализм возникнуть из ничего!». Весь вечер порывался

спросить: «Правда, что я — первый?» Не верилось тогда, а так хотелось.

В те времена я бредил утверждённым одним известным журналистом тезисом, что в женщину с первым поцелуем, с первым половым актом проникает, как венерическое заболевание, генетический код партнёра, и затем паразитирует в ней, точно раковая клетка, всю оставшуюся жизнь. И сколько бы мужчин в дальнейшем ни побывало у неё в постели, генетическая структура, заложенная первым мужчиной, останется нерушимой, как железобетонная конструкция. Даже ребёнок, родившийся от десятого, сотого партнёра, явится на свет по образу и подобию первого мужчины. Такова загадка неизвестной нам природы.

Я хотел у неё быть первым. Это было престижно. Мы тыкались, словно слепые кутята, познавая друг друга. В читальной комнате, далеко за полночь я впервые залез к ней под лифчик, прищемил до посинения себе руку, но не выпускал бугорок из ладони до утра.

А через месяц в её комнате, когда все уснули и мы целовались на её кровати, я привычно, одной рукой крутил ей соски, а другой шарил под халатом. Ада оказалась без трусиков. Сперва я растерялся, но вскоре, обнаружив, что поглаживание клитора ей доставляло больше наслаждения, чем тисканье груди, похозяйски накрыл её срамное место всей пятернёй.

Ещё через три месяца я знал её тело, как своё, и мог раздеть и одеть её, не вылезая по времени за рамки армейских нормативов. Бывало, что Ада и предложить прогуляться не успевала, как сидела уже голой и затисканной. Меня не конфузила демонстрация перед ней собственных прелестей, и она уже не стеснялась нагой нечаянно коснуться, потереться. Дело оставалось за малым.

Вот это малое и погубило наше будущее. Я пытался несколько раз стать мужчиной, но во всех случаях она не хотела становиться женщиной. Крутилась, переплетала ноги и в конце концов вырывалась со слезами, спешно натягивала на себя одежду и убегала, исчезала до следующего вечера. А я, голый и одинокий, лежал в пустой, тёмной комнате, смотрел на соседние койки и придумывал мечь: «Опять не дала, сука! Издевается или терпение моё испытывает? Как ей объяснить, что «это» очень важно, что из-за её капризов отношения могут зайти в тупик? Может быть она ущербная? А может просто боится? Чего там бояться: раздвинула ноги и лежи себе бревном, не шевелись и улыбайся, считай тараканов на потолке и думай о приятном. Нет, всё ей надо усложнить, создать научный трактат о вселенской любви и потом страдать...

Забыл сказать: в общаге у меня образовалось много друзей, а то по моему рассказу можно решить, что я только тем и жил, что обхаживал Аду. Далеко не так! Времени на любовь и попытки «покрыть» Аду было не так много, новые друзья отнимали его львиную долю.

Они ревновали к Аде не меньше, чем Ада не переносила мою компанию. Компания считала себя элитной и была слеплена давней знакомой, которую все лгливо называли Мать. Я приехал на учёбу из городка, где она представлялась довольно известной осо-

бой, одарённой поэтессой — несколько раз её выступления показывали по телевизору...

Мать первой согласилась на дружбу с земляком. Надо сознаться, что и я в то время занимался «барделью», то есть самодеятельной песней — укладывал слезоточивые строчки в три-четыре аккорда: костры, дороги, звёзды и туманы. Получалось гнусно, но на фоне тех, кто скрывал от других свои стихи или считал стихоплётство пустым времяпрепровождением, я выглядел талантливым юношей.

Меня пригласили в компанию без испытательного срока. И в благодарность я выдавал компании на гора по две новые песни в неделю.

Я проник в их компанию как вирус с первым поцелуем: слабым, на тонких ножках, беззащитным — чтобы очень скоро заразить, изъесть и разрушить этот элитарный клуб любителей высокого штиля.

Знаете, жизнь — это не столько движение белков, не столько борьба, сколько противоборство белков с жирами, жиров с углеводами, ДНК с РНК, нейтрона с позитроном. Жизнь — это противоборство с жизнью. И в этом противоборстве сильный никогда не сможет стать окончательно победителем, поскольку слабый всегда приспособится и найдёт возможность измотать сильного, утомить того до смерти и обрести власть. Слабый паразитирует на сильном до поры, пока не осознает, что сам стал объектом для паразита.

Слабый и хитрый сперматозоид борется с материнским началом и, проникая, обретает силу и власть. Человек борется с природой, Земля с Солнечной системой, Солнечная система с Галактикой, Галактика с Вселенной, Вселенная с атомом водорода. Победителей нет. Есть закон противоборства. Может быть, в то время я так не считал, но интуитивно действовал согласно сказанным принципам.

«Мать» взяла надо мной опеку и на правах старшей и мудрой женщины подсказывала, как мне следовало приспособиться к компании, чтобы из меня не получился «выкидыш». Никто из них ещё не подозревал, что я стану главной причиной повальной вражды и лютой ненависти друг к другу.

Новый год мне было позволено встречать в их компании и даже разрешено прихватить с собой Аду.

А знаете, чем вкусное отличается от полезного? Вкусное всегда вредно, а полезное всегда не вкусно. Хотя нельзя сказать, что мы без пользы для себя вкусно проводим время. И есть ли польза в безвкусной жизни? Уж лучше вкусно навредить себе, чем принести невкусную пользу другим. А для других, думаете, есть польза в невкусной полезности? Только для больных и убогих: для тех, кому уже всё равно, и тех, кто потерял вкус к жизни. Им лишь бы не вредно было. Они давно во вкусном пользы не видят, потому и прикрываются надуманной религиозной моралью: «мамон наедать — грешить, жить в своё удовольствие — нельзя! Надо поститься и молиться! Иначе проживёшь и сдохнешь, как животное! Болеть будешь страшно и мучительно, съдаемый собственным мамоном!». И ведь вопреки логике кто-то там на небесах их мнение постоянно поддерживает и одобряет.

Были у нас при социализме любители порассуждать: они, мол, не ищут лёгких путей. А я скажу, что человек не может не искать лёгких путей. На то он и человек, всё существо его с рождения повернуто к этому.

В этом поиске скрыта главная корысть существования, главный земной грех и главный обман. Одному может казаться, что другому очень повезло и тот отыскал для себя лёгкий путь. А на самом деле тот, другой, давно признал, что запутался, заблудился, и уже никогда не отыскать этого лёгкого пути только потому, что сами поиски создают сложности, усугубляют и без того нелёгкую жизнь.

У меня было право выбора, и я выбрал тот путь, который логично привёл к неразрешимым заблуждениям. Я успокаивал себя тем, что выбрал правильный путь, а в действительности правильных путей нет! Какую бы ты себе дорожку ни протоптал, всё равно она обманет и приведёт в тупик, в «никуда». Только силы потеряешь. Иллюзии счастья и гармонии превратятся в редкие мгновенья удовольствия, а потом жизненная сила и вовсе источится через поры и уйдёт в землю, куда и ты уйдёшь следом. Если вкусное вредно, а полезное невкусно, для чего вообще пытаться соединять несовместимые понятия?

Ну, это я так, отклонился. Ради того только, чтоб хотя бы немного оправдать свои глупые поступки.

На чём я остановился? Новый год решено было встречать всем вместе в одной затерянной среди лесов деревушке, где раньше жили родители Толстого Шефа. Это ещё один персонаж, который заслуживал бы много добрых слов, если бы не был отчаянно умён и честолюбив.

— Спасибо тебе за хорошие отзывы, за то, что считаешь меня умом, честью и совестью нашей эпохи. Только речь здесь не обо мне. О себе я и сам бы мог рассказать много интересного.

— Подожди! Откуда ты взялся? Ты же исчез, умер?

— Мимо проходил — оттуда и взялся. Гляжу, сидишь в одиночестве, то ли споришь сам с собой, то ли молитву читаешь. И что значит — умер? Умер не я, а ваша память обо мне. Я же избавился от вас и обрёл покой. По крайней мере, мне теперь легко говорить о тебе. Я — самый объективный свидетель.

Итак, ты с компанией привёз ко мне в дом на Новый год очень симпатичную девушку. Мы много выпили, особенно ты. Твоя девушка, как пташка, клевала по зёрнышку, поскольку считала, что склонна к полноте, и боялась за праздничную ночь поправиться. Вижу теперь её, учительницу русского языка в алтайской школе, пышнотелой, с отвислым задом. А тогда она была длинноногой худышкой с короткой стрижкой и неизлечимой тревогой в глазах.

Под утро, когда все укладывались спать и рядом с тобой определили подругу, на широком диване оставалось ещё место. Третьей на диване притулилась твоя будущая жена Лилит. Она сразу уснула и заскрипела четырьмя рядами зубов, а ты в это время пытался стянуть колготки со своей подруги. У тебя было пьяное и твёрдое намерение: в новогоднюю ночь сде-

лать её женщиной. Со стороны смешно было наблюдать. Подруга оказалась трезвой, очень осторожной и рассудительной. Ей не хватало терпения и доводов, но тебя остановило другое — порывы к рвоте. Помнишь: «Семнадцать шагов и — налево?» Это — расстояние до крыльца. И блевотина на сугробе, которую мне пришлось закапывать днём.

Мы пили кофе с перцем. Компания дружески смеивалась над тобой, подтрунивала. А ты оправдывался тем, что ничего не помнишь. На самом деле — кривил душой. Всё ты помнил. И злобу затаил на подругу. Дурак, ты не понял, что она решилась тогда проститься с девственностью, но только не на общем обозрении.

Через две недели, по окончании сессии, Ада пригласила тебя в свою комнату, уложила рядом с собой в постель, чтобы утром, когда подруги разъедутся по домам, отдаться тебе. А ты всю ночь проворочался с широко открытыми глазами, поражаясь ночным звукам, издаваемыми её соседками по комнате. Ты что же, думал, что девочки не пукают?

И утром, утомлённый, замертво уснул.

Она разбудила тебя в первом часу пополудни. Надо было спешить на поезд, и для всяких глупостей уже не оставалось времени.

В вокзале ты смотрел на неё глазами ассенизатора, отбывшего ночную трудовую повинность на аварийном участке. Хотелось выспаться и надышаться озоном.

— Встречаешь или провожаешь? — спросил за столиком привокзального кафе потёртый мужчина инженерно-интеллигентного образца семидесятых.

— Уже проводил. Теперь буду наслаждаться жизнью, — ответил ты.

— Вся жизнь — говно! — решил возразить мужчина.

— И не напоминай.

— А я поэт, — сознался потёртый интеллигент. — Гениальный. Хочешь, почитаю?

— Алкоголик, что ли?

— Нет, слегка запойный.

— А-а... значит, ещё в начале пути, — догадался ты.

— Хочешь сказать, что все поэты — алкоголики?

— Как и все алкоголики — люди.

— А ты людь или нелюдь?

— Ладно, — решил ты. — Наливай!

— Поехали ко мне, если не боишься.

Пока ехали, «потёртый» успел рассказать тебе две истории о своей несчастной любви. Вот кто оказался настоящим пи-страдальцем!

«Первый раз он влюбился в женщину на десять лет старше его. Она была вдовой и доступ к её телу был свободен. Но не таким простым был интеллигент. Он неделю приходил в гости к ней с цветами, бутылками «Солнцедара», читал стихи, посвящённые ей, наедался до отвала гречневой кашей и уходил восвояси — писать для любимой новые стихи. Так он приучал её к совместной семейной жизни — до поры, пока не пригласил к себе в квартиру.

Она пришла без цветов, но принесла две бутылки «Рислинга». Выпили по стакану. Он решил поцеловать

вдову в ухо. Ухо оказалось с горчинкой — из ушной раковины что-то подтекало. Тогда он попросил вдову подождать немного. Вышел в кухню, разделся догола, обул роликовые коньки и, выехав в залу, принудил вдову взяться аккуратно за пенис, чтобы покатать по-эта по паркету.

Вдова обиделась и не появлялась месяц. Но взвесив все «за» и «против», решила простить интеллигенту его чудачества. Лучше провести ночь в обязательном парном катании, чем произвольно откатать остаток жизни в одиночестве.

Однако за время её раздумий поэт успел воспылать страстью к другой особе — на двенадцать лет старше его.

Он преследовал её экономно — без цветов и выпивки. Старался вообще быть незаметным. И однажды был вознаграждён её вниманием. Особа пошла в кинотеатр на утренний сеанс. Людей в будний день было мало. В тёмном зале он подсел к ней, понюхал её волосы, расстегнул себе ширинку на штанах, приставил к её левой груди шило и шёпотом предупредил, что если она будет умницей, то не пострадает, а имеет денег. Полтора часа, за пять рублей, особа мяла его член, пока не вывихнула себе руку.

Его страсть как-то разом поутихла. И вообще не хотелось больше брать замуж женщину с большими руками».

— А за моей подругой, случайно, не следил? — спросил ты уже в квартире интеллигента.

— Мне теперь не до слежек, — разочаровал потёртый, — я же говорил, что вернулась моя первая страсть. Вот, вернулась, покатала меня по комнатам, присушила, обнадёжила вкусными ужинами и ушла к другому — известному, профессиональному поэту. Я-то ведь любитель... ну, там: «любовь-морковь, кровь-свекровь». А тут: «страсть-напасть, всласть, красть, масть, мечтать, летать, ждать, сношать...

— Глагольные окончания — это не стихи.

— Ну, не скажи! Женщины стихи живые слышат. Моя сидела на скамейке, рыдала над моими стихами, а тут этот, известный — две книги стихов выпустил — подходит и спрашивает: «Девушка, чё орёшь как пострадавшая? Хочешь, стихи тебе почитаю? "Все бабы — суки! Только ты — не сука! И в этом скрыта мировая скука!"».

— Кажется, я знаю этого поэта.

— Сейчас мы выпьем и пойдём её вызволять! — решил потёртый. — Надо только её убедить, что она — тоже сука! А его «поиметь» и потом пристрелить из двуствольного ружья. Я его сам на заводе заказал, инкрустировали серебром по индивидуальному рисунку. Так что это для него честь — быть пристреленным почти из табельного оружия. Сперва-то я был знаешь какой злой? Хотел «поиметь» не только известного поэта, а и его маму, папу, сестру, дядю и тётю! Весь его двор, до последнего цыплёнка!

Ты представил, как потёртый интеллигент гоняется по двору за маленькими цыплятками, и тебе стало любопытно, захотелось определить границы человеческой половой активности. «Огромная, агрессивная ар-

мия сперматозоидов, способная за одну атаку оплодотворить всех самок большого государства».

Ружьё у интеллигента ты всё-таки выкрал. Ночью, когда он спал пьяный в стельку, свернувшись калачиком возле дивана, ты бесшумно покинул квартиру, прошёл два квартала и там, в дворовом закутке, возле мусорных мульд зарядил нижний ствол патроном с пулей для охоты на лося и, почти не прицеливаясь, выстрелил в тлеющее рыжим светом окно на втором этаже.

Звона разбитого стекла не было. Не было ни криков, ни ругани, ни мата, ни погони. Ничего не было. Окно так и продолжало тлеть в морозной тьме.

Ты протёр ружьё носовым платком — платок тоже предусмотрительно украл у интеллигента, — аккуратно поместил в мульку улику и через двор вышел на центральную площадь. Не знаю, стало ли тебе легче после страха, который ты намеренно испытал, желая избавиться от хандры и ненависти к миру.

А ещё ты всегда ненавидел отличников, эту когорту послушных и исполнительных граждан с бесхитростными мозгами эмбрионов. Отличник — это объект социальных экспериментов и тайных насмешек подавляющего большинства троечников. С отличниками всё просто: они и в старости будут думать, что их поступки, как вся жизнь, безупречны. Поэтому так легко играть их судьбами: стоит им только внушить, что маленькую подлость надо совершить ради того, чтобы избавить мир от громадной, вселенской подлости — и отличник тут же совершит эту маленькую подлость, да ещё и в изошрённом виде. Между прочим сознавая, что подлость не бывает маленькой или большой. Подлость не имеет размеров.

И вот тут отличник попадает в лапы «троечников». И они дают ему единственно верный совет: «Чтобы исправить подлость, нужно совершить глупость». Творить бесхитростные глупости — это удел «отличников». Каждый «отличник» должен знать в обществе своё место...

Через четыре дня ты узнал, что известного поэта похоронили на старом кладбище. Пуля по невероятной траектории, сперва ударившись о потолок, пролетела к маленькому бронзовому Будде, срикошетила и пробила сонную артерию задремавшего за столом поэта. Он так и не понял: за что его жизнь украли во сне?

Хозяина орудия убийства быстро нашли. Потёртый интеллигент не отрицал, что намерения отомстить у него действительно были. А если мотивы, намерения и вещественные доказательства сходились на одном лице, то ему выходила полная жопа: пятнадцать лет строгого и три из них — в «крытке». Одним выстрелом — двух поэтов? Завидная результативность!

После каникул Ада привезла тебе пугающее известие: скоро должен был приехать её отец с неясными до конца целями — с тобой познакомиться, или увидеть, в какой среде обитает его дочь, или просто повидаться с сестрой.

Тётка Ады жила там же, в общежитии. Она на потоке читала лекции по синтаксису, обладала глубоким грудным голосом, огромным бюстом, безразмерной

задницей, и со всем этим хозяйством вкупе люто ненавидела мужчин за то, что те, кроме неё, любили ещё и водку. О тебе у неё сложилось представление как о настырном похотливом недоумке, и в письмах брату она, видимо, других характеристик тебе не дала.

— Племянницу обижать не позволю! А вы, мальчик, толкаете её на неблагоприятные поступки! — протрубила она.

«Неужели Ада рассказала всё? Почти всё? Исповедалась перед ней, как последняя отличница? По какому праву?»

— Я знаю, что тебе от меня надо! Тётя права!

— А что? У тебя есть водка? Наливай! Твоей тётке с генами перешло поэтическое чутьё... — Ты бывал жесток с Адой.

Трепетно оберегалась память о её деде, он погиб в сорок третьем на Дальнем Востоке в борьбе с японскими милитаристами. Поразительно, но в сорок третьем война шла и на Дальнем Востоке.

Письма с фронта сильно пожелтели и выглядели обоссанными. Твой дружбан Лёша высказал по этому поводу свои соображения: «Человек по натуре — самое трусливое существо, потому что самое безоружное из всех животных. Нет у него ни клыков, ни когтей, ни клюва. Защититься нечем. Он рождается в страхе, живёт в страхе ожидания смерти. Поэтому история человечества самая нелепая, на какую способна галактическая фантазия.

Люди подчиняются только чувству страха. Между прочим, лень — это тоже одна из форм страха. И производное его упрятано в интуитивном чувстве самосохранения. Только очень талантливые люди могут быть безгранично ленивыми. Тем самым мать-природа сбалаansirовала эволюционное развитие пятой цивилизации. Обрати внимание, какими испуганными выглядят строки письма. Они легли очень ровно и гладко, будто дед Ады виноватил тех, к кому обращался: Трам-там-там... через час в бой, — ну, это он соврал, чтобы не забывали его жалеть. — Трам-там, а вот: «ненавижу войну, ненавижу трусов, предателей, дезертиров!» Понимаешь? Дед Ады под словом «война» подразумевал собственный страх. Он ненавидел в себе труса, предателя, дезертира. Поэтическая душа! Даю голову на отсечение, что погиб он нелепо: голову вместо задницы высунул из окопа или на запах полевой кухни побежал во весь рост через барханы».

— Он погиб по-советски, безмянно, как остальные тридцать миллионов человеко-единиц, — ответил ты другу.

С отцом Ады тебе так и не довелось встретиться. Ты видел его мельком, на чёрной лестнице: маленького ретивого гражданина, стремительного несущегося на улицу. Вокруг него образовывались невидимые воздушные завихрения, полы пальто подпрыгивали и характерно заворачивались.

«Этот человек спешит жить, — подумал ты, — и, как всякий спешащий, ничего в жизни не успеет».

Месяц ты не виделся с Адой. И тот месяц оказался обыкновенным: тебя не точила тоска по ней, не про-

клевывалась жажда встречи, ночных посиделок и глумления над собственным сексуальным здоровьем.

Как-то раз, случайно увидев её на улице с другой, ты через силу, будто обороняясь приветливостью, бросил ей: «Как дела? Замечательно?» И не дождав-шись ответа, побежал дальше. Ада показалась тебе не такой уж яркой красоткой: ноги длинноваты, причёска на голове состряпана безвкусно, одета — так себе. Видимо, Тургенева в отрочестве начиталась.

Не знаю, стало ли тебе известно, что за три дня до свадьбы Ада приходила к твоей невесте? Ада сказала:

— Отдай мне Адама! Всё равно он жить с тобой, Лилит, не станет. Адам женится на тебе только из мести. Он хочет отомстить мне, хотя ни я, ни он не знаем — за что. Адам любил и всегда будет любить только меня!

— Вот и отвали отсюда со своей любовью, — сказала Лилит. — А нашему семейному счастью не мешай!

— О ком это вы, гражданин? Здравствуйте!

— Рассказываю Адаму об Адаме.

— Я в молодости был знаком очень хорошо с Адамом. А вот вас что-то не припоминаю. С Адой был знаком, но особенно близко знал Лилит. Пьяной в общаге... и так знал её... и этак. Скажу, что сзади её неудобно «знать» — некоторые женские физиологические отклонения: быстро устаёшь и почему-то хочется спеть что-нибудь на украинском.

— Болтун!

— Не больше чем вы, не больше чем Адам. Я люблю Адама, но истина дороже! Из одного сатириазиса невозможно соткать любовь. Можно сделать ребёнка, создать семью — и затем при случае перечеркнуть всю свою жизнь с чужими людьми, называвшимися женой, детьми, тещей.

Лилит придумывала различные истории о своей нелёгкой судьбе и испытаниях, выпавших на её долю.

Первым мужчиной Лилит случился высокий блондин. Она надела на него форму лётчика-испытателя и присвоила чин майора. Но скоро лётчик-испытатель, вылетев с Кубинской авиабазы, упал в районе Бермудского треугольника и всплыл капитаном дальнего плавания у Черноморского побережья, между Одессой и Николаевым. Он сильно изменился: усох, поседел, потерял в росте двадцать сантиметров, но мечту жениться на Лиле не оставил и домогался её до того момента, пока не объявился некий итальянец по фамилии Фаделло. Капитан был вынужден застрелиться из табельного оружия, а Фаделло оказался обыкновенным безмянным попутчиком, закодированным Лилей расхожей абравиатурой из слов: favorite, darling, love.

— Кто был первым из этих мифических персонажей? — пытал её Адам.

— Первым и единственным был велосипедный руль.

— ??

Да, руль. Спускалась с горки на велосипеде, неудачно сорвалась цепь, но удачно зацепил руль во время падения. Если бы ударились о руль грудью, то на хрен пробила лёгкие бы насквозь! А так — повезло!

Кому повезло? Фаделло, случайному попутчику? С ним она выкурила пару сигарет в тамбуре вагона, и этого хватило, чтобы нафантазировать себе идеально-

го мужчину. Лилит отдалась бы ему без раздумий, если бы он, как обещал в прокуренном тамбуре, позволил, приплыл на Алых парусах и забрал с собой.

Не приехал, почуяв что-то неладное. Видно, хорошо её зацепило руплём!

Основные игроки состава местной футбольной команды, включая двух запасных нападающих, при встрече с Лилей загадочно улыбались и вскидывали брови.

— Внешность у меня ***ская, — сказала она как-то Адаму, — поэтому и слухи обо мне ходят всякие, неверные.

Они собирались в кино на вечерний сеанс и уже стояли в дверях. Пока не остыла решимость, Адам завалил её в кровать, приспустил колготки и за минуту, в полном молчании, сосредоточенно испытал Лилю на своём детекторе лжи. К месту сказать: была поздняя, снежная осень. Лиля лежала на койке в мутоновой шубе, свитер задрался до груди. Видок был...

— Знаешь, как обидно? Ты обошёл со мной точно с проституткой!

Он сказал:

— Мы опаздываем. Сеанс начнётся через двадцать минут. — И вышел за дверь, прикуривая на ходу.

Та самая Лиля подруга, однокурсница, постоянно терзала Адама зрелыми вопросами:

— Тебе кто нужен: жена или баба? Ты определись. Если просто баба, то выйди во двор, червонец покажи, свистни — сбегутся.

Умная какая! Пробовал Адам, потрясал купюрой над головой — тёлки бросались врассыпную, оглядывались как на маньяка.

Я догадываюсь, почему Адам женился на Лилит. Важной причиной, побудившей его сделать безумный шаг, была не только месть Аде, но и гордыня, отвергавшая любые советы хищной подруги, старой девы.

Много позже Адам узнал, что подруга так замуж и не вышла. Зачала от вечно пьяного соседа и родила мёртвого ребёнка. Сошла с ума, долго содержалась в психушке, но выписалась оттуда зрелой гадалкой и экстрасенсом. Клиенты записываются в очередь к ней за месяц. Сам у неё не был, но знаю, что КПД у неё высокий, процентов семьдесят её предсказаний попадают в точку. Основной доход приносит защита на сделки. Молится, жжёт свечи, комбинирует «козу» на руке. Если сделка проходит удачно — получает 10 процентов от общей суммы, если нет, то виноват клиент. На то припеваючи и живёт.

Лилит использовала Адама по полной программе — может быть не желая того. Двигала им выверенно, как шахматный гроссмейстер фигурой, приближенной к королеве.

Лиля проходила преддипломную практику в Институте Высшей Нервной Деятельности у Эзраса Асратовича Асратяна, или, как его называли коллеги, «с ног до головы Асратян». Руководителем практики была грозная тётка, профессор, завкафедрой. Все студенты трепетали перед ней.

— Любимый, вся надежда на тебя! Надо встретиться с цветами и тортом старую лахудру, устроить её в лучшую гостиницу. От этого зависит моё будущее! Отдаю его в твои руки! — умоляла Лиля. — Ты ей должен понравиться! Постарайся!

Понравиться? Бабушке можно понравиться легко, без особых усилий. Достаточно проявить внимание и сочувствие.

Встретил в Домодедово с цветами и «Киевским» тортом маленькую, почти кукольную, симпатичную женщину. Ни за что бы ей не дал пятидесяти, да и сорок — с натягом: длинные волнистые волосы, ухоженные руки, тело, сбитое под молодую кобылицу, и глаза яркие, не выцветшие.

Она восхищалась всем, что попадало в поле зрения: очередь на маршрутку, грязными московскими двориками, администратором гостиницы, подозрительно долго изучавшим её паспорт, горничной, которая горланила на весь этаж сутками напролёт, чтобы прекратили курить в комнатах немедленно.

Бойкий, порой пугающий восторг и напористое восхищение руководительницы усмирить, казалось, было нельзя, только — утешить.

Заперев дверь номера на ключ, она без обиняков и прелюдий скинула с себя брючный костюм:

— Я — в душ! Ты пока разбери мои вещи и накрой на стол. В сумке есть бутылка коньяка.

Адам позорно бежал к ресторану «Маяк», где его поджидала Лилит.

— Чтоб ещё раз!!! Ты же продала меня бабушке за вонючую рецензию! — размахивал он перед лицом Лилит.

— Почему — «вонючую»? Любимый, я уже пожалела о содеянном. Не подумала, что стерва — незамужняя. Я же, дура, слышала, что ей нравятся молоденькие мальчики, но чтоб вот так внаглую? У неё же любовников немереное количество. И какие люди!

— Ты решила устроить мне проверку? Я не рак, падалью не питаюсь...

Прохожие останавливались, прислушивались, некоторые пытались принять участие, спрашивали: «Не бананы ли завезли в ресторан?»

Какие бананы? Денег едва хватало на тарелку пельменей с бульоном.

Жил Адам в Москве впроголодь, ночевал поочередно на вокзалах и в ночные часы любил рассуждать, что же его заставило ринуться следом за Лилит в столицу. Ревновал к научным работникам, знакомым, которых в Москве оказалось у Лилит не пересчитать по пальцам. Чувство собственника угнетало голод и неустроенность. Лиля была его женщиной, и делиться ею он ни с кем не желал. Кто у неё был до него, и что она вытворяла... — Адаму хотелось, чтобы ему это было без разницы. Он мог смириться с её прошлым — до него. Привыкнуть не смог бы, а смириться — да, пытался!

В институте ВНД глумились над подопытной тёткой: вживляли электроды в башку, в центр сексуальных удовольствий, и вели подсчёты — сколько оргазмов

подопытная выдержит, пока не потеряет сознание. Лиля взахлёб рассказывала об удивительном эксперименте, будто сопереживала несчастной тётке.

— Ничего удивительного, — дал оценку услышанному Адам, — утки тоже постоянно клюют себя в жопу, чтобы не утонуть. Это им жизненно необходимо.

— До потери сознания?

— Не «до», а для того, чтобы салом перья смазать. Это у вас в институте — до потери сознания.

— А у тебя хватило бы способностей заменить электроды?

Красивая особь никогда не станет изводить мужика намёками, что она ещё и умная, а умная регулярно пытается вытянуть признание, что она самая красивая, точно другие женские достоинства имеют вспомогательный или случайно обретенный характер.

— Какие, например?

— Врождённое здоровье, необходимое для потомства.

— А вместе?

— В одну бутылку не уместить здоровье, ум и красоту. Эта горячая, ядовитая смесь у самки приведёт к полному вырождению всего рода.

— Дебил! Проваливай отсюда! Ты мне не нужен. Ненавижу!

Однажды Адам понял, что смертельно устал от изнурительных объяснений с Лилей, совместных ночных поисков лежаков на чердаках московских многоэтажек, устал от бессмысленных шатаний по улицам в ожидании конца рабочего дня, от ревности, которая, находясь рядом с Лилей, душила его больше, чем просто тоска по ней за тысячу километров. Подступила тошнотная догадка, что надо им временно расстаться, чтобы больше никогда не пересекаться.

Такой поступок показался ему по-мужски решительным. Он попросил Лилит, чтобы она заняла денег у старших научных сотрудников, купил билет на обратную дорогу в купейный вагон и отбыл из столицы, не поинтересовавшись как и чем Лиля станет расплачиваться с кредиторами.

Изнывающая от жары Москва отступила. В накалённом до предела купе кондиционер не работал. Сосед долго вертел вагонной отмычкой, наконец опустил окно, но от горячего ветра легче не стало.

Сосед оказался художником-авангардистом, по совместительству скульптором, и направлялся в Сибирь для заключения контракта: деньги нефтяникам девать некуда, заказали изваять из камня и бронзы скважину и нефтяной фонтан, бьющий в небо на пятьдесят метров.

— А у меня есть мечта: сварить из металла памятник всемирному лентяю и бездельнику... — признался художник-авангардист. — Нет заказчика, а я бы за полцены согласился.

— За образом долго ходить не надо, — сказал Адам и посмотрел в зеркало.

Художник сидел под зеркалом и поэтому решил, что взгляд и слова обращены к нему. Больше творческими планами с Адамом он не делился. Второй сосед, агроном, хрумкал огурцами, иногда замирая с открытым

ртом. Яблоко левого глаза сползло под веко, как закатное солнце. Он вздыхал, затем обречённо говорил: «И всех кормить надо! Всех кормить надо!». И снова принимался с пугающей дерзостью рвать зубами овощи.

Какие нелепые события того года ещё осели в памяти? Ах да — компания!

Предводительница «мать» долго уговаривала Адама порвать отношения с Лилей. Адам и готов был порвать их, если бы не эти уговоры. Никто не мог, считал Адам, и не имел права давать ему советы умнее, чем его упрямство.

— Народ считает, что ни о какой свадьбе не может быть и речи, — говорила «мать».

— Народ — это ты и две твои подруги? Лиле вы говорили об этом?

— Народ — это все мы, твои друзья. А Лиле мы устроим обструкцию. Она здесь больше не появится.

— Мне льстит ваше трепетное отношение ко мне...

На самом деле Адам злился на то, что не он первым пришёл к решению порвать с Лилит. Получалось, он опять шёл на поводу сторонних людей.

Через две недели вернулась из Москвы Лиля. Как ни в чём не бывало завалилась пьяной в радиорубку, — компания пребывала там в полном составе, — и с порога заявила:

— Сейчас я буду охмурять мужичков!

Села на колени к одному, покачалась, пересела к другому. Адам, отвернувшись, видел затылком, что Лиля позёрствует, он уже хорошо её изучил. Страх в ней было больше, чем алкоголя: для храбрости и запаха опрокинула рюмку и явилась устанавливать статус-кво.

Наплыла вязкая тишина. Курили за спиной и, вероятно, рисовали на лицах ухмылки.

— Ладно, — решила Лиля, — живите, пока я добрая. А тебя, «пацан, штаны на лямках», я жду в своей комнате. Надо расставить все точки над "i". Или смелости не хватает? Сотвори хотя бы один мужской поступок — объяснись! Не надо меня больше под танки бросать! Не хочу я посмертно носить звание героя!

Множество вопросов требовали долгих объяснений. Терпеть не мог Адам отчитываться перед кем бы то ни было, поскольку поступкам своим сам не мог дать объяснений. Одна глупость порождала другую, присыпанную ложью и непониманием.

Напичканный напутствиями и рекомендациями компании, как вести себя с Лилей — которая должна была, по мнению всех, сперва пристыдить любимого, потом напугать, потом подкупить и заставить повиниться, — Адам во всеоружии решительно двинулся к Лиле, но очутился в своей комнате, где, после недолгих раздумий, повалившись в кровати, написал и отправил в ректорат анонимку об аморальном поведении и антисоветских высказываниях студентов «Вашего Университета». Представил по фамилиям полный список всех посетивших хотя бы однажды общежитский радиоузел, попросил немедленно остановить их гнусную, развращающую молодёжь деятельность, а неко-

торых — заслуженно исключить из рядов ВЛКСМ и из высшего учебного заведения. В постскриптуме Адам предупредил, что копии письма он отправил в КГБ и газету «Правда».

«Какая я сволочь! — утешал себя Адам: — Но не мне одному страдать. Если они — друзья, пусть разделят мои одежды между собой».

Он сидел на трибуне. Стадион был пуст. Только сторож одиноко бродил между рядами и нырял под скамейки. Хорошо, наверно, было сторожу: что бы он ни делал, он принимал единственно правильное решение. Когда футболиста Колотова, вспоминал Адам, пригласили из казанского «Рубина» играть сразу в нескольких столичных футбольных клубах, он поставил условие, чтобы его отца устроили работать сторожем на стадионе. Руководство Киевского «Динамо» первым дало согласие. Поговаривали, что на одних пивных бутылках, оставленных болельщиками после матчей, отец Колотова очень скоро сколотил целое состояние.

«Меня деньги не любят! Вот в чём моя проблема!» — набравшись наглости, обычно объяснял он Лиле так, чтобы в соседней комнате его слышала тёща.

После свадьбы Лиля живо взяла Адама в оборот. Перевезла его за полторы тысячи километров в свой родной город, прописала в тёщиной квартире, устроила ему перевод в институт и выдавила с жилплощади старшую сестру Лену с мужем Геннадием Ивановичем и семигодовалым племянником Толей.

«Некрасиво как-то получается. Чувствую себя виноватым», — говорил Адам.

«Красиво, некрасиво! Не мучайся. Восемь лет здесь жили. В наследство от отца им досталась ещё одна жилплощадь и машина. Они устроены. А нам ещё учиться и учиться: мне — кандидатскую дописать, тебе — высшее получить».

Геннадий Иванович в день знакомства предложил Адаму прогуляться по берегу Волги для «установления более тесного контакта с родственником». Он был небольшого роста, почти квадратный. Его толстые, короткие, словно недоразвитые пальцы были все в ссадинах и свежих порезах от долгих лежаний под наследным «ушастым» "Запорожцем". «И это — руки хирурга?» — возмущался он.

На берегу они культурно «усидели» две бутылки водки. Гена рассказал о тесте, которого застал ещё живым и всё повторял: «Хороший был человек. Заземлённый. У него в характере было что-то такое, что постоянно притягивало. Это и дочерям передалось по наследству. Ведь наших баб, чего греха таить, красивыми не назовешь. Но есть в них что-то притягательное. Какой-то шарм».

Адам соглашался:

— Скорее всего ты прав. Вот если бы моя ещё и не фантазировала столько! То лётчик-испытатель, то капитан дальнего плавания...

— Это, конечно, ваше семейное дело, — уплывающим голосом, вслед за квадратным корпусом тела, бормотал Гена. — На твоём месте я бы заткнул куда подальше свои пионерские чувства и не стал бы пер-

вому попавшему говорить гадости о своей жене. Учти на будущее! А что касается лётчика и капитана, Лиля говорила правду! Немало ей пришлось испытать!».

Не меньше и предстояло.

Лиля призналась Адаму, что «залетела» невовремя. Будущий ребёнок крушил все её планы. Случилось ещё до переезда. Оба виноваты, совместно и выпутываться. Набило оскомину слово «микроаборт». Надо немедленно было найти средство. Двойная доза препарата — и всё нормально, выкидыш. Адам носился по городу в поисках волшебного эликсира смерти. Наконец достал через знакомого, на которого и не надеялся: так, обронил при встрече. А тот проявил участие, допёк своего коллегу, работавшего в абортарии.

Но, видимо, инъекции сделали неправильно или лекарство оказалось просроченное: спустя две недели Лиля почувствовала себя неважно, а после переезда и вовсе слегла с высокой температурой.

Геннадий Иванович только увидел её, сразу всё понял, — всё-таки хирург от бога, — и поставил диагноз: «Что кололи? Бестолковая, у тебя же сепсис!». Хорошо, что в отпуске был: три дня колдовал над Лилей с перерывами на обед, выпивку и бессрочный ремонт «Запорожца».

Адам спокойно воспринял болезнь жены: «Молодая, кровь с молоком, выкарабкается. И матка у неё крепкая, удержала, не выплюнула мёртвого зародыша». То, что сгусток, увиденный им на ватном тампоне, мог сформироваться в его ребёнка, у Адама не вязалось в голове. Не хотелось преждевременно обременять себя лишними хлопотами. «Лиля решила, что ребёнку рано появляться на свет и тиранить родителей — так тому и быть! Женщинам лучше знать, когда рожать, а когда на «вертолёте» ноги раздвигать».

Гена говорил:

— Дураки вы, постепенные! Она же умереть могла! Ещё неизвестно, сможет ли вообще когда-нибудь родить. Последствия непредсказуемы.

Адам отшучивался:

— Биологическая масса людей на Земле ещё двадцать лет назад превысила допустимые нормы. Земля мстит людям за их кроличьи нравы. А мы хотим жить с Ней в гармонии.

— Сказано: «Плодитесь и размножайтесь! Сношайтесь в меру, и в меру получайте по сношениям своим!»

— Слушаюсь, Геннадий Иванович! Сейчас же и непременно!

Время было весёлое и беззаботное.

Гена называл тещу «маман». «А ну-ка, все похватали кастрюли и загремели ими! Маман с работы возвращается!» — кричал он, увидев в окне тещу.

«Маман, вы не слышите? Ваш внук орёт — руку порезал! Перевяжите его! Я крови боюсь!»

«Ты же хирург!»

«Я родной крови боюсь, а чужому могу и голову на 180 градусов развернуть, чтоб не подсматривал, как ему скальпелем на пузе персидские орнаменты рисую».

В этих словах был весь Гена. К родным добр и снисходителен до сентиментальности, с посторонними груб, угрюм и немногословен.

Лиля подсмеивалась над ним:

— Очень хочется ему быть похожим на моего отца.

— Удаётся?

— Не всегда. Бывает, что дела со словами расходятся.

— Замечательно!

— Почему?

— Гена пообещал, что если я тебя обижу, то он мне уши обрежет, — признался Адам. — Мне будет очень больно и стыдно. Врёт?

— Конечно врёт. Уши он обычно отрезает под наркозом. Это совсем не больно.

Тёща изгибалась перед Геной, точно провинившаяся собачонка. Стоило ему повысить голос или проявить недовольство, она тут же цепенела, потом начинала носиться по квартире в поисках неизвестно чего, рабелепно заглядывала ему в лицо, будто пыталась заранее повиниться перед ним.

Адам однажды пытался, следом за Геной, высказать тёще обоснованную претензию. Та только цыкнула на него: знай, мол, своё место, примак. Станешь таким же обеспеченным, как Гена... А пока ты — никто, пришлый бессребреник, живущий на тётчины подачки, и терпит тёща Адама только потому, что так хочет Лиля. Надо ещё разобраться — достоин ли Адам её дочери?

«Зацепила твоё мужское достоинство? — смеялся Гена над признаниями Адама. — А ты расслабься, чтобы всё обошлось без хирургического вмешательства».

Всем скопом жилось веселее. Было ощущение бесконечного праздника.

Изредка лишь Геннадий Иванович уязвлял обидными колкостями: «Надо поработать на даче! — давил он за семейным обедом на Адама. — Ты едешь, или опять вывернешься?.. Ух ты, аж припотел юноша! Неужели так страшно?»

Адам отговаривался междометиями, а ночью изливал свои обиды Лиле: «Плевал Генка на свои обещания. Никогда они не уедут из квартиры. Им и здесь хорошо, а мы стерпим любые чудачества. Он — хамло с большой буквы. Твоя сестра во всём его поддерживает. А вроде интеллигентная женщина. Мучительно наблюдать, как Генка издевается над твоей матерью. Разве достойна она только хамского отношения? Этот хирург, от слова «хер», заставил меня с твоей матерью тащить в кровавом мешке семьдесят килограммов осетрины. Эта осетрина ещё всем нам боком выйдет. Где он её украл? Какими чёрными делишками он занимается?».

Утром Лиля накручивала мать, та соглашалась с доводами младшенькой, передавала разговор старшей дочери и в квартире устанавливалась идиллическая тишина: все ходили обиженные. До одного Геннадия Ивановича не доходило, что зачинщиком молчаливой ссоры был он, вернее, его неосторожное высказывание в адрес Адама. Однако не сложно было просчи-

тать, кто судорожно хватался за дирижёрскую палочку.

«Скоро, очень скоро мы освободим комнату. Потерпите чуток», — обещал он Адаму.

«Что ты такое говоришь, Гена! Для меня лучше если бы вы остались. Нам надо по-родственному держаться всем вместе. Вас никто не гонит».

«Лиля».

«Её-то какое дело? Я с ней серьёзно поговорю. Не спешите вы, пожалуйста, с переездом», — убеждал выпененне Адам, будто оправдывался. А ночью опять нудил, пытаясь заставить Лилю почувствовать себя виноватой перед мужем:

— Разговаривал по душам с Генкой. Худшее подтвердилось. Придётся нам ещё долго терпеть их соседство. А может быть, я неправильно что-то понял?

Другая жизнь, другой мир, космос, другая галактика с устоявшимися привычками и негласными законами. Выбор был небольшой: ворваться своей галактикой, разрушив их мир до основания, или упасть астероидом на орбиту и крутиться, исполняя правила подчинения меньшинства большинству.

Гена с семьёй уехал из квартиры неожиданно, в одночасье, как скончался. Оказалось, что за пределами квартиры продумывались многоходовые комбинации по обмену с доплатой, кипели нешуточные страсти, отвергалась куча вариантов, споры доводили хирурга до вегетативного невроза — и вдруг разом всё решилось.

Адама не посвящали в тонкости, поставили перед фактом: сегодня с утра начинают перевозить вещи в загородный коттедж, приобретённый на средства от продажи той самой подаренной тестем жилплощади. Коттедж — трёхэтажная домина и триста соток земли.

«Ай да приземлённый хирург с неземной хваткой маклера!»

Переехал Гена с огромным наваром. Бывший хозяин дома, старик с сомнительным прошлым, перед смертью где-то в коттедже спрятал сто тысяч — в долларовом эквиваленте. Наследники обыскали всё: разобрали камин по кирпичику, вскрыли пол, вскопали огород и пересчитали брусчатку на дорожках — не было наследства. Поняли, что затея пустая, убедили себя, что деньги старик пропил или отправил в помощь детскому интернату, и бросили это неблагодарное дело.

Через неделю после переезда Гена решил полить любимый огород бывшего хозяина. В десятиметровом шланге Гена и обнаружил неожиданный вантаж — скрученные в трубочки и запиханные под завязку пачки со ста- и пятидесятирублёвками.

О том, что хирургу привалила удача, Адам узнал только через два года, когда впервые пытался бежать от Лилит. Скрывали находку от него намеренно, видя в нём чужака и нежелательного свидетеля.

Я хорошо помню Адама того времени. Иссушенный, нездоровый вид, заторможенность в движениях бросались в глаза, будто он стеснялся своей неловкости; решался что-то сказать, открывал рот и тут же пере-

думывал. Наблюдать за ним было потешно — как за рыбиной, выброшенной на берег.

Сбежав от Лилит, путешествовал долго. Уезжал в Сухуми. Почему прятался в горах и чем он там занимался — осталось загадкой. Потом уехал в Томск, от туда по реке добрался до Среднего Васюгана — на бой шишек. Потом долго обитал в тайге за Ухтой, где однажды очнулся с куском запеченного хариуса во рту и решимостью вернуться к родному унитазу.

Какие силы гоняли его по стране, Адам объяснить не мог. Отчаянно искал одиночества, а на самом деле хотел напугать Лилу и всех, кто считал его «недоформированным» мужиком. Себе нечего было доказывать: однажды сотворённая им глупость, превратилась в огромное жизненное недоразумение.

Такую, как у Адама в глазах, безысходность и ороговевшую печаль я не видел даже у безнадежно больных.

«Почему я сбежал? Не задумывался. Знаешь, дурающий солдат небоеспособен... Третьи силы гнали».

«У тебя же ребёнку год! Где тебя черти носят?»

«Отстаньте вы все! Я знаю, что у меня малышка — вылитая тёща внешностью и замашками. Я в вашем городе ненадолго».

«Почему — в вашем? Город такой же твой, как и наш».

Адам проездом остановился здесь ради того, чтобы увидеть Аду и её дочь. Год зрела в нём злость на то, что без его согласия Ада вышла замуж за одного общего знакомого, у которого лицо было срисовано с октябратского значка. «Такие «курдювые» быстро лысеют, обрастая любовницами. Их цель в жизни — создание ада вокруг Ады».

«Это её выбор».

«Она не заслужила неверного выбора».

«Зато счастливая».

«Счастливая? — возмутился Адам. — Вы увидите, какая она счастливая!»

Позже я понял, что подразумевал Адам под «счастьем» Ады, будто он сам расписывал детально сценарий её семейной жизни.

У неё была младшая сестра. Следом за Адой она вышла замуж за художника-авангардиста, который заехал к нефтяникам за контрактом на день и осел в их городке навечно. Сестра Ады вдохновила москвича к написанию большого живописного полотна под названием «Субботняя пьяная оргия». Это была единственная попытка художника пробить столичным свободомыслием затхлый дух застойной глубинки. К написанным ещё в студенческие годы обнажённым старческим телам пьяных гостей, он смело пририсовал на картине головы членов Союза художников, а к телам без членов — головы членов Политбюро.

После чего художника-авангардиста признали невременным, а младшая сестра соблазнила «октябратский значок». Связь их была недолгой, но плодотворной. В буквальном смысле — сестра родила девочку.

На воспитание дочери у неё уже не хватило сил: достала Ада нескончаемыми попреками и занудством, достали родители идиотскими вопросами, достал муж,

переехавший в палатку на базу «Вторчермет», достал любовник-производитель, помидоры с которым давно увяли.

Всё её существо отторгало жизнь, как инородное тело. Она оставила дочку на пороге дома Ады с запиской, вложенной в пелёнки, словно бомба: «Простите меня все! Ничьей вины нет. Я устала. Ничего не получилось в жизни, и жизнь не получилась. Пыталась что-то изменить, но нет уже сил. Простите, что оказалась плохой матерью и женой! Простите, что доставила столько хлопот и огорчений! Не хочу опускаться ниже. Хочу любить и оставаться в памяти любящей сестрой, дочерью, матерью, женой. Без меня вам станет легче — это правда».

После такой исповеди жизнь не заканчивают самоубийством. В записке ясно просматривалась просьба сестры предоставить ей ещё один шанс помириться и начать жизнь с чистого листа.

Но Ада неправильно поняла сестру. Она стала обзванивать морги, подняла милицию на поиски и, приняв вид мученицы, сообщила родителям, что сестрёнка повесилась, бросив на воспитание Аде девочку, хотя сестра ещё была жива и отсиживалась в загородном доме у знакомых, которые уезжали на отдых к Азовскому морю.

Неделю младшая сестра ждала самых близких ей людей — Аду с дочерью. Порывалась несколько раз вернуться в город. Затем поняла, что Ада старательнее подталкивает всех её к самоубийству, и затянула петлю на шее точно так, как Ада описала родителям неделей раньше.

Вдовец, художник-авангардист, к тому времени завершил сварные работы над делом всей его жизни — памятником Всемирному Лентяю. Но он уже не помнил и не хотел знать — были ли у него жена и дочь. Родственников он воспринимал как железные фрагменты в основании своего небесного творения.

Ада с дочкой приезжала в наш город с целью проведать родную тётку, поплакаться ей и встретиться с подругами курсистками, чтобы поделиться радостной новостью — её мужа, наконец-то, приняли в ряды штатных сотрудников КГБ их маленького сибирского городка. Так что, жизнь налаживалась, все враги — под колпаком.

Адам решил встретиться с Адой в общежитской комнате её тётки.

Открыла дверь хозяйка и спросила:

— Чего надо?

Адам растерялся и забыл имя и отчество бывшей его преподавательницы. Они долго и молча рассматривали друг друга. У Адама выпучило в мозгах только прозвище, которым когда-то он сам награждал тётку, но прозвище быстро прижилось в студенческой среде.

— Здравствуй, Дрянь-Дрянь! — приветствовал Адам. — Я без водки и без подарков! Ада у тебя?

— Ада! — кинула через плечо тётка. — Тебя хочет видеть какое-то чмо!

— Спасибо!

— Сам спасайся, убожество!

Ада ничуть не была удивлена.

— Только на пару слов, — сказал Адам.

— Счёт пошёл.

— Отпусти меня!

— Нет.

— Почему?

— Перебор! Это уже третье слово: ты опять обещаешь «пару слов», а поступаешь как тебе вздумается.

— Ада, я требую: отпусти меня!

— Нет.

— Ты понимаешь, что и мои грехи ты своим отказом взваливаешь на себя? А рядом со мной уживаются только беда и отчаяние.

— Всё понимаю... но — нет! — Ада захлопнула дверь перед его носом, и через дверь сказала: — Я с твоими грехами чувствую себя счастливой. А тебе, чтобы избавиться от предрассудков, нужно найти ту, которая сильнее меня.

— Умная, что ли, такая?! Или Дрянь-Дрянь подсказала?! — крикнул Адам, стукнув кулаком в запёртую дверь.

И направился к друзьям занимать деньги на обратную дорогу к Лилит.

Глава восьмая

— Боюсь ошибиться, но мне помнится, что на голову Адаму упал всё-таки утюг. Старинный такой, чавкающий. В него ещё угли кладут чтоб нагреть.

— А я настаиваю на гантели. Её можно бросать с пятого этажа бесконечно, а утюг со второго раза рассыплется. Правда? Чего ты молчишь, Адам? Тебе тогда исполнилось двадцать пять или это случилось раньше?

— Уважаемый господин! Не кривите душой, отвечайте как перед Богом!

— Нет, всё-таки утюг. Теперь точно вспомнил: Адама пригладил утюг. Было ему двадцать пять. А что вы хотите? Какой герой, такая и героическая история.

— Утюг едва задел голову.

— Гантель...

— Тяжёлый предмет, предположительно утюг или гантель, ударил по касательной, но этого хватило, чтобы мозги повернулись в обратную сторону, против часовой стрелки, и вы, уважаемый господин, кинулись собирать осколки черепульки, как пазлы.

— Так и занесём в протокол.

— Я фигурально выразился. На самом деле череп не пострадал.

— А восемнадцать швов на голове?

— Скальпированная рана.

— Эка вы хватили, весёлый незнакомец! Скальпированная рана зафиксирована была у Адама много позже, и вряд ли Лилит что-то хотела знать о швах на его голове.

— Хотите сказать, что Адам ей был уже безразличен? Ничего, что мы говорим о тебе в третьем лице, Адам?

— Адам — это ураган, цунами, стихийное бедствие. Он интересен всем и всегда, даже посторонним. Свои-

ми непредсказуемыми последствиями. Каждое его появление наносит страшный ущерб. После долго пребывания в шоке, но, приспосабливаясь к его новым чудачествам, постепенно крепчаешь, обретаешь иммунитет.

Когда Адам вернулся в семью, как нашкодивший щенок, и повинулся, Лилит сказала ему:

— Твой побег научил меня многому! Я теперь другая, ты меня не узнаешь!

«Слава богу, врёт по-прежнему!» — обрадовался Адам.

— Я оставалась верной тебе, хотя ты этого не заслужил.

— Разве верность — это заслуга?

— Подумай хорошенько! Я ведь женщина! Физиология требует своего... — опять начала дразнить Лиля, пытаясь расшевелить его собственнические чувства.

— Своего чужого?

— Чужого своего!

Адам узнал от Лили, что она уезжала на неделю в Москву — на курсы повышения квалификации. Их малютка-дочь оставалась под присмотром тётки, как всегда. Хлопот было немного, ясли-сад находился в ста метрах от дома. Отвести утром, забрать вечером, искупать, накормить — это тётке только в радость. Лиля и звонила из Москвы нечасто, полностью полагаясь на мать.

Пять дней повышали квалификацию, а на шестой всей группой закрепляли дагестанским коньяком. Традиции буйного застолья были нерушимы: после застолья — перекрёстное опыление.

Лилю утащил в свою комнату один чокнутый доцент из Воронежа. «Я была очень пьяная, но у нас ничего не было. Поиздевалась над похотливым паразитологом, потом вырвалась и убежала в свою комнату. Рассказала всё подруге, ты её знаешь, а та пошла к доценту и надавала ему пощёчин».

Адам, лениво выслушав Лилю, вдруг осознал, что ему верность супруги была абсолютно безразлична.

Лиля постелила на ковре:

— Хочу сегодня на полу.

— Понравилось? Или хочешь сравнить с доцентом?

— Я же сказала: у нас ничего не было.

— Извини, забыл. Главное — чтобы не заразиться от сравнений.

Ну и что изменилось бы, если бы Лиля призналась: «Спала с доцентом, и не раз!». Ничего! Другой она не стала. Осталась прежней, до скуки узнаваемой. Взгляду было отдохнуть не на чем.

И проникла в душу пустота, и вытеснила всё живое, и вокруг прижилась. И дальше — до необозримых пределов.

И пустая мысль, обронённая словом, требовала пояснения или раскаяния.

— А помнишь, Адам, как в гостях у Гены ты заснул на грядах и схватил двухстороннее воспаление лёгких? Нет? А приятеля Дюшу? У него ещё заклинило в башке, и он из Афганистана, при полной боевой экипировке прокрался через все мыслимые границы и не-

мыслимые посты домой и поселился на чердаке твоего дома? Не помнишь?

Пустота. Из пустых и пустяковых событий, колыхнувшихся в пустоте, запомнилось немногое.

Супружеская пара — оба студенты Лили. Он, будущий врач или поэт, никак не мог определиться. Она, будущий педиатр, млела от стихов мужа, ездила несколько раз в Москву, показывала стихи Ряшенцеву и — почему-то — политическому обозревателю Бовину.

Отзывы были хорошими, но публиковать стихи никто не хотел. И без будущих врачей настоящих поэтов было больше, чем в продаже блокнотов и писчей бумаги. Каждый хотел стать известным, удивив всех, и перекроить мир под своё «гениальное» представление о жизни. Но каждый, упиваясь своей значимостью, не мог по молодости додуматься, что не стыдливая гордыня творит искусство, а нахрапистая ничтожность. Больше всего случайных людей отирается в поэзии, потому что с Пегаса падать не больно.

Ты — впервые в своей жизни — дал правдивую рецензию стихам будущего врача. Но тот отреагировал резко:

— Это — твоя правда! И только твоя! Ты хотел её сказать — и сказал. Но я не хотел её слушать, потому что моя правда совершенно другая. А говорить правду только о других так же легко, как лгать другим о себе.

— Я старался быть объективным, — сказал ты.

— Не можешь быть объективным. Это как если бы ты наелся яблок с ржаным хлебом и, баритонально попукивая, улёгся на диван. Другим мимо тебя пройти нельзя — конюшня! «Своя говнинка как малинка».

— Позвольте мне всё-таки продолжить... Вы вмешались на самом занимательном месте.

— И что занимательного произошло? Может ты, Адам, помнишь? Смутно...

— Именно что смутно! Адам и не может этого помнить. Можно ли вспомнить, какая была погода, скажем, 28 лет назад, 24 августа в 16 часов 24 минуты, при условии, что в тот день ничего необычного не произошло?

А занимательное заключалось вот в чём: Адам начал сознавать, что жизнь — это только потери, что с каждым приобретением теряешь в десятки раз больше. Обретал как курочка по зёрнышку, а терял сразу всё, что «наклевал».

Страх потери дисциплинировал Адама, но и утверждал в мысли о неизбежности потерь, будто высшие силы вынесли приговор: «должен жить так!»

Гена поучал: «Мы живём в материальном мире, значит должны думать о материальном. Религии придуманы для пожилых, уставших людей, которым пришло время подумать о душе. Фанатами веры легко становятся бывшие проститутки, воры, убийцы... И неудачники. Вернее, те, кто сжился с этой мыслью.

На самом деле неудачников нет. Можешь поверить, я сотни людей оперировал, внутренности у всех одинаковы.

О преимуществе духовной чистоты распространяются те, кто не может обеспечить себя материальными благами. Молитва всегда уступала денежному знаку. А молитва богатого всегда была приятна Товарищу Всевышнему, потому что богатый меньше клянчит у Товарища и больше благодарит. Товарищу благодарность слушать приятно, он и грехи отпускает им легче, чем попрошайкам».

— Вам не стыдно, уважаемый господин? Вы несёте в массы учение пресмыкающегося. Известно, чем закончились наущения Змея! Из райского сада кое-кого опустили так низко, что ниже можно только уткнуться в сложноподчинённую систему канализации.

— А я давно заметил: что не угодно сказочникам, то противоречит учению о материализме.

— Ваш рассказ об Адаме мало похож на правду.

— Адам вернулся к Лиле и ребёнку, потому что слабак всегда возвращается. Сперва бросает всё и уходит в отчаянии, но вскоре, зацепившись за повод, обязательно изыскивает возможность вернуться.

Как-то Лиля привела Адама в лабораторию, решив, что настало время показать мужу, чем она занята в институте, кроме чтения лекций студентам, ведения семинаров и чаепитий с коллегами.

В полуразрушенном здании, пропахшем формалином и смертью, будущие учёные светила, доктора наук и лауреаты Нобелевских премий препарировали мышей, проводили анестезию: ловко хватили за хвост зверька, крутили над столом вниз головой и затем хирургическим зажимом ломали шейные позвонки.

Лиля сказала Адаму:

— Следующим можешь стать ты, если будешь плохо себя вести.

«Почему следующим? — хотел спросить Адам: — Лиля давно уже покрутила его над столом!»

— Были случаи, когда мыши сбегали?

— Были. Один мышонок сбежал, забрался под железный шкаф — ничем не могли его вытащить. Через неделю сдох. Вонь стояла невыносимая. Молодой был мышонок, глупый. Вот старые мыши понимают, что шансов выжить, попав в операционную, нет никаких. Все обречены на жертву ради науки.

— Я где-то читал, что нацисты во время войны развлекались подобным образом: ставили к стенке одних евреев, укладывали в ряд автоматы и приглашали других евреев-добровольцев в расстрельную команду. После добросовестного исполнения уже добровольцев ставили к стенке и вызывали следующих. И так продолжалось до полной победы евреев над евреями. Наверное, мыши со страхом и надеждой воспринимают тебя как богиню Исиду, Нун или Маат.... Нет, Элохим — вот кто ты! «Семь дней мышонок Мойша препирался с Богом у неопалимой купины! Не договорился!»

— Вглядываться в языки пламени и, ни о чём не думая, вдруг познать всё!

— Уважаемый господин, всё — это что?

— Например, с упрямым постоянством некие высшие силы навязывают нам мысль, что жизнь человечества однообразна, предсказуема и проявляется как

зеркальное отражение жизни изначального человека. Судьба написана, закодирована в генах, и точка поставлена. Как бы ни изворачивался каждый из нас в мгновении между рождением и смертью, как бы ни пытался доказать, что «Я» — это нечто разумное, грандиозное, в сравнении со Всеми, как бы ни старался изменить, подкорректировать отражение или разбить зеркало, каждый из нас обманывает только самого себя. Жизнь изначального человека, придуманная Господом Богом Всевышним и обронённая тайнописью в назидание человечеству — это и есть неприкасаемая Заповедь, полотно зеркала. Это и есть матрица, с которой скопированы миллиарды судеб.

А попытки переписать Заповедь под себя приводят к печальным последствиям и раскаяниям Каина, Хама, Эхнатона, Александра Великого, Чингисхана, Наполеона, Ленина, Гитлера, Сталина, Мао, Че... Всех не перечислить, их — тысячи. Но все они, поправ Заповедь, только лишней раз доказали, что невозможно перевалиться через рамки судьбы, уготованной некогда изначальному человеку, что их мерзостные деяния — это лишь блёклое отражение второго, пятого, семнадцатого... первородного греха. Миллиарды людей жили и живут по одному сценарию, написанному для изначального человека. Сценарий совершенен, и Господу нет необходимости придумывать новый.

— Демагогию оставим «на потом». Я продолжу:

Адам обратил внимание, что тёща, основательно изнасилованная за годы Советской Власти коммунистическими идеями, относилась к Всевышнему как к конкретному сказочному персонажу — дядьке с бородой и скверным характером. Но природа брала своё: и тёплыми весенними ночами, осадив «лентяйку», она в образе фаллического бога Мина проводила первые тренировочные вылеты вокруг дома, готовясь к главному шабашу года.

Не то чтобы подготовительные мероприятия пугали Адама, скорее, настораживали. Он говорил Лиле:

— Твоя мама плохо спит. Спроси у неё, не я ли являюсь причиной её бессонницы.

Лилия возмущалась:

— Не трогай маму! Она делает всё, чтобы мы были счастливы!

«Счастливы — кто? Мать, дочь и внучка? Или старшая дочь с Геной и внуком? В любом случае — без Адама».

— У Гены всё в порядке. Он ночью дежурил в операционной. Выпил всего сто граммов спирта.

«Откуда Лилия знала подробности о Гене? Ещё ведь не созванивались? Кстати, а почему циновка опять такая пыльная и лежит поперёк комнаты, а не вдоль, как с вечера её Адам укладывал?»

Спросил и сам готов был ответить: «Осваивают курсы нетрадиционных пилотов вместе!»

— Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок... — глумилась Лилия над Адамом.

— В Бога вы не веруете, потому Бога не боитесь.

— Нет Господа, нет и наказания Господня!

Ночные и, видимо, изнурительные осваивания атмосферы тещей и Лилит на «лентяйках» и циновках

раздражали Адама ещё потому, что ему одному приходилось подниматься в четыре часа утра, занимать очередь в продмаг за полуфабрикатами. Записывать трёхзначный номер на ладони, к половине шестого спускаться на два квартала и там выстаивать живую очередь за тремя литрами молока. Потом возвращаться в магазин и дожидаться к открытию обнадёживающих вестей: колбасу обязательно привезут, но после обеда, а если повезёт — ещё и пельмени выбросят на прилавок.

Семья нежилась в постели, а в это время он, истый добытчик, хитростью и локтями вынуждал государство поделиться продуктами питания. Жизнь казалась правильной, устои непоколебимыми, политика партии — самой гуманной. Не хватало только помощниц, сменщиц на бесконечные очереди в закурома Родины. Сменщицы, отлетав ночь, спали, заранее вооружившись ответными упрёками: «Подумаешь, герой, отстоял очередь за молоком для своего ребёнка! Вот у наших знакомых один товарищ регулярно стирает вручную трусы тёщи! И принимает это как должное!»

Выглядели бы упрёки шутовскими, если бы однажды ночью,— пока тёща осваивала под окном девятого этажа «бочку», а Лилия, как сама утверждала, крутила мышам хвосты, — не явился давно «сыгравший в ящик» тесть.

Адам обнаружил его на кухне: тот уплетал шмотень сала вприкуску со сладкой сайкой.

— Зять? — по-хозяйски спросил тесть. — Ни дать, ни взять?

— Тесть: только пить да есть? — определил Адам, быстро измерив взглядом недоимки в раскрытом холодильнике.

— Почему ты моей жене не можешь постирать трусы? Хочешь, чтобы она грязнулей ходила? Запомни: не только твоя жена, но и тёща — это прежде всего товар. Хороший купец плохого товара не имеет. Не можешь обеспечить, содержи в чистоте что имеешь. Должен сохранять лицо!

— Трусы на лице не носят.

— Не носили. Ты будешь первым.

— Смешно.

— Смешно иметь вредные привычки, а остальное соседство не раздражает, — чавкая, определил тесть: — Твоя главная вредная привычка, которая бесит мою семью — это терпение. Люди, которые терпеливо сносят унижения, опаснее импульсивных, взрывных психопатов. Что у них в голове? Одному покойнику известно, то есть мне.

— А меня раздражает чавканье покойника!

— Пугает, а не раздражает, потому что, как уже говорил, раздражают вредные привычки. А я — какая же привычка? Так, мимо пронёсился; встретил свою ненаглядную; потрепались немного; вот мне и стало любопытно поглядеть на зятя. Имя у тебя интересное. Родители, видно, были атеистами? Когда давали тебе имя, не предполагали, на что сына обрекают? Я тоже был атеистом, но в телевизоре искал не только шоу Генерального секретаря и прогноз погоды. А дочь называл Лилитой потому, что всегда хотел защитить её от паразита с таким звучным именем, как у тебя. Короче,

ищи своё ребро или стирай трусы тёще, — сказал в назидание тесть и вышел в окно.

Адам, затаив дыхание, вслушивался в голоса за окном.

— Не бойся за нашу дочь, — распознал Адам голос покойника. — Этот — не революционер. Он уют не променяет на скитания. Если и рыпнется пару раз, то по-детски. И быстро одумается. А потом осядет прочно.

В знаменательный день, раненный утюгом на всю голову, Адам вернулся с прогулки домой, молча собрал вещички... — но по-английски не дала уйти тёща. Она словно прочла намерения Адама и явилась с работы на два часа раньше.

— Ага, опять бежать вздумал? Надолго? — полюбопытствовала она, косясь на чемоданы.

Пыталась угадать: не прихватил ли Адам чего-нибудь лишнего.

— Теперь навсегда! — смело признался Адам.

— Ты будешь жалеть всю жизнь!

— Кого? Вас? — поразился Адам.

— Не валяй дурака! Впрочем, нужен ли моей дочерей такой муж, а внучке отец? Мы и без тебя воспитаем девочку.

— Вот видите, теперь у вас появился стимул. Вы будете доказывать себе и мне, что мою дочь вы воспитаете без моего участия лучше, чем со мной.

— Я поняла. Ты никого не любишь...

— Это избитые фразы слабых при расставании.

— Особенно дочь свою не любишь. Тебе нужна была квартира! Я поняла! Поняла!

— Задолбали вы меня своей квартирой, дачей, райским садом и конформистской моралью строителей коммунизма!

Может быть, впервые почуввав не доброе, тёща встала противотанковым ежом в проёме двери, раскинула руки и потребовала:

— Дождись дочери! И внучки!

— Для чего? Чтобы вы попытались разжалобить меня? Возьмёте внучку на руки, и она скажет: «Этот дядя-папа злой, пусть уходит!». А вы добьёте: «Даже дочь родного отца гонит! Дожил, довёл, задолбал!». Глядеть на тебя противно!

— Хорошее напутствие в дорогу! Добавьте: «Ты испортил всю жизнь дочери!»

— А что, не испортил?

— Пытался. Но испорченное трудно испортить в испорченной среде.

— Я поняла! Ты и меня оскорбляешь! Гнилой ты, зять! — Но тут же поправилась: — Гнилой — в хорошем смысле слова.

— Если бы я хотел оскорбить, я бы выбрал другие слова. Например, старая ты паскуда, тварь линиялая, моралистка чмошная — в хорошем смысле этого слова, конечно.

— Я передам разговор дочке. Уходи! — тёща опустила руки.

— А разговора не было. О чём мне с вами говорить? Разве не видно, что я пытаюсь молча и трусливо вырваться на волю?

— Трус!

— Хорошо, что у вас хватило смелости бросить мне это обвинение в спину! — крикнул на весь этаж Адам, захлопывая за собой дверь.

Глава девятая.

Смотрины.

За полчаса до прибытия в Москву вдруг опять всплыли и начали грызть досада и раздражение. Да и всплыли ли? Может, проще — укрепились и настойчивее стали диктовать условия, разбудили здравый рассудок? Ева любила подчёркивать: хотя в душе она авантюристка, имеет склонность к риску, но практический ум её может подавить любой авантюризм на корню. У неё огромный опыт, чутьё и знания человеческого общежития. Ева считала себя отличным психологом и не глупой — ой, далеко не глупой бабой.

Как же могло случиться, что она вдруг утратила чувство реальности и позволила вовлечь себя, затащить в такую «катавасию», из которой безболезненно выкарабкаться было уже практически невозможно? Никогда ранее с Евой подобного не происходило.

...Она везла на смотрины родителям своего жениха Адама, которого с каждой минутой, по мере приближения к Москве, ненавидела всё больше.

Он сейчас был ей противен абсолютно во всём: в том, как стоял, обернувшись к ней полупрофилем в коридоре вагона, и делал вид что наблюдает за набегающим пейзажем. А на самом деле любовался собственным отражением в окне. Нарцисс! Видел бы он себя со стороны: усохший, загнутый вопросительным знаком, одежда болтается, как на стуле. Ева не терпела его наигранных жестов, слащавости в разговоре. А как он ходит! (Поражалась: он был доволен своей походкой). Он ходит будто шестивёсельная шлюпка, глубоко загребая ногами. Ест и спит — сплошное отвращение! Господи, ведь нечего и родителям показать! Везёт шута на посмешище и посмеяние своё.

Может, Ева сдалась и, ослеплённая страхом возраста, кинулась на первого попавшегося уродца? «Вот, вам, родители, жених-женишок!», ничего лучшего она предложить не может! Примите гражданина полудурка и простите её за нетоварный вид жениха!

Трудно сказать, что теперь представлялось лучше: слыть старой девой под неумолкающие перешёптывания соседей об её неполноценности или коротать жизнь с этим вот недоноском.

А ведь пять лет назад у Евы уже случалось подобное. Так же везла через Москву на показ родителям жениха, более свежего и достойного, чем Адам. Тот за ней ухаживал ещё со студенческих времён. Родные тётка и дядя надыхаться на него не могли: «Ах, Толик, ах какая прекрасная пара! Вы идеально дополняете друг друга!».

И правда: характер у Толика был покладистый. Ходил за ней скромной поступью, как телок, заглядывал ей в рот, внимал каждому слову, по крайней мере делал вид, пытался понравиться. Чем не муж?

Однако с какого-то момента его походы «скромной поступью» превратились в преследования. Он сделался неусыпным сторожем и неотступным охранником её чести — ВОХРовец, регулярно просматривавший незапятнанность её постельного белья.

Толик стал порядком надоедать, и Ева обстоятельно и по пунктам объяснила, что надеяться ему не на что. Еве надо делать карьеру, а Толик никогда ей не нравился. Нравились ей чернявые... и одному такому она готова подарить свою красоту и молодость..

После института не встречались года полтора. Так, на бегу: «Привет! Как жизнь? По-старому! Ладно, встретимся у общих знакомых! Пока!»

И вдруг на Толика что-то накатило. Каждый вечер топтался под окнами: «Ева, ты пойдёшь в «Луна-парк»? А в кино? Просто прогуляться по набережной?»

Она не могла отказать. Не ему — родственникам, у которых продолжала жить после института. «Приходи через час!» А сама пряталась в соседнем подъезде, ждала, когда Толику надоест отираться возле квартиры тётки.

Нет, всё-таки Ева была молодец, чутьё не подводило её. Ещё бы! Стоило Еве позволить Толику сделать то, чего он добивался от неё (всем мужикам только одного и нужно), как потом в их отношениях сразу бы всё перевернулось.

Повязанная тайной, сокрытой от родственников, Ева считала бы себя обязанной перед Толиком. А ещё домысливала, угадывала в нём плохо перевариваемую особенность характера, вставшую поперёк горла, понимала, но не могла себе объяснить его тупое упрямство, нудное доказывание своей правоты. Оно проявлялось иногда в нём отчётливо, вставало Китайской стеной, так что ни пробить, ни обойти, ни сломать. Проще было перебить ему пополам хребет. Непробиваемое упрямство Толика, которому она была не в силах противостоять, давило, по частям подминало под себя.

Летом Толик задумал поездку на Иссык-Куль, у него жил там один знакомый, «прочный должник», как говорил Толик, сильно обязанный ему.

Знакомый имел дом почти на берегу озера, так что проблем с поисками жилья не было. Отдых и загар гарантированы.

Ева понимала, ради чего устраивалась поездка, ради кого Толик развернул не свойственную ему бурную деятельность, — с безумными затратами на телефонные переговоры, беготню, доставание авиабилетов в летнее время. Он доплачивал шоколадом, духами, безделушками, мишурой, всякой мелочёвкой, дрянью, улыбочки раздавал налево и направо.

Она согласилась, но, прочитав на его лице радость хищнического предвкушения и довольство собою, поставила условие: одна не поедет, возьмут общих друзей, бывших однокурсников, семейную чету.

Разговор происходил возле общежития, где она изредка ночевала, чтобы не потерять прописку. Толик размахивал руками, а остов его будто сморщился, усох в пространстве тела. Выглядело потешно: летали, покачивались дрявком бесхозные, загребущие ру-

ки. Руки-вещательницы. Они шипели: «Я тебя, Ева, не понимаю. На кой ляд нам сдались эти Енохины? Почему лишним грузом мы должны волочить их за собой? Учти, спальных мест у Касыма, хозяина дома, на всех не хватит. Куда Енохиных — на улицу?»

«Они наши друзья. Они мои друзья, — упорно стояла она на своём. — Не хочешь, поезжай один, никто не набивается к тебе в соседи!»

И Толик пропал. Ни звонков, ни ежевечерних дежурств под окном.

Ева в минутной слабости даже раскаялась. Можно было ехать и без общих друзей. А если Толик предлагал ей поездку из чисто дружеских побуждений? Никогда не была на Иссык-Куле и вряд ли когда-нибудь ещё выпадет возможность побывать там. К тому же, ничего компрометирующего не прочитывалось в том, что Ева отдохнёт с Толиком на озере.

Незаметно, благодаря правильным и напористым ухаживаниям Толика, среди их общих друзей как-то само собой укоренилось мнение, что эта пара — неизбежные муж и жена. Енохины, например, считали, что дружат не с однокурсниками Евой и Толиком, но с семьёй, значимо определённой, не скрепленной лишь формальной печатью ЗАГСа.

Мнение Енохиных для Толи определяло много. Много, но не касательно её. Скорее так: Ева прислушивалась к мнению Енохиных, семейная жизнь которых была на хорошем счету партийной ячейки. Почти идиллическая семья: папа, мама, дочка и родители с обеих сторон, вмешивающиеся в их дела лишь на правах почётных гостей.

Но идиллия была лишь на поверхности. Ева от подружки Енохиной знала и другое: та часто жаловалась на мужа. При гостях подружка позволяла себе шуточные выпады типа: «Все несчастья — от мужиков!». Наедине с Евой исповеди её обычно заканчивались слезами: «Эгоист! Для Енохина семья — камень на шее! Жить не хочу! Давно бы ушла от него! Но куда, кому я нужна? Я для него — мебель в доме. Он хочет одного — покоя, без хлопот, самому вариться в собственном настроении. Может неделями не разговаривать: ни слова, будто нет рядом ни меня, ни дочери. За что, спрашивается, за что? И при всём при том — хозяин! Попробуй слово скажи поперёк! Нельзя, даже намёком! Зыркнет только — в ногах холодеет, а ноздри раздует — криндец! Нет, без него лучше! Ай, да все они одним миром мазаны, все вылезли из одного места!».

Вот именно — одним миром! Толик был не лучше Енохина. Ясно как дважды два.

Через неделю после исчезновения Толика на работу Еве позвонил Енохин. Ева приправила голос удивлением: Нет, она ничего не знала. Ах вот даже как! Толик пригласил их провести отпуск на Иссык-Куле? Интересно. Нет, Еву он не приглашал! Вот если Енохины согласятся взять её с собой, то она будет иметь в виду. Интересное предложение.

А перед самым отъездом на Иссык-Куль пришло наконец официальное приглашение от младшей сестры на свадьбу, которое «состоится ...июля,года,

праздничная часть — в ресторане «Прага». Дина, Равиль».

Собственно, вопрос о свадьбе Дины и Равиля решился ещё месяц назад, когда сестричка привозила жениха на смотрины — специально-обособленно для Евы. Требовалось формальное одобрение старшей удачному выбору младшей: «Вот он, мой жених! Привезён на смотрины! Прошу озвучить ваше мнение! И попробуйте только сказать о нём что-нибудь плохое — вы меня знаете!».

Как старшей Дина призналась: «На четвёртом месяце. Влипши. Ничего, готовим фирменное платье. Никто на церемонии не заметит. Можно не беспокоиться. А заметят, чёрт с ними! Пока отступить некуда!»

Это самое «пока» больше всего и тревожило. Ева отлично знала жёсткий и поперечный характер сестрёнки. А вдруг так называемый жених Равиль встал в позу благородного? Нашкодил и добровольно полез в семейную петлю? Заподозри Дина в женихе эту скрытную «добродетель», тут же откажется: «Не было ничего, и никакого жениха!».

А пока гуляли вчетвером по городу. Мужчины пили коньяк, громко спорили, хохотали, приглашали друг друга в гости. Ева тайком сравнивала столичного жениха Равиля с Толиком. Толик уступал.

Перед отъездом в Москву Дина передала слова своего женишка. И звучали они, как семейное клановое наставление: «Вы с Толиком хорошо смотрите. А что, давайте сыграем совместную свадьбу? Равилю твой очень понравился. В общем, думайте, сообразайте. Ждём вас!».

Нет, до последнего момента всё Еве казалось непрочным в отношениях и будущем Дины и Равиля. Или просто не хотела верить, что для сестрёнки некто посторонний, по сути вломившийся в их жизнь, мог стать дороже её, Евы. Присутствовал явный элемент предательства. Поэтому Ева до конца сомневалась, что лучше: неожиданный обман жениха и, как следствие, несостоявшаяся свадьба или предательство сестрички? Естественно, что будущего ребёнка на воспитание Ева возьмёт себе. Сделается мученицей, пожертвует карьерой и работой, ответив сполна за грехи сестры.

На Иссык-Куль она поехала держа в сумочке и билет в столицу.

В Свердловске промурыжили почти сутки. Прочно зависла духота, стояло марево, плавился асфальт, густели выхлопные газы, всё время страшно хотелось пить.

Енохин с Толиком не отходили от окошка диспетчера по транзиту, стояли до последнего, намертво. А Ева подносила воду, найти которую в аэропорту представлялось не меньшей проблемой, чем закомпостировать билеты. Отдых оборачивался мукой. Но держались, пытались шутить: озеро — в награду за терпение! Воздастся сполна!

Воздаваться начало сразу, по прилёту. Сели в машину к весельчаку-таксисту. Разговорчивый, он травил их пошлыми и древними анекдотами на бешеной скорости: «Дэвочки, у нас всё особенный. Воздух, пи-

тань, вода, со-он» — хитро подмигивал. Позже, со смехом вспоминали: и езда особенная, с кульбитами. Ева говорила, что была уверена — добром не кончится: или врежутся или перевернутся.

Когда не вписались в поворот, никто не успел испугаться. Дважды перевернулись и встали на колёса. Ни царапин, ни ушибов. Енохина сломала ноготь — вот и все убытки. Ева подумала о себе без сожаления: её смерть была бы мстью сестре за предательство.

А потом время замерло, треснув на две части — жгучее солнце и неожиданно холодные, как нашествие полярного фронта, ночи.

В первый же день рассредоточились: девочки отдельно, мальчики рядом, за деревянной перегородкой. У Евы начался «гон», ожидание того, ради чего устраивалась Толиком вся та лафа. Ждала с содроганием. Должно было произойти, должно, вот-вот. Должно, как благодарность за холодную гладь озера, бесплатные хозяйские обеды, ровный и прочный загар. В самом деле, не деньгами же расплачиваться?

А Толик упорно ждал, не торопил, предвидел неизбежность оплаты. Отдых превратился в отбывание. Проклёвывалось что-то неприятное в Толике, хищническое. Точно кот, придушивший слегка мышшь, наслаждался он грациозными движениями своих лап, играя с жертвой.

Хозяин раз в неделю проводил профилактические мероприятия по воспитанию супруги. Дети (их было четверо) высыпали во двор, бились к Еве в двери — вероятно, чувствовали, что Ева каким-то образом сможет помочь, повлиять на хозяина. Крик в доме стоял душераздирающий.

«Он убьёт жену, он же её убьёт!» — дёргала, тащила к двери Ева мужчин.

«Не наше дело. Разберутся».

«Как разберутся, когда убьёт?!»

И вдруг Толик: «Сейчас будет забавная сцена! Этим всегда заканчивается! Вот увидите!»

Левой рукой схватив супругу за копну мелких косичек, а правой заграбастав её ногу, которая висела как-то повинно и предрешенно, в окне образовался хозяин. Он выдыхал в лицо супруги пьяным угаром: «Ты, ты! Вот, взять кусок гнилого мяса и положить рядом тебя — не возьму! Лучше гнилым мясом подавлюсь!» — швырнув её на грядки, артистично отряхнул руки и брезгливо процедил сквозь зубы: «То-овар-р! Тьфу!»

Толик заискивающе позвал: «Касым, иди к нам! У нас есть немного вина — для поднятия духа! Не всё же время поднимать тяжести?»

«Что? Что ты сказал? И после этого ты ещё смеешь?..»

Ева задыхалась от возмущения. Какая гадость выплеснулась на неё!

Заплакала, убежала, заперлась в комнатухе. Енохина тоже соблюла солидарность.

Был веский повод бежать отсюда: от бездушия, от невыносимого ожидания «выплаты кредита», от всего этого кошмара, выпирающего из всех щелей ханжества, заштрихованного солнышком, натужными улыбочками, ляляканием, бездарной тасовкой времени.

Следующее утро прошло во враждебном молчании: Енохина не разговаривала с Толиком и мужем из солидарности с подругой, а Енохин привычным презрительным молчанием изводил жену и сочувствовал Толику. Ева лишь спросила, когда отходит автобус в город.

Толик принялся объяснять в подробностях — он во всём был щепетилён, любил точность и уточнения к точности, как штангенциркуль, — полагая, что блокада молчания прорвана. Толя, дурачок, заклиненный на самоуверенности, всё-таки не понимал, что Ева ещё та птица, та «фрукта», способна упорхнуть из-под самого носа.

«Чем меньше женщину мы больше»...

В полдень багаж был собран. Енохиным она показала приглашение на свадьбу — через два дня надо быть в Москве, не пренебречь же церемонией бракосочетания сестры, любимой и единственной?

«Как? Почему? Свадьба? И она молчала?»

«Да, но на то имелись причины: не была уверена в том, что свадьба состоится. Всё у Дины с Равилем было шатко, казалось, что без желания шли под венец. Сама боялась, что вот-вот сорвётся. Енохины, конечно простят её за то, что испортила им отпуск, не подумала заранее: без неё дальнейшее пребывание на Иссик-Куле теряет смысл. Только в этом Ева чувствует себя виноватой.

«Разве? Только в этом?» — она уловила в словах Толика закипающую обиду и повернулась к нему с выражением возмущённого удивления: «А в чём ещё?» — дорисовала на лице немного невинности и непонимания.

Толик перекачивал желваки — два тугих канатика на скулах. «Что лопнет вперёд: желваки или терпение?»

Он, конечно, сдержался, переварил свой позор. Едва слышно, почему-то вглядываясь в дно пустой пиалы, невесть откуда появившейся у него в руках, Толик спросил: «Ты, конечно, взяла два билета? Меня ведь тоже пригласили? Имею не меньше оснований быть там?».

«Твоё дело. Если хочешь — поехали». Ей было удобно и выгодно держать Толика на расстоянии поводка и волочить его следом.

Опять буквально всё было в руках Евы. Вся долгая, как старость, «дружба», все их дальнейшие встречи снова будут зависеть от её прихоти и желания. Иного понимания и отношения к себе она не потерпела бы. Спланировано ею, и должно протекать так как спланировано.

Однажды Толик, измочаленный её капризами, спросил не по злобе, а даже виновато: «Чего же тебе надо, чем я могу заслужить у тебя... уважение?». И не подозревал, что попал в самую болевую точку.

Ева обиделась, затаила обиду, потому что и сама толком не знала, что ей конкретно от него нужно. Вопрос оказался «на засыпку». Но ответила: «Хочу, чтобы ты взглянул на вещи реально», — отговорила, по сути.

Что значило для Толика «взглянуть реально»? Повиниться, попросить прощения лишней раз на всякий

случай? Признать Еву умнее, мудрее? Увидеть и признать в ней идеал женской красоты? Молиться на неё, как на богиню? «Она, и только она одна — все вместе взятые женщины. А Толик — придорожная пыль под её каблуками. Он и должен вести себя соответственно, отведённому ему придорожному месту, упрямый тупица!»

Пожелав ему на прощание приятно провести оставшиеся дни отпуска на Иссик-Куле, она была уверена, что Толик кинется следом, и дня не проживёт без неё.

«Вот, была рядом, — вероятно, думал Толик. — Немного терпения — и Еве пришлось бы воспринимать его не как вещь. Ему надо было... ох, как надо было овладеть этой женщиной! Оседлать кобылицу и удерживать в руках наездника дикую природную силищу, которой завидовал и перед которой, тайно пасуя, лебезил.»

Ева, тонкий психолог, понимала, что похотливого собственника надо всегда держать на расстоянии и жить сообразно «дыханию земли» — с отливами и приливами. Да, вот такая она, Ева, так воспитана. А не нравится — уйди в сторону, не ухаживай!

В Москве она находилась в состоянии «прилива».

Толик, нагнавший её ещё по дороге в столицу, теперь таскался за ней неотступно в ЗАГС, на «девичник». Он чутко уловил её настроение и позволил себе немного расслабиться. Ева готова была на отчаянный шаг.

Звонили родители. Они ждали новобрачных у себя в селе — десять часов езды от Москвы. Ева предупредила, что приедет не одна: со свадебным кортежем сестрёнки завезёт на смотрины и своего жениха.

Женихом Толика в телефонном разговоре назвала впервые. Нет, не вырвалось, сказала глубоко обдумав. Слова были произнесены «на публику» — ходили на переговорный пункт всей изрядно захмелевшей толпой гостей.

Гости поздравляли, кто-то торопился узаконить их отношения и кричал: «Горько!» А Ржевский, друг Равиля, шуточно и едко подметил: «Чья здесь свадьба? А чья здесь... месть?»

Точное было попадание. Лицо Евы стало багровым. Правда, Ржевский — шут гороховый. К болтовне его не прислушивались и всё время ждали от него чудачеств. Говорили, что пьяным он пристаёт к милиционерам, пытается свести с ними свои давние счёты.

Повадки этого столичного театрального народца были для Евы тогда ещё непостижимы. Равиль работал режиссёром в театре. У артистов свои правила и выносить на публику своё суждение о происходившем бедламе Еве казалось по меньшей мере нескромно. Наоборот, она с восторгом внимала праздничному вдохновению театральных деятелей. Эта была другая жизнь — талантливой молодёжи, будущих, так сказать, корифеев искусства. Были на слуху известные имена, постоянно кто-то вспоминал: «Ах да, это случилось, когда проходили съёмки на центральном телевидении. Дин Рид тогда ещё бродил за кулисами, всем давил ладони и говорил: «Здрав-вуйствуйте!» Он по-русски знал только «здравствуйте» и «спасибо». А в

Берлине, помните?.. Лёша, наш знаток немецкого, от обуявшего его «интернационализма» кричал со сцены: «Фройндшафт, дорогие товарищи, хорошие мои! Нихт шиссен, ниht шиссен, шайсе! Слушайте, а может Аллу Борисовну пригласить? Публику бы потешила».

Подкупало! Подкупало и то, что Динка прочно была связана с театром, телевидением. Младшая сестрёнка, которая тянулась, пыталась подражать в детстве Еве, вдруг прижилась в среде столичной элиты и перепрыгнула на десяток ступеней выше по иерархической лестнице.

Опять принялся грызть червячок сомнений — Ева испугалась показаться глупой всем им. Зачем, зачем она при «народе» хвасталась Толиком? Выкрикнула в телефонную трубку: «Везу с собою жениха!». Какой он, к чёрту, жених? Квашняк провинциального отстоя! Ржевский прав: мечь! Или поза перед сестрёнкой. Что Еве стоит только захотеть, поманить пальчиком — и женихи сбегутся? Идиотка! Повесила на себя лишний груз и не знает как избавиться.

Толик — чемодан без ручки. Он выпил немного лишнего, и хотя держался стойко, Ева уловила по взглядам и ужимкам гостей, что над ним посмеиваются, подтрунивают.

Толик напрашивался в лучшие друзья Равиля, «бравадничал» будущими родственными узами. А надо было молчать в тряпочку, больше от него не требовалось. Гости быстро вычленили его слабые места и распяляли, выставляя его на посмеище. А значит и её.

Под занавес застолья, когда, в прямом смысле, танцевали до упада и затем исчезали парочками, вновь появлялись, когда праздник уже отдавался болями в печени и головокружением, вдруг прошелестел влажным дуновением цыкающий московский говорок: «Вы разрешите за вами поухаживать? Разумеется, если ваш жених не вызовет меня на дуэль. Я боюсь его. Он готов пристрелить одним взглядом. Пойдёмте потанцуем? Вы прекрасно танцуете! Вашему жениху определёнno здесь, в этом зале, всякий позавидует. А ваши глаза, губы! Перед вами все мужчины — плебеи! И вы ведь прекрасно знаете это? Смотрите, ваш жених заигрывает с девчонками. Ого, да он опытный ловелас! Не наказать ли нам его? Давайте сбегим отсюда? Мы сейчас поедem ко мне, согласны? Пусть женишок помучается, поищет, побегаem по Москве... Правда, правда, я ощущаю себя возле вас таким ничтожеством! Здесь недалеко, десять минут на такси. Уютная квартирка, кофе гарантирую. И не подумайте, что я — змей-искуситель. Вы действительно божественны!»

Что это было? Может быть, мечь сестре? Толику? За то, что смалодушничала, решила показать его личноному бомонду и опозорилась?

Утром Ева съездила на вокзал, взяла билет на обратный рейс. И бегом — к сестричке на квартиру.

Молодые только проснулись. На столе аккуратно выстроенный на газетке горсткой костей лежал остов запеченной курицы.

Дина злорадно пропела: «Здравствуй, пропащая сестра!»

«Для кого — пропащая?»

«Тебя ищет Толя! Всю Москву обегал. Замри на минуту — сейчас опять явится!»

И точно, минуты не прошло: тихо постучал в дверь. Ева поднялась и пошла на него, словно тореадор.

«Где ты была? Все больницы с твоей тёткой обзвонили!»

Честолюбивый женишок мучился и ревновал. Требовал уже от неё неукоснительного исполнения параграфов «Домостроя».

«Выйдем, нам надо поговорить!» — и повела его в подъезд.

Тень от подъездного окна падала на Толика крестом. Ева подумала: даже природа ставит на нём крест. Она протянула ему билет:

«Поезд через два часа. Уезжай! Не хочу тебя видеть!»

«Подожди! Успокойся! Объясни, в чём дело?»

«Не сейчас. Может быть потом объясню, когда вернусь. А теперь уезжай!»

«Нет, но хотя бы можно узнать причину? Ты любила этой ночью? — пытался выведать в шутилом тоне. — У вас что-то было?»

«Чтоб ты знал: у меня давно уже что-то было, были мужчины, и не один. Не делай вид, что ты не догадывался. И знаешь, если бы здесь появился Славик, я бы... не знаю, вопрос о выборе жениха отпал сам собой. Но Слава далеко».

«Какой Слава? Ты сейчас придумала?»

«Уезжай! Извини, что втянула тебя в эту глупую, безнадежную историю. Ты мне противен! Да, ты прав, мне сейчас все противны!»

Неужели пять лет прошло?

И без этих приключений столько потом было событий и встрясок, но как-то они не тревожили. А это вот всплыло, видно, тревожным предчувствием — что любые смотрины случаются не к добру. Лишний повод к давним разговорам и сожалениям, набившим изрядную оскомину у родителей.

Толика обожала тётка, она и родителей сбила с панталыку. Полюбили его заочно и приняли в семью.

Толик давно женат — пять лет — на рыженькой своей сослуживице. Видно, держал её в резерве на случай неудачи с Евой. Скоро у них появится второй ребёнок. Старший — интересный мальчишка.

При встречах на улице семья непременно останавливается и заводит с Евой пустой треп. Ни слова о прошлом. А Ева, поглядывая на Толину супругу, иногда ловит себя на мысли, что перед Евой рыженькая в долгу, что счастлива та благодаря Еве, которая с барского плеча скинула идеального мужа. Не поскупились.

Иногда Ева жалеет о щедром подарке и тут же успокаивает себя: «Шут с ним! Что, мужиков, что ли, мало?»

Пять лет! А вот на себе реально не ощущала исчезнувшего времени. Порой, правда, хотелось пофантазировать, довести к счастливой развязке прожитое. Но нужно ли успокаивать себя фантазиями? Они так

легко вживались в плоть реальности, что потом самой трудно бывало отщепить, отчленив их друг от друга.

Не выдумала ли она Толика, Славу, москвича, баскетболиста, грузина, десяток кавалеров — и вот теперь ещё одного жениха новоиспечённого? Или, как Адам любил себя называть — ущемлённый неожиданным счастьем гражданин.

Можно было, конечно, поиграть светотенями и поглядеть — не поставила ли природа-мать крест и на нём? Но этот мужичок другой «консистенции». Ей всегда смешно наблюдать за его самолюбованием.

Волновался, был немного растерян. Ничего, Адам умел преподнести себя, создать о себе приятное впечатление — в этом Еве он хороший помощник и партнёр.

Ускользала за окном железнодорожная платформа пригорода, мелькали ноги. Выхватила взглядом в отдалении молодого человека, кормящего с рук подружку. Протягивал ладонь, а она окуналась, клевала из неё. У обоих счастливые лица. Счастье это, сгустившееся в одно крохотное и осязаемое пространство, бережно охранялось ими.

Прибыли с опозданием в десять минут к четвёртой платформе Казанского вокзала. Поезд ещё не остановился, а Ева увидела среди встречающих Дину: одну, без Равиля и племянника Гошки. День назад, когда отправлялись в Москву, успела послать телеграмму с подписями: «Адам и Ева». Еве было интересно увидеть реакцию сестры. Наверно, Дина поломала голову над кроссвордом. Адам — имя неизвестное, ни в одну клетку кроссворда не вписывалось. «В деле не фигурировало».

Адам ещё тащился с чемоданами по проходу вагона. Дина поцеловала, отдала цветы и спросила: «А где Адам?» — обыденно, будто встречались уже не раз.

«Вот и Адам!» — Ева бросила взгляд на проём вагонного выхода. Адам, выпятив на волю зад, стаскивал следом чемоданы. Проводница «подпινывала», оба пыхтели, и Еве показалось, что он, воспользовавшись моментом, разглядывал ноги проводницы.

Дина начала знакомство с женишком по частям: он медленно, с неохотой распрямился и показал сестрёнке спину широкую, как аэродром, и маленькую голову, похожую на продолжение шеи. Наконец явился со спины весь, будто скопированный с баллистической ракеты с индивидуальной боеголовкой.

Ева захотела сказать что-нибудь колкое, обидное, чтобы запало ему надолго. Покраснела, но сдержалась.

Дина протянула руку.

«А я и есть тот самый Адам!» — сказал он, вероятно считая своё приветствие оригинальным.

Ева увидела колющий взгляд сестры. Дина не терпела позёров, при виде их становилась хищницей. От её уколов никому не поздоровится. Ева предупреждала Адама, но до «нарциссов» слабо доходит. Ситуация сразу накалилась.

Ева опередила сестру: «А где твои?» — больше ничего не нашлась спросить. Отвела удар.

Равиль и Гошка ждали на стоянке такси. Равиль с сигаретой — опять закурил. Периодически бросал, но — ненадолго, поскольку работа нервная.

Дина жаловалась: «Нисколько не бережёт сердце. Несколько раз случались приступы, однажды довёл себя до «неотложки» — не вразумило. Особенно много смолит во время премьер, будто от его курения публика острее воспримет спектакль!» Ругать ругала, но к болячкам мужа относилась с уважением.

У Адама приступы тоже случались, он всегда имел при себе нитроглицерин. Ева сперва пугалась: очень сильное лекарство. Начинала «квохтать» и суетиться, когда он, скрипя зубами, судорожно хватал ртом воздух и мял себе грудную клетку. Адам успокаивал: «Ерунда!» Может быть, действительно ерунда? Возрастное? Но всё же жалко было: хоть и мизерную, но несёт ответственность за его здоровье. Вдруг мужик пригодится в будущем?

Племяншка всегда рад тёте Еве. Стал уже взрослый за время пока не виделась. Совсем недавно, когда впервые брала этот комочек на руки, казалось, что роднее, ближе и любимее человечка нет.

Сухо поцеловал тётку, будто руку пожал официально, а в глазах искренний восторг искрится.

Спрашивала Гошку: «Как ты живёшь? Слушаешься маму и папу? В школу скоро тебе?» — и наблюдала за реакцией Адама. Адам стоял рядом с Равилем, и Ева с удовлетворением отметила: мужчины почти одинаковы ростом.

Дина с присущей ей прямоотой, на грани «фола», пустила шпильку — прошипела в самое ухо Евы: «Ну, а на этом кавалере, думаю, ты успокоилась? Или предвидятся другие варианты?»

«Есть ряд причин... в общем, будем поглядеть».

Немного погодя Дина вновь попыталась кольнуть: «Случайно не еврей?».

«Не знаю. Кажется, нет».

«А то я хотела рассказать анекдот про еврея, постеснялась: вдруг обижу человека?»

«Расскажи мне!»

«Проехали. Не к месту. Как-нибудь в другой раз».

По настроению сестры Ева видела, что «экзаменовка» жениха будет проходить серьёзно и беспощадно. Это вдруг задело самолюбие Евы: всё-таки она сама выбрала в спутники жизни Адама. Тонкая, этическая и эстетическая сторона вопроса: о вкусах, как известно, не спорят, и не младшей сестре судить о вкусах Евы.

«У Адама в Москве есть неотложные дела, связанные то ли с издательством, то ли с клубом самодеятельной песни. Я не вмешиваюсь в его творчество», — между делом обронила она. Подкинула информацию к размышлению, намекнула, что женишок — не лапоть, человек искусства, есть в нём что-то интересное. Неглуп, если разобраться. А будет содержаться в умелых руках, то из него выйдет толк. Еве не занимать умения воспитывать, лепить и создавать то что задумала. Конечно, Адам пока ещё ремесленник от литературы — воздушных замков строить не надо. Пошиба ниже среднего. Как бы мягче сказать? Графоман? Нет. Хронический неудачник? Не совсем. Случались в его

стихах и строки прямого попадания, не сляпанные, как в последнее время лепят стихи, точно аппликации. Некоторые стихи даже Евой до конца не осмыслены. Бездарь не может написать: «На плечо опустила мне голову, крепко пальцы мои ухватила. «Виновата, — твердила, — что помнила, виновата, что не позабыла». Я стоял — отрешенный, усталый — без прощения, без права явиться. И жалел, что мне легче не стало, и боялся, что это мне снится». Или вот: «Прошла, удостоив вниманием, словно на руки сбросила плащ...»

Вся его короткая с ней, как вздох, жизнь была посвящена Еве. Бывало, и другие поэты посвящали ей стихи. Неплохие. На дни рождения — это традиция — писали весёлые, с грустной, нравоучительной подоплёкой стихи-пожелания. Но у Адама, помимо рифмы, в стихах присутствовало что-то ещё. Искренность, нежность, печальная исповедь? Ева знает, сама писала когда-то стихи — переполненная жалостью к себе, на грани рыданий не могла не поделиться с собой жгучей, иссушающей душу тайной. А в стихах Адама было что-то ещё, нераскрытое, непознанное. Правда, он порядочный лентяй, но это можно легко исправить, всё в руках Евы. Будет творить в свободное от работы время.

Дина спросила: «Он играет на гитаре? Забавно. Равиль меня тоже охмурял гитарой: ночи напролёт пел песни советских композиторов. Нам ведь, дурам, ничего не нужно, лишь бы слух лирой не жили».

Тон у Дины был нравоучительным, с налётом иронии: мол, было, было уже с ней всё это, но давным-давно, кажется, в детстве, вернее, в зародыше семейной жизни. А потом столько всего навалилось, потрясло, помяло, стряхнуло с неё ненужную шелуху восторгов, что теперь себя ощущает древней старухой. Наступит и для Евы время, когда придётся снять изумрудные очки. А за ними — обыкновенные серые стены с грязными крышами. Знакомы ей фокусы Великого Гудвина.

Еву покорила такой тон. Остался неприятный осадок, будто случайно в бане столкнулись соперницы и тайно, исподтишка рассматривали друг у друга то, чем «эта стерва смогла завлечь её избранника».

Они толкались на кухне. Кухня была крошечной, прихожей одновременно.

Дина нарезала помидоры в салат. Помидоры в первый день лета? Москвичи избалованы свежими овощами.

«Ты говорила о ряде причин. Что за причины?» — поинтересовалась Дина.

«Какие причины?»

Ева наблюдала, как сок из помидора брызжет на пальцы сестры.

«Ну, которые тебе или Адаму мешают. Я толком не поняла».

«А, вот ты о чём! Видишь ли, Адам уже был женат».

«Дальше...»

«Что дальше?»

«Ещё какие причины?»

«Все... кажется».

Дина покачала головой — тоже нехорошо, наставительно:

«Удивила! Ничего особенного. Сейчас почти все женихи имеют стаж семейной жизни. Где ты найдёшь целомудренного? Если только в тайге кто-то ещё на ветке отсиживается?»

«У него ребёнок остался...»

«Значит, надо тебе скорее рожать. Догоняй сестрёнку! Родишь, всякая ерунда из головы вылетит».

Ева потрогала, погладила мягкий, сытный бок помидора, поднесла ко рту, понюхала, примерилась, оттягивая и предвкушая момент наслаждения:

«Кажется — уже...»

«Что? — не поняла Дина. — Уже родила?»

«Нет, но... А знаешь, Адам мне сам предложил: давай, говорит, сделаем во-от такого маленького сына! — она показала размер ребёнка величиной со спичечный коробок. — Может, действительно? Я ему тогда сказала, что ребёнку нужен отец. Он бил себя в грудь!»

«Будущий папаша Адам знает, что ты уже?..»

«Разумеется. Все сроки прошли, а считать он умеет».

«До трёх? »

И уже серьёзно, словно упрасивая Еву, сестра сказала: «А зачем вам сын? Давайте дочку! Внук у родителей есть, теперь дело за внучкой».

«С таким темпераментом, как у него — без проблем!»

«Ну, кавалеры были у тебя и потемпераментнее!»

«Были — сплыли. Мое прошлое для него — запретная тема», — солгала Ева.

Пыталась много раз достучаться до Адама, вдолбить ему, что его прошлое не интересно, что и он должен относиться к её прошлому так же. Она всю жизнь ждала только его. Но Адам постепенно вытягивал из неё правду. Ему нужна была вся правда о ней, ничего, кроме правды. Но только та правда, которую он хотел и которая успокоила бы Адама.

Иногда доходило до курьёзного: Ева чувствовала, что если не придумает какого-нибудь сексуально озабоченного баскетболиста или похотливого грузина, то Адам уличит её во фригидности. Придумывала, а потом долго и горько жалела об этом, потому что к выдуманному ею прошлому Адам ревновал до помутнения рассудка.

«Не знаю, хорошо или плохо иметь аморфного мужа? — перевернула с ног на голову сестра. — Счастье, наверно, свалилось безмолвное тебе на голову?»

Буквально свалилось! Полгода работали в одном здании. Ева внимания не обращала: мало ли женатых косились на неё, слюнки сглатывали? «У вас такие выразительные глаза! — и смотрели на ноги, пожирали глазами, насиловали визуально: — Пригласите меня в гости?»

Адам явился без приглашения. Принёс с собой гитару, две бутылки дешёвого вина, и с порога нахраписто атаковал: «Для всех моё имя — с ударением на первом слоге. Для меня твоё имя — на первом месте! Вся

моя жизнь — ради тебя! Я не хочу тебя больше терять! Я так долго тебя искал, поверь! Ты мне снишься каждую ночь! У меня губы распухли, потому что непрестанно во сне твержу твоё имя! Не веришь? Могу ещё одно ребро дать на отсечение! Не мучай меня и не гони от себя! Я буду всю жизнь на руках тебя носить! Я сделаю всё, чтобы ты была счастливой: лягу прахом у ног твоих; сторожевым псом стану охранять твой покой; набивать рот кремом для ног, чтобы потом вылизывать тебе пятки! Только позволь мне не отводить от тебя взгляда, любоваться тобой, засыпать и просыпаться, вслушиваясь в твоё дыхание!». И т. д.

Красиво преподнёс себя. Не подкупил, но заставил Еву задуматься. Всю ночь пел грустные, незнакомые ей песни, под утро она решила на смелое предложение: «Хорошо, Адам, попробуем, поживём вместе, вдруг что-то получится? Только у меня будет условие: если кому-то из нас надоест, то надо будет сразу признаться, не тянуть друг из друга нервы и по маленьким кусочкам не отрезать от плоти».

«Я буду стараться до самой смерти тебе не надоесть! — и, наблюдая, как она шла к раковине, Адам добавил: — Не женское это дело — руки марать о грязную посуду. Теперь этим займусь я. А ты пока расстели постельку. Обиделась? Извини, я пошутил глупо».

Не вдруг, конечно, не в один день Ева поняла, что терять этого «свистка смолёного» не хочет. Недёшево ей обошёлся.

Высокое начальство, прознав об их отношениях, признав их регулярные свидания нелепой случайностью и недосмотром партийных органов, вызвало Еву «на ковёр» и предложило в ультимативной форме: «Или вы ставите крест на своей карьере, или гоните от себя подальше, ко всем чертям, этого подонка!» Удивительно, Адам умудрялся всем её знакомым стать поперёк горла, и начальство его люто ненавидело.

«Я имею опыт в воспитании молодёжи. Мне доверили руководить огромной комсомольской организацией. Неужели, вы думаете, что я с одним подопечным не справлюсь?» — наивно надеялась Ева отстоять себя и отвести их гнев от Адама.

Она уже пыталась по-своему воспитывать его. Однажды задержался неизвестно где и с кем на три часа. А перед этим клялся, что домой всегда будет приходиться без опозданий. Ева выставила его вещи за порог: «Уходи! Навсегда! Я тебя больше видеть не желаю! Врёшь на каждом шагу, изворачиваешься. Из-за тебя у меня одни неприятности! С тобой жить невозможно!»

Молча собрал вещи и ушёл.

А в полночь бросилась его искать: вдруг наложил на себя руки, вдруг хулиганы избили? Рыскала по куштам, терзало плохое предчувствие: лишь бы жив был, лишь бы ничего с ним не случилось! Подняла на ноги друзей.

Енохины примчались сразу же: «Кто такой Адам? Почему скрывала от нас? Хотя бы — как выглядит?» Пришлось рассказать. Под конец разрыдалась.

Енохина одной рукой массировала ей затылок, а другой капала в чай успокоительное: «Все мужики

одинаковы. Неужели влюбилась? Ничего, протрезвеет и вернётся. Таких женщин не бросают».

Всю ночь не смыкали глаз, а утром наугад позвонила в ведомственное общежитие — там её узнали по голосу. «Да, такой имеется в наличии. Пришёл ночью, помылся, побрился, постирался, лёг спать. Ещё не просыпался».

Никому ничего не объясняя, кинулась в общагу. Дежурные и комендант тарасили на неё глаза: «Что случилось? Почему внеплановая проверка?»

Дубликатами ключей открыли комнату: действительно спал как ни в чём не бывало. Такой родной, такой беспомощный, такой любимый. Вспомнила Енохину: «Неужели влюбилась?»

Сдёрнула с него одеяло: «Одевайся! Домой пора! Я тебя жду в вестибюле!».

А он, как птенец, сидел, нахохлившись, голый, — постиранные трусы сушились на спинке стула, — и каждое родимое пятнышко на теле, каждая морщинка на его лице казались частицей её самой.

Дина привела в чувство: «Мне ещё месяц назад тётка докладывала, что племянница таскала за собой повсюду нового кавалера, а родной тётушке боялась показать. Что, мол, усадишь его, сирого и голодного на холодную скамейку во дворе, а сама по часу чаи гоняешь с родственниками. Так воспитывала?»

«Наверно, тогда ещё не знала, нужен ли он мне? Было много сомнений относительно его моральных качеств и достаточно поводов, чтобы распрощаться с Адамом. И вообще, мужа всегда надо держать в чёрном теле. И доводить до такого состояния, чтобы мастурбировал только глядя на фотокарточку с моим изображением, где я в полный рост и, допускаю, прикрыта бикини. Или — в пеньюаре».

«Очуметь! Какая дура поверит, какой дурак вытерпит?»

«Я после первой ночи с ним, — когда Адам допытывался, лучше ли он прежних, было ли хорошо так же, как ему, — призналась, что мне *это дело* не очень нравится. Больно, потому что давно уже ни с кем не было. Вот его руки, его ласки — это что-то! И потом — мне проще держать его в чёрном теле потому, что у нас разные биоритмы и активность. Когда он хочет, я уже валюсь с ног от усталости, засыпаю. А утром его не добудишься», — опять соврала Ева. Как пионерка, «Всегда готова!» была, едва касался плеча, начинал поглаживать и целовать ей спину, щекотать страстным шёпотом ухо. Нереально — отказать, невозможно — отказаться.

Что касается тётушки, то та давно уже позвонила родителям и в деталях обрисовала Адама. К бабке не ходи! Повинилась, что не уберегла племянницу, что какой бы «такой-сякой-разэтакий» Адам ни был, но это выбор их старшей и непослушной дочери. Что всё грустно, но чревато скорой свадьбой и внуками.

«Я боюсь, что родителям Адам может не понравиться», — призналась Ева сестре.

«Не говори глупостей. Ты же знаешь, что скажет папа: «Наши дочери плохих мужей себе никогда не выберут!»

Глава десятая

В обычный вечерний час, по строго установленному летнему графику, в небесной сфере что-то оглушительно лопнуло и разнеслось едким шипением над городом. Воздух дрогнул, будто Природа резко опустилась необъятной задницей на детский горшок. Стало возмутительно душно и досадно за отчизну. Городская птица приостановила местные перелёты по отхожим местам и мусорным мульдам. Не было видно её и на штырях голых антенн. Прочая живность попряталась по подвалам и гордо замерла в привычном ожидании конца света.

В 163-й квартире углового дома по улице Нардовольцев вышеупомянутый хлопок был воспринят как сигнал грядущего Великого скандала. И, как всякая грандиозная операция, скандал начался скромно, будто исподволь.

Прислушиваясь к вакханалии за окном, жена Адама решила успокоить себя догадкой:

— Это самолёт, — сказала Ева мужу без тени сомнения, точно всю жизнь проработала диспетчером в аэропорту. Она в эти минуты, тоже по строго установленному графику, кормила младшего четырёхмесячного сына.

Сын кормиться не желал. Истуканный материнской грудью, он извивался, прогибался и истошно орал, требуя молока из бутылочки.

— Это самолёт, — повторяла жена, методично и настойчиво набивая грудью рот младенца.

— Нет, это завод, — решил прервать упорные закливания Адам, сидя тут же, на диване, рядом с Евой и вяло наблюдая за искривлённой картинкой на экране телевизора — ни дипломатической улыбки в адрес жены, ни проблеска интереса к мукам матери его детей.

— Адам, ты — говно, — пока ещё спокойно и предвзвешенно заключила супруга.

Адам хорошо знал по личному опыту и опыту предков, перешедшему с генами, что кормящую самку трогать нельзя: при контакте с противником у самки активизируются ядовитые железы и образуются набухания в области шеи и груди. Однако соблазна едко огрызнуться он подавить в себе не смог и хладнокровно, точно заслуженный ассенизатор страны, парировал:

— На себя посмотри сперва, а потом уж других нюхай!

Слова были восприняты правильно, бойцовский дух в женщине среднерусской полосы пробудился:

— Я твоих трусов достаточно нанюхалась! Чего там трусы? Ты даже носки постирать себе не можешь! Неблагодарная ты скотина! Кто меня такой сделал: превратил в домработницу? Теперь ездишь на мне и ещё упрекаешь! Совести в тебе ни на грош! Паразит, я же с твоими детьми уродуюсь! Ты только жрёшь, спишь, по дому палец о палец не ударишь! Живём как в жопе! Всё у нас на соплях: к чему ни прикоснёшься — разваливается! Сказала — самолёт! И амба!

— Завелась. Слезу ещё пусти! Может, проймёт меня? Завод, я сказал!

Слезу Ева пускать не стала. Она отнесла младшего в кровать и запустила в Адама фарфоровой кружкой.

Адам на этот раз не успел сгруппироваться и отвести удар противника. Кружка угодила ему в голову и на секунду выбила из него сознание.

Проступок жены давал право Адаму на ответные непредсказуемые действия. Разбрасывая на ходу фразы, склеенные из проклятий и грубого рабоче-крестьянского мата, он заметался по комнате, опасно размахивая руками и укладывая вещи в серую хозяйственную сумку, с которой раз в два месяца покидал семью и уходил «напрочь» из дома.

Старший ребёнок растерянно сглатывал слёзы, не определившись, кого ему жалеть, младший истошно орал, напуганный мельтешением отца: по комнатам носилось нечто огромное, похожее на грузовик с микадзе за рулём.

Ева сидела на диване, строго держа спину, точно телеграфный столб, и прислушивалась, как из недр её организма — чуть выше крестца — всплывает монотонное гудение: предвестник истерики с потерей сознания в последнем акте. Она сглатывала этот гуд, загоняла в желудок кислой слюной, была занята полностью собой. Но мужа из поля зрения не выпускала.

Наконец Адам обулся, топнул по-хозяйски, проверяя прочность каблучков, и торжественно замер в ожидании раскаяния жены или, наоборот, матёрого напутственного слова в дорогу.

Была пауза. Ева сглатывала слюну, поигрывая кадыком, точно передёргивала затвор дальнобойного орудия. Недокормленный сын подозрительно затих в кровати...

Вдруг во всём величии предстала перед Адамом идиллическая картинка семейной жизни, полная тишины и загробного покоя. Уходить расхотелось. Но мужская гордость, сильно ушибленная фарфоровой кружкой, пинала на улицу, жаждала отмщения, желала проучить непокорную и жестокую Еву.

«Хотя бы извинилась напоследок, — мысленно молил Адам, — может статься, простил бы через два дня. Адам — мужик отходчивый. Главное — верный и периодами любящий. Подобных ему, вымирающих особей, на территории СССР единицы. Все должны быть занесены в Красную книгу, и по Указу находиться под охраной государства. Только вот руки у правительства до долгожданного Указа не доходят. Некогда им, всё разоружаются, чтоб потом вооружаться. А за их спиной добропорядочных граждан жёны фарфоровыми кружками почти насмерть забивают».

— К родной мамочке лыжи намылил? — желчно подначила Ева.

— Сейчас не зима. И без лыж обойдусь, — огрызнулся Адам.

— Иди, иди к свекрови! Поплачься ей: такая у тебя жена нехорошая! Обижает паиньку, житья не даёт. Где это видано, чтобы её сыночку перечили? Уж она-то рассудит правильно. Ещё добавит, что только завод издаёт такие звуки, а у твоей жены, скажет, никогда не было ни слуха, ни совести. Давай, беги скорее! Ты постоянно находишь возможность, чтобы умотать из дома. Тебе наплевать на детей! У тебя в башке один

шум завода! Эх, подонок, ты когда-нибудь на заводе-то был? Хотя бы с экскурсией? Вот так ты обо всех и обо всём судишь, ни черта не зная и не разбираясь. Самонадеянный петух!

Последнее предположение жены о принадлежности Адама к пернатому сословию являлось преднамеренной попыткой пожизненно оскорбить и унижить мужа, вывести из себя, обезоружить и втоптать в пол. Еве почему-то доставляло огромное удовольствие принижать Адама до уровня домашней бульонной птицы, хотя Адам много раз и раньше растолковывал жене скрытый смысл данного оскорбления. «Таким словом ласкают заключённых, которых... ну, пассивных, — объяснял он и хлопал себя по наглядному пособию: — Вот в это самое место. Педерастов, короче».

«Откуда тебе известно? — недоверчиво переспрашивала жена. — Ты там был? Эх ты, даже на зоне не был, а туда же — пассивный, массивный!»

Не дошло, видимо, до неё, не насторожило ни разу.

— Значит, окончательно и бесповоротно ты считаешь меня петухом? — слабеющим голосом спросил Адам. — Как ты могла?.. Ты сейчас ушибла меня больше, чем кружкой!

— А я? Как я терплю? всю жизнь живу, ушибленная тобой. Господи, помоги мне вразумить Адама!

— Вот этого не надо, господа-то все не надо помнить... — решил грамотно остановить Адам причитания жены, разглядев в ней признаки реактивного психоза. А то через минуту Ева, пожалуй, закатив глаза, царапая воздух руками и давясь криком «Паразит такой! За что-о-о?!», повалится на спину возле него без чувств. Она прочно располагается в коридоре, дети заходятся от ора, и Адам всю ночь, курсируя по квартире, отпаивает жертву своего треклятого бездушия. А под утро начинает позорно вымаливать прощение за что-нибудь. Хотя бы за свой железобетонный лоб, который с расточительной лёгкостью крошит дорогую фарфоровую посуду.

— Меня ещё никто так не оскорблял! Пусть тебя мучает совесть: я не заслужил клички «петух».

— Ты... ты, — опять начала задыхаться жена, — ты не заслужил даже этой клички.

— Понял. Значит всё, конец связям, — Адам спокойно взял сумку, открыл дверь в подъезд. Но в последний момент обернулся и на правах ушибленного фарфоровой кружкой добавил: — А вот я ни-ко-гда не называл тебя козой!

И с чувством исполненного долга хлопнув дверью, запел, живо перепрыгивая ступеньки: «Не слышно шу-ума заводского» на мотив «Шумел камыш».

В общем-то довольно удачно Адам вырвался на волю, почти без потерь. Чем сильно разочаровал соседей, особенно одного, мелкого, из квартиры напротив.

Тот болезненно переносил пораженческую политику Адама: долго не мог уснуть; было слышно, как шлёпал то и дело дверцей холодильника, тяжело вздыхал и жаловался колбасе: «Эх, мужики, вы, мужики, убогие страдальцы! Она же — баба! Ба-а-ба-а! Вникаете вы в смысл этого отвратительного слова? В низкое, помойное его происхождение?».

Комиков среди соседей было достаточно, и каждый норовил Адаму сказать напутственное слово или радостно помахать вслед платочком.

С короткого разбега — и от земли! Не размашисто и тяжеломерно, а, юрко маневрируя, взмывать и уклоняться от выстрелов ветра. Разворот на правом крыле — и в сумерках земля тщедушно сигналил о себе лишь мелкой россыпью голубых огоньков. Всё остальное вокруг — Бог! Бесконечный, Всевластный, Всемиловитый, Бесцветный Владыка — очень далеко, рядом и внутри Адама одновременно! Оказывается, Адам скользит по бережно вытянутой ладони Господа... А чудится что летит! Прекрасная картинка сна, надо сказать!

Мама Адама быстро и правдоподобно находила объяснения подобным снам:

— Нехороший сон, — констатировала бы она, — надо глянуть в «сонник». Ну вот, я так и знала: ждите поноса в самый неподходящий момент!

Медработник с тридцатилетним стажем, диагнозы она ставила быстро и сурово, жене сына звонила регулярно и с обидой в голосе напоминала:

— Ева, ты опять прекратила пить мочу? Не обманывай, я же чувствую по голосу! Пей мочу постоянно! Не прерывай процесс лечения. Лучше всего — писать и отстаивать в трёхлитровых банках! В трёхлитровых ёмкостях оптимально адсорбируются шлаки. На поверхности остаются все самые оздоровительные продукты. Это уже научно доказано! Пей! Я скоро приеду и проверю! Не слышу одобрения... Боже мой, если бы я знала, кому отдам в руки на поругание своего сына, лучше бы сделала аборт!

Ни разу Ева не обмолвилась, что Адам достался ей б/у — несвежим и истасканным гражданином.

— Извините, не желаете напиток?

Адам открыл глаза:

— Что, уже Москва?

— Ещё минут двадцать лететь. Пить будете?

— Спасибо!

Адам глянул в иллюминатор. Какая благодать! Вылетали в сумерках, а теперь за бортом — голубая пустошь с розовой окантовкой. Вроде на запад летели, но синева густела в хвосте самолёта. «Нищая страна! Навсегда обманутый народ! Однообразное серое и безнадёжное существование! И только здесь, за облаками, Бог одинаково всем предоставил возможность вкушать гордую и осязаемую красоту жизни. На земле Он уже не властен».

— Так... ещё раз пробежимся по сценарию... — наконец оторвавшись от иллюминатора, обратился Адам к компаньону. Тот показал стюардессе, чтобы зашторила проход в салон.

Они летели на маленьком Як-40, известном в аэропорту города как правительственный самолёт. Компаньон Толик сидел рядом и чувствовал себя оскорблённым всем «Аэрофлотом»: он распорядился откупить рейс на Москву полностью, заплатил уйму денег, но «Аэрофлот» под разными предлогами навязал ещё

десять человек — до полной загрузки. Среди них мог оказаться кто угодно — и телохранители не помогли бы.

— Два телохранителя садятся в «Вольво», — делал расклад Адам, — вторая пара садится в «Ладу» и все вместе с почётом отправляются на Калининский. А мы с тобой, предварительно позвонив покупателю, берём тачку и скромно едем до Ярославского. Там и состоится знакомство. Звонить будешь ты. Скажешь только четыре слова: «Древесина здесь. Место прежнее».

— Одни, без охраны, с Посохом? Рисуем... За Него бандиты половину Москвы перестреляют, — высказал опасение Толик.

— Половину Москвы не жалко. Нам главное до Ярославского добраться, а там покупатель своих детишек к нам приставит.

— Кто он?

— Товарищ из Госплана. Рыжкова уничижительно Колей-Ваней обзывает. Солидный бандит.

— Задерживаться не станем. Сдадим дерево, получим договор и — домой!

— С договором и наличными!

— Как?! Ты же говорил, что перечислением?

— Толик, не делай глаза флюгером! Тебе налоги хочется заплатить? Забыл? — мы нищая фирма, у нас на лицевом счету шестьдесят тысяч, и в банке «наводчики» должны быть уверены, что скоро нам придёт конец.

— Иной раз думаешь, что лучше нищета, чем свинец в животе.

— Ничего, привыкнешь думать иначе. У нас, между прочим, время строго ограничено. Через сутки Ева бросится искать меня: обнаружит, что и Посоха нет. Ушёл муж из дома, подарок тестя прихватил, растворился навсегда — хоть на алименты подавай.

— Представляю! Четверти месячного дохода хватит, чтобы правнукам прожить беспечно, — съязвил Толик.

— У меня есть официальная зарплата.

— Адам, ты расчётливый везунчик. Ты знал, что обладателем Посоха мог быть и я?

— Естественно. Поэтому ты компаньон, а не конкурент. Хотя, чтобы ты сделал с окаменелой деревяшкой? В углу так и стояла бы наверное, до второго пришествия? Нет у тебя коммерческой жилки.

— Зато Ева до сих пор меня боится. А тебя пользуется как хочет.

— Толик... Мне иногда кажется, что мы с тобой работаем не в паре, а в спарринге, — грустно намекнул Адам.

Серая хозяйственная сумка сиротливо валялась возле его ног. Посох, завернутый в тряпки, упакованный в пластик, находился в багажном отделении — смелое, наглое решение Адама.

Удивлению компаньона не было предела, когда, пролетев полстраны, проехав от аэропорта до Ярославского, избавляясь на поворотах от предполагаемого «хвоста», уже на привокзальной площади Адам расковырял пластик и показал, что вместо Посоха в свёртке находился кусок обычного бруса.

— Маленькие хитрости большого бизнеса, — сказал Адам.

Поменял? Но когда? Они были всё время вместе. А ведь Адам возмущался больше других, что не Толик смог откупить рейс полностью. Вот хитрец!

С покупателем обнимались будто родственники. Раньше Адам ничего не говорил Толику о покупателе.

— Что ты нам, дружище, сообщишь неприятного о сделке? — похлопывал Адам по плечу покупателя.

— Самое неприятное для вас то, что вы не услышите от меня ожидаемых неприятностей. Заявка подписана заместителем министра. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

— А как обстоят дела с лицензией и разрешением на вывоз леса в Южную Корею?

— Мы же заранее договорились, что лицензия — дело второе.

— Ну да, договорились. Так они у тебя на руках? Второе, но не последнее. Для нас, может быть, это важнее, чем порубочный билет. Лес мы всегда успеем казнить.

— Были сложности. В Минвнешторге дорабатывают вопрос. Это кругляк, а он проходит как стратегическое сырьё.

— Что значит вопрос дорабатывают? Значит, лицензия и разрешение — под вопросом? Дорогой товарищ, сейчас мы распилим этот предмет на несколько частей, — Адам показал на свёрток, — и будем отпускать кусочки по мере исполнения вами пунктов договора.

— И меня подвешат за яйца! — признался покупатель. — Я повис между молотом и наковальней. Обещаю, завтра лицензия будет лежать у тебя в кармане.

— Хорошо, — согласился Адам, — но перед подписанием договора.

— Что ты, что ты? Не представляешь, какая машина уже завертелась. Тысячи людей задействованы. Пять вертушек по сорок вагонов должны загружаться и отправляться в пункт назначения. Двое суток простоя никакой министр не переживёт. Я дал гарантию, что «вещь» сегодня будет на месте и договор вступит в силу завтра же. Мы и экспертов на утро пригласили.

— А где гарантии, что лес пойдёт бесперебойно и в сроки? — прорвало вдруг Толика на нетактичный вопрос.

Покупатель растерянно посмотрел на Адама: отвечать компаньону или тот сам догадается? И всё же ответил:

— Это не госзаказ. Всё отрегулировано и рассчитано по секундам. Таких сделок было уже две. Адам, ты разве не говорил другу? Это из серии так называемых замороженных проектов.

— У тебя чёрный юмор, — отреагировал Адам. — Ты случайно в Госплане не подрабатываешь?

— Чем мне нравится Москва... — спросил Адам у Толика и тут же ответил: — Ничем! Каждая мелкая шишка мнит себя горю. А эта шишка — вовсе не шишка, а рога лезут наружу. Однажды не совсем вер-

ный перевод Библии итальянцами привёл к тому, что Микеланджело вместо нимба изваял Моисею рожки.

Приехали в Минлеспром. Покупатель долго оформлял единый пропуск, затем так же долго ждали в кабинете хозяина, пока не вбежал коротышка с весёлыми глазами. Он ни на секунду не останавливался, — проскипидареный живчик, — летал по кабинету, трогал бумаги на столе и Адама, пытаясь понять, с одушевлённым ли он предметом разговаривает.

— Наш плешивый мальчик... — шепнул на ухо Толику Адам.

Череп у коротышки был не совсем голый, по бокам буйно вились бакенбарды шириной с ладонь.

— Не понимаю... — взмахивал резко руками плешивый весельчак, разводя гостей, — ...на что вам нужна лицензия? Таможня всё едино не пропустит кругляк. Чихать им на лицензии! Однозначно лес отправят обратно. У меня надёжные люди в МРЭП, МВС и Торговой палате. Сведения абсолютно точные! Вот брус, вагонка, половые доски — пожалуйста! Проблем нет! Пилорамы есть! А пилорамы есть — и проблем нет!

В тон ему подхватил Адам:

— Проблемы есть! Нет пилорам!

— Пилорамы есть!

— У вас есть пилорамы, у нас есть проблемы.

— У нас нет проблем!

— А у нас нет пилорам.

— Вы не поняли, у нас и у вас нет проблем!

— Если у нас нет проблем, то у вас нет пилорам?

— А если взглянуть иначе?

— То у нас нет пилорам, а у вас — проблем?

— Я намекаю на доленое участие.

— Значит, говорите, что у нас нет проблем, а сами намекаете на доленое участие?

— Вам одним не перелопатить!

— Доленое участие не перелопатить? Пожалуй, вы правы... — включил «дурачка» Адам.

— Уважаемый, я в таком регистре разговаривать с тобой не желаю!

— А я, оказывается, с баяном разговариваю, а не с зам. министра

— Что? — оскорбился плешивый. — В моём кабинете издеваться надо мной? Ты кого ко мне привёл? — обратился он к покупателю, молниеносно решив поменять тактику. — Я же... я их втопчу в землю, сравняю с навозной кучей! А ты, свинья, — обратился весельчак к Адаму, — ещё долго будешь ползать у меня в ногах со своим «кругляком». — И покрутил пухлым пальцем перед носом Адама.

Адам посмотрел на палец и залюбовался: «Обложить бы его тушёной капустой с горчичкой и — под баварское пиво!» Хороший палец!

— Можно я высморкаюсь, а потом скажу? — предложил он.

— Что? Ну, давай, скажи, сопливый...

— Ну же, скотина, сморкайся и говори! — потребовал хозяин.

— Мы согласны на доленое участие! — торжественно объявил Адам.

— Слава богу! — вздохнули облечено продавец и плешивый. — Спрашивается, зачем надо было мозги то кочкать?

— Но с условием... — так же торжественно продолжил Адам, — ...что вы продаёте нам пилорамы по остаточной стоимости, а мы покупаем их после продажи леса в Южную Корею.

— Зачем? — удивился плешивый. — Мы можем отдать вам пилорамы бесплатно!

— Хорошо, принимается. А мы, в свою очередь, продадим вам пиломатериалы недорого, за 80 процентов их стоимости в Южной Корее.

— Что-о-о?! Вы, парни, обнаглели!

— Я же предупреждал: мне сперва высморкаться... надо было.

— Вон отсюда! Вон! Вон! Вон отсюда!

— Засем гонись, хосяина?

— Лес тебе, сопливый, никто не продаст и никто у тебя не купит! — в спину Адама кинул плешивый.

— А его никто и не собирался покупать. Клал я на него!

— И денег ты не увидишь, труп несчастный.

— Трупы счастливые. Им деньги не нужны...

— Ну и шуточки у тебя, Адам! — вытирая пот о лба, высказался покупатель, когда за ними хлопнула дверь.

— Трупам не до шуток, — вдруг серьёзно ответил Адам.

— Кажется, это ловушка? — поделился опасениями Толик.

— Уже...

— ?!

— Уже не кажется.

— Да вы, ребята, сдурели! Всё чисто! Вам дело предложили. Быть с ним в доле значит иметь надёжную крышу. С ним дружить надо, чтобы не страдать манией преследования.

— Спасибо за совет! Пострадаем за Отчизну?

— К месту, но не умно.

— А умно — сразу к стенке.

— Адам, мне к утру нужен «предмет», — наконец попросил покупатель Адама. — Я должен отчитаться перед своими.

— Называй вещи своими именами, — раздражённо ответил Адам. — Тебе нужен Посох? Наличные за него ты не можешь предложить, как я понял? Денег у тебя нет, сделка с лесом оказалась туфтой...

— Почему туфтой? У меня есть доказательства! — Покупатель полез в портфель, долго копался, наконец достал карту: — Вот площадь вырубки. Честный обмен. Только чистая прибыль составит пять лимонов!

Адам краем глаза глянул на карту:

— А где железная дорога? В трёхстах километрах? То есть вертушки будут приходиться к пункту загрузки, сутки отстаиваться и пустыми отправляться к границе? Хорошая ловушка. И хорошо продуманная Комитетом Глубинного Бурения операция против предпринимательства.

— Хочешь сказать, что разбираешься в тонкостях? Идиот, ни хрена ты не разбираешься! Отдай Посох, если жизнь детей ещё дорога! — потребовал покупатель.

— Возьми! — протянул свёрток Адам.

— Я говорю серьёзно. Мне нужен Посох, а не эта палка, обёрнутая тряпкой.

Адам уставился на Толика:

— И ты, Брут?..

Толик спокойно смотрел в глаза Адаму:

— А я говорил, что у меня не меньше прав на Посох. Отдай! Не греши!

— Я же тебя с рук кормил... — удивился Адам.

— Бабка надвое сказала: кто кого кормил, кто кого терпел. У Евы спроси, кто настоящий хранитель Посоха? По праву ещё пять лет назад Посох принадлежал мне. Это была плата за моё терпение.

— Ты это сейчас придумал?

Толик переглянулся с покупателем, недовольно покачал головой:

— Извини, Адам. Некогда мне с тобой объясняться...

Он поманил из темноты охранников:

— Не переусердствуйте! По голове не бить! У него там, в извилинах, предмет спрятан ценой в несколько миллионов.

— А по почкам можно?

— Скажи, Адам... — вмешался покупатель, — ...когда тесть выпроваживал тебя из своего дома, ты уже знал цену подаренной тебе напоследок вещи? Зна-ал! Каждая вещь имеет свою цену...

Первый удар и резкую боль Адам ощутил на почках.

— Уважаемый господин! Хотелось бы сказать: вот так плачевно и завершились ваши приключения, так жестоко были отбиты у вас притязания на Посох Адама. Другая жизнь, другие картинки, увиденные вами, обязательно привели бы вас в дурдом, потому что мы, соседи по скамейке — многоголосье вашей совести... Хотелось бы, но не скажу. Видите, уже Бэс идёт за вами! Прощайте, уважаемый господин, и помните, что *cada loco con su tema*¹.

У меня не было сил уточнять, почему у каждой сумасшедшей должна быть своя тема. Бэс торопил, он быстро и ловко скакал, маневрируя между кустами. Кажется, я отсидел ноги, выслушивая весь этот бред, выслушивая, как оказалось, самого себя — и передвигался следом точно на костылях.

Потом, с трудом преодолев порог, я вошёл в избу и обнаружил себя спящим на широкой скамье.

Под головой у меня была пуховая подушка. Я спал скрючившись. Было прохладно. Старушка стояла спиной ко мне и внимательно разглядывала на стене репродукцию картины Чюрлёниса «Покой».

Позже выяснилось, что векша смотрела в открытое окно.

Глава одиннадцатая

Старушка спросила:

— Не пропало желание искать Посох? Ох и помучился ты, ох и помучился! Вжился в образ Адама? Каково тебе там было?

Я глотнул воды из кружки, которую векша предусмотрительно оставила в изголовье.

— Реалистично было. Но всё равно сознавал, что это не моя жизнь. Кто-то разговаривал со мной, называл Адамом. Какой я Адам?

— А кто такая Корея? Ты звал жалобно во сне: Корея, Корея!..

— Там была лихая комбинация, закрученная на обмене Посоха. Посох меняли на древесину, древесину меняли на комплектующие из Южно-Корейской фирмы «Голд Стар», на Александровском радиозаводе на коленях собирали 20 тысяч телевизоров нового поколения, начальство рапортовало об изобретении и внедрении, получало ордена, а владелец Посоха — всю выручку. Интересно?

— Интересно, — подтвердила векша. — Лет пятнадцать назад так именно и произошло на Александровском радиозаводе. Я знаю об этом по газетным вырезкам тех лет.

— Глупости! Адам — или как там ещё его называли — в этой комбинации не участвовал. Не успел.

— В таком случае от кого ты узнал? По-моему, детали были известны одному человеку?

— Я сам всё это придумал... Вернее, тот... ну, в смысле Адам. Слушай, старая, не путай меня. Без твоих подначек тошно на душе.

Огни двух костров тёрлись о чёрную гладь реки. Великан проснулся и настороженно выглядывал из воды. Только сумасшедший Чюрлёнис мог угадать во взгляде великана покой, а не намеренную злобу.

Старушка отошла от окна и села напротив:

— Наивная старая карга, — спокойно сказала она. — Я надеялась, что после пережитого ты наконец уймёшься. Неужели деньги для тебя — самое ценное?

— Если речь идёт об оригинальном Библейском Посохе, а не китайской поделке... — я показал на её подарок, — то я готов пострадать за правое дело. Мы ведь не при социализме живём, где нас отучали от денег. В то время я, быть может, из страха и патристических побуждений отдал бы Посох музею. И это было бы справедливо по отношению ко всем. Сегодня справедливость — это выгода. Невыгодно — значит несправедливо по отношению к себе. После всего, что я испытал, потратив кучу времени и нервных клеток, отказаться от Библейского Посоха было бы глупо и непростительно. Отрицать Его или высказывать сомнения могут лишь те, кто убеждён, что Он есть.

— Не вижу разницы, — уязвила меня своей проникновенной улыбкой векша. — Половину жизни ты спишь, ещё четверть проводишь в дрёме. Для чего тебе Посох, если ты и с копией справишься не смог?

— Ещё раз повторю: кушать хочется!

— Кушать, чтобы спать?

¹ Прибл.: "У каждого дурака свой колпак" (исп.) - *Ред.*

— Спокойно спать, — уточнил я, — с добротным пополнением на банковском счёте. Чтобы семья не будила по утрам, не протягивала ручонки, требуя положенного. В воровском обществе повальной демократии деньги решают всё. А бешеные деньги — сразу всё! Теперь я особенно остро ощущаю, что рождён грешником. Главный мой грех в том, что я — должник. Долг — синоним греха. Скопилось грехов неизмеримо много. Я взрослел, и пропорционально росли долги перед родителями, друзьями, учителями... Государство тоже не забывало напоминать, что главный долг — перед ним. Большой грех, твердило государство, не рассчитаться должнику. Люди рождаются в грехе, в грехе умирают... но некоторые успевают рассчитаться. Почему же я должен отказываться от возможности избавиться разом от всех грехов — и за вознаграждение отдать людям то, что им принадлежит? За случайно найденные клады государство платит хорошо, за умышленное сокрытие наказывает, а за самопожертвование мстит?

— Сильно тебя, мужчина, зацепило во сне, — задумчиво произнесла векша. — В юности, когда я читала романы, представляла себя режиссёром. Мне нравилось перекраивать героев по-своему, находить в них то, что упустил в своё время автор. Часто меняла сюжет, но, в отличие от тебя, моя режиссура всегда предполагала счастливый конец. Что из того, что все мы вынуждены жить по чужим сценариям, прочитанным нами случайно? Примеряем, как новые одежды, и доживаем жизни книжных героев как во сне? Мне казалось, что ты умнее и рассудительнее того юноши Адама, который написал для тебя в дневнике сценарий-предупреждение. Ты же счастливый человек! У тебя появился выбор: по-новому переиграть судьбу, написать для себя новый сценарий. А не наступать на старые грабли. Проснись же наконец!

Сперва я подумал, что моё самолюбие задето, но вскоре понял, что оно сильно покалечено благими пожеланиями векши.

— Я тебе уже говорил, старая, что это была не моя жизнь. Что меня зовут не Адам, а Олег — прости, родители так называли и в метрику имя записали. Я никогда не знал ни Ады, ни Лили, ни Евы. Ничего общего в характере с Адамом у меня нет.

— Ой ли? Посох нужен тебе позарез, поэтому ты пойдёшь на всё, лишь бы я указала место Его хранения.

— Ты считаешь, что оно для меня большая тайна? — Я засмеялся в лицо старушке. — Сейчас о Посохе я знаю больше, чем кто-либо другой. Хочешь, расскажу кратко, но с пафосом?

«История возникновения и существования Посоха — едва проросшее зёрнышко мистики, зажатое плотным, огромным кольцом реальности. Вдумчивое прочтение Септуагинты, немного фантазии, позаимствованной у Дэвида Рола, а так же сопоставления отчасти прожитой мной судьбы путанного Адама с жизнью Библейского изначального человека открыли по-новому глаза на поиски Посоха.

Я пошёл дорожкой, проторённой Шлиманом, который после прочтения Илиады взял и откопал Трою.

Итак, реальный Эдем лежал в районе двух больших солёных озёр — Ван и Урмия. Персы называли это место Парадиз.

Через Эдем протекали четыре реки. Верховья Хидекеля (Тигра) и Перата (Евфрата) были расположены на западе, а истоки Гихона (Геон), протекавшего через земли Куш и Фисон, петлявшего по земле Хавила, находились в восточной части.

В восточной же части Эдема лежала длинная долина, тянувшаяся с востока на запад, с трёх сторон защищённая высокими горами. К северу простирались горы Куша, у восточного края хребет заканчивался вулканической вершиной горы Савалан.

На юге хребет Базгуш отделял долину от земли Хавил. На восточном конце этого южного хребта поднимался горный массив Саханд. С западной стороны долина была ограничена солёным озером Урмия.

Западные ветры приносили в Эдем тёплые дожди со Средиземного моря. Высокая влажность способствовала развитию плотного растительного покрова и поразительному разнообразию фруктовых деревьев.

Как повествует далее Дэвид Рол, так выглядел Эдем, и главенствовала над ним гора Бога. Гора до сих пор находится на своём месте. Она нанесена на карту Западного Ирана как горный массив Саханд высотой 3700 метров. Именно здесь, на «высоком троне», произошло грехопадение человека. С этих вершин человечество пало на землю и было заключено в пределы смертного бытия, навеки лишившись земного Рая.

На юге за горой Бога в Эдемском саду находилась земля Хавила, или «богатая золотом», где жили хуавы. Вождь этого народа имел дочь, жрицу богини Нинхурсаг — «владычицы горных пиков» и «матери всех живущих», — которую предложил отдать в жёны Адаму.

Адам впервые встретился с Богом, которого звали Эа, Энки или Яхве — все имена были исходными для имени Элохим и Аллах — на Его горе.

Там Адам получил от Эа первые инструкции по научному использованию производительных сил и разрешению конфликтов в производственных отношениях на Его законной территории.

К удивлению Адама страшным грехом оказалось кровосмешение между близкими, племенными родственниками, чем, собственно, постоянно занимался Адам до встречи с Богом.

По лукавому взгляду Адама Бог угадал намерения изначального человека и отвёл удар от себя, направив его на дочь вождя соседнего племени поклонников лунного змея, но потребовал за невесту Еву в качестве выкупа лишнее ребро и крайнюю плоть.

Бог Эа обитал в середине Эдема направо от озера возле трёх деревьев. На них Он молился, ел с них плоды, спал рядом и удобрял их.

Первое, гранатовое, было древом познания добра и зла. Второе — виноградная лоза — древо жизни. И третье древо с плодами инжира имело название Санта Сана — Святой помощник власти.

Фрукты, по-видимому, были у Эа на строгом учёте. Проснувшись однажды, он не досчитался плода с древа познания добра и зла и нескольких фиговых листочков. В отчаянии отнял у себя кусок крайней плоти, бросил на землю и приказал: «Будешь безжалостно жалить всех, кто посягнёт на продукты питания!». Но было поздно. Конфликт стал неизбежен».

— Мне неинтересно слушать! — проговорила вкша.

«Вкусив плод, — продолжал я как ни в чём не бывало, — Адам сразу обрёл знания и язык. Он заговорил и, заговорив, стал Богом. Бог Адам взвалил на себя самый тяжкий груз — он дал имена всему, что его окружало: деревьям, горам, птицам, животным. А присвоив имена — обрёл над ними власть.

Эа обнаружил Адама возле источника прорицания. Этот источник Эа надёжно спрятал под лучезарным камнем, найти его, не вкусив плода познания добра и зла, было невозможно.

Адам и Ева спали после сладостных минут любви в одеждах, сделанных наспех из листьев дерева Санта Саны. «Мы стали сиамскими близнецами, проросли друг в друга», — шептала жена.

Ева зачала от Адама ещё в Эдеме. Вот почему она говорила, что первенца родила от Бога.

В отличие от Каина (Кузнеца своего счастья), Авель через три года родился без волос на груди и спине, чем вызвал большие подозрения Адама. Авель (Жертвенный дымок) был светловолосым, голубоглазым. Копчик у него загибался вовнутрь, будто эволюционный переход от животного к человеку застал его в состоянии страха и он встречал мир вне Эдема с поджатым хвостом.

Увидев парочку спящей в одеждах, Эа ужаснулся. Адаму было известно тайное имя Творца. Больше всего Эа боялся попасть под власть Адама.

Адам возомнил себя Богом Богов и сделался печальным, поскольку знания его были велики, судьба потомков им прочитана, человечество оплакано.

Эа долго молился дереву Санта Сана, затем произнёс его имя вслух, но Адаму показалось, что Эа называет древо Сатаной.

Отломив ветвь от Сатаны, Эа вручил её Адаму со словами: «Сатана станет помощником тебе в скитании по земле...»

— Я даже знаю, что в состоянии Бога Адам владел семьдесятю языками. Знаю, что Атум — Адам — первый богочеловек Египта, и знаю, в чём истина выражения: «Господь суть человек войны». А хочешь, старая, перечислю исторические личности, которым Посох Миссии — Сапфировый жезл — Хека — символ космической силы передавался как эстафетная палочка? Адам — Сэт — Рама — Енох — Ной... Авраам — Исаак — Асир, то есть Осирис — Серах — Иосиф... Иофор — Моисей — Аарон... Иисус Навин... Давид — Соломон — царица Савская... Александр Великий... Гиллель — Иешуа Мешиах, или Христос — Иаков — Иуда из Кариота — эфесянин Иуда... Мохаммед... Испанская королева... Наполеон... Кирилл из монастыря Св. Ека-

терины — Константин Тишендорф — император Александр Второй... Яков Свердлов...

— Хватит! Утомил! — возмутилась старушка.

— Нет, я только начал. Не было сведений, сколько копий Посоха изготовили большевики-умельцы? Официально было продано по одному Посоху в Англию, США и Швецию. Где изначальный Посох, знаешь теперь не только ты, старая. География Посоха огромна и запутана, но это для новичков, что дневников не читали. За шесть тысячелетий Посох не единожды побывал во всех частях света. Американские индейцы видели Его в руках Осириса — белолицего, голубоглазого Бога с бородой, который из-за морей прибыл к ним с подарками: зёрнами кукурузы, ячменя, пшеницы и великой силой знаний, «сокрытой в палке».

Рама Посохом указывал ариям дорогу на юг, в сторону Индии, откуда они прогнали чернокожих аборигенов на территорию Африки...

— Мне неинтересно слушать!

— Конечно неинтересно. Все они, владельцы Посоха, прожили жизни почти одинаково и кончили каждый под жёстким контролем своей Евы, гнётом Лилиты и глумлением Ады. Такова селяви, но мы крепчаем и подпрыгиваем, когда жизнь нас пытается целовать в спину. Кстати, а полное имя Германа из «Пиковой Дамы» ты помнишь?

— Глумиться надо мной вздумал? Давай, приступай к пыткам! Я ещё сдобная барышня, при угрозе насилия все секреты открою, на ухо нашепчу...

И старушка протянула мне Посох, вернее, Его копию. Потом поманила пальцем. Я склонился, она поцеловала в лоб.

— Свидимся ещё? — спросил я.

— Свидимся! Лет через двадцать.

— Если доживём?

— Уже дожили.

Это её замечание я пропустил мимо ушей, потому что мысли были заняты другим.

Всю обратную дорогу до машины я пытался по мобильнику дозвониться до жены. Сотовая связь отсутствовала. Уже в машине сигнал прошёл, но телефон жены был занят. Тогда я послал СМСку: «Родная, была ты когда-нибудь на Иссик-Куле? Жду ответа немедленно!»

Глава двенадцатая

— Романово, Романово, подойдите к окошку! — оповещает зал телефонистка с грозными переливами в голосе. — Ро-ма-ново!

Все оглядываются, прощупывают глазами соседей, вычленяя того самого растяпу, который принуждает волноваться телефонистку: «Надо же! Негодник. Надо же! Олух царя небесного! Вот если б нас — к окошку? Мы бы — сразу! Мы не задерживаем, мы аккуратны!».

А я свернулся в кресле затравленным зверьком, и последние капли надежды источались, выпаривались из меня бисеринками пота: «Глупые! Кому, как не мне, знать, что значит — к окошку! А почему, скажем, не в кабинку № 4? Каждый раз с таким трепетом жи-

даю, что паутиная нить надежды сдержит ядовитое раздражение телефонисток и распутает скрученные мёртвым узлом телефонные провода.

Романово... Это моя визитная карточка, моя фамилия, в которую я сперва без сожаления облачился, а затем врос — и «запитался», как дерево, приткнутое в чужой земле, переплетает хилые, больные корешки с громадной корневой системой леса. А состарившись, отдаёт свои соки невидимой глазу, таинственной, великой общине.

Чем меньше «себя» в себе, тем острее ощущаешь собственное назначение. И что ранее было единственной целью, неизбежно превращается в средство, может даже жалкое средство-то.

— Вы — Романово? — снисходительно бросает телефонистка.

Я ловлю подаяние. Я киваю, внимаю неумному гримасничанью и кручусь, извиваюсь бельевой верёвкой, трясусь, как пёс, качающий задом от неуправляемого хвоста.

— Возьмите деньги! Полонка на линии! — сыпает она в окошке горсть монет и сверху прикрывает листом рубля. Фиговым листом, фиго-овым! Занавес.

Но я не сдаюсь. Не так-то легко отделаться от нищего, у которого хлеб обменивали на бряцанье арфы.

— А почему? — вот что приходит мне в голову.

— Что значит — почему?

— Почему полонка на линии?

Она таращится на меня. Я отражаюсь в её глазах и вижу в них собственную непоколебимость.

Она растеряна — безнадежных идиотов не каждый день видишь.

— Вы в своём уме? Откуда я могу знать?

— Да уж — не в вашем. А я откуда могу знать?

И натягиваю на лицо улыбку, оголяя два верхних зуба — чтобы не так оскорбительно звучало, как она ожидала. Глаза у неё мутнеют от раздражения. Она отговаривается на одном дыхании:

— Отойдите, не мешайте работать!

— Что же вы так бесчеловечно поступаете со мной?

Я же вам не говорю: уйдите с вашего места, не мешайте мне жить!

— О, господи! Прилип, как... Ну, что ещё?

— Ну... Романово.

— Да я же вам русским...

— А вы ещё раз. Если нет — то почему, где... надолго ли? Я вам в это время бутерброд с колбасой из кафе принесу, полы помою, дров наколю, бабушку обмою. Диск покрутите, пожалуйста, не стесняйтесь. Я отвернусь...

Что-то смутное, вроде всхлипа, пробежало судорогой по её непробиваемому лицу и застыло, окаменело. Появилась зацепка, было на чём осесть взгляду.

И я надавил:

— Вот вам три талона на молоко — за вредность общения со мной. Берите бесплатно, безвозмездно. Отоваритесь на ЖБК-7. Серьёзно! Не хотите? У вас колова с высокими надоями живёт на балконе панельного дома? Поздравляю и завидую рачительным хозяевам! Искренне, поверьте! — И, набрав больше воздуха в лёгкие, выдохнул разом: — Я знавал одну даму, муж

у неё был крупно-рогатой скотиной. Сам-то, конечно, не знал, что он крупно-рогатый. Знали все, а он не знал. Поэтому только мычал, а покрывать стадо не хотел...

— Хватит! Замолчите!

Телефонистка выставила в окошко пятерню и показала мне ладошку — мелкую гладкую лодочку с длинной линией жизни. Дамы с такими ладошками переживут не одного мужа.

— Алло, алло, дежур! Как там с Романовкой? Может, ещё разик попробуешь? А то абонент...

В трубке затрещал голос дежурной: то ли нотацию читала, то ли инструкцию, то ли проповедь.

— Романово — четвёртая кабина!

Точно учительница начальных классов приказала и ядовито ухмыльнулась телефонистка. Телефонисточка, богиня недоступных связей! Змея подкодная, не могла сразу, что ли, договориться?

Я схватил трубку и услышал в ней вязкую, непробиваемую тишину. Она начиналась у самого основания телефонного кабеля и заполняла всё пространство четвёртой кабинки.

— Алло! Алло! — закричал я и стал бить по рогам аппарат. Рожки аппарата западали, ныряли, и где-то позвякивало.

В дверном окне телефонной кабины появилась изумлённая физиономия мужичка из национального меньшинства и проплыла влево. «Грузин», — зафиксировал я, и мне захотелось вяленого инжира.

— Алло, алло! Алло!..

— Чего орёте? — спокойно отозвалось в трубке.

— Не слышно, девушка, Романовку!

— И не услышите, — так же спокойно и уверенно ответила дежурная. — Вы сегодня третий раз заказываете Романово. Бегаете по разным отделениям связи. Не стыдно? Вам же сказали — нет связи, полонка на линии. Вы настырно продолжаете заказывать, будто один вы у нас. Не стыдно? — ещё раз спросила дежурная и насторожилась, ожидая пробуждения моей совести.

— Всё? Теперь соединяйте с Романовкой!

— Да вы что?! — повысила голос она. — Полонка на линии, бестолковый! — намекая на то, что схватка с клиентом выиграна безоговорочно.

— Дежур, а дежур... — Она разбудила во мне всё-таки вонючего зверька. — Ты замужем?

— Не поняла? — ошарашенная вопросом, пролепетала она.

— Я спрашиваю: обручальное кольцо носишь на безымянном пальце правой руки? Зачитай мне свой домашний адрес, я пойду и пожалуюсь твоему мужу, что ты плохо исполняешь свои прямые обязанности и пристаешь к незнакомым мужчинам в рабочее время. Потом накатаю жалобу в профсоюз, комсомольскую организацию и лично Генеральному секретарю ООН.

— Сегодня я занята, — пролепетала она.

Я опустил трубку. Вот теперь — всё! Занавес! На нём в насмешку было тиснуто высокой печатью голубое небо, зелёное поле с прорастающим из недр ульем и три золотые пчёлки, беснующиеся над всем этим хозяйством. «Вечность ожидания скончалась, мгнове-

нье вечности продолжилось. И маленькая птаха прилетает каждое утро на самую большую алмазную гору и чистит клювик, стачивая гору до основания. Так что ждать ещё долго».

Вдруг на выходе, когда раскланялся с утомлённой от ожидания, раскисшей в духоте, разнопёрой и «читабельной», как у Зоценко, публикой, вдруг при открытых дверях и одной ноге, вытолкнутой на свежий воздух из каких-то там фобий, у меня замкнуло... И разомкнуло.

В цезуре, как стих, выбилась наружу наглая идея. Я развернулся, затащил ногу с улицы обратно, и бодрым, полным здоровья и мяса бегом направился на грузина. «Торро! Торро!» Я бежал, целясь в его правый глаз, разрисованный кровавыми капиллярами в наказание за бессонные пьяно-разгульные ночи.

Но боя не получилось, даже не было мелкого рукоприкладства. Так, несерьёзное ощупывание мощей и обычное святотатство.

И я спросил, вспоминая его проплывающую влево физиономию:

— Как с вашего на наш переводится Нукри?

Он ответил, помня о моей физиономии, уплывающей влево:

— Это же имя!

Я понимающе кивнул.

Он, понимая, что я понимаю, что это понятие для меня не совсем понятно, понимающе уточнил:

— Это имя. А пэрэводится он — Косолапый.

— Может быть всё-таки — Оленёнок? Может быть ты не грузин? Может быть, у тебя весь мир косолапый?

Он не хотел, избегал боя. Он ждал разговора с Тбилиси и Реваза, который должен передать Марине, что она стерва. Марина, конечно, порядочная стерва, хотя бы потому уже что согласится выслушивать Реваза. Но этот «косолапый», какое он имел право, удобно устроившись в глубинке России, на волго-вятской параллели оскорблять русских женщин?

Он не хотел боя, видит бог! Он пустился в объяснения:

— Э-э, брат! Нукри — это Косолапый. Я — грузин, Нукри — это Нукри, значит, Косолапый, другой я не знаю. Всякий есть, но нэт другой. Вот скажи, слово Саша — есть пэрэвод другой?

— Есть: Шура, Александра, Сигизмунд...

— Нэт. А Саша Вовой пэрэводится?

— У нас — нет. А у вас всё переводится, да никак не переведётся. Ладно, бывай, грузин косолапый!

Всё-таки не Оленёнок. Всё-таки не лирическое Оленёнок, но ироничное, насмешливое — Косолапый. Ко-со-ла-пый!

Точно, метко, в зрачок полетела стрела — и в моё прошлое. Выпущенная из лука стрела и, нанесённая рана — это вещи одного порядка. Только непонятно — чья стрела и чья рана? Паразитизм — характерная черта южных мужчин. Паразитизм — суррогат любви.

Нукринукринукри. Нукри косолапый в прошлое идёт, песенки поёт! Или из прошлого всё-таки?

И было мгновенье очищения, сбрасывания пут прошлого, не виденного, но переживаемого мною, как пе-

реживаются неиспользованные возможности, на которых паразитировал другой. Исчезло значение, паром вышли обиды, но слово осталось, имя ещё значилось, хотя давно ничего не значило. Точно звучало насмешкой, точно Орден Боевого Красного Знамени, присвоенный праху Петра Первого.

Слово повисло на губах, обметало полость рта, колдовски вышёптывалось. Люди оборачивались, рисовали кружки на удивлённых лицах и перепрыгивали через мою тень.

Очень смутно представлялось значимость для меня этого грузинского имени. Встречалось оно в прошлом или я сам его придумал? Как придумал вопрос для жены и носился с ним вторые сутки по переговорным пунктам: «Родная, а ты была когда-нибудь на Иссык-Куле?»

Ну какая мне разница, была она на Иссык-Куле или нет? Что могло за этим скрываться? Вопрос возник из ничего, навеян был шальной мыслью, скорее всего — из сна. Но почему-то точило, съедало изнутри. Я даже играл этим вопросом, точно протискивал фалангу большого пальца между указательным и средним — в сторону прошлых обид.

В парке работали цыгане — вернее, цыганки. Мужья в это время где-то проедали их заработок, оставив в надсмотрщиках стадо жующих детей. Цыганки добросовестно отработывали мужнины хлеба: «Можно вас спросить?» или «Дай закурить, красавец!»

Жертвы утекали мимо — в мотню расставленного ими бредня, в тенета усохшей старухи, с выстрелом вместо глаз на мизерной площади треугольного лица. (А морда-то лопатой!)

Я пошёл прямо на неё, неся следом завихрения прохладного циклона. «Не стой, старуха, против ветра!»

Она прострелила внутренний карман моего пиджака с портмоне, только затем нацелилась выше и открыла рот. Я заглянул туда, обнаружил висюльку возле горла — красненькую, похожую на донорский значок — и спросил:

— Слушай, дура, рубль надо — на сигареты детям? Погадай мне!

Золотые ворота зубов прикрыли значок, кадык опустился к душе, зачерпнул первую порцию и выплеснул:

— Чтоб ты сдох, собака!

— А ты чтоб всю жизнь строилась!

Кадык нырнул, размешал тщательно, до загустения, и грузно вынес:

— Чтоб ты срал всю жизнь жидким поносом!

— Чтоб у твоего мужа член отпал!

— Чтоб ты подавился соплями!

— Чтоб ты детей кормила до их пенсии!

Нас окружили подковой цыганки и появились первые слушатели с «воздуха». Сквозь заслон цыганят, ковырявших в носах, пробила тропку пенсионерка с постоянной гастрономической пропиской, неся перед собой, словно иконостас, сетку молочных бутылок.

— Ага, обокрали, — удовлетворённо констатировала она. — Эх, растяпа! Теперь ищи-ка, обыщись! Руб-

лики — тью-тью! А жене каково? А? — спросила и поискала глазами милиционера.

— Проходи, бабушка! Не видишь, люди беседуют? — отозвались тётка в третьем ряду. — Мать встретила сына, двадцать лет не виделись. Он в детдоме рос. Совсем сиротой считался. А теперь от счастья голову потерял.

— Да я бы такой матери, с позволения сказать, пенделем под зад! — решил рассудить справедливо мужик, по-видимому учитель физкультуры: в трико и с пропитым лицом.

А девушка-студентка предположила:

— Его, — она указала пальцем на мой живот, — из этого табора украли в другой, а потом оставили прямо в лесу. На пеньке.

— Что, он лошадь, что ли, чтоб его красть? — возмущился физрук.

Цыганки молчали — им было некогда вмешиваться. Дети внимали, дети учились.

— Чтоб ты икал во сне!

— Чтоб ты всю жизнь простояла в очередях!

— Чтоб ты всю жизнь слушал симфонии!

— Чтоб тебя наградили посмертно!

— Э-э, позвольте! — опять вмешался физрук. — За что это её должны наградить? Это, парень, явный перегиб! Ты беседовать — беседуй, но не оскорбляй! Нашёлся умник: на-гра-дить!

— А твоё какое дело? Не щёлкай, закрой рот, здесь вафли не летают, — предостерегла физрука старуха, вступившись за меня, а мне подбросила: — Чтоб ты захлебнулся своей мочой!

— Не отвлекайся! Жаба тебе в пасть-то калёную! Чтоб о тебя ноги вытирали!

Физрук, обиженный невниманием, вновь вмешался. Его сильно подталкивало к нелогичным поступкам неуёмное очарование собой и активное, единственное полушарие головного мозга. Как и положено физруку, другое рассосалось в монументальном торсе.

Он поиграл им, сгоняя тугие канаты мышц от плеч к животу, попульсировал желваками и решил:

— Я вам ща-ас покажу вафли, я покажу!

Неожиданно поднялся стрёкот, всё заелозило и задыгалось.

— Люди, люди, идите сюда! — завизжала пенсионерка. — Вот этот, вот этой сейчас казать будет, люди!

Толпа расступилась, но люди не шли. Пришёл милиционер и показал всем два сержантских погона.

Я не заметил, когда успели тихой сапой исчезнуть цыгане. Видимо, рассосавшись по обеим окантовкам раздвигающейся толпы, тихо, по-английски исчезли, не докурив последней сигареты, не доев последний бутерброд, но оставив после себя огромное, в полквартиры, зеркало, в котором тончайшими штрихами скопировано было наше мирское празднество.

Господи, прости всех тунеядцев, искателей синекуры, чахлах пенсионеров, канцелярских сподвижников, любопытных и алчущих зевак. Прости собирателей посудной тары, прости расхитителей госимущества ещё не пойманных и тех, кого поймать невозможно. Музыкальных террористов прости, женщин на юго-

славской подошве и мужчин в итальянской «варёнке». Всех прости! Всех, заткнувших живой пробкой узкую полоску парковой зоны, в эпицентре которого торчало «голубое полено правопорядка».

Физрук в спортивных штанах с лампасами ничего знать не хотел о вселенском прощении. Он плевал на сержанта, дышал перегноем своего возмущения прямо в лицо члену Внутренних органов. Сержанту было не с руки перед публикой обтирать носовым платком слюни с лица, и он терпеливо ждал, когда физрук до полного иссушения выльет наружу обиды через взывания к справедливости.

— Меня оскорбили, — стуча по душе, как по тазу, убеждал он. — Меня оскорбили! В наличии имеются свидетели! Подумать только, у меня высшее образование, я честно работаю на радость детям и во имя укрепления обороноспособности государства! А эта, с позволения сказать, поганка меня вафлями вздумала пугать! Имеется факт нанесения оскорбления советскому гражданину, так и знайте!

— А кто свидетели-то? — спросил я.

Мне уже надоело топтаться в этом сквере, загаженном собачьими экскрементами и смрадным дыханием обиженного физрука.

— Кроме меня никто и не знает существо дела. Я единственный, кто видел, как вы пытались изнасиловать старушку, тем самым преступив закон в статьях 117 УК РСФСР, 115 УК РСФСР, 108 УК РСФСР, и туда же, для полного букета, 116 УК РСФСР. Меньше пятилетки Вам не трубить в полях сочного ягеля. Я сейчас буду давать показания, а вы ступайте, гражданин, домой, мы вас вызовем повесткой и с вещами. Правильно я говорю, товарищ сержант?

Голубое полено раскисло и запылыло улыбкой.

«Батюшки родные, — подумалось, — только молчи, слов не надо! Лучше без слов! Не доводи до народных волнений! Сердобольный я, жаль мне тебя, сержант, честное слово! Откуда-нибудь из задрипанной деревни, где тебя и на километр к трактору не подпускали, где сидел смиренно ты и сосал мосол, вырвали, одели в форму и бросили на произвол, в перекрёсток города пугать детей и пьяных, уже напуганных тобой в детстве. Молчи, ми-лл-ай!»

Он выдавил в потугах рвущихся на свет мыслей:

— Хм, сам знаешь!

Город дал ему право голоса.

А цыгане были за углом, во дворе Центрального гастронома.

— Ну что, много наскребли у зевак? — спросил я у усохшей старушки.

— По мелочи, народ нищает. Вот, Коле передай, — она вложила мне в руки бумажный свёрток, — скажи ему, что завтра придём. Там и твоя доля. Счастья тебе! Чтоб тебя все враги боялись, чтоб у них хвосты и рога повырастали!

Она показала золотые ворота зубов, повернулась к табору и прикрикнула на пацанёнка, который ковырялся в сетке с молочными бутылками той самой плакальщицы по моим денежкам.

Иногда мне кажется, что я однажды уже пережил ситуации, которые гнали к известному мне завершению. А иногда кажется, что это был кто-то другой, но взвешивающий на всё происходящее моими глазами.

Соседство этого другого, с первобытным именем Адам, я терпел только из жалости. В последнее время он превратился в закоренелого фаталиста и сентиментального плаксивого ребёнка. Мы абсолютно разные, но объединяет нас одно — наказание с отработкой на стройках народного хозяйства. И хамство, прикрывающее трусость.

Я стоял в очереди, медленно поедаемой ненасытной утробой гастронома. Здание с наслаждением сосало и сглатывало тело червя и выплёвывало останки через вторые двери.

Меня изучающе разглядывал маленький, плотный мужичок с лицом кавалериста. Укушенного лошады. Действительно, чего он лыбился? Настораживало такое обстоятельство.

И воспользовавшись моментом этот другой, с именем Адам, дал волю своему языку.

— Сейчас я буду шептать, а ты записывать, — предложил Адам.

— В смысле?

— Записывать за мной.

— В смысле?

— Шариковой ручкой скрести по бумаге. Получится «застрелительное» письмо или что-то такое, вроде дневника.

Итак, время — это бездарно смотанный клубок. За какие концы ни тяни, всё одно распутывать придётся те же узелки.

— Не изводи меня своими пошлостями. За какие концы я не должен тянуть?

— Хорошо, скажем проще: я увидел свет в окне. Пишешь? Я не придавал этому значения. Просто ещё не добрался, не дожидаясь этого света. До этих брызг от настольной лампы.

— Про брызги — хорошо, а про настольную лампу — не очень, — поправил я.

— Не путайся под моими мыслями. Не умел и не хотел я тогда полагаться на аксиому о предрешённости судеб. Записал? И что одиноко горящее в ночи окно не было случайно зафиксированным образом, не исчезло в череде суетных событий, а увязалось за мной, ожидая своего часа — тоже записал?

— Вычурно! Проще нельзя сказать?

Теперь-то, десять лет спустя, я определённо знаю, что окно скрывало тебя, моя радость, моя услада, глаз сердца моего! Что ты делала, о чём думала в ту прохладную и звонкую от тишины ночь? Давай вспомним, пооткровенничаем?

— Если речь идёт о моей жене, то, к бабке не ходи, я знаю, чем она была занята: зубрила спряжения немецких глаголов или писала курсовую.

— Ты призналась тётке, хотя очень боялась: «Я выхожу замуж». И для убедительности показала письмо любимого. Он был старше тебя на год. Вы дружили со школы. Я знаю, что вы встретились на летних канику-

лах — ты окончила первый курс — и тогда у вас закрутился роман.

Тёткина реакция была предсказуема: «Ты белены объелась? Совсем сдурела, девка! А как вы жить будете? Он — там, ты — здесь?»

«Это неважно, — оправдывалась ты, — мы всё продумали. Какие-то три года не имеют значения».

«Да знаешь ли, что такое три года? — пыталась возразить тётка. — Нет, моё решение таково: сначала получи диплом, а там посмотрим. Мы всё-таки в ответе за тебя перед родителями!»

Ты плакала от обиды: тётка оказалась помехой твоему счастью. Тяжело переживала разлуку с любимым. А я в это время прошёл под твоим окном, слыша плач, и сострадавая незнакомке.

Твой любимый писал, что в зимние каникулы вы обязательно встретитесь. Правда, выпала ему и поездка в Волгоград, но это пустяки, не помеха. При встрече вы подробно обсудите, где и как лучше сыграть свадьбу. Он и друзей предупредил, и твою фотокарточку всегда при себе держит. Любит, тоскует, ждёт.

Ты перечитывала его письма, и памятные летние ночи возвращались к тебе всплесками степных ветров в куполе звёздного неба, его ласковым шёпотом.

Больше всего ты боялась родителей, будто выкрала себя у них и тайно отдала другому, чужому, случайно-му прохожему.

Фотокарточка любимого всегда была при тебе. На обратной стороне — краткая, но полная смысла и печального предвестия фраза: «Тебе от него». А ещё подпись, украшенная средневековыми вензелями. Я видел эту подпись. Сколько надо было ему перелопатить бессмысленных выражений, поломать мозги, чтобы прийти к лаконичной фразе, ещё не издевательской на вид, но с умело скрытой фальшью. Можно было тебе понять, перевести правильно и не питать иллюзий, но память о лете была сильнее, не давала повода для подозрений и поискам в написанном скрытого смысла.

Видел я фотокарточку твоего любимого: деревенский парень, с колхозным загаром, в шляпе, оторопел от неожиданности, что подвергся процессу урбанизации. В его стойке наличествовал уже малой толикой горожанин, но выпирала ещё сельская поза. С первого взгляда можно было определить, что в собственных глазах он представлял себе аристократом, выбранная им стезя должна была вывести его в кулуары избранных, сильных мира сего, к тем, кто родился в белых перчатках и накрахмаленных воротничках. Или там ему было уготовано место официанта?

Тебе он был мил и таким. Ты могла простить ему мелкие чудачества, а я удалялся, волоча за собой изображение твоего жениха в шляпе. Всё это представлялось мне тогда случайностью, сваленным грудой сором, который шлейфом тянулся за мной. Мы двигались с тобой разными путями, но в одном направлении, точка пересечения была близка и неизбежна. Всё дело — во времени. Надо было нам зализать раны и научиться любить слепо и без подстраховки, по-новому. Записал?

Вскоре пришло письмо от родителей, в котором кратко, приговором сообщалось, что твой любимый в шляпе женится; свадьба намечена на такое-то число, такого-то месяца. Его избранницу никто не знает, не из местных она. Это из сельскохозяйственных новостей, без подробностей. К твоим родителям «твой» никакого отношения не имел, а слухам о его досвадебных проделках родители верить не хотели. И всё-таки сквозили осторожные намёки, без желания ущипнуть или напомнить.

Сначала ты забивала голову глупостями, вроде тех, что «для чего мне жить, если нет его рядом? Что я без него, как я теперь, обманутая, оболганная, униженная?» Но это были только слова, сказанные в пустоту, они ничего не значили для тебя самой. Слова не успокаивали. Тогда ты достала все письма от любимого и стала брезгливо рвать их в мелкие клочки. Ты тяжело избавлялась от этого хлама. Тебе представлялось, что с утра начнётся новая жизнь. Но с утра опять преследовали обиды и ощущение пустой, ничьёмной жизни без него.

Ты как-то сказала мне: «Если я встречу его, не знаю что со мной будет. Я люблю его до сих пор!»

Теперь я убеждён, что сталкивался потом с «твоим», раздражённый толчеей на Комсомольской, не один раз. «Твой», в шляпе, обычно таскал в авоське пустые молочные бутылки. Он был одомашненным зверьком, приручённым и совершенно безопасным, супруга погоняла его почём зря. В том состоял её основной принцип налаженной семейной жизни: городские барышни в мужья выбирают деревенского вахлака, объезжают его, загоняют и пристреливают. По субботам «твой» выгуливал пса и готовил обед.

Я как-то мимоходом зафиксировал встречу двух растерянных и удивлённых людей: пожилой, крупной женщины и прибитого к земле мужичка. Тот хорохорился, врал напрапалую: живёт чудесно, семья — чудесно, жена чудесная, работа чудесная и вообще... Твоя мама, а это была она, молча внимала.

— Я не могу с уверенностью сказать, что там была моя тёща, — возразил я Адаму.

— А это и неважно для дневниковой записи. Пиши дальше: «Мне необходимо было пожить одному. Я собрал чемоданы, по дороге на вокзал свернул в кафе и заказал себе чашку кофе. Напротив сидел «твой» в шляпе и терзал ложечкой пирожное».

«Ну как?» — спросил я.

«Твой» вздрогнул, ложечка завязла в креме; он задумался:

«Без изменений», — ответил, наконец.

«А это хорошо?»

«Не знаю, я свыкся. В конце концов вся моя жизнь — искупление и оправдание собственных ошибок».

Он ковырнул ложечкой. Я поёрзал на стуле и вновь стал привязываться:

«Прошное не беспокоит?»

Твой затравленно глянул, но не ответил.

«Значит, свыкся? — сказал я. — Уюта городского захотелось?»

«Не только. Хочется, чтоб меня простила любимая. Не жена. Любимая. Простила и отпустила меня. Очень

хочется найти её, упасть перед ней на колени и вымолить прощение. Вся жизнь без этого прощения у меня наперекосяк».

«Встречу случайно, обязательно передам твою мольбу».

Я уехал от семьи, чтобы пожить в одиночестве, а на самом деле рвался к тебе, услада сердца моего.

— Нафига мне эти подробности заносить в дневник? — спросил я Адама. — Я и без них всё хорошо помню.

— На то есть причины. Во-первых, сегодня ты всё хорошо помнишь, а завтра свалится на тебя бревно и наступит амнезия. Где ты ещё станешь искать себя, как не в дневнике? Во-вторых, не забывай, где ты сейчас находишься. Каждая твоя строчка тщательно изучается, соответствующие органы ищут хотя бы малюсенькую зацепочку, чтобы нагнуть тебя. Так поиграй с ними! В-третьих, случайно обнаружит дневник жена и прочтёт? Думаешь, она осудит снедаемого графоманией мужа? Скорее, успокоится, узнав, что ты о ней думаешь постоянно... Но этого записывать не надо.

— Я и не собирался. Нет времени, опаздываю на вечернюю поверку.

Без пятнадцати семь вечера хрипло протрещал звонок, уплыл по длинному коридору и застрял в аппендиксе. Через мгновение отдался этажом выше и, наконец, затих на четвёртом этаже. В застеклённых окошках дверей нарисовались любопытные физиономии. Всё здание замерло, будто втянуло в себя воздух перед отчаянным воплем, и вскоре выбросило первую порцию послушников на построение. Общежитие ожидало, наполняясь шарканьем тапочек и недовольными возгласами.

Я прибежал минута в минуту.

Дежурный промурыжил меня возле «вертушки»: так нестерпимо ему хотелось, чтобы я заработал нарушение, а ещё лучше — дополнительное ограничение или, как здесь принято называть, «надзор».

Как-то этот дежурный лейтенант оговорился в пылу краснобайства: «Наша главная задача — вас, тварей, всех закрыть и отправить на зону!».

Но спохватился вовремя, замолчал, затаив на меня обиду как на случайного свидетеля его откровений.

Теперь он размеренно листал газету — секундная стрелка пустилась по последнему кругу, — а я терпеливо ждал.

«Листал бы лучше Азбуку, там больше картинок!»

За двадцать секунд до построения он соизволил принять пропуск и запустил меня на пятой скорости в строй.

Два ряда «бараньей повинности», перебирая ногами, томились в ожидании пересчёта.

Я едва успел нырнуть вглубь и развернуться на пятках, как перед строем возник «Спец» — начальник комендатуры — собственной персоной, и фоновым пятном расплылся за его спиной замполит. А это значит — не ласкать пришли и не объявлять об амнистии.

Шутка про амнистию самая ходовая среди нас, условно-осужденных: «Начальство задерживается — не амнистия ли? (Дружный гогот в ответ остряку). Яви-

лось начальство в полном составе — ну точно, дело идёт к амнистии!» (Опять гогот, но нервозный). Хотя бы гоготом укрыться от страха, что могут сегодня закрыть, то есть через тюрьму отправить этапом на зону: в далёкий край, где город Кай.

Сосед справа молится шёпотом на своём печальном, точно «камерное пение», вятском наречии: «Отстань от меня, господи! Не губи. Не испорти мне паспорт, как ты испортил мне жизнь. Мне тяжело будет в болотах без подогрева. Я потерял зубы, ты потерял совесть — мы квиты, господи!».

А мне уже слышится голос Спеца: «Осуждённый...! Выйти из строя! Вы арестованы!».

Совсем недавно уводили пачками, стадами, колоннами. Водители «катафалков» не успевали менять жёванную и лысую резину. Но вдруг кампания стихла, вот уже неделю никого не трогают. И всё-таки страх глубоко не осел, бродит и пузырится в лимфатических узлах на горле.

Спец обегает строй. Трясётся в фокусе его гладкий, сверкающий череп, а в этот череп вживлены злые глупые глазёнки, недоразвитые уши, тонкий рот, отверзающийся, как щель почтового ящика...

— Руки с яиц убрать! — приказывает он. А по лицу видно, как сквознячком проносится: «Когда же вы все передохнете?» — Та-ак, носки все одели? Чтобы без носков в строю не появлялись! Кого увижу, буду применять самые суровые меры! Хватит, гайки закручены!

Во всех его речах присутствуют гайки. Ему надо было не в милицию подаваться, а в слесари. Закручивает он гайки, конечно, мастерски мощно, но и его почеловечески жаль: перед начальством Спецу постоянно приходится лебезить, доказывать, что — не либерал, что со всей строгостью подходит к перевоспитанию «химиков», что его трудно обвести вокруг пальца осуждённым и что врождённых слабостей он не имеет, кроме глупости, которую всякий раз желает в нём обнаруживать высокое начальство.

Как-то Спец вызвал меня в кабинет: я думал, что закроют или дадут шесть месяцев надзора, мало ли за что, осуждённый сам того не знает.

Едва завидев меня на пороге, официально уведомил:

— Без разрешения вышел из комендатуры? Три месяца надзора! Распишись в справке!

Я действительно выходил — неделю назад. Донесли ему поздно вато — не всё отлажено, видимо, в разветвлённой системе стукачества у Спеца.

— Виктор Петрович, вы поступаете опрометчиво, — осторожно начал я.

— Почему это? — насторожился он.

— Дело в том, что я был вызван официально в поликлинику для экстренного осмотра. Дежурного не оказалось на месте, а я опаздывал. Пришлось всю ответственность взять на себя. В результате, анализы, как вам известно, получились ого-го какие нехорошие! Выход в город был вполне оправдан.

Лихорадочно, в унисон с жилкой на черепе, у него завибрировала извилина.

— Почему я должен знать, чем ты болеешь? — спросил он. — У меня таких сотни! И чем это вы болеете?

— У нас целый букет. Хрипы подозрительные. Флюорография показала, что в лёгких засорились какие-то фаллопиевы трубки. Затем ещё — андрофобия почек, эрозия кисты турецкого седла... Говорю же, целый букет.

Спец понимающе кивнул:

— Это геморрой, что ли?

— Да, но сильно запущенный...

Играл я, конечно, своей судьбой на мизерах. Но пронесло: Спец вписал в моё дело лишь справку о дисциплинарном нарушении.

Надзора я избежал, но не избежал любопытства и меркантильного интереса к моей персоне. Много дней спустя я догадался, что не просто так жалел он, не отпускал от себя, чуть ли в товарищи не набивался и как курица по зёрнышку выклёвывал из меня подробности моего уголовного прошлого: «Ты ведь что-то утаил, государству сдал не всё? Облегчи душу, а я подготовлю ходатайство о пересмотре дела».

Вот и сейчас перед строем, любуясь и кокетливо поигрывая холёными пальчиками, он будто обращается только ко мне:

— Мужики, опять у вас ЧП...

Спец тарашит на меня глаза, словно пытается вбить меня в стену шляпкой вперёд.

Я не падаю, даже не качаюсь, смотрю на него, как на учителя пения. Он досадливо отворачивается и продолжает:

— Кто-то из вас два часа назад залез на восьмидесятилетнюю старуху со всеми вытекающими последствиями.

Голос из строя:

— Внука ей хотели сделать.

— Преступника мы найдём! — перекрикивая ржание, опрометчиво заявляет Спец.

Голос из строя:

— А что вы на нас всё спихиваете? Чуть что, сразу «химики!»!

Тут же подхватывают негромко и недружно другие голоса:

— Мы так же можем и вас обвинить в этом... меро-приятии.

— Мне старуха не нужна! — находится Виктор Петрович.

— Кто знает, кто знает...

— Разговорчики в строю! — вдруг из-за спины Спеца отчеканивает фальцетом замполит.

Строй замолкает.

— Вы или не вы — не имеет значения, — вновь говорит Виктор Петрович. — Факт преступления на лице. Поэтому вот приказ, — он достаёт смятый клочок бумаги, изрешечённый мелкими строчками, и зачитывает: — Ввиду того, понятно чего, и во избежание повторения предыдущего понятно чего, выход в город после семи запрещён!

Если бы ему позволили сверху, он бы совсем не выпускал нас из комендатуры.

— У меня всё. Приступайте к проверке, — даёт он команду дежурному.

И уходит было зачитывать приказ на третий этаж, но вспомнив, что сегодня не уличил никого с «запахом» (всё-таки кто же «стучит» Спецу?) возвращается на этаж, выковыривает из строя, приказывает: — Дыхни?! После проверки ко мне в кабинет. Три месяца надзора! Пьянства не потерплю! — и удаляется совсем.

— Слава тебе в яйца, — шепчет сосед.

«Кому — слава, а мне — негодование. Пропала возможность высидеть час в ожидании разговора по телефону с Романовкой. Утеряна надежда, а с ней потерял смысл моего существования — до утра. Того утра, когда ты, моя любовь, проснёшься от телефонного продолжительного звона. А вместе с тобой проснётся наша цыганочка, наша дочурка. Ты поцелуешь её, возьмёшь на руки и скажешь: «Солнышко моё, это наш папа!»

Я буду внимать твоему голосу, вдыхать твой голос, буду снова оживать и жить им. Ради вас, ради вас, я живу ради вас, я ещё есть благодаря вам!

Остальное — проходящее, останется за бортом нашего круиза длиною в жизнь. Остальное, покачавшись на встречных волнах, канет отяжелевшим мусором на дно: повестки, прокуратура, больница, сухая зима, судебный фарс, «Ржавый», недоумение, слабая надежда, преследование, вновь надежда, отъезд, вновь преследование, газетная статья под названием «Где спрятан и кем украден реликтовый жезл?», клевета, ожидание возвращения...

Но всё это — в промежутках, в чуланчиках и антресолях жизни, а сама жизнь: трепет при виде оранжевого света на четвёртом этаже, агитбригада, жидкий кофе, скрип дверей, здравствуй, и ещё раз здравствуйте официально, ожидание вечера, шестое марта, первое беспокойство не о себе и непривычное чувство слияния, боязнь потерять и незнакомое чувство ревности. Всё впервые: эгоизм вдвоём, присутствие в этом диковатом мире ради друг друга, отъезд, знакомства, настойный аромат летнего деревенского лета, пугающие шорохи ночи, мгновенье счастливой вечности, пророчество, сумасшедшее ускорение времени, перенесённое из августа в март, из марта в март, звонки, приставания к врачу, «всё хорошо, всё хорошо», топтания под окнами роддома и вдруг пробудившееся гордостью чувство отцовства. Семья? Так вот что это значит! Нежное, как прикосновение твоих губ, слово семья. Господи, а жизнь-то только начинается! Молоденькая, едва вывалившаяся из грудного возраста жизнь. Она лишь на год старше моей дочери, моей цыганочки».

Последние мысли я произношу, видимо, вслух. Адам ухмыляется:

— Есть вещи важнее. Например? Записать и закодировать в дневнике место, куда ты спрятал Посох. На всякий случай, который тебя очень скоро настигнет. Я не шучу. Это крайне важно для тебя.

В обвинительном заключении, которое осужденные называют точным, хлестким и правильным словом «объебон», написано: «В ночь с 31 декабря 1985 года

на 1 января 1986 года подозреваемый с сообщником совершили преступление, проникнув в подвальное помещение овощехранилища — бывший храм Св. Николая Угодника. Имея при себе заранее изготовленный металлоискатель, вскрыли три тайника, в двух из которых находились золотые, серебряные монеты, украшения и церковная утварь — по предварительной оценке экспертов на сумму 650-700 тысяч рублей... Личность сообщника не установлена... В третьем тайнике находился узкий и длинный предмет, запечатанный в ящике. Предположительно — архиерейский жезл. Со слов сторожа, «не имеющий цены», следовательно, не подпадающий под статьи УПК РСФСР о хищении предмета, имеющего культурную и наследственную ценность... Местонахождение данного предмета не установлено»...

Не установлено, но хорошо известно! Мне!

Я попался на продаже золотых царских монет. Следователя прокуратуры Анисина Б.В. интересовали только драгоценные украшения и золотые монеты. Ему дана была чёткая установка — посадить меня надолго. Этого он не скрывал при первой же нашей встрече.

Основная сложность была в выборе статьи УК. Ему, сердобольному, лучше всех приглянулась статья о спекуляции. А я честно предупредил следователя, чтобы он не нарывался, закрывал быстрее дело, в котором трудно найти состав преступления, и бежал от меня подальше со всех ног. Это, мол, единственный шанс. Что касалось районного прокурора, от которого исходили требования о быстром и положительном результате по раскрытию преступления, то следователю не стоило бояться гнева, потому что «Ржавый» — так за спиной звали прокурора все, включая коллег, адвокатов и судей — скончается через полгода при нелепых обстоятельствах. В родной деревне во время отпуска он слопает шматок сала, запьёт литром браги и очутится на операционном столе с приступами острой боли в области живота. Аппендикс ему не успеют вырезать, он так и умрёт, подозревая в сговоре против него родственников и местных врачей.

Спустя неделю сам он, следователь Анисин В.Б., в этом кабинете выстрелит себе в рот из пистолета Макарова. И застрелится, потому что, испугавшись нелепой смерти прокурора, вспомнит вдруг мои пророчества, воспримет их уже правильно, как установку к действию, как неизбежность и предопределённость, как проклятие, против которого бессильна юриспруденция.

Известия о смертях враждебных мне некогда особой приятными неожиданностями не казались. Однажды прикоснувшись к Посоху, я сильно и надолго заболел головой: беседуя с кем бы то ни было, вдруг обнаруживал вплывающую в фокус зрения чёткую картинку, где в будущем собеседник готовится отойти в мир большинства. Нервотрёпки и досады от этих видений было больше, чем пользы. Приятного мало в том, что, наблюдая за суетливым соседом по комнате, раздражаясь на его пышущий здоровьем организм и наигранную радость в глазах от ожидания скорого

счастья, видеть одновременно, как он в недалёком будущем, вымазанный собственными фекалиями, испуганно хрипит и трясётся при виде надвигающейся пустоты. Смерть всегда нелепа и превращает в посмешище всех, кто её не уважает.

Иногда мне кажется, что я в сговоре со смертью. Своими видениями я подсказываю ей, не хитрой на выдумки, как смешно и позорно должен скончаться мой очередной обидчик.

Однажды замполит выписал мне три дня «надзора» за хранение в тумбочке посторонних предметов.

Я сказал:

— Тамагочи!

— Где-где? — заинтересовался замполит.

Я попытался более детально разобраться в картинке: пенсионер ковырялся на садовом участке. Пролетел самолёт, он долго смотрел вслед, опершись на лопату. Потом стал прислушиваться к пisku в будке.

— Старый осёл, забыл покормить Тамагочи! — он ринулся в будку, но, не добежав до стола, рухнул на пол, сбитый ударом инсульта.

— Маленький предмет, игрушка с забавной картинкой в оконце, изображающей плачущего мальчика. Тамагочи, — повторил я.

Замполит ничего не понял.

У Адама я спрашивал:

— Скажи, поделник, почему я не могу увидеть собственную кончину? Вставал перед зеркалом, люто ненавидел своё отражение — безрезультатно.

— А ты видел себя убегающим от дежурного по этажу? Как ты влетаешь в подвал, преклоняешь голову, но не вписываешься в створ дверей? Ударяешься головой о выступы кафельной плитки и сносишь у себя скальп на затылок? Падаешь на задницу и думаешь об одном: что не успел даже составить завещание. Какое завещание? Чего тебе завещать, если после операции восемнадцати швов на голове, ты не только потеряешь дар предвидения, но и вряд ли вспомнишь, куда перепрыгал Посох. Запиши, зашифруй в дневнике место тайника. Я тебе серьёзно говорю!

На кухне второго этажа курил весь отряд — топор повесили на середину — сквозь лиловый дым пробирався чеканный профиль цыгана Пономарёва.

Я крикнул:

— Пономарёв! Эй, Золотые зубы, загляни ко мне в комнату! Там тебе мать свёрток передала! Сказала, что завтра к тебе заглянут!

Профиль качнулся и превратился в фас с золотым блеском. Пономарёв спросил:

— Где они работали?

— На Бродвее.

— А-а, хорошо, — и снова превратился в профиль.

Срывать с насиженного места он не хотел. Текла трепетная беседа о том, как, когда, от чьей руки и при каких обстоятельствах был побит, оскорблён, унижен и доведён до отчаяния тот или иной «ментяра». Рассказчик, бывший «святой отец», наставник Черустинского прихода — объяснял с подробностями:

— Я возвращался домой... Только отслужили, выпили чуток — кто не пьёт? — и тут он, молоденький сер-

жантик. Аки весенняя почечка, и уже с понтами корявыми. За рукав меня! Я по-доброму: «Отстань, не дай повода грех сотворить!» Нет, потащил меня в «воронку». Я плюнул в кулак и со всего размаха приложился. У него фуражка в грязь упала, мундир я ему попортил немножко. За это окаянные легавые меня сюда сослали. А сами-то — урки урками, чернорубашечники, прости меня, господи!

— Ты говори, говори, монах, — вмешивается Нукри Соселия из Зугдиди, — я прямо таю, когда бьют легавых. Дай мне пыльмёт, я бы их — та-та-та! — Он поднимается со скамьи и, подрагивая, начинает исчезать и появляться из лиловой дымки: — Я ехал из Зугдиди в Ижевск. Восьем лэт нэ был. Я слюжил там в стройбате, нол трэтий част войсковой. Ехал к лубовнице Олге Сергеевне, пищной такой, вкусной. Когда выйду, вторым делом — к ней. Я знаю, что ей скажу: Оля, к тебе ехал на машине, человека сбил, восэм лэт дали, два скостили. Она поверит, уложит меня в койку. Перин мягкий, титька мягкий, большой. Она простит, что у меня два детей и жена в придача. Ехал с легавым, он говорит: «Угощай чача!». Я доставал чача. Пили, потом он меня обозвал. Их ещё было два. Меня вышли в табур. Я бил, меня бил. Потом висадил на станцию. Он документ показал, а меня забрали. Двэсти шэстой статья за хулиганку.

— Бакланка, — уточняет «святой отец», а у самого глаза безнадежно-печальные, как у борца за охрану окружающей среды.

Мне представляется задумка государства поместить в одну спецкомендатуру условно-осужденных и условно-освобожденных издевательством в изошрённой форме. Нет ничего ужаснее, чем частичная свобода для слегка провинившегося имярека, обычно не имевшего намерений играть с государством в опасные игры. Все мы, отбывающие наказание на стройках народного хозяйства, особенно остро начинаем сознавать, что родились уже подозреваемыми, нужен только срок, чтобы государство укрепилось в своих подозрениях. Нас учат в спецкомендатуре ненавидеть установленные порядки, стойко сносить социальную несправедливость, подаренную нам с параграфами Конституции теми небожителями, которые пекутся обо всех несправедливо осужденных.

«Взял бы пыльмёт и всех — та-та-та!» «Одна радость — если слышу, что где-то завалили мусора из спецкомендатуры». «Точно: если легавый, то уже сволочь! Порядочных людей в ментовке не держат!»

«Слышали, что Рашка по 103-й раскрутился?»

«Правда? Только ведь откинулся?»

«Следака, говорят, пришил».

«Тогда ладно. А то подумал: охрендел парень, только глотнул воли и — на тебе!»

Разговор на минуту стихает и, передохнув, с новой силой набирает обороты.

«Захожу домой, а мать одетая. Это — среди ночи? Не понял, только вошёл, мне руки закрутили за спину, локоть аж к самому затылку стянули! Сперва забрали, потом дело завели. Год — на тюрьме, 3 месяца — в карцере. Отощал. В оконцовке придумали мне андроповскую, 89 часть 3. С конфискацией. Конфиско-

вали тарелку, две ложки да три использованные ложки. Кровососы!»

До вечерней десятичасовой проверки только и разговоров, что о мордобитии и о ненависти ко всем красногонникам. «Ущемлённый статьёю УК, я живу под фамилией ЗК».

А потом, когда в бледной ночи проступят первые зародыши звёзд на обочине Млечного Пути, точно придорожные фонари, и забьются, залепечут листья над остывающей землёй и раскроются объятия лесов, выскользнет ночной филин и, учуяв родное тепло, принесённое через шесть областей, тоже забьётся и начнёт рвать крылья о тугую стену ветра. Вдоль телеграфной линии, теряющейся на горизонте юго-запада, полетит, задрожит комок его тела. И подхватят, впитают в себя током колышки телеграфных столбов то ли плач, то ли крик решившейся на долгий перелёт птицы.

Между тем я войду в сон или, наоборот, проснусь, а сон отойдёт за угол, где за решётчатым окном с завистью будет наблюдать за моей ускользящей тенью Адам, постепенно оборачиваясь в крохотного, кривонного божка Бэса.

Я влечу в реальность, памятную как сон — один и тот же, но с незначительными вариациями. И нет желаннее этой реальности, и нет сладостнее этого сна.

Я кидаюсь в сторону от асфальтированной трассы и парю над укатанной «Чахоткой» и четырёхдверным кобелём морковного цвета полевой дорогой. Приближается и растёт на глазах Розовый Зал. Лёгкий ветер нежно трогает меня, течёт, утекает, тянет за собой в воронку сельского двора. Здесь начиналась ты, моя любимая. Здесь начиналась наша дочка, наша цыганочка. Здесь начиналась семья. И люди здесь — люди, и деревья — деревья, и жизнь — жизнь. От злобы и ненависти, от равнодушия и отчуждённости здесь не надо отмахиваться Посохом. Здесь Посох Адама — обыкновенная палка из старого, морёного слезами и кровью дерева. Место ему — в сарае, рядом с угольной кучей. Только беседы, вечерние перешёптывания с тобой, моя любовь, очищают. Только они.

И вдруг, влетая с ветром во двор, я окончательно понимаю, что не было никогда ни Бэса, ни векши, ни пресловутого Адама с ударением в имени на первом слоге, ни Ады, ни Лилит — никого другого в мой жизни не было. А были вы, мои любимые, мои самые близкие сердцу девочки. Вы были всегда. С того мгновенья, как я родился и начал путешествия по сферам, сопротивляясь и помогая себе упражнениями, чтобы скорее вас отыскать. Обе вы спите на моей руке, ставшей «божественной» от одного вашего прикосновения. Три близких дыхания сливаются в единое тепло и добро. И добро это крушит и распыляет мою окостеневшую злобу и мстительность на весь свет. Были бы вы рядом — я всё стерплю, я сумею стать настоящим отцом и мужем.

Ночной филин, гонимый теплом, прорвётся сквозь спутанные телефонные провода, подлетит — и сторожем усядется на скамью у Розового Зала. Будет взмахивать крыльями, удерживая равновесие, и сверкать моими подмышками. Не гоните его! Он — не хищник,

он — вестник моих снов, моих желаний, моей тоски по вам. Видите, он подставляет вам голову? Приласкайте его! От этого он станет ещё добрее и преданнее.

Я чувствую прикосновение твоей руки, моя любовь. Она замерла в морщинах моего лица...

Я очнулся и увидел, как телефонистка указательным пальцем потянула на себя рычажок:

— Заказ двадцатый! Романово, Романово!.. Седьмая кабина! Романово — седьмая кабина!

— Алло, алло! Наконец-то! Здравствуй, радость моя! Скажи, а ты когда-нибудь бывала на Иссук-Куле, в Чулпон-Ата?

Глава тринадцатая

После долгих упрасиваний по телефону и скучных бесед ни о чём Кристоф согласился встретиться со мной в гостинице "Центральная", где я остановился на пару дней.

Я лежал на заправленной кровати и смотрел в книгу, думая о предстоящем разговоре.

«Я спрошу его:

— Что же ты поступил не по-человечески?

Он ответит:

— Я поступил правильно!

— Как же правильно, когда ты использовал меня на всю катушку, а затем кинул?

Он скажет:

— На поле играют двадцать два футболиста, а выигрывают всегда немцы. Надо было дружить со мной, а не заниматься самодеятельностью.

«Самодеятельность» — слово ему незнакомое. Поэтому он скажет:

— ...а не заниматься хернёй.

Хотя правильной было бы употребить третье слово: более грубое по значению, но привычное по звучанию.

— Теперь ты можешь позволить себе заниматься благотворительностью и рисковать, вкладывая деньги в сомнительные проекты? — спрошу я ехидно.

Он скажет:

— У меня много друзей, особенно в Германии. Они не позволят, чтобы меня обманули.

— А я тебя обманывал?

— Намеревался.

— Намерение — это ещё не «кидалово». Не обман — по-вашему.

Здесь он тоже не растеряется и найдёт, что ответить. Ну, предположим:

— У нас в Германии намерение обмануть ничем не отличается от намеренного обмана!»

Вот в таких уколах и саркастических щипках будет проходить наша беседа.

Покидая старушку векшу, я был полностью уверен, что никому другому она не доверит тайну Посоха Адама. Но, вероятно, был слишком самонадеянным.

Чем этот махровый немец очаровал старушку? Какие ей сулил блага, что она согласилась обменять ин-

формацию о местонахождении Посоха на мой дневник?

Пока я менжевался, рассусоливал, пока я готовился к экспедиции, пока я спрашивал и дожидался разрешения на поездку от жены, которую я безумно люблю и советуюсь с ней по всякой мелочи, Кристоф в Гамбурге уже получал от экспертов второе подтверждение о подлинности Посоха. По тому, как в дальнейшем начали происходить странные события, приведшие к падению, краху и полному его поглощению другой финансовой структурой, я догадался, что Кристоф заложил Посох в одно из отделений Дрезднер-Банка.

Посох не терпел чтобы им торговали. Выгода от Его продажи в любой форме (заклад, кредит, обмен на акции, векселя...) становилась утерянной выгодой. Старушка предупреждала. Кристоф, видимо, неправильно перевёл или не поверил.

Я старался не думать о Посохе.

— Ты сильно расстроился? — часто приставала жена. — Считаешь, я виновата, что вовремя не отпустила тебя в экспедицию?

— О чём ты говоришь, родная, любимая моя? Может быть ты спасла мне жизнь. Деньги надо зарабатывать, а не гоняться за лёгкой наживой. Весь мир гоняется за ней. Много конкурентов — много жертв.

— Правильно говоришь. Красиво. А что на самом деле у тебя в голове?

А в голове у меня извилины тряслись от страха что не смогу задушить в себе обиду, зависть и наживу в результате апоплексического удара. Бог лишит языка и разума кровоизлиянием в мозг, и я так и не смогу отомстить своему обидчику.

Благодаря мне — мне! — бизнес у Кристофа процветал. Он занялся инвестициями, его имя было на хорошем счету у западных банкиров. Женился на русской фотомодели, купил недвижимость в Испании, приобрёл яхту и парк раритетных автомобилей. Всё успел за один год. Иногда расслаблялся в Эмиратах, выставляя на закрытые скачки любимого бегового верблюда по кличке Олег, который никогда не приходил к финишу первым, но большую часть беговой дистанции вёл за собой остальных верблюдов, задавая им темп скачки.

Узнавая из жёлтой прессы о том, как жирует мой старый приятель, я доводил себя поочередно до «предынфарктного» и до «предынсультного» состояния и всё больше терял надежду когда-нибудь встретиться с Кристофом один на один.

Что он мне сможет сказать? «А выигрывают всегда немцы?» Да и нужна ли ему встреча с побеждённым? Он не хотел, чтобы были побеждённые друзья. Так получилось.

В длинном бежевом плаще, теребя в руках шляпу, он ворвался в гостиничный номер и улыбнулся мне. Хорошее начало: ни «здрасьте», ни «насрать»!

— Шикарно выглядишь, — поприветствовал я Кристофа, переместившись в кресло.

— Спасибо, я себе нравлюсь.

— Кофе будешь? — намекнул я на долгую беседу.

Он вздёрнул руку и посмотрел на часы. Времени на друзей у Кристофа всегда недоставало, время беспощадно транжирилось на переговоры с деловыми партнёрами.

— Привет тебе передавала наша общая знакомая, старая векша, — соврал я.

— Спасибо. Я недавно был у неё на могиле. Плохо, что дом у неё остался в запустении.

— На какой могиле? — лихорадочно соображал я.

Настаивать на том, что она жива-здоровая, что Кристоф опять всё перепутал, или позорно предстать уличённым во лжи? Умерла так умерла. Бог с ней!

Вдвойне было обидно, что имя моей собственности — а на старушку я имел больше собственнических прав, чем кто-либо другой — случайные иностранцы использовали против меня даже после её смерти.

— Я раньше её чуть не умер, — признался Кристоф, увидев мою недовольную физиономию. — Знаешь, куда она отправила меня?

— На скамейку с крохотным проводником по имени Бэс?

— Нет.

— В чистилище?

— Хуже. Я не знаю, но я там чуть не умер и маленько сошёл с ума. Плохо там. Ох, как плохо! Но мы выдержали.

— Кто это — вы?

— Мы — это ты и я...

Он вынул из внутреннего кармана плаща свёрнутые в рулон листы бумаги, положил на стол и бережно разгладил их.

— Что это? Подробная схема запасных выходов из Чистилища при пожаре?

— Это контракт. Как сказать?.. О совместной деятельности. Всё честно! Сейчас Он, Посох, на последней проверке у экспертов. После заключения экспертной комиссии мы будем в равных долях продавцами. За минусом маклерских — полтора процента. Я пользовался услугами маклеров. Ещё юристу платил, ещё экспертам...

— Подожди, Кристоф, я сейчас разрыдаюсь! Какие эксперты, какой контракт? Ты же нормальный мошенник, ты же вор. Но ты умный вор! И то, что ты мошенник и вор, знаю только я. Зачем тебе ещё с кем-то делиться? Я и так никому не скажу, что задета моя национальная гордость. Да никто никогда и не верил в мифический Посох. Короче: украл — значит, твоё. Ты победил.

Думалось, что он угадал, приняв мои слова за шутку. Какой русский Ванька (читай: арабский верблюд Олег) откажется от подобного подарка? Такой жадный верблюд, как я, наверняка и национальную гордость запросто поменяет на материальные блага, точно первородство — на чечевичную похлёбку. Уж кому ещё знать лучше, как не Кристофу, что на поиски Посоха меня подтолкнула идея о первичности русской культуры, которая сформировалась задолго до европейской, вскормила, воспитала варваров Европы и заслуженно получила от них сыновнее презрение. Кристоф не раз слышал от меня и ответную благодарность.

Что моё, то только моё! И не частью, по контракту о совместном использовании средств после продажи, — а целиком! «Кристоф, Родину я могу продать, но только с условием что на вырученные средства смогу выкупить её обратно и прикупить ещё земли».

— Я плохо понимаю, — удивился Кристоф. — Ты отказываешься от денег? От денег не отказываются! Их оскорблять нельзя!

— А отсутствие денег — это их месть за нанесённые им оскорбления?

Кристоф задумался, подвигал плечами, создавая хрустом и шипением плаща тревожную обстановку в номере, и признался:

— Деньги я люблю! Деньги... они живые! Они живее Ленина! А ваш Ленин живее всех живых!

— Был, пока портрет его печатали на банкнотах.

— Вот-вот, я правильно рассуждаю. Деньги — всегда живые.

— А Посох?

— А Посох — старая ветка из тамаринового дерева. Дерево такое, тамариновое.

— Из какого дерева?

— Ещё раз повторяю: из тамаринового. Экспертиза показала...

— Постой, но ведь... — И я прикусил язык.

Кристоф ждал от меня подобной реакции. Он не хуже меня знал, что никакое тамариновое дерево в центре Эдема не росло. Старушка векша послала его по ложному следу — за второй копией Посоха. И Кристоф с самого начала знал, что отыскал не оригинал.

Однако раньше в характере законопослушного немца не было устремлений так нагло, по-русски нахраписто, предъявлять экспертам дешёвую копию, обманывать и через подставных лиц убеждать их в подлинности артефакта. Я вдруг вспомнил заметку из жёлтой прессы и засмеялся:

— Забыл совершенно! Последняя жена у тебя, Кристоф, русская? Теперь тебе есть кого слушаться, внимать советам и богатеть на продаже воздуха.

Кристоф сказал:

— С волками жить... Зато у нас есть средства на дальнейшие поиски, время и новые возможности.

А у меня — Первая копия Посоха, она хранилась в чулане. И жена Кристофа тонко рассчитала, что в случае разоблачения немца можно было бы реабилитироваться моим Посохом. Подкинуть Его в какой-нибудь «Хапоалим Би Эм» или «Барклайс Банк».

Кристоф — прилежный ученик: быстро усвоил уроки по российскому предпринимательству, данные ему женой. Но не допёр до главного — что с этого момента не мы будем руководствоваться здравым смыслом, не мы будем соперничать друг с другом, стараясь опередить и перехитрить себя, а наши русские жёны. Их соперничество — наша смертельно опасная дружба. Я, например, был абсолютно уверен в стратегических и тактических способностях своей супруги.

Что касается Кристофа, то я представлял диалог молодожёнов так: «Милая... как тебя там... Брунгильда Ивановна? Посоветуй, что мне делать: поделиться с Олегом денежкой или насрать на него и забыть?» —

«Иди ты в жопу со своим дележом!» — «Спасибо! И ты иди туда же со своими советами!».

— Мы шли неверной дорогой, товарищ! — сказал Кристоф словами своей супруги. — В этот раз, я думаю, надо использовать знания Финкельштейна и придерживаться «Новой хронологии» Питера Ван Дер Вина и Димона Бимсона. Этот путь самый реальный. На нём мы встретим не ужасы и обман, но долгожданный Посох. Хватит, поиграли в сказки и мифы!

— С какого времени будем вступать?

— Думаю, что с самого начала. Почти с самого начала.

— Получится?

— Не получится, используем другие три возможности.

Затеplилась надежда. В залоге оставалась первая копия. Незначительно, но мы всё-таки продвинулись в поисках.

— Подпишешь? — спросил Кристоф, ещё раз бережно разгладив контракт.

— Всенепременно, дорогой друг!

Спротивление (упражнение) пятьдесят первое:

«С утра — стакан живой воды из Николиных ключей. И вечером — полтора стакана настоя из хоху, корня мандрагоры, лимонника, щепы слоновьего дерева, головки чеснока и двух зёрен афганского ореха. Накалить ржавый гвоздь докрасна и на секунду опустить в настой. Выпить. После чего, лёжа на спине, проделать дыхательные упражнения — до момента ощущения холода в пальцах рук, покалывания в ладонях и лёгкого головокружения...».

Я чувствовал, что Бэс находился рядом. Всмотривался в меня из укрытия и выжидал, когда я совершенно ослабну и позову его на помощь...

Сфера была бесконечной: край светящегося неба касался звёзд. Туман приседал, густея, и набирался сил перед прыжком к свету. Из него выплывала голова громадного чудовища Хармариса с золотым диском во лбу и пробудившимися на голове аспидами. Греки называли его Великим Сфинксом, египтяне ошибочно принимали за Бога.

Из Аджи-Чая на восток, через перевал, в долину Ардабиль, спустился Хармарис следом за своим хозяином, Богом Эа, у которого был надёжным стражем. Эа, раскинув руки, и стоя на коленях, встречал рассвет.

Он находился ко мне спиной. Аспид, обнаружив меня, изогнулся и что-то прошипел в ухо Хармарису. Хармарис медленно и неохотно повернул голову в мою сторону. В глазах его мутнело полное безразличие. Так же медленно он отвернулся от меня. Бог Эа продолжал молиться.

Страха перед чудовищем я не испытывал, будто знал его давно в живом воплощении, а не каменной копией возле пирамид на плато Гизы.

Меня осторожно тронули за плечо. Я резко обернулся. Так резко, что хрустнули шейные позвонки. Передо мной стоял мужчина лет сорока, одетый в льняное рубище до пят. В руке он держал Посох. Тот са-

мый, настоящий и долгожданный Посох. Узнать Его мне было легче, чем спутать с подделкой. Я уставился на Посох.

— Мир тебе, брат, — тихо сказал мужчина. — Отец Небесный спустился к нам вкусить человеческого хлеба. Несу дары ему свои. Как думаешь, брат Авель, примет Он мои дары? Почему молчишь, чего испугался, брат мой, любимый Авель?

«Кристоф мог и ошибаться, когда убеждал меня в том, что история про Каина и Авеля — глупая выдумка с участием не реальных персонажей», — думал я, всё больше цепenea при виде брата-агрия...



Навещайте нас на YouTube



logobo@gmx.de
ISSN 1866-6310

